



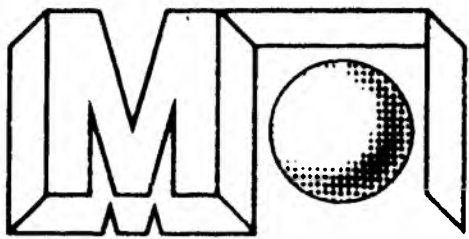
Мир приключений

Алексей ТОЛСТОЙ

**Гиперболоид
инженера Гарина**

Рассказы





Мир приключений

Алексей ТОЛСТОЙ

**Гиперболоид
инженера Гарина
Рассказы**

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО « ПРАВДА »

1988

84 Р 7
Т 52

Иллюстрации
И. Н. М е л ь н и к о в а

Т $\frac{4702010200-182}{080(02)-88}$ 182—88

© Издательство «Правда», 1988. Составление.
Иллюстрации.

**Гиперболоид
инженера Гарина**



*Этот роман написан в 1926—1927 годах.
Переработан, со включением новых глав,
в 1937 году.*

А. Т.

1

В этом сезоне деловой мир Парижа соби-
рался к завтраку в гостиницу «Мажестик». Там можно бы-
ло встретить образцы всех наций, кроме французской...
Там между блюдами велись деловые разговоры и заклю-
чались сделки под звуки оркестра, хлопанье пробок
и женское щебетанье.

В великолепном холле гостиницы, устланном драго-
ценными коврами, близ стеклянных крутящихся дверей,
важно прохаживался высокий человек, с седой головой
и энергичным бритым лицом, напоминающим героиче-
ское прошлое Франции. Он был одет в черный широкий
фрак, шелковые чулки и лакированные туфли с пряжка-
ми. На груди его лежала серебряная цепь. Это был вер-
ховный швейцар, духовный заместитель акционерного об-
щества, эксплуатирующего гостиницу «Мажестик».

Заложив за спину подагрические руки, он останавли-
вался перед стеклянной стеной, где среди цветущих в зе-
леных кадках деревьев и пальмовых листьев обедали по-
сетители. Он походил в эту минуту на профессора, изуча-
ющего жизнь растений и насекомых за стенкой аква-
риума.

Женщины были хороши, что и говорить. Молодень-
кие прельщали молодостью, блеском глаз: синих—англо-
саксонских, темных, как ночь,—южноамериканских, ли-
ловых—французских. Пожилые женщины приправляли,
как острым соусом, блекнущую красоту необычайностью
туалетов.

Да, что касается женщин,—все обстояло благополуч-
но. Но верховный швейцар не мог того же сказать о муж-
чинах, сидевших в ресторане.

Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве?

Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги... Они ползли из Америки по преимуществу, из проклятой страны, где шагают по колена в золоте, где собираются по дешевке скупить весь добрый старый мир.

2

К подъезду гостиницы бесшумно подкатил рольс-ройс—длинная машина с кузовом из красного дерева. Швейцар, бренча цепью, поспешил к крутящимся дверям.

Первым вошел желтовато-бледный человек небольшого роста, с черной коротко подстриженной бородой, с раздутыми ноздрями мясистого носа. Он был в мешковатом длинном пальто и в котелке, надвинутом на брови.

Он остановился, брюзгливо поджидая спутницу, которая говорила с молодым человеком, выскочившим навстречу автомобилю из-за колонны подъезда. Кивнув ему головой, она прошла сквозь крутящиеся двери. Это была знаменитая Зоя Монроз, одна из самых шикарных женщин Парижа. Она была в белом суконном костюме, обшитом на рукавах, от кисти до локтя, длинным мехом черной обезьяны. Ее фетровая маленькая шапочка была создана великим Колло. Ее движения были уверенны и небрежны. Она была красива, тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом. Синевато-серые глаза ее казались холодными и страстными.

— Мы будем обедать, Роллинг? — спросила она человека в котелке.

— Нет. Я буду с ним говорить до обеда.

Зоя Монроз усмехнулась, как бы снисходительно извиняя резкий тон ответа. В это время в дверь проскочил молодой человек, говоривший с Зоей Монроз у автомобиля. Он был в распахнутом стареньком пальто, с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбужденное лицо его было покрыто веснушками. Редкие жесткие усики точно приклеены. Он намеревался, видимо, поздороваться за руку,

но Роллинг, не вынимая рук из карманов пальто, сказал еще резче:

— Вы опоздали на четверть часа, Семенов.

— Меня задержали... По нашему же делу... Ужасно извиняюсь... Все устроено... Они согласны... завтра могут выехать в Варшаву...

— Если вы будете орать на всю гостиницу, вас выведут,— сказал Роллинг, уставившись на него мутноватыми глазами, не обещающими ничего доброго.

— Простите—я шепотом... В Варшаве все уже подготовлено: паспорта, одежда, оружие и прочее. В первых числах апреля они перейдут границу...

— Сейчас я и мадемуазель Монроз будем обедать,— сказал Роллинг,— вы поедете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня в начале пятого. Предупредите, что, если они вздумают водить меня за нос,—я выдам их полиции...

Этот разговор происходил в начале мая 192... года.

3

В Ленинграде на рассвете, близ бонов гребной школы, на реке Крестовке остановилась двухвесельная лодка.

Из нее вышли двое, и у самой воды произошел у них короткий разговор,—говорил только один—резко и повелительно, другой глядел на полноводную, тихую, темную реку. За чащами Крестовского острова, в ночной синеве, разливалась весенняя заря.

Затем эти двое наклонились над лодкой, огонек спички осветил их лица. Они вынули со дна лодки свертки, и тот, кто молчал, взял их и скрылся в лесу, а тот, кто говорил, прыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и торопливо заскрипел уключинами. Очертание гребущего человека прошло через заревую полосу воды и растворилось в тени противоположного берега. Небольшая волна плеснула на боны.

Спартаковец Тарашкин, «загребной» на гоночной распашной гичке, дежурил в эту ночь в клубе. По молодости лет и весеннему времени, вместо того чтобы безрассудно тратить на спанье быстролетные часы жизни, Тарашкин сидел над сонной водой на бонах, обхватив коленки.

В ночной тишине было о чем подумать. Два лета подряд проклятые москвичи, не понимающие даже запаха

настоящей воды, били гребную школу на одиночках, на четверках и на восьмерках. Это было обидно.

Но спортсмен знает, что поражение ведет к победе. Это одно, да еще, пожалуй, прелесть весеннего рассвета, пахнущего острой травкой и мокрым деревом, поддерживали в Тарашкине присутствие духа, необходимое для тренировки перед большими июньскими гонками.

Сидя на бонах, Тарашкин видел, как пришвартовалась и затем ушла двухвесельная лодка. Тарашкин относился спокойно к жизненным явлениям. Но здесь показалось ему странным одно обстоятельство: двое высадившиеся на берегу были похожи друг на друга, как два весла. Одного роста, одеты в одинаковые широкие пальто, у обоих мягкие шляпы, надвинутые на лоб, и одинаковая остренькая бородка.

Но в конце концов в республике не запрещается шататься по ночам, по сушу и по воде, со своим двойником. Тарашкин, наверно, тут же бы и забыл о личностях с острыми бородками, если бы не странное событие, происшедшее в то же утро поблизости гребной школы в березовом леску в полуразвалившейся дачке с заколоченными окнами.

4

Когда из розовой зари над зарослями островов поднялось солнце, Тарашкин хрустнул мускулами и пошел во двор клуба собирать щепки. Время было шестой час в начале. Стукнула калитка, и по влажной дорожке, ведя велосипед, подошел Василий Витальевич Шельга.

Шельга был хорошо тренированный спортсмен, мускулистый и легкий, среднего роста, с крепкой шеей, быстрый, спокойный и осторожный. Он служил в уголовном розыске и спортом занимался для общей тренировки.

— Ну, как дела, товарищ Тарашкин? Все в порядке? — спросил он, ставя велосипед у крыльца. — Приехал повозиться немного... Смотри — мусор, ай, ай.

Он снял гимнастерку, закатал рукава на худых мускулистых руках и принялся за уборку клубного двора, еще заваленного материалами, оставшимися от ремонта бонов.

— Сегодня придут ребята с завода, — за одну ночь наведем порядок, — сказал Тарашкин. — Так как же, Василий Витальевич, записываетесь в команду на шестерку?

— Не знаю, как и быть, — сказал Шельга, откатывая смоляной бочонок, — москвичей, с одной стороны, бить нужно, с другой — боюсь, не смогу быть аккуратным... Смешное дело одно у нас наворачивается.

— Опять насчет бандитов что-нибудь?

— Нет, поднимай выше — уголовщина в международном масштабе.

— Жаль, — сказал Тарашкин, — а то бы погребли.

Выйдя на боны и глядя, как по всей реке играют солнечные зайчики, Шельга стукнул черенком метлы и вполголоса позвал Тарашкина:

— Вы хорошо знаете, кто тут живет поблизости на дачах?

— Живут кое-где зимогоры.

— А никто не переезжал в одну из этих дач в середине марта?

Тарашкин покосился на солнечную реку, почесал ногтями ноги другую ногу.

— Вон в том лесишке заколоченная дача, — сказал он, — недели четыре назад, это я помню, гляжу — из трубы дым. Мы так и подумали — не то там беспризорные, не то бандиты.

— Видели кого-нибудь с той дачи?

— Пойдите, Василий Витальевич. Их-то я, должно быть, и видел сегодня.

И Тарашкин рассказал о двух людях, причаливших на рассвете к болотистому берегу.

Шельга поддакивал: «так, так», острые глаза его стали, как щелки.

— Пойдем, покажи дачу, — сказал он и тронул висевшую сзади на ремне кобуру револьвера.

5

Дача в чахлом березовом леску казалась необитаемой, — крыльцо сгнило, окна заколочены досками поверх ставен. В мезонине выбиты стекла, углы дома под остатками водосточных труб поросли мохом, под подоконниками росла лебеда.

— Вы правы — там живут, — сказал Шельга, осмотрев дачу из-за деревьев, потом осторожно обошел ее кру-

гом. — Сегодня здесь были... Но за каким дьяволом им понадобилось лазить в окошко? Тарашкин, идите-ка сюда, здесь что-то неладно.

Они быстро подошли к крыльцу. На нем были видны следы ног. Налево от крыльца на окне висела боком ставня — свежесорванная. Окно раскрыто внутрь. Под окном, на влажном песке — опять отпечатки ног. Следы большие, видимо тяжелого человека, и другие — поменьше, узкие — носками внутрь.

— На крыльце следы другой обуви, — сказал Шельга.

Он заглянул в окно, тихо свистнул, позвал: «Эй, дядя, у вас окошко отворено, кабы чего не унесли». Никто не ответил. Из полутемной комнаты тянуло сладковатым неприятным запахом.

Шельга позвал громче, поднялся на подоконник, вынул револьвер и мягко спрыгнул в комнату. Полез за ним и Тарашкин.

Первая комната была пустая, под ногами валялись битые кирпичи, штукатурка, обрывки газет. Полуоткрытая дверь вела в кухню. Здесь на плите под ржавым колпаком, на столах и табуретах стояли примусы, фарфоровые тигли, стеклянные, металлические реторты, банки и цинковые ящики. Один из примусов еще шипел, догорая.

Шельга опять позвал: «Эй, дядя!» Покачал головой и осторожно приотворил дверь в полутемную комнату, прорезанную плоскими, сквозь щели ставен, лучами солнца.

— Вон он! — сказал Шельга.

В глубине комнаты на железной кровати, навзничь, лежал одетый человек. Руки его были закинута за голову и прикручены к прутьям кровати. Ноги обмотаны веревкой. Пиджак и рубашка на груди разорваны. Голова неестественно запрокинута, остро торчала борода.

— Ага, вот они как его, — сказал Шельга, осматривая под соском убитого до рукоятки загнанный финский нож. — Пытали... Смотрите...

— Василий Витальевич, это тот самый, кто на лодке приплыл. Его не больше как часа полтора назад убили.

— Будьте здесь, караульте, ничего не трогать, никого не пускать, — слышите, Тарашкин?

Через несколько минут Шельга говорил по телефону из клуба:

— Наряд на вокзалы... Проверять всех пассажиров... Наряды по всем гостиницам. Проверить всех, кто возвратился между шестью и восемью утра. Агента и собаку в мое распоряжение.

До прибытия собаки-ищейки Шельга приступил к тщательному осмотру дачи, начиная с чердака.

Повсюду валялся мусор, битое стекло, обрывки обоев, ржавые банки от консервов. Окна затянуты паутиной, в углах — плесень, грибы. Дача, видимо, была заброшена еще с 1918 года. Обитаемыми оказались только кухня и комната с железной кроватью. Нигде ни признака удобств, никаких остатков еды, кроме найденной в кармане убитого французской булки и куска чайной колбасы.

Здесь не жили, сюда приезжали делать что-то, что нужно было скрывать. Таков был первый вывод, сделанный Шельгой в результате обыска. Обследование кухни показало, что здесь работали над какими-то химическими препаратами. Исследуя кучки золы на плите под колпаком, где, очевидно, производились химические пробы, перелистав несколько брошюр с загнутыми уголками страниц, он установил второе: убитый человек занимался всего-навсего обыкновенной пиротехникой.

Такое умозаключение поставило Шельгу в тупик. Он еще раз обыскал платье убитого — нового ничего не обнаружил. Тогда он подошел к вопросу с другой стороны.

Следы ног у окна показывали, что убийц было двое, что они проникли через окно, неминуемо рискуя встретить сопротивление, так как человек на даче не мог не услышать треск срываемой ставни.

Это означало, что убийцам нужно было во что бы то ни стало либо получить что-то чрезвычайно важное, либо умертвить человека на даче.

Далее: если предположить, что они хотели просто умертвить его, то, во-первых, они могли это сделать проще, скажем, подкараулив его где-нибудь по пути на дачу, и, во-вторых, положение убитого на кровати показывало, что его пытали, зарезан он был не сразу. Убийцам нужно было узнать что-то от этого человека, чего он не хотел сказать.

Что они могли выпытывать у него? Деньги? Трудно предположить, чтобы человек, отправляясь ночью на заброшенную дачу заниматься пиротехникой, стал брать с собой большие деньги. Вернее — убийцы хотели узнать какую-то тайну, связанную с ночными занятиями убитого.

Таким образом, ход мыслей привел Шельгу к новому исследованию кухни. Он отодвинул от стены ящики

и обнаружил квадратный люк в подвал, который часто устраивают на дачах прямо под полом кухни. Тарашкин зажег огарок и лег на живот, освещая сырое подполье, куда Шельга осторожно спустился по тронутой гнилью скользкой лестнице.

— Идите-ка сюда со свечкой, — крикнул из темноты Шельга, — вот где у него была настоящая-то лаборатория.

Подвал занимал площадь под всей дачей: у кирпичных стен стояло несколько дощатых столов на козлах, баллоны с газом, небольшой мотор и динамо, стеклянные ванны, в которых обычно производят электролиз, слесарные инструменты и повсюду на столах — кучки пепла...

— Вот он чем тут занимался, — с некоторым недоумением сказал Шельга, рассматривая прислоненные к стене подвала толстые деревянные бруски и листы железа. И листы и бруски во многих местах были просверлены, иные разрезаны пополам, места разрезов и отверстий казались обожженными и оплавленными.

В дубовой доске, стоящей торчмя, отверстия эти были диаметром в десятую долю миллиметра, будто от укола иголкой. Посередине доски выведено большими буквами



Шельга перевернул доску, и на обратной стороне оказались те же навыворот буквы: каким-то непонятным способом трехдюймовая доска была прожжена этой надписью насквозь.

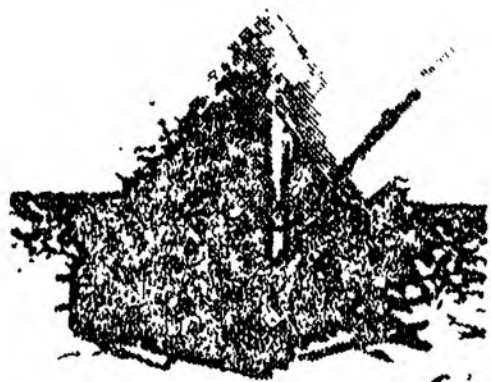
— Фу ты, черт, — сказал Шельга, — нет, П. П. Гарин здесь не пиротехникой занимался.

— Василий Витальевич, а это что такое? — спросил Тарашкин, показывая пирамидку дюйма в полтора высоты, около дюйма в основании, спрессованную из какого-то серого вещества.

— Где вы нашли?

— Их там целый ящик.

Повертев, понюхав пирамидку, Шельга поставил ее на край стола, воткнул сбоку в нее зажженную спичку и отошел в дальний угол подвала. Спичка догорела, пирамидка вспыхнула ослепительным бело-голубоватым светом. Горела пять минут с секундами без копоти, почти без запаха.



— Рекомендую в следующий раз таких опытов не производить, — сказал Шельга, — пирамидка могла оказаться газовой свечкой. Тогда бы мы не ушли из подвала. Очень хорошо, что же мы узнали? Попробуем установить: во-первых, убийство было не с целью мщения или грабежа. Во-вторых, установим фамилию убитого — П. П. Гарин. Вот пока и все. Вы хотите возразить, Тарашкин, что, может быть, П. П. Гарин тот, кто уехал на лодке. Не думаю. Фамилию на доске написал сам Гарин. Это психологически ясно. Если бы я, скажем, изобрел какую-нибудь такую замечательную штуку, то уж наверно от восторга написал бы свою фамилию, но уж никак не вашу. Мы знаем, что убитый работал в лаборатории; значит, он и есть изобретатель, то есть — Гарин.

Шельга и Тарашкин вылезли из подвала и, закурив, сели на крылечке, на солнцепеке, поджидая агента с собакой.

7

На главном почтамте в одно из окошек приема заграничных телеграмм просунулась жирная красноватая рука и повисла с дрожащим телеграфным бланком.

Телеграфист несколько секунд глядел на эту руку и, наконец, понял: «Ага, пятого пальца нет — мизинца», и стал читать бланк.

Варшава. Маршалковская. Сенинову
Поручение выполнено наполовину, инженер
отбыл, документы получить не удалось
из-за распоряжений. Вась?

Телеграфист подчеркнул красным — Варшава. Поднялся и, заслонив собой окошечко, стал глядеть через решетку на подателя телеграммы. Это был массивный, средних лет человек, с нездоровой, желтовато-серой кожей надутого лица, с висячими, прикрывающими рот желтыми усами. Глаза спрятаны под щелками опухших век. На бритой голове коричневый бархатный картуз.

— В чем дело? — спросил он грубо. — Принимайте телеграмму.

— Телеграмма шифрованная, — сказал телеграфист.

— То есть как — шифрованная? Что вы мне ерунду порете! Это коммерческая телеграмма, вы обязаны принять. Я покажу удостоверение, я состою при польском консульстве, вы ответите за малейшую задержку.

Четырехпалый гражданин рассердился и тряс щеками, не говорил, а лаял, — но рука его на прилавке окошечка продолжала тревожно дрожать.

— Видите ли, гражданин, — говорил ему телеграфист, — хотя вы уверяете, будто ваша телеграмма коммерческая, а я уверяю, что — политическая, шифрованная.

Телеграфист усмехался. Желтый господин, сердясь, повышал голос, а между тем телеграмму его незаметно взяла барышня и отнесла к столу, где Василий Витальевич Шельга просматривал всю подачу телеграмм этого дня.

Взглянув на бланк: «Варшава, Маршалковская», он вышел за перегородку в зал, остановился позади сердитого отправителя и сделал знак телеграфисту. Тот, покрутив носом, прошелся насчет панской политики и сел писать квитанцию. Поляк тяжело сопел от злости, переминаясь, скрипел лакированными башмаками. Шельга внимательно глядел на его большие ноги. Отошел к выходным дверям, кивнул дежурному агенту на поляка:

— Проследить.

Вчерашние поиски с ищейкой привели от дачи в березовом леску к реке Крестовке, где и оборвались: здесь убийцы, очевидно, сели в лодку. Вчерашний день не принес новых данных. Преступники, по всей видимости, были хорошо скрыты в Ленинграде. Не дал ничего и просмотр телеграмм. Только эта последняя, пожалуй, — в Варшаву Семенову, — представляла некоторый интерес.

Телеграфист подал поляку квитанцию, тот полез в жилетный карман за мелочью. В это время к окошечку быстро подошел с бланком в руке красивый темноглазый человек с острой бородкой и, поджидая, когда место освободится, со спокойным недоброжелательством глядел на солидный живот сердитого поляка.

Затем Шельга увидел, как человек с острой бородкой вдруг весь подобрался: он заметил четырехпалую руку и сейчас же взглянул поляку в лицо.

Глаза их встретились. У поляка отвалилась челюсть. Опухшие веки широко раскрылись. В мутных глазах мелькнул ужас. Лицо его, как у чудовищного хамелеона, изменилось — стало свинцовым.

И только тогда Шельга понял, — узнал стоявшего перед поляком человека с бородкой: это был двойник убитого на даче в березовом леску на Крестовском...

Поляк хрипло вскрикнул и понесся с невероятной быстротой к выходу. Дежурный агент, которому было приказано лишь следить за ним издали, беспрепятственно пропустил его на улицу и проскользнул вслед.

Двойник убитого остался стоять у окошечка. Холодные, с темным ободком, глаза его не выражали ничего, кроме изумления. Он пожал плечом и, когда поляк скрылся, подал телеграфисту бланк:

*Парик. Бурьвар Батиньков
До возбуждения намеру 555
Немедленно приступить к
анализу, качество повысить
на пятьдесят процентов,
в середине мая т.ч. первой
посылки. И. И.*

— Телеграмма касается научных работ, ими сейчас занят мой товарищ, командированный в Париж Институтом неорганической химии, — сказал он телеграфисту. Затем не спеша потянул из кармана папиросную коробку, постучал папиросой и осторожно закурил ее. Шельга учтиво сказал ему:

— Разрешите вас на два слова.

Человек с бородкой взглянул на него, опустил ресницы и ответил с крайней любезностью:

— Пожалуйста.

— Я агент уголовного розыска, — сказал Шельга, приоткрывая карточку, — может быть, поищем более удобное место для разговора.

— Вы хотите арестовать меня?

— Ни малейшего намерения. Я хочу вас предупредить, что поляк, который отсюда выбежал, намерен вас убить, так же как вчера на Крестовском он убил инженера Гарина.

Человек с бородкой на минуту задумался. Ни вежливость, ни спокойствие не покинули его.

— Пожалуйста, — сказал он, — идемте, у меня четверть часа свободного времени.

8

На улице близ почтамта к Шельге подбежал дежурный агент — весь красный, в пятнах:

— Товарищ Шельга, он ушел.

— Зачем же вы его упустили?

— Его автомобиль ждал, товарищ Шельга.

— Где ваш мотоциклет?

— Вон валяется, — сказал агент, показывая на мотоцикл в ста шагах от почтамтского подъезда, — он подскокил и ножом по шине. Я засвистал. Он — в машину и — ходу.

— Заметили номер автомобиля?

— Нет.

— Я подам на вас рапорт.

— Так как же, когда у него номер нарочно весь грязью залеплен?

— Хорошо, идите в угрозыск, через двадцать минут я буду.

Шельга догнал человека с бородкой. Некоторое время они шли молча. Свернули к бульвару Профсоюзов.

— Вы поразительно похожи на убитого, — сказал Шельга.

— Мне это неоднократно приходилось слышать, моя фамилия Пьянков-Питкевич, — с готовностью ответил человек с бородкой. — Во вчерашней вечерней я прочел об убийстве Гарина. Это ужасно. Я хорошо знал этого человека, дельный работник, прекрасный химик. Я часто бывал в его лаборатории на Крестовском. Он готовил крупное открытие по военной химии. Вы имеете понятие о так называемых дымовых свечах?

Шельга покосился на него, не ответил, спросил:

— Как вы думаете — убийство Гарина связано с интересами Польши?

— Не думаю. Причина убийства гораздо глубже. Сведения о работах Гарина попали в американскую печать. Польша могла быть только передаточной инстанцией.

На бульваре Шельга предложил присесть. Было безлюдно. Шельга вынул из портфеля вырезки из русских и иностранных газет, разложил на коленях.

— Вы говорите, что Гарин работал по химии, сведения о нем проникли в зарубежную печать. Здесь кое-что совпадает с вашими словами, кое-что мне не совсем ясно. Вот прочтите:

«...В Америке заинтересованы сообщением из Ленинграда о работах одного русского изобретателя. Предполагают, что его прибор обладает наиболее могучей, из всех известных до сих пор, разрушительной силой».

Питкевич прочел и — улыбаясь:

— Странно, — не знаю... Не слышал про это. Нет, это не про Гарина.

Шельга протянул вторую вырезку:

«...В связи с предстоящими большими маневрами американского флота в тихоокеанских водах был сделан запрос в военном министерстве, — известно ли о приборах колоссальной разрушительной силы, строящихся в Советской России».

Питкевич пожал плечами: «Чепуха, — и взял у Шельги третью вырезку:

«...Химический король, миллиардер Роллинг, отбыл в Европу. Его отъезд связан с организацией треста заводов, обрабатывающих продукты угольной смолы и поваренной соли. Роллинг дал в Париже интервью, выразив уверенность, что его чудовищный химический концерн внесет успокоение в страны Старого Света, потрясаемые революционными силами. В особенности агрессивно Роллинг говорил о Советской России, где, по слухам, ведутся загадочные работы над передачей на расстояние тепловой энергии».

Питкевич внимательно прочел. Задумался. Сказал, нахмутив брови:

— Да. Весьма возможно, — убийство Гарина связано как-то с этой заметкой.

— Вы спортсмен? — неожиданно спросил Шельга, взял руку Питкевича и повернул ее ладонью вверх. — Я страстно увлекаюсь спортом.

— Вы смотрите, нет ли у меня мозолей от весел, товарищ Шельга... Видите — два пузырька, — это указывает, что я плохо гребу и что я два дня тому назад действительно греб около полутора часов подряд, отвозя Гарина в лодке на Крестовский остров... Вас удовлетворяют эти сведения?

Шельга отпустил его руку и засмеялся:

— Вы молодчина, товарищ Питкевич, с вами любопытно было бы повозиться всерьез.

— От серьезной борьбы я никогда не отказываюсь.

— Скажите, Питкевич, вы знали раньше этого поляка с четырьмя пальцами?

— Вы хотите знать, почему я изумился, увидя у него четырехпалую руку? Вы очень наблюдательны, товарищ Шельга. Да, я изумился... больше — я испугался.

— Почему?

— Ну, вот этого я вам не скажу.

Шельга покусал кожицу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара.

Питкевич продолжал:

— У него не только изуродована рука, — у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал Гарин в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Человека этого зовут Стась Тыклинский...

— Что же, — спросил Шельга, — покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трехдюймовые доски?

Питкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу: один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто.

— Арестовать меня все-таки вы намереваетесь, товарищ Шельга?

— Нет... Это мы всегда успеем.

— Вы правы. Я знаю много. Но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешан, вы сами знаете. Хотите — игру в открытую? Условия борьбы: после хорошего удара мы встречаемся и откровенно беседуем. Это будет похоже на шахматную партию. Запрещенные приемы — убивать друг друга до смерти. Кстати — покуда мы с вами беседуем, вы подвергались смертельной опасности, уверяю вас, — я не шучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, то я бы, скажем, осмотрелся, — пустынно, — и пошел бы, не спеша, на Сенатскую площадь, а его бы нашли на этой скамейке безнадежно мертвым, с отвратительными пятнами на теле. Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану. Хотите партию?

— Ладно. Согласен, — сказал Шельга, блестя глазами, — нападать буду я первым, так?

— Разумеется, если бы вы не поймали меня на почтамте, я бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырехпалого поляка — обещаю помогать в его розыске. Где бы его ни встретил — я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно.

— Ладно. А теперь, Питкевич, покажите, что у вас за штука такая, чем вы грозитесь...

Питкевич качнул головой, усмехнулся: «Будь по-вашему — игра открытая», и осторожно вынул из бокового кармана плоскую коробку. В ней лежала металлическая, в палец толщины, трубка.

— Вот и все, только надавить с одного конца, — там внутри хрустнет стеклышко.

Подходя к уголовному розыску, Шельга сразу остановился, — будто налетел на телеграфный столб: «Хе! — выдохнул он, — хе! — и бешено топнул ногой: — Ах, ловкач, ах, артист!»

Шельга действительно был одурачен вчистую. Он стоял в двух шагах от убийцы (в этом теперь не было сомнения) и не взял его. Он говорил с человеком, знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьянков-Питкевич владел какой-то тайной... Шельга вдруг понял — именно государственного, мирового значения была эта тайна... Он уже за хвост держал Пьянкова-Питкевича, — «вывернулся, проклятый, обошел!»

Шельга взбежал на третий этаж к себе в отдел. На столе лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смирный толстенький человек в смазных сапогах. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге.

— Бабичев, управдом, — сказал он с сильно самогонным духом, — по Пушкарской улице двадцать четвертый номер дома, жилтоварищество.

— Это вы принесли пакет?

— Я принес. Из квартиры номер тринадцатый... Это не в главном корпусе, а в пристроечке. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона, — управдом прикрыл рот рукой, щеки его покраснели, глаза слегка вылезли, увлажнились, дух самогона наполнил комнату, — значит, этот пакет я нашел дополнительно в печке.

— Фамилия пропавшего жильца?

— Савельев, Иван Алексеевич.

Шельга развернул пакет. Там оказались — фотографическая карточка Пьянкова-Питкевича, гребень, ножницы и склянка темной жидкости, краска для волос.

— Чем занимался Савельев?

— По ученой части. Когда у нас фановая труба лопнула — комитет к нему обратился... Он — «рад бы, говорит, вам помочь, но я химик».

— Он часто отлучался по ночам с квартиры?

— По ночам? Нет. Не замечалось, — управдом опять прикрыл рот, — чуть свет он — со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам, — не замечалось, пьяным не видели.

— Ходили к нему знакомые?

— Не замечалось.

Шельга по телефону запросил отдел милиции Петроградской стороны. Оказалось,— в пристройке дома двадцать четыре по Пушкарской действительно проживал Савельев Иван Алексеевич, тридцати шести лет, инженер-химик. Поселился на Пушкарской в феврале с удостоверением личности, выданным тамбовской милицией.

Шельга послал телеграфный запрос в Тамбов и на автомобиле вместе с управдомом поехал на Фонтанку, где в отделе уголовного следствия, на леднике, лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нем признал жильца из тринадцатого номера.

10

В то же приблизительно время тот, кто называл себя Пьянковым-Питкевичем, подъехал на извозчике с поднятым верхом к одному из пустырей на Петроградской стороне, расплатился и пошел по тротуару вдоль пустыря. Он открыл калитку в дощатом заборе, миновал двор и поднялся по узкой лестнице черного хода на пятый этаж. Двумя ключами открыл дверь, повесил в пустой прихожей на единственный гвоздь пальто и шляпу, вошел в комнату, где четыре окна до половины были замазаны мелом, сел на продраный диван и закрыл лицо руками.

Только здесь, в уединенной комнате (уставленной книжными полками и физическими приборами), он мог отдаться, наконец, ужасному волнению, почти отчаянию, потрясшему его со вчерашнего дня.

Его руки, сжимавшие лицо, дрожали. Он понимал, что смертельная опасность не миновала. Он был в окружении. Только какие-то небольшие возможности складывались в его пользу, из ста — девяносто девять было против. «Как неосторожно, ах, как неосторожно», — шептал он.

Усилием воли он, наконец, овладел своим волнением, ткнул кулаком грязную подушку, лег навзничь и закрыл глаза.

Его мысли, перегруженные страшным напряжением, отдыхали. Несколько минут мертвой неподвижности освежили его. Он поднялся, налил в стакан мадеры и выпил одним глотком. Когда горячая волна пошла по телу,

он стал шагать по комнате, с методичной неторопливостью, ища этих небольших возможностей к спасению.

Он осторожно отогнул у плинтуса старые отставшие обои, вытащил из-под них листы чертежей и свернул их трубкой. Снял с полок несколько книг и все это, вместе с чертежами и частями физических приборов, уложил в чемодан. Поминутно прислушиваясь, отнес чемодан вниз и в одном из темных деревянных подвалов спрятал его под кучей мусора. Снова поднялся к себе, вынул из письменного стола револьвер, осмотрел, сунул в задний карман.

Было без четверти пять. Он опять лег и курил одну папиросу за другой, бросая окурки в угол. «Разумеется, они не нашли!» — почти закричал он, сбрасывая ноги с дивана, и снова забегал по диагонали комнаты.

В сумерки он натянул грубые сапоги, надел парусиновое пальто и вышел из дому.

11

В полночь в шестнадцатом отделении милиции был вызван к телефону дежурный. Торопливый голос проговорил ему на ухо:

— На Крестовский, на дачу, где позавчера было убийство, послать немедленно наряд милиции...

Голос прервался. Дежурный сволокнулся в трубку. Вызвал проверочную, оказалось, что звонили из гребной школы. Позвонил в гребную школу. Там долго трещал телефон, наконец заспанный голос проговорил:

— Что нужно?

— От вас сейчас звонили?

— Звонили, — зевнув, ответил голос.

— Кто звонил?.. Вы видели?

— Нет, у нас электричество испорчено. Сказали, что по поручению товарища Шельги.

Через полчаса четверо милиционеров выскочили из грузовичка у заколоченной дачи на Крестовском. За берегами тускло багровел остаток зари. В тишине слышались слабые стоны. Человек в тулупе лежал ничком близ черного крыльца. Его перевернули, — оказался сторож. Около него валялась вата, пропитанная хлороформом.

Дверь крыльца была раскрыта настежь. Замок сорван. Когда милиционеры проникли внутрь дачи, из подполья чей-то заглушенный голос закричал:

— Люк, отвалите люк в кухне, товарищи...

Столы, ящики, тяжелые мешки навалены были горой у стены на кухне. Их раскидали, подняли крышку люка.

Из подполья выскочил Шельга, — весь в паутине, в пыли, с дикими глазами.

— Скорее сюда! — крикнул он, исчезая за дверью. — Свет, скорее!

В комнате (с железной кроватью) в свете потайных фонарей увидели на полу два расстрелянных револьвера, коричневый бархатный картуз и отвратительные, с едким запахом, следы рвоты.

— Осторожнее! — крикнул Шельга. — Не дышите, уходите, это — смерть!

Отступая, тесня к дверям милиционеров, он с ужасом, с омерзением глядел на валяющуюся на полу металлическую трубку величиной с человеческий палец.



12

Как все крупного масштаба деловые люди, химический король Роллинг принимал по делам в особо для того снятом помещении, офисе, где его секретарь фильтровал посетителей, устанавливая степень их важности, читал их мысли и с чудовищной вежливостью отвечал на все вопросы. Стенографистка превращала в кристаллы человеческих слов идеи Роллинга, которые (если взять их арифметическое среднее за год и умножить на денежный эквивалент) стоили приблизительно пятьдесят тысяч долларов за каждый протекающий в одну секунду отрезок идеи короля неорганической химии. Миндалевидные ногти четырех машинисток, не переставая, порхали по клавишам четырех ундервудов. Мальчик для поручений мгновенно вслед за вызовом вырастал перед глазами Роллинга, как сгустившаяся материя его воли.

Офис Роллинга на бульваре Мальзерб был мрачным и серьезным помещением. Темного штофа стены, темные

бобрики на полу, темная кожаная мебель. На темных столах, покрытых стеклом, лежали сборники реклам, справочные книги в коричневой юфте, проспекты химических заводов. Несколько ржавых газовых снарядов и бомбомет, привезенные с полей войны, украшали камин.

За высокими, темного ореха, дверями, в кабинете среди диаграмм, картограмм и фотографий сидел химический король Роллинг. Профильтрованные посетители неслышно по бобрику входили в приемную, садились на кожаные стулья и с волнением глядели на ореховую дверь. Там, за дверью, самый воздух в кабинете короля был невероятно драгоценен, так как его пронизывали мысли, стоящие пятьдесят тысяч долларов в секунду.

Какое человеческое сердце осталось бы спокойным, когда среди почтенной тишины в приемной вдруг зашевелится бронзовая, в виде лапы, держащей шар, массивная ручка орехового дерева и появится маленький человек в темно-сером пиджачке, с известной всему миру бородкой, покрывающей щеки, мучительно неприветливый, почти сверхчеловек, с желтовато-нездоровым лицом, напоминающим известную всему миру марку изделий: желтый кружок с четырьмя черными полосками... Приоткрывая дверь, король вонзался глазами в посетителя и говорил с сильным американским акцентом — «прошу».

13

Секретарь (с чудовищной вежливостью) спросил, держа золотой карандашик двумя пальцами:

— Простите, ваша фамилия?

— Генерал Субботин, русский... эмигрант.

Отвечавший сердито вскинул плечи и скомканным платком провел по серым усам.

Секретарь, улыбаясь так, будто разговор касается приятнейших, дружеских вещей, пролетел карандашом по блокнотику и спросил совсем уже осторожно:

— Какая цель, мосье Субботин, вашей предполагаемой беседы с мистером Роллингом?

— Чрезвычайная, весьма существенная.

— Быть может, я попытаюсь изложить ее вкратце для представления мистеру Роллингу.

— Видите ли, цель, так сказать, проста, план... Обоюдная выгода...

— План, касающийся химической борьбы с большевиками, я так понимаю? — спросил секретарь.

— Совершенно верно... Я намерен предложить мистери Роллингу.

— Я боюсь, — с очаровательной вежливостью перебил его секретарь, и приятное лицо его изобразило даже страдание, — боюсь, что мистер Роллинг немного перегружен подобными планами. С прошлой недели к нам поступило от одних только русских сто двадцать четыре предложения о химической войне с большевиками. У нас в портфеле имеется прекрасная диспозиция воздушно-химического нападения одновременно на Харьков, Москву и Петроград. Автор диспозиции остроумно разворачивает силы на плацдармах буферных государств, — очень, очень интересно. Автор дает даже точную смету: шесть тысяч восьмьсот пятьдесят тонн горчичного газа для поголовного истребления жителей в этих столицах.

Генерал Субботин, побагровев от страшного прилива крови, перебил:

— В чем же дело, мистер, как вас! Мой план не хуже, но и этот — превосходный план. Надо действовать! От слов к делу... За чем же остановка?

— Дорогой генерал, остановка только за тем, что мистер Роллинг пока еще не видит эквивалента своим расходам.

— Какого такого эквивалента?

— Сбросить шесть тысяч восьмьсот пятьдесят тонн горчичного газа с аэропланов не составит труда для мистера Роллинга, но на это потребуются некоторые расходы. Война стоит денег, не правда ли? В представляемых планах мистер Роллинг пока видит одни расходы. Но эквивалента, то есть дохода от диверсий против большевиков, к сожалению, не указывается.

— Ясно, как божий день... доходы... колоссальные доходы всякому, кто возвратит России законных правителей, законный, нормальный строй, — золотые горы такому человеку! — Генерал, как орел, из-под бровей уперся глазами в секретаря. — Ага! Значит, указать также эквивалент?

— Точно, вооружась цифрами: налево — пассив, направо — актив, затем — черту и разницу со знаком плюс, которая может заинтересовать мистера Роллинга.

— Ага! — Генерал засопел, надвинул пыльную шляпу и решительно зашагал к двери.

Не успел генерал выйти — в подъезде слышался протестующий голос мальчика для поручений, затем другой голос выразил желание, чтобы мальчишку взяли черти, и перед секретарем появился Семенов в расстегнутом пальто, в руке шляпа и трость, в углу рта изжеванная сигара.

— Доброе утро, дружище, — торопливо сказал он секретарю и бросил на стол шляпу и трость, — пропусти-те-ка меня к королю вне очереди.

Золотой карандашик секретаря повис в воздухе.

— Но мистер Роллинг сегодня особенно занят.

— Э, вздор, дружище... У меня в автомобиле дожидается человек, только что из Варшавы... Скажите Роллингу, что мы по делу Гарина.

У секретаря взлетели брови, и он исчез за ореховой дверью. Через минуту высунулся: «Мосье Семенов, вас просят», — просвистал он нежным шепотом. И сам нажал дверную ручку в виде лапы, держащей шар.

Семенов встал перед глазами химического короля. Семенов не выразил при этом особого волнения, во-первых, потому, что по натуре был хам, во-вторых, потому, что в эту минуту король нуждался в нем больше, чем он в короле.

Роллинг просверлил его зелеными глазами. Семенов, и этим не смущаясь, сел напротив по другую сторону стола. Роллинг сказал:

— Ну?

— Дело сделано.

— Чертежи?

— Видите ли, мистер Роллинг, тут вышло некоторое недоразумение...

— Я спрашиваю, где чертежи? Я их не вижу, — свирепо сказал Роллинг и ладонью легко ударил по столу.

— Слушайте, Роллинг, мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и самый прибор... Я сделал колоссально много... Нашел людей... Послал их в Петроград. Они проникли в лабораторию Гарина. Они видели действие прибора... Но тут, черт его знает, что-то случилось... Во-первых, Гариных оказалось двое.

— Я это предполагал в самом начале, — брезгливо сказал Роллинг.

— Одного нам удалось убрать.

— Вы его убили?

— Если хотите — что-то в этом роде. Во всяком случае — он умер. Вас это не должно беспокоить: ликвидация произошла в Петрограде, сам он советский подданный, — пустяки... Но затем появился его двойник... Тогда мы сделали чудовищное усилие...

— Одним словом, — перебил Роллинг, — двойник или сам Гарин жив, и ни чертежей, ни приборов вы мне не доставили, несмотря на затраченные мною деньги.

— Хотите — я позову, — в автомобиле сидит Стась Тыклинский, участник всего этого дела, — он вам расскажет подробно.

— Не желаю видеть никакого Тыклинского, мне нужны чертежи и прибор... Удивляюсь вашей смелости — являться с пустыми руками...

Несмотря на холод этих слов, несмотря на то, что, окончив говорить, Роллинг убийственно посмотрел на Семенова, уверенный, что паршивый русский эмигрант испепелится и исчезнет без следа, — Семенов, не смущаясь, сунул в рот изжеванную сигару и проговорил бойко:

— Не хотите видеть Тыклинского, и не надо, — удовольствие маленькое. Но вот какая штука: мне нужны деньги, Роллинг, — тысяч двадцать франков. Чек дадите или наличными?

При всей огромной опытности и знании людей Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Роллинга выступило даже что-то вроде испарины на мясистом носу, — такое он сделал над собой усилие, чтобы не въехать чернильницей в веснушчатую рожу Семенова. (А сколько было потеряно драгоценнейших секунд во время этого дрянного разговора!) Овладев собой, он потянулся к звонку.

Семенов, следя за его рукой, сказал:

— Дело в том, дорогой мистер Роллинг, что инженер Гарин сейчас в Париже.

15

Роллинг вскочил, — ноздри распахнулись, между бровей вздулась жила. Он подбежал к двери и запер ее на ключ, затем близко подошел к Семенову, взялся за спинку кресла, другой рукой вцепился в край стола. Наклонился к его лицу.

— Вы лжете.

— Ну вот еще, стану я врать... Дело было так: Стась Тыклинский встретил этого двойника в Петрограде на почте, когда тот сдавал телеграмму, и заметил адрес: Париж, бульвар Батиньоль... Вчера Тыклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Батиньоль и — нос к носу напоролись в кафе на Гарина или на его двойника, черт их разберет.

Роллинг ползал глазами по веснушчатому лицу Семенова. Затем выпрямился, из легких его вырвалось пережатое дыхание:

— Вы прекрасно понимаете, что мы не в Советской России, а в Париже, — если вы совершите преступление, спасти от гильотины я вас не буду. Но если вы попытаетесь меня обмануть, я вас растопчу.

Он вернулся на свое место, с отвращением раскрыл чековую книжку: «Двадцать тысяч не дам, с вас довольно и пяти...» Выписал чек, ногтем толкнул его по столу Семенову и потом — не больше, чем на секунду, — положил локти на стол и ладонями стиснул лицо.

16

Разумеется, не по воле случая красавица Зоя Монроз стала любовницей химического короля. Только дураки да те, кто не знает, что такое борьба и победа, видят повсюду случай. «Вот этот счастливый», — говорят они с завистью и смотрят на удачника, как на чудо. Но сорвись он — тысячи дураков с упоением растопчут его, отвергнутого божественным случаем.

Нет, ни капли случайности, — только ум и воля привели Зою Монроз к постели Роллинга. Воля ее была закалена, как сталь, приключениями девятнадцатого года. Ум ее был настолько едок, что она сознательно поддерживала среди окружающих веру в исключительное расположение к себе божественной фортуны, или Счастья...

В квартале, где она жила (левый берег Сены, улица Сены), в мелочных, колониальных, винных, угольных и гастрономических лавочках считали Зою Монроз чем-то вроде святой.

Ее дневной автомобиль — черный лимузин 24 HP, ее прогулочный автомобиль — полубожественный рольс-ройс 80 HP, ее вечерняя электрическая каретка, — внутри — стеганого шелка, — с вазочками для цветов и серебряными ручками, — и в особенности выигрыш в ка-

зино в Довиле полутора миллионов франков, — вызывали религиозное восхищение в квартале.

Половину выигрыша, осторожно, с огромным знанием дела, Зоя Монроз «вложила» в прессу.

С октября месяца (начало парижского сезона) пресса «подняла красавицу Монроз на перья». Сначала в мелкобуржуазной газете появился пасквиль о разоренных любовниках Зои Монроз. «КРАСАВИЦА СЛИШКОМ ДОРОГО НАМ СТОИТ!» — восклицала газета. Затем влиятельный радикальный орган, ни к селу, ни к городу, по поводу этого пасквиля загремел о мелких буржуа, посылающих в парламент лавочников и винных торговцев с кругозором не шире их квартала. «ПУСТЬ ЗОЯ МОНРОЗ РАЗОРИЛА ДЮЖИНУ ИНОСТРАНЦЕВ, — восклицала газета, — ИХ ДЕНЬГИ ВРАЩАЮТСЯ В ПАРИЖЕ, ОНИ УВЕЛИЧИВАЮТ ЭНЕРГИЮ ЖИЗНИ. ДЛЯ НАС ЗОЯ МОНРОЗ ЛИШЬ СИМВОЛ ЗДОРОВЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, СИМВОЛ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ, ГДЕ ОДИН ПАДАЕТ, ДРУГОЙ ПОДНИМАЕТСЯ».

Портреты и биографии Зои Монроз сообщались во всех газетах:

«Ее покойный отец служил в императорской опере в С.-Петербурге. Восьми лет очаровательная малютка Зоя была отдана в балетную школу. Перед самой войной она ее окончила и дебютировала в балете с успехом, которого не запомнит Северная столица. Но вот — война, и Зоя Монроз с юным сердцем, переполненным милосердия, бросается на фронт, одетая в серое платье с красным крестом на груди. Ее встречают в самых опасных местах, спокойно наклоняющуюся над раненым солдатом среди урагана вражеских снарядов. Она ранена (что, однако, не нанесло ущерба ее телу юной грации), ее везут в Петербург, и там она знакомится с капи-

таном французской армии. Революция. Россия предаст союзников. Душа Зои Монроз потрясена Брестским миром. Вместе со своим другом, французским капитаном, она бежит на юг и там верхом на коне, с винтовкой в руках, как разгневанная грация, борется с большевиками. Ее друг умирает от сыпного тифа. Французские моряки увозят ее на миноносце в Марсель. И вот она в Париже. Она бросается к ногам президента, прося дать ей возможность стать французской подданной. Она танцует в пользу несчастных жителей разрушенной Шампани. Она — на всех благотворительных вечерах. Она — как ослепительная звезда, упавшая на тротуары Парижа».

В общих чертах биография была правдива. В Париже Зоя быстро осмотрелась и пошла по линии: всегда вперед, всегда с боями, всегда к самому трудному и ценному. Она действительно разорила дюжину скоробогачей, тех самых коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами в перстнях и с воспаленными щеками. Зоя была дорогая женщина, и они погибли.

Очень скоро она поняла, что скоробогатые молодчики не дадут ей большого шика в Париже. Тогда она взяла себе в любовники модного журналиста, изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в двадцатых годах двадцатого века — это химия.

Она завела секретаря, который ежедневно делал ей доклады об успехах химической промышленности и давал нужную информацию. Таким образом она узнала о предполагающейся поездке в Европу короля химии Роллинга.

Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там, на месте, купила, с душой и телом, репортера большой газеты, — и в прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умной, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой — химией и даже, вместо банальных бриллиантов, носит ожерелье из хрустальных шариков, наполненных светящимся газом. Эти шарики подействовали на воображение американцев.

Когда Роллинг сел на пароход, отходящий во Францию, — на верхней палубе, на площадке для тенниса, между широколистной пальмой, шумящей от морского ветра, и деревом цветущего миндаля, сидела в плетеном кресле Зоя Монроз.

Роллинг знал, что это самая модная женщина в Европе, кроме того, она действительно ему понравилась. Он предложил ей быть его любовницей. Зоя Монроз поставила условием подписать контракт с неустойкой в миллион долларов.

О новой связи Роллинга и о необыкновенном контракте дано было радио из открытого океана. Эйфелева башня приняла эту сенсацию, и на следующий день Париж заговорил о Зое Монроз и о химическом короле.

Роллинг не ошибся в выборе любовницы. Еще на пароходе Зоя сказала ему:

— Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела. Но вы скоро увидите, что как секретарь я еще более удобна, чем как любовница. Женская дребедень меня мало занимает. Я честолюбива. Вы большой человек: я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте, — я пережила революцию, у меня был сыпняк, я дралась, как солдат, и проделала верхом на коне тысячу километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью.

Роллингу показалась занимательной ее ледяная страстность. Он прикоснулся пальцем к кончику ее носа и сказал:

— Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента, вы сумасшедшая, в политике и делах вы всегда останетесь дилетантом.

В Париже он начал вести переговоры о трестировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции. В Париже его называли «американским буйволом». Действительно, он казался великаном среди европейских промышленников. Он шел напролом. Луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель: сосредоточение в одних (своих) руках мировой химической промышленности.

Зоя Монроз быстро изучила его характер, его приемы борьбы. Она поняла его силу и его слабость. Он плохо разбирался в политике и говорил иногда глупости о революции и о большевиках. Она незаметно окружила его нужными и полезными людьми. Свела его с миром журналистов и руководила беседами. Она покупала мелких хроникеров, на которых он не обращал внимания, но они оказали ему больше услуг, чем солидные журналисты, потому что они проникали, как москиты, во все щели жизни.

Когда она «устроила» в парламенте небольшую речь правого депутата «о необходимости тесного контакта с американской промышленностью в целях химической обороны Франции», Роллинг в первый раз по-мужски, дружески, со встряхиванием пожал ей руку:

— Очень хорошо, я беру вас в секретари с жалованьем двадцать семь долларов в неделю.

Роллинг поверил в полезность Зои Монроз и стал с ней откровенен по-деловому, то есть — до конца.

18

Зоя Монроз поддерживала связи с некоторыми из русских эмигрантов. Один из них, Семенов, состоял у нее на постоянном жалованье. Он был инженером-химиком выпуска военного времени, затем прапорщиком, затем белым офицером и в эмиграции занимался мелкими комиссиями, вплоть до перепродажи ношенных платьев уличным девчонкам.

У Зои Монроз он заведовал контрразведкой. Приносил ей советские журналы и газеты, сообщал сведения, сплетни, слухи. Он был исполнитель, боек и не брезглив.

Однажды Зоя Монроз показала Роллингу вырезку из ревельской газеты, где сообщалось о строящемся в Петрограде приборе огромной разрушительной силы. Роллинг засмеялся:

— Вздор, никто не испугается... У вас слишком горячее воображение. Большевики ничего не способны построить.

Тогда Зоя пригласила к завтраку Семенова, и он рассказал по поводу этой заметки странную историю:

«...В девятнадцатом году в Петрограде, незадолго до моего бегства, я встретил на улице приятеля, поляка, вместе с ним кончил технологический институт, — Стася Тыклинского. Мешок за спиной, ноги обмотаны кусками ковра, на пальто цифры — мелом — следы очередей. Словом, все как полагается. Но лицо оживленное. Подмигивает. В чем дело? «Я, говорит, на такое золотое дело наскочил — ай люли! — миллионы! Какой там, — сотни миллионов (золотых, конечно)!» Я, разумеется, пристал — расскажи, он только смеется. На том и расстались. Недели через две после этого я проходил по Васильевскому острову, где жил Тыклинский. Вспомнил про его золотое дело, — думаю, дай попрошу у миллионера полфунтика сахара. Зашел. Тыклинский лежит чуть ли не при смерти, — рука и грудь забинтованы.

— Кто это тебя так отделал?

— Подожди, — отвечает, — святая дева поможет — поправлюсь — я его убью.

— Кого?

— Гарина.

И он рассказал, правда, сбивчиво и туманно, не желая открывать подробности, про то, как давнишний его знакомый, инженер Гарин, предложил ему приготовить угольные свечи для какого-то прибора необыкновенной разрушительной силы. Чтобы заинтересовать Тыклинского, он обещал ему процент с барышей. Он предполагал по окончании опытов удрать с готовым прибором в Швецию, взять там патент и самому заняться эксплуатацией аппарата.

Тыклинский с увлечением начал работать над пирамидками. Задача была такова, чтобы при возможно малом их объеме выделялось возможно большее количество тепла. Устройство прибора Гарин держал в тайне, — говорил, что принцип его необычайно прост и потому малейший намек раскроет тайну. Тыклинский поставлял ему пирамидки, но ни разу не мог упросить показать ему аппарат.

Такое недоверие бесило Тыклинского. Они часто ссорились. Однажды Тыклинский проследил Гарина до места, где он производил опыты, — в полуразрушенном доме на одной из глухих улиц Петербургской стороны. Тыклинский пробрался туда вслед за Гариным и долго ходил по каким-то лестницам, пустынным комнатам с выбитыми окнами и, наконец, в подвале услышал сильное, точно от бьющей струи пара, шипение и знакомый запах горящих пирамидок.

Он осторожно спустился в подвал, но споткнулся о битые кирпичи, упал, нашумел и, шагах в тридцати от себя, за аркой, увидел освещенное коптилкой, перекошенное лицо Гарина. «Кто, кто здесь?» — дико закричал Гарин, и в это же время ослепительный луч, не толще вазальной иглы, соскочил со стены и резнул Тыклинского наискосок: через грудь и руку.

Тыклинский очнулся на рассвете, долго звал на помощь и на четвереньках выполз из подвала, обливаясь кровью. Его подобрала прохожие, доставили на ручной тележке домой. Когда он выздоровел, началась война

с Польшей, — ему пришлось уносить ноги из Петрограда».

Рассказ этот произвел на Зою Монроз чрезвычайное впечатление. Роллинг недоверчиво усмехался: он верил только в силу удушающих газов. Броненосцы, крепости, пушки, громоздкие армии — все это, по его мнению, были пережитки варварства. Аэропланы и химия — вот единственные могучие орудия войны. А какие-то там приборы из Петрограда — вздор и вздор!

Но Зоя Монроз не успокоилась. Она послала Семенова в Финляндию, чтобы оттуда добыть точные сведения о Гарине. Белый офицер, нанятый Семеновым, перешел на лыжах русскую границу, нашел в Петрограде Гарина, говорил с ним и даже предложил ему совместно работать. Гарин держался очень осторожно. Видимо, ему было известно, что за ним следят из-за границы. О своем аппарате он говорил в том смысле, что того, кто будет владеть им, ждет сказочное могущество. Опыты с моделью аппарата дали блестящие результаты. Он ждал только окончания работ над свечами-пирамидками.

19

В дождливый воскресный вечер начала весны огни из окон и бесчисленные огни фонарей отражались в асфальтах парижских улиц.

Будто по черным каналам, над бездной огней мчались мокрые автомобили, бежали, сталкивались, крутились промокшие зонтики. Прелой сыростью бульваров, запахом овощных лавок, бензиновой гарью и духами была питана дождевая мгла.

Дождь струился по графитовым крышам, по решеткам балконов, по огромным полосатым тентам, раскинутым над кофейнями. Мутно в тумане зажигались, крутились, мерцали огненные рекламы всевозможных увеселений.

Люди маленькие — приказчики и приказчицы, чиновники и служащие — развлекались, кто как мог, в этот день. Люди большие, деловые, солидные сидели по домам у каминов. Воскресенье было днем черни, отданным ей на растерзание.

Зоя Монроз сидела, подобрав ноги, на широком диване среди множества подушечек. Она курила и глядела на

огонь камина. Роллинг, во фраке, помещался, с ногами на скамеечке, в большом кресле и тоже курил и глядел на угли.

Его освещенное камином лицо казалось раскаленно-красным, — мясистый нос, щеки, заросшие бородкой, полузакрытые веками, слегка воспаленные глаза повелителя вселенной. Он предавался хорошей скуке, необходимой раз в неделю, чтобы дать отдых мозгу и нервам.

Зоя Монроз протянула перед собой красивые обнаженные руки и сказала:

— Роллинг, прошло уже два часа после обеда.

— Да, — ответил он, — я так же, как и вы, полагаю, что пищеварение окончено.

Ее прозрачные, почти мечтательные глаза скользнули по его лицу. Тихо, серьезным голосом, она назвала его по имени. Он ответил, не шевелясь в нагретом кресле:

— Да, я слушаю вас, моя крошка.

Разрешение говорить было дано. Зоя Монроз пересела на край дивана, обхватила колено.

— Скажите, Роллинг, химические заводы представляют большую опасность для взрыва?

— О да. Четвертое производное от каменного угля — тротил — чрезвычайно могучее взрывчатое вещество. Восьмое производное от угля — пикриновая кислота, ею начиняют бронебойные снаряды морских орудий. Но есть и еще более сильная штука, это — тетрил.

— А это что такое, Роллинг?

— Все тот же каменный уголь. Бензол (C_6H_6), смешанный при восьмидесяти градусах с азотной кислотой (HNO_3), дает нитробензол. Формула нитробензола — $C_6H_5NO_2$. Если мы в ней две части кислорода O_2 заменим двумя частями водорода H_2 , то есть если мы нитробензол начнем медленно размешивать при восьмидесяти градусах с чугунными опилками, с небольшим количеством соляной кислоты, то мы получим анилин ($C_6H_5NH_2$). Анилин, смешанный с древесным спиртом при пятидесяти атмосферах давления, даст диметил-анилин. Затем выроем огромную яму, обнесем ее земляным валом, внутри поставим сарай и там произведем реакцию диметил-анилина с азотной кислотой. За термометрами во время этой реакции мы будем наблюдать издали,

в подозрную трубу. Реакция диметил-анилина с азотной кислотой даст нам тетрил. Этот самый тетрил — настоящий дьявол: от неизвестных причин он иногда взрывается во время реакции и разворачивает в пыль огромные заводы. К сожалению, нам приходится иметь с ним дело: обработанный фосгеном, он дает синюю краску — кристалл-виолет. На этой штуке я заработал хорошие деньги. Вы задали мне забавный вопрос... Гм... Я считал, что вы более осведомлены в химии. Гм... Чтобы приготовить из каменноугольной смолы, скажем, облаточку пирамидона, который, скажем, исцелит вашу головную боль, необходимо пройти длинный ряд ступеней. На пути от каменного угля до пирамидона, или до флакончика духов, или до обычного фотографического препарата — лежат такие дьявольские вещи, как тротил и пикриновая кислота, такие великолепные штуки, как бром-бензил-цианид, хлор-пикрин, ди-фенил-хлор-арсин и так далее, и так далее, то есть боевые газы, от которых чихают, плачут, срывают с себя защитные маски, задыхаются, рвут кровью, покрываются нарывами, гнивают заживо...

Так как Роллингу было скучно в этот дождливый воскресный вечер, то он охотно предался размышлению о великом будущем химии.

— Я думаю (он помахал около носа до половины выкуренной сигарой), я думаю, что бог Саваоф создал небо и землю и все живое из каменноугольной смолы и поваренной соли. В библии об этом прямо не сказано, но можно догадываться. Тот, кто владеет углем и солью, тот владеет миром. Немцы полезли в войну четырнадцатого года только потому, что девять десятых химических заводов всего мира принадлежали Германии. Немцы понимали тайну угля и соли: они были единственной культурной нацией в то время. Однако они не рассчитали, что мы, американцы, в девять месяцев сможем построить Эджвудский арсенал. Немцы открыли нам глаза, мы поняли, куда нужно вкладывать деньги, и теперь миром будем владеть мы, а не они, потому что деньги после войны — у нас и химия — у нас. Мы превратим Германию прежде всего, а за ней и другие страны, умеющие работать (не умеющие вымрут естественным порядком, в этом мы им поможем), превратим в одну могучую фабрику... Американский флаг опояшет землю, как бонбоньерку, по экватору и от полюса до полюса...

— Роллинг, — перебила Зоя, — вы сами накликаете беду... Ведь *они* тогда станут коммунистами... Придет день, когда *они* заявят, что вы им больше не нужны, что *они* желают работать для себя... О, я уже пережила этот ужас... Они откажутся вернуть вам ваши миллиарды...

— Тогда, моя крошка, я затоплю Европу горчичным газом.

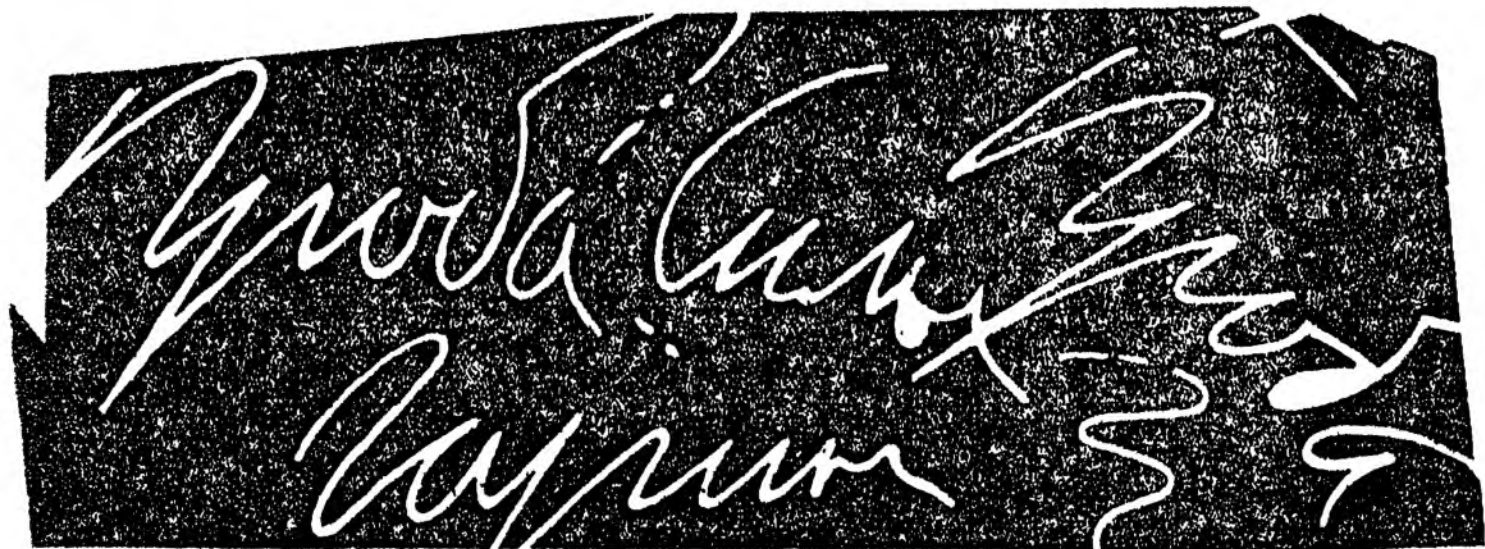
— Роллинг, будет поздно! — Зоя стиснула руками колени, подалась вперед. — Роллинг, поверьте мне, я никогда не давала вам плохих советов... Я спросила вас: представляют ли опасность для взрыва химические заводы?.. В руках рабочих, революционеров, коммунистов, в руках наших врагов, — я это знаю, — окажется оружие чудовищной силы... Они смогут на расстоянии взрывать химические заводы, пороховые погреба, сжигать эскадрильи аэропланов, уничтожать запасы газов — все, что может взрываться и гореть.

Роллинг снял ноги со скамеечки, красноватые веки его мигнули, некоторое время он внимательно смотрел на молодую женщину.

— Насколько я понимаю, вы намекаете опять на...

— Да, Роллинг, да, на аппарат инженера Гарина... Все, что о нем сообщалось, скользнуло мимо вашего внимания... Но я-то знаю, насколько это серьезно... Семенов принес мне странную вещь. Он получил ее из России...

Зоя позвонила. Вошел лакей. Она приказала, и он принес небольшой сосновый ящик, в нем лежал отрезок стальной полосы толщиной в полдюйма. Зоя вынула кусок стали и поднесла к свету камина. В толще стали были прорезаны насквозь каким-то тонким орудием полоски, завитки и наискосок, словно пером — скорописью, было написано:



Кусочки металла внутри некоторых букв вывалились. Роллинг долго рассматривал полосу.

— Это похоже на «пробу пера», — сказал он негромко, — как будто писали иглой в мягком тесте.

— Это сделано во время испытания модели аппарата Гарина на расстоянии тридцати шагов, — сказала Зоя. — Семенов утверждает, что Гарин надеется построить аппарат, который легко, как масло, может разрезать дредноут на расстоянии двадцати кабельтовых... Простите, Роллинг, но я настаиваю, — вы должны овладеть этим страшным аппаратом.

Роллинг недаром прошел в Америке школу жизни. До последней клеточки он был вытренирован для борьбы.

Тренировка, как известно, точно распределяет усилия между мускулами и вызывает в них наибольшее возможное напряжение. Так у Роллинга, когда он вступал в борьбу, сначала начинала работать фантазия, — она бросалась в девственные дебри предприятий и там открывала что-либо, стоящее внимания. Стоп. Работа фантазии кончилась. Вступал здравый смысл, — оценивал, сравнивал, взвешивал, делал доклад: полезно. Стоп. Вступал практический ум, подсчитывал, учитывал, подводил баланс: актив. Стоп. Вступала воля, крепости молибденовой стали, страшная воля Роллинга, и он, как буйвол с налитыми глазами, ломился к цели и достигал ее, чего бы это ему и другим ни стоило. Приблизительно такой же процесс произошел и сегодня. Роллинг окинул взглядом дебри неизведанного, здравый смысл сказал: Зоя права. Практический ум подвел баланс: самое выгодное — чертежи и аппарат похитить, Гарина ликвидировать. Точка. Судьба Гарина оказалась решенной, кредит открыт, в дело вступила воля. Роллинг поднялся с кресла, стал задом к огню камина и сказал, выпячивая челюсть:

— Завтра я жду Семенова на бульваре Мальзерб.

20

После этого вечера прошло семь недель. Двойник Гарина был убит на Крестовском острове. Семенов явился на бульвар Мальзерб без чертежей и аппарата. Роллинг едва не проломил ему голову чернильницей. Гарина, или его двойника, видели вчера в Париже.

На следующий день, как обычно, к часу дня Зоя заехала на бульвар Мальзерб. Роллинг сел рядом с ней в закрытый лимузин, оперся подбородком о трость и сказал сквозь зубы:

— Гарин в Париже.

Зоя откинулась на подушки. Роллинг невесело посмотрел на нее.

— Семенову давно нужно было отрубить голову на гильотине, он неряха, дешевый убийца, наглец и дурак, — сказал Роллинг. — Я доверился ему и оказался в смешном положении. Нужно предполагать, что здесь он втянет меня в скверную историю...

Роллинг передал Зое весь разговор с Семеновым. Похитить чертежи и аппарат не удалось, потому что бездельники, нанятые Семеновым, убили не Гарина, а его двойника. Появление двойника в особенности смущало Роллинга. Он понял, что противник ловок. Гарин либо знал о готовящемся покушении, либо предвидел, что покушения все равно не избежать, и запутал следы, подсунув похожего на себя человека. Все это было очень неясно. Но самое непонятное было — за каким чертом ему понадобилось оказаться в Париже?

Лимузин двигался среди множества автомобилей по Елисейским полям. День был теплый, парной, в легкой нежно-голубой мгле вырисовывались крылатые кони и стеклянный купол Большого салона, полукруглые крыши высоких домов, маркизы над окнами, пышные кущи каштанов.

В автомобилях сидели — кто развалился, кто задрал ногу на колено, кто сосал набалдашник — по преимуществу скоробогатые коротенькие молодчики в весенних шляпах, в веселеньких галстучках. Они везли завтракать в Булонский лес премиленьких девушек, которых для развлечения иностранцев радушно предоставлял им Париж.

На площади Этуаль лимузин Зои Монроз нагнал наемную машину, в ней сидели Семенов и человек с желтым, жирным лицом и пыльными усами. Оба они, подавшись вперед, с каким-то даже исступлением следили за маленьким зеленым автомобилем, загибавшим по площади к остановке подземной дороги.

Семенов указывал на него своему шоферу, но пробраться было трудно сквозь поток машин. Наконец пробрались, и полным ходом они двинули наперерез зелененькому автомобильчику. Но он уже остановился у метрополитена. Из него выскочил человек среднего роста, в широком коверкотовом пальто и скрылся под землей.

Все это произошло в две-три минуты на глазах у Роллинга и Зои. Она крикнула шоферу, чтобы он свернул к метро. Они остановились почти одновременно с машиной Семенова. Жестикулируя тростью, он подбежал к лимузину, открыл хрустальную дверцу и сказал в ужасном возбуждении:

— Это был Гарин. Ушел. Все равно. Сегодня пойду к нему на Батиньоль, предложу мировую. Роллинг, нужно сговориться: сколько вы ассигнуете на приобретение аппарата? Можете быть покойны — я стану действовать в рамках закона. Кстати, позвольте вам представить Стася Тыклинского. Это вполне приличный человек.

Не дожидаясь разрешения, он кликнул Тыклинского. Тот подскочил к богатому лимузину, сорвал шляпу, кланялся и целовал ручку пани Монроз.

Роллинг, не подавая руки ни тому, ни другому, блестя глазами из глубины лимузина, как пума из клетки. Остаться на виду у всех на площади было неразумно. Зоя предложила ехать завтракать на левый берег в мало посещаемый в это время года ресторан «Лаперуза».

21

Тыклинский поминутно раскланивался, расправляя висячие усы, влажно поглядывал на Зою Монроз и ел со сдержанной жадностью. Роллинг угрюмо сидел спиной к окну. Семенов развязно болтал. Зоя казалась спокойной, очаровательно улыбалась, глазами показывала метрдотелю, чтобы он почаще подливал гостям в рюмки. Когда подали шампанское, она попросила Тыклинского приступить к рассказу.

Он сорвал с шеи салфетку:

— Для пана Роллинга мы не щадили своих жизней. Мы перешли советскую границу под Сестрорецком.

— Кто это — мы? — спросил Роллинг.

— Я и, если угодно пану, мой подручный, один русский из Варшавы, офицер армии Балаховича... Человек весьма жестокий... Будь он проклят, как и все русские, пся крев, он больше мне навредил, чем помог. Моя задача была проследить, где Гарин производит опыты. Я побывал в разрушенном доме, — пани и пан знают, конечно, что в этом доме проклятый байстрюк чуть было не разрезал меня пополам своим аппаратом. Там, в подвале, я нашел стальную полосу, — пани Зоя получила ее от меня и могла убедиться в моем усердии. Гарин переменял место опытов. Я не спал дни и ночи, желая оправдать доверие пани Зои и пана Роллинга. Я застудил себе легкие в болотах на Крестовском острове, и я достиг цели. Я проследил Гарина. Двадцать седьмого апреля ночью мы с помощником проникли на его дачу, привязали Гарина к железной кровати и произвели самый тщательный обыск... Ничего... Надо сойти с ума, — никаких признаков аппарата... Но я-то знал, что он прячет его на даче... Тогда мой помощник немножко резко обошелся с Гариным... Пани и пан поймут наше волнение... Я не говорю, чтобы мы поступили по указанию пана Роллинга... Нет, мой помощник слишком погорячился...

Роллинг глядел в тарелку. Длинная рука Зои Монроз, лежавшая на скатерти, быстро перебирала пальцами, сверкала отполированными ногтями, бриллиантами, изумрудами, сапфирами перстней. Тыклинский вдохновился, глядя на эту бесценную руку.

— Пани и пан уже знают, как я спустя сутки встретил Гарина на почтамте. Матерь божья, кто же не испугается, столкнувшись нос к носу с живым покойником. А тут еще проклятая милиция кинулась за мною в погоню. Мы стали жертвой обмана, проклятый Гарин подсунул вместо себя кого-то другого. Я решил снова обыскать дачу: там должно было быть подземелье. В ту же ночь я пошел туда один, усыпил сторожа. Влез в окно... Пусть пан Роллинг не поймет меня как-нибудь криво... Когда Тыклинский жертвует жизнью, он жертвует ею для идеи... Мне ничего не стоило выскочить обратно в окошко, когда

я услышал на даче такой стук и треск, что у любого волосы стали бы дыбом... Да, пан Роллинг, в эту минуту я понял, что господь руководил вами, когда вы послали меня вырвать у русских страшное оружие, которое они могут обратить против всего цивилизованного мира. Это была историческая минута, пани Зоя, клянусь вам шляхетской честью. Я бросился, как зверь, на кухню, откуда раздавался шум. Я увидел Гарина, — он наваливал в одну кучу у стены столы, мешки и ящики. Увидев меня, он схватил кожаный чемодан, давно мне знакомый, где он обычно держал модель аппарата, и выскочил в соседнюю комнату. Я выхватил револьвер и кинулся за ним. Он уже открывал окно, намереваясь выпрыгнуть на улицу. Я выстрелил, он с чемоданом в одной руке, с револьвером в другой отбежал в конец комнаты, загородился кроватью и стал стрелять. Это была настоящая дуэль, пани Зоя. Пуля пробила мне фуражку. Вдруг он закрыл рот и нос какой-то тряпкой, протянул ко мне металлическую трубку, — раздался выстрел, не громче звука шампанской пробки, и в ту же секунду тысячи маленьких когтей влезли мне в нос, в горло, в грудь, стали раздирать меня, глаза залились слезами от нестерпимой боли, я начал чихать, кашлять, внутренности мои выворачивало, и, простите, пани Зоя, поднялась такая рвота, что я повалился на пол.

— Ди-фенил-флор-арсин в смеси с фосгеном, по пятидесяти процентов каждого, — дешевая штука, мы вооружаем теперь полицию этими гранатками, — сказал Роллинг.

— Так... Пан говорит истину, — это была газовая гранатка... К счастью, сквозняк быстро унес газ. Я пришел в сознание и, полуживой, добрался до дому. Я был отравлен, разбит, агенты искали меня по городу, оставалось только бежать из Ленинграда, что мы и сделали с великими опасностями и трудами.

Тыклинский развел руками и поник, отдаваясь на милость. Зоя спросила:

— Вы уверены, что Гарин также бежал из России?

— Он должен был скрыться. После этой истории ему все равно пришлось бы давать объяснения уголовному розыску.

— Но почему он выбрал именно Париж?

— Ему нужны угольные пирамидки. Его аппарат без них все равно, что незаряженное ружье. Гарин — физик. Он ничего не смыслит в химии. По его заказу над этими пирамидками работал я, впоследствии тот, кто поплатился за это жизнью на Крестовском острове. Но у Гарина есть еще один компаньон здесь, в Париже, — ему он и послал телеграмму на бульвар Батиньоль. Гарин приехал сюда, чтобы следить за опытами над пирамидками.

— Какие сведения вы собрали о сообщнике инженера Гарина? — спросил Роллинг.

— Он живет в плохонькой гостинице, на бульваре Батиньоль, — мы были там вчера, нам кое-что рассказал привратник, — ответил Семенов. — Этот человек является домой только ночевать. Вещей у него никаких нет. Он выходит из дому в парусиновом балахоне, какой в Париже носят медики, лаборанты и студенты-химики. Видимо, он работает где-то там же, неподалеку.

— Наружность? Черт вас возьми, какое мне дело до его парусинового балахона! Описал вам привратник его наружность? — крикнул Роллинг.

Семенов и Тыклинский переглянулись. Поляк прижал руку к сердцу.

— Если пану угодно, мы сегодня же доставим сведения о наружности этого господина.

Роллинг долго молчал, брови его сдвинулись.

— Какие основания у вас утверждать, что тот, кого вы видели вчера в кафе на Батиньоль, и человек, удравший под землю на площади Этуаль, одно и то же лицо, именно инженер Гарин? Вы уже ошиблись однажды в Ленинграде. Что?

Поляк и Семенов опять переглянулись. Тыклинский с высшей деликатностью улыбнулся:

— Не будет же пан Роллинг утверждать, что у Гарина в каждом городе двойники...

Роллинг упрямо мотнул головой. Зоя Монроз сидела, закутав руки горностаевым мехом, равнодушно глядела в окно.

Семенов сказал:

— Тыклинский слишком хорошо знает Гарина, ошибки быть не может. Сейчас важно выяснить другое, Роллинг. Предоставляете вы нам одним обделать это де-

ло, — в одно прекрасное утро притащить на бульвар Мальзерб аппарат и чертежи, — или будете работать вместе с нами?

— Ни в коем случае! — неожиданно проговорила Зоя, продолжая глядеть в окно. — Мистер Роллинг весьма интересуется опытами инженера Гарина, мистеру Роллингу весьма желательно приобрести право собственности на это изобретение, мистер Роллинг всегда работает в рамках строгой законности; если бы мистер Роллинг поверил хотя бы одному слову из того, что здесь рассказывал Тыклинский, то, разумеется, не замедлил бы позвонить комиссару полиции, чтобы отдать в руки властей подобного негодяя и преступника. Но так как мистер Роллинг отлично понимает, что Тыклинский выдумал всю эту историю в целях выманить как можно больше денег, то он добродушно позволяет и в дальнейшем оказывать ему незначительные услуги.

Первый раз за весь завтрак Роллинг улыбнулся, вынул из жилетного кармана золотую зубочистку и вонзил ее между зубами. У Тыклинского на больших зализах побагровевшего лба выступил пот, щеки отвисли. Роллинг сказал:

— Ваша задача: дать мне точные и обстоятельные сведения по пунктам, которые будут вам сообщены сегодня в три часа на бульваре Мальзерб. От вас требуется работа приличных сыщиков — и только. Ни одного шага, ни одного слова без моих приказаний.

22

Белый, хрустальный, сияющий поезд линии Норд-Зюйд — подземной дороги — мчался с тихим грохотом по темным подземельям под Парижем. В загигающих туннелях проносились мимо паутина электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижимался озаряемый летящими огнями рабочий, желтые на черном буквы «ДЮБОНЭ», «ДЮБОНЭ», «ДЮБОНЭ» — отвратительного напитка, вбиваемого рекламами в сознание парижан.

Мгновенная остановка. Вокзал, залитый подземным светом. Цветные прямоугольники реклам:

ДИВНОЕ МЫЛО
МОГУЧИЕ ПОДТЯЖКИ
ВАКСА С ГОЛОВОЙ ЛЬВА
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ
РЕЗИНОВЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ КАБЛУКОВ
ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА В УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДОМАХ—
А У В Р
прекрасная цветочница
ГАЛЕРЕЯ ЛАФАЙЕТТ

Шумная, смеющаяся толпа хорошеньких женщин, мидинеток, рассыльных мальчиков, иностранцев, молодых людей в обтянутых пиджачках, рабочих в потных рубашках, заправленных под кумачовый кушак,— теснясь, придвигается к поезду. Мгновенно раздвигаются стеклянные двери... «О-о-о-о»,— проносится вздох, и водоворот шляпок, вытаращенных глаз, разинутых ртов, красных, веселых, рассерженных лиц устремляется вовнутрь. Кондуктора в кирпичных куртках, схватившись за поручни, вдавливают животом публику в вагоны. С треском захлопываются двери; короткий свист. Поезд огненной лентой ныряет под черный свод подземелья.

Семенов и Тыклинский сидели на боковой скамеечке вагона Норд-Зюйд, спиной к двери. Поляк горячился:

— Прошу пана заметить — лишь приличие удержало меня от скандала... Сто раз я мог вспылить... Не ел я завтраков у миллиардеров! Чихал я на эти завтраки... Могу не хуже сам заказать у «Лаперуза» и не буду выслушивать оскорблений уличной девки... Предложить Тыклинскому роль сыщика!.. Сучья дочь, шлюха!

— Э, бросьте, пан Стась, вы не знаете Зои,— она баба славная, хороший товарищ. Ну, погорячилась...

— Видимо, пани Зоя привыкла иметь дело со сволочью, вашими эмигрантами... Но я — поляк, прошу пана заметить,— Тыклинский страшно выпятил усы,— я не позволю со мной говорить в подобном роде...

— Ну, хорошо, усами потряс, облегчил душу, — после некоторого молчания сказал ему Семенов, — теперь слушай, Стась, внимательно: нам дают хорошие деньги, от нас в конце концов ни черта не требуют. Работа безопасная, даже приятная: шляйся по кабачкам да по кофейным... Я, например, очень удовлетворен сегодняшним разговором... Ты говоришь — сыщики... Ерунда! А я говорю — нам предложена благороднейшая роль контрразведчиков.

У дверей, позади скамьи, где разговаривали Тыклинский и Семенов, стоял, опираясь локтем о медную штангу, тот, кто однажды на бульваре Профсоюзов в разговоре с Шельгой назвал себя Пьянковым-Питкевичем. Воротник его коверкота был поднят, скрывая нижнюю часть лица, шляпа надвинута на глаза. Стоя небрежно и лениво, касаясь рта костяным набалдашником трости, он внимательно выслушал весь разговор Семенова и Тыклинского, вежливо посторонился, когда они сорвались с места, и вышел из вагона двумя станциями позже — на Монмартре. В ближайшем почтовом отделении он подал телеграмму.

*Ленинград. Чужезем. Шельга
Четырехнальный здешний
События угрожающие.*

23

Из почтамта он поднялся на бульвар Клиши и пошел по теневой стороне.

Здесь из каждой двери, из подвальных окон, из-под полосатых маркиз, покрывающих на широких тротуарах мраморные столики и соломенные стулья, тянуло кислотным запахом ночных кабаков. Гарсоны в коротеньких смокингах и белых фартуках, одутловатые, с набриллинными проборами, посыпали сырыми опилками кафельные полы и тротуары между столиками, ставили свежие охапки цветов, крутили бронзовые ручки, приподнимая маркизы.

Днем бульвар Клиши казался поблекшим, как декорация после карнавала. Высокие, некрасивые, старые дома сплошь заняты под рестораны, кабачки, кофейни, лавчонки с дребеденью для уличных девчонок, под ночные гостиницы. Каркасы и жестяные сооружения реклам, облупленные крылья знаменитой мельницы «Мулен-Руж», плакаты кино на тротуарах, два ряда чахлых деревьев посреди бульвара, писсуары, исписанные неприличными словами, каменная мостовая, по которой прошумели, прокатились столетия, ряды балаганов и каруселей, прикрытых брезентами,— все это ожидало ночи, когда зеваки и кутилы потянутся снизу, из буржуазных кварталов Парижа.

Тогда вспыхнут огни, засуетятся гарсоны, засвистят паровыми глотками, закрутятся карусели; на золотых свиньях, на быках с золотыми рогами, в лодках, кастрюлях, горшках — кругом, кругом, кругом,— отражаясь в тысяче зеркал, помчатся под звуки паровых оркестрионов девушки в юбчонках до колен, удивленные буржуа, воры с великолепными усами, японские улыбающиеся, как маски, студенты, мальчишки, гомосексуалисты, мрачные русские эмигранты, ожидающие падения большевиков.

Закрутятся огненные крылья «Мулен-Руж». Забегают по фасадам домов изломанные горящие стрелы. Вспыхнут надписи всемирно известных кабаков, из их открытых окон на жаркий бульвар понесется дикая трескотня, барабанный бой и гудки джаз-бандов.

В толпе запищат картонные дудки, затрещат трещотки. Из-под земли начнут вываливаться новые толпы, выброшенные метрополитеном и Норд-Зюйдом. Это Монмартр. Это горы Мартра, сияющие всю ночь веселыми огнями над Парижем,— самое беззаботное место на свете. Здесь есть где оставить деньги, где провести с хохочущими девчонками беспечную ночь.

Веселый Монмартр — это бульвар Клиши между двумя круглыми, уже окончательно веселыми площадями — Пигаль и Бланш. Налево от площади Пигаль тянется широкий и тихий бульвар Батиньоль. Направо за площадью Бланш начинается Сент-Антуанское предместье. Это — места, где живут рабочие и парижская беднота. Отсюда — с Батиньоля, с высот Монмартра и Сент-Антуана — не раз спускались вооруженные рабочие, чтобы овладеть Парижем. Четыре раза их загоняли пушками обратно на высоты. И нижний город, раскинувший по бере-

гам Сены банки, конторы, пышные магазины, отели для миллионеров и казармы для тридцати тысяч полицейских, четыре раза переходил в наступление, и в сердце рабочего города, на высотах, утвердил пылающими огнями мировых притонов сексуальную печать нижнего города — площадь Пигаль — бульвар Клиши — площадь Бланш.

24

Дойдя до середины бульвара, человек в коверкотовом пальто свернул в боковую узкую улочку, ведущую исхоженными ступенями на вершину Монмартра, внимательно оглянулся по сторонам и зашел в темный кабачок, где обычными посетителями были проститутки, шоферы, полуголодные сочинители куплетов и неудачники, еще носящие по старинному обычаю широкие штаны и широкополую шляпу.

Он спросил газету, рюмку портвейна и принялся за чтение. За цинковым прилавком хозяин кабачка — усатый, багровый француз, сто десять кило весом, — засучив по локоть волосатые руки, мыл под краном посуду и разговаривал, — хочешь — слушай, хочешь — нет.

— Что вы там ни говорите, а Россия нам наделала много хлопот (он знал, что посетитель — русский, звался мосье Пьер). Русские эмигранты не приносят больше дохода. Выдохлись, о-ла-ла... Но мы еще достаточно богаты, мы можем себе позволить роскошь дать приют нескольким тысячам несчастных. (Он был уверен, что его посетитель промышлял на Монмартре по мелочам.) Но, разумеется, всему свой конец. Эмигрантам придется вернуться домой. Увы! Мы вас помирим с вашим обширным отечеством, мы признаем ваши Советы, и Париж снова станет добрым старым Парижем. Мне надоела война, должен вам сказать. Десять лет продолжается это несварение желудка. Советы выражают желание платить мелким держателям русских ценностей. Умно, очень умно с их стороны. Да здравствуют Советы! Они неплохо ведут политику. Они большевизируют Германию. Прекрасно! Аплодирую. Германия станет советской и разоружится сама собой. У нас не будет болеть желудок при мысли об их химической промышленности. Глупцы в нашем квартале

считают меня большевиком. О-ла-ла!.. У меня правильный расчет. Большевизация нам не страшна. Подсчитайте — сколько в Париже добрых буржуа и сколько рабочих. Ого! Мы, буржуа, сможем защитить свои сбережения... Я спокойно смотрю, когда наши рабочие кричат: «Да здравствует Ленин!» — и махают красными флагами. Рабочий — это бочонок с забродившим вином, его нельзя держать закупоренным. Пусть его кричит: «Да здравствуют Советы!» — я сам кричал на прошлой неделе. У меня на восемь тысяч франков русских процентных бумаг. Нет, вам нужно мириться с вашим правительством. Довольно глупостей. Франк падает. Проклятые спекулянты, эти вши, которые облепляют каждую нацию, где начинает падать валюта, — это племя инфлянтов снова перекочевало из Германии в Париж.

В кабачок быстро вошел худощавый человек в парусиновом балахоне, с непокрытой светловолосой головой.

— Здравствуй, Гарин, — сказал он тому, кто читал газету, — можешь меня поздравить... Удача...

Гарин стремительно поднялся, стиснул ему руки:

— Виктор...

— Да, да. Я страшно доволен... Я буду настаивать, чтобы мы взяли патент.

— Ни в коем случае... Идем.

Они вышли из кабачка, поднялись по ступенчатой улочке, свернули направо и долго шли мимо грязных домов предместья, мимо огороженных колючей проволокой пустырей, где трепалось жалкое белье на веревках, мимо кустарных заводиков и мастерских.

День кончался. Навстречу попадались кучки усталых рабочих. Здесь, на горах, казалось, жило иное племя людей, иные были у них лица, — твердые, худощавые, сильные. Казалось, французская нация, спасаясь от ожирения, сифилиса и дегенерации, поднялась на высоты над Парижем и здесь спокойно и сурово ожидает часа, когда можно будет очистить от скверны низовой город и снова повернуть корабль Лютеции¹ в солнечный океан.

— Сюда, — сказал Виктор, отворяя американским ключом дверь низенького каменного сарая.

¹ Герб Парижа, или по-древнему — Лютеции — золотой корабль.

Гарин и Виктор Ленуар подошли к небольшому кирпичному горну под колпаком. Рядом на столе лежали рядками пирамидки. На горне стояло на ребре толстое бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками, расположенными по его окружности. Ленуар зажег свечу и со странной усмешкой взглянул на Гарина.

— Петр Петрович, мы знакомы с вами лет пятнадцать, — так? Съели не один пуд соли. Вы могли убедиться, что я человек честный. Когда я удрал из Советской России — вы мне помогли... Из этого я заключаю, что вы относитесь ко мне неплохо. Скажите — какого черта вы скрываете от меня аппарат? Я же знаю, что без меня, без этих пирамидок — вы беспомощны... Давайте по-товарищески...

Внимательно рассматривая бронзовое кольцо с фарфоровыми чашечками, Гарин спросил:

— Вы хотите, чтобы я открыл тайну?

— Да.

— Вы хотите стать участником в деле?

— Да.

— Если понадобится, а я предполагаю, что в дальнейшем понадобится, вы должны будете пойти на все для успеха дела...

Не сводя с него глаз, Ленуар присел на край горна, углы рта его задрожали.

— Да, — твердо сказал он, — согласен.

Он потянул из кармана халата тряпочку и вытер лоб.

— Я вас не вынуждаю, Петр Петрович. Я завел этот разговор потому, что вы самый близкий мне человек, как это ни странно... Я был на первом курсе, вы — на втором. Еще с тех пор, ну, как это сказать, я преклонялся, что ли, перед вами... Вы страшно талантливы... блестящи... Вы страшно смелы. Ваш ум — аналитический, дерзкий, страшный. Вы страшный человек. Вы жестки, Петр Петрович, как всякий крупный талант, вы недогадливы к людям. Вы спросили — готов ли я на все, чтобы работать с вами... Конечно, ну, конечно... Какой же может быть разговор? Терять мне нечего. Без вас — будничная работа, будни до конца жизни. С вами — праздник или гибель... Согласен ли я на все?.. Смешно... Что же — это «все»? Украсть, убить?

Он остановился. Гарин глазами сказал «да». Ленуар усмехнулся.

— Я знаю французские уголовные законы... Согласен ли я подвергнуть себя опасности их применения? — согласен... Между прочим, я видел знаменитую газовую атаку германцев двадцать второго апреля пятнадцатого года. Из-под земли поднялось густое облако и поползло на нас желто-зелеными волнами, как мираж, — во сне этого не увидишь. Тысячи людей бежали по полям, в нестерпимом ужасе, бросая оружие. Облако настигало их. У тех, кто успел выскочить, были темные, багровые лица, вывалившиеся языки, выжженные глаза... Какой вздор «моральные понятия»... Ого, мы — не дети после войны.

— Одним словом, — насмешливо сказал Гарин, — вы, наконец, поняли, что буржуазная мораль — один из самых ловких арапских номеров, и дураки те, кто из-за нее глотает зеленый газ. По правде сказать, я мало задумывался над этими проблемами... Итак... Я добровольно принимаю вас товарищем в дело. Вы беспрекословно подчинитесь моим распоряжениям. Но есть одно условие...

— Хорошо, согласен на всякое условие.

— Вы знаете, Виктор, что в Париж я попал с подложным паспортом, каждую ночь я меняю гостиницу. Иногда мне приходится брать уличную девку, чтобы не возбуждать подозрения. Вчера я узнал, что за мною следят. Поручена эта слежка русским. Видимо, меня принимают за большевистского агента. Мне нужно навести сыщиков на ложный след.

— Что я должен делать?

— Загримироваться мной. Если вас схватят, вы предъявите ваши документы. Я хочу раздвоиться. Мы с вами одного роста. Вы покрасите волосы, приклеите фальшивую бородку, мы купим одинаковые платья. Затем сегодня же вечером вы переедете из вашей гостиницы в другую часть города, где вас не знают, — скажем — в Латинский квартал. По рукам?

Ленуар соскочил с горна, крепко пожал Гарину руку. Затем он принялся объяснять, как ему удалось приготовить пирамидки из смеси алюминия и окиси железа (термита) с твердым маслом и желтым фосфором.

Поставив на фарфоровые чашечки кольца двенадцать пирамидок, он зажег их при помощи шнура. Столб ослепительного пламени поднялся над горном. Пришлось отойти в глубь сарая, — так нестерпимы были свет и жар.

— Превосходно, — сказал Гарин, — надеюсь — никакой копоты?

— Сгорание полное, при этой страшной температуре. Материалы химически очищены.

— Хорошо. На этих днях вы увидите чудеса, — сказал Гарин, — идем обедать. За вещами в гостиницу пошлем посыльного. Переночуем на левом берегу. А завтра в Париже окажется двое Гариных... У вас имеется второй ключ от сарая?

26

Здесь не было ни блестящего потока автомобилей, ни праздных людей, свертывающих себе шею, глядя на окна магазинов, ни головокружительных женщин, ни индустриальных королей.

Штабели свежих досок, горы булыжника, посреди улицы отвалы синей глины и, разложенные сбоку тротуара, как разрезанный гигантский червяк, звенья канализационных труб.

Спартаконец Тарашкин шел не спеша на острова, в клуб. Он находился в самом приятном расположении духа. Внешнему наблюдателю он показался бы даже мрачным на первый взгляд, но это происходило оттого, что Тарашкин был человек основательный, уравновешенный и веселое настроение у него не выражалось каким-либо внешним признаком, если не считать легкого посвистывания да спокойной походочки.

Не доходя шагов ста до трамвая, он услышал возню и писк между штабелями торцов. Все происходящее в городе, разумеется, непосредственно касалось Тарашкина.

Он заглянул за штабели и увидел трех мальчиков, в штанах клешем и в толстых куртках: они, сердито сопя, колотили четвертого мальчика, меньше их ростом, — босого, без шапки, одетого в ватную кофту, такую рваную, что можно было удивиться. Он молча защищался. Худенькое лицо его было исцарапано, маленький рот плотно сжат, карие глаза — как у волчонка.

Тарашкин сейчас же схватил двух мальчишек и за шиворот поднял на воздух, третьему дал ногой леща, — мальчишка взвыл и скрылся за торцами.

Другие двое, болтаясь в воздухе, начали грозиться ужасными словами. Но Тарашкин потрянул их посильней, и они успокоились.

— Это я не раз вижу на улице, — сказал Тарашкин, заглядывая в их сопящие рыльца, — маленьких обижать, шкеты! Чтобы этого у меня больше не было. Поняли?

Вынужденные ответить в положительном смысле, мальчишки сказали угрюмо:

— Поняли.

Тогда он их отпустил, и они, ворча, что, мол, попадись нам теперь, удалились, — руки в карманы.

Избитый маленький мальчик тоже попытался было скрыться, но только повертелся на одном месте, слабо застонал и сел, уйдя с головой в рваную кофту.

Тарашкин наклонился над ним. Мальчик плакал.

— Эх, ты, — сказал Тарашкин, — ты где живешь-то?

— Нигде, — из-под кофты ответил мальчик.

— То есть как это — нигде? Мамка у тебя есть?

— Нету.

— И отца нет? Так. Беспризорный ребенок. Очень хорошо.

Тарашкин стоял некоторое время, распустив морщины на носу. Мальчик, как муха, жужжал под кофтой.

— Есть хочешь? — спросил Тарашкин сердито.

— Хочу.

— Ну ладно, пойдем со мной в клуб.

Мальчик попытался было встать, но не держали ноги. Тарашкин взял его на руки, — в мальчишке не было и пуда весу, — и понес к трамваю. Ехали долго. Во время пересадки Тарашкин купил булку, мальчишка с судорогой вонзил в нее зубы. До гребной школы дошли пешком. Впуская мальчика за калитку, Тарашкин сказал:

— Смотри только, чтобы не воровать.

— Не, я хлеб только ворую.

Мальчик сонно глядел на воду, играющую солнечными зайчиками на лакированных лодках, на серебристо-зеленую иву, опрокинувшую в реке свою красу, на двухвесельные, четырехвесельные гички с мускулистыми и загорелыми гребцами. Худенькое личико его было равнодушное и усталое. Когда Тарашкин отвернулся, он залез под деревянный помост, соединяющий широкие ворота клуба с болами, и, должно быть, сейчас же уснул, свернувшись.

Вечером Тарашкин вытащил его из-под мостков, велел вымыть в речке лицо и руки и повел ужинать. Мальчика посадили за стол с гребцами. Тарашкин сказал товарищам:

— Этого ребенка можно даже при клубе оставить, не объест, к воде приучим, нам расторопный мальчонка нужен.

Товарищи согласились: пускай живет. Мальчик спокойно все это слушал, степенно ел. Поужинав, молча полез с лавки. Его ничто не удивляло, — видел и не такие виды.

Тарашкин повел его на боны, велел сесть и начал разговор.

— Как тебя зовут?

— Иваном.

— Ты откуда?

— Из Сибири. С Амура, с верху.

— Давно оттуда?

— Вчера приехал.

— Как же ты приехал?

— Где пешком плелся, где под вагоном в ящиках.

— Зачем тебя в Ленинград занесло?

— Ну, это мое дело, — ответил мальчик и отвернулся, — значит надо, если приехал.

— Расскажи, я тебе ничего не сделаю.

Мальчик не ответил и опять понемногу стал уходить головой в кофту. В этот вечер Тарашкин ничего от него не добился.

27

Двойка — двухвесельная распашная гичка из красного дерева, изящная, как скрипка, — узкой полоской едва двигалась по зеркальной реке. Оба весла плашмя скользили по воде. Шельга и Тарашкин в белых трусиках, по пояс голые, с шершавыми от солнца спинами и плечами, сидели неподвижно, подняв колени.

Рулевой, серьезный парень в морском картузе и в шарфе, обмотанном вокруг шеи, глядел на секундомер.

— Гроза будет, — сказал Шельга.

На реке было жарко, ни один лист не шевелился на пышно-лесистом берегу. Деревья казались преувеличенно вытянутыми. Небо до того насыщено солнцем, что голубовато-хрустальный свет его словно валился грудami кристаллов. Ломило глаза, сжимало виски.

— Весла на воду! — скомандовал рулевой.

Гребцы разом пригнулись к раздвинутым коленям и, закинув, погрузив весла, откинулись, почти легли, вытянув ноги, откатываясь на сиденьях.

— Ать-два!

Весла выгнулись, гичка, как лезвие, скользнула по реке.

— Ать-два, ать-два, ать-два! — командовал рулевой.

Мерно и быстро, в такт ударам сердца — вдыханию и выдыханию — сжимались, нависая над коленями, тела гребцов, распрямлялись, как пружины. Мерно, в ритм потоку крови, в горячем напряжении работали мускулы.

Гичка летела мимо прогулочных лодок, где люди в подтяжках беспомощно барахтали веслами. Гребя, Шельга и Тарашкин прямо глядели перед собой, — на переносицу рулевого, держа глазами линию равновесия. С прогулочных лодок успевали только крикнуть вслед: — Ишь, черти!.. Вот дунули!..

Вышли на взморье. Опять на одну минуту неподвижно легли на воде. Вытерли пот с лица. «Ать-два!» Повернули обратно мимо яхт-клуба, где мертвыми полотнищами в хрустальном зное висели огромные паруса гоночных яхт ленинградских профсоюзов. Играла музыка на веранде яхт-клуба. Не колыхались протянутые вдоль берега легкие пестрые значки и флаги. Со шлюпок в середину реки бросались коричневые люди, взметая брызги.

Проскользнув между купальщиками, гичка пошла по Невке, пролетела под мостом, несколько секунд висела на руле у четырехвесельного аутригера из клуба «Стрела», обогнала его (рулевой через плечо спросил: «Может, на буксир хотите?»), вошла в узкую, с пышными берегами, Крестовку, где в зеленой тени серебристых ив скользили красные платочки и голые колени женской учебной команды, и стала у бонов гребной школы.

Шельга и Тарашкин выскочили на боны, осторожно положили на покатый помост длинные весла, нагнулись над гичкой и по команде рулевого выдернули ее из воды, подняли на руках и внесли в широкие ворота, в сарай. Затем пошли под душ. Растерлись докрасна и, как полагается, выпили по стакану чаю с лимоном. После этого они почувствовали себя только что рожденными в этом прекрасном мире, который стоит того, чтобы принялись, наконец, за его благоустройство.

28

На открытой веранде, на высоте этажа (где пили чай), Тарашкин рассказал про вчерашнего мальчика:

— Расторопный, умница, ну, прелесть. — Он перегнулся через перила и крикнул: — Иван, поди-ка сюда.

Сейчас же по лестнице затопали босые ноги. Иван появился на веранде. Рваную кофту он снял. (По санитарным соображениям ее сожгли на кухне.) На нем были

гребные трусики и на голом теле суконный жилет, невероятно ветхий, весь перевязанный веревочками.

— Вот, — сказал Тарашкин, указывая пальцем на мальчика, — сколько его ни уговариваю снять жилетку — нипочем не хочет. Как ты купаться будешь, я тебя спрашиваю? И была бы жилетка хорошая, а то — грязь.

— Я купаться не могу, — сказал Иван.

— Тебя в бане надо мыть, ты весь черный, чумазый.

— Не могу я в бане мыться. Во, по сих пор — могу, — Иван показал на пупок, помялся и придвинулся поближе к двери.

Тарашкин, деря ногтями икры, на которых по загару оставались белые следы, крикнул с досады:

— Что хочешь с ним, то и делай.

— Ты что же, — спросил Шельга, — воды боишься? Мальчик посмотрел на него без улыбки:

— Нет, не боюсь.

— Чего же не хочешь купаться?

Мальчик опустил голову, упрямо поджал губы.

— Боишься жилетку снимать, боишься — украдут? — спросил Шельга.

Мальчик дернул плечиком, усмехнулся.

— Ну, вот что, Иван, не хочешь купаться — дело твое. Но жилетку мы допустить не можем. Бери мою жилетку, раздевайся.

Шельга начал расстегивать на себе жилет. Иван попятился. Зрачки его беспокойно забегали. Один раз, умоляя, он взглянул на Тарашкина и все придвигался бочком к стеклянной двери, раскрытой на внутреннюю темную лестницу.

— Э, так мы играть не уговаривались. — Шельга встал, запер дверь, вынул ключ и сел прямо против двери. — Ну, снимай.

Мальчик оглядывался, как зверек. Стоял он теперь у самой двери — спиной к стеклам. Брови у него сдвинулись. Вдруг решительно он сбросил с себя лохмотья и протянул Шельге:

— На, давай свою.

Но Шельга с величайшим удивлением глядел уже не на мальчика, а мимо его плеча — на дверные стекла.

— Давайте, — сердито повторил Иван, — чего сметесь? — не маленькие.

— Ну и чудак! — Шельга громко рассмеялся. — Повернись-ка спиной. (Мальчик, точно от толчка, ударился затылком в стекло.) Повернись, все равно вижу, что у тебя на спине написано.

Тарашкин вскочил. Мальчик легким комочком перелетел через веранду, перекатился через перила. Тарашкин на лету едва успел схватить его. Острыми зубами Иван впился ему в руку.

— Вот дурной. Брось кусаться!

Тарашкин крепко прижал его к себе. Гладил по сизой обритой голове.

— Дикий совсем мальчишка. Как мышь, дрожит. Будет тебе, не обидим.

Мальчик затих в руках у него, только сердце билось. Вдруг он прошептал ему в ухо:

— Не велите ему, нельзя у меня на спине читать. Никому не велено. Убьют меня за это.

— Да не будем читать, нам не интересно, — повторял Тарашкин, плача от смеха. Шельга все это время стоял в другом конце террасы, — кусал ногти, щурился, как человек, отгадывающий загадку. Вдруг он подскочил и, несмотря на сопротивление Тарашкина, повернул мальчика к себе спиной. Изумление, почти ужас изобразились на его лице. Чернильным карандашом ниже лопаток на худой спине у мальчишки было написано расплывшимися от пота полустертыми буквами:

ПЕТРУ ГАРИНУ
РЕЗУЛЬТАТЫ САМЫЕ УТЕШИТЕЛЬНЫЕ
ГЛУБИНУ РАВНИНЫ ПРЕДПОЛАГАЮ НА ПАТН КИЛОМЕТРАХ
ПРОДОЛЖАЮТ ИЗЫСКАНИЯ
НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ
ГОЛОД ТОРОПИСЬ
ЭКСПЕДИЦИЯ

— Гарин, это — Гарин! — закричал Шельга. В это время на двор клуба, треща и стреляя, влетел мотоциклет уголовного розыска, и голос агента крикнул снизу:

— Товарищ Шельга, вам — срочная...

Это была телеграмма Гарина из Парижа.

Золотой карандашик коснулся блокнота:

— Ваша фамилия, сударь?

— Пьянков-Питкевич.

— Цель вашего посещения?..

— Передайте мистеру Роллингу, — сказал Гарин, — что мне поручено вести переговоры об известном ему аппарате инженера Гарина.

Секретарь мгновенно исчез. Через минуту Гарин входил через ореховую дверь в кабинет химического короля. Роллинг писал. Не поднимая глаз, предложил сесть. Затем — не поднимая глаз:

— Мелкие денежные операции проходят через моего секретаря, — слабой рукой он схватил пресс-папье и стукнул по написанному, — тем не менее я готов слушать вас. Даю две минуты. Что нового об инженере Гарине?

Положив ногу на ногу, сильно вытянутые руки — на колено, Гарин сказал:

— Инженер Гарин хочет знать, известно ли вам в точности назначение его аппарата?

— Да, — ответил Роллинг, — для промышленных целей, насколько мне известно, аппарат представляет некоторый интерес. Я говорил кое с кем из членов правления нашего концерна, — они согласны приобрести патент.

— Аппарат не предназначен для промышленных целей, — резко ответил Гарин, — это аппарат для разрушения. Он с успехом, правда, может служить для металлургической и горной промышленности. Но в настоящее время у инженера Гарина замыслы иного порядка.

— Политические?

— Э... Политика мало интересует инженера Гарина. Он надеется установить именно тот социальный строй, какой ему более всего придется по вкусу. Политика — мелочь, функция.

— Где установить?

— Повсюду, разумеется, на всех пяти материках.

— Ого! — сказал Роллинг.

— Инженер Гарин не коммунист, успокойтесь. Но он и не совсем ваш. Повторяю — у него обширные замыслы.

Аппарат инженера Гарина дает ему возможность осуществить на деле самую горячую фантазию. Аппарат уже построен, его можно демонстрировать хотя бы сегодня.

— Гм! — сказал Роллинг.

— Гарин следил за вашей деятельностью, мистер Роллинг, и находит, что у вас неплохой размах; но вам не хватает большой идеи. Ну — химический концерн. Ну — воздушно-химическая война. Ну — превращение Европы в американский рынок... Все это мелко, нет центральной идеи. Инженер Гарин предлагает вам сотрудничество.

— Вы или он — сумасшедший? — спросил Роллинг. Гарин рассмеялся, сильно потер пальцем сбоку носа.

— Видите — хорошо уж и то, что вы слушаете меня не две, а девять с половиной минут.

— Я готов предложить инженеру Гарину пятьдесят тысяч франков за патент его изобретения, — сказал Роллинг, снова принимаясь писать.

— Предложение нужно понимать так: силой или хитростью вы намерены овладеть аппаратом, а с Гариным расправиться так же, как с его помощником на Крестовском острове?

Роллинг быстро положил перо, только два красных пятна на его скулах выдали волнение. Он взял с пепельницы курившуюся сигару, откинулся в кресло и посмотрел на Гарина ничего не выражающими, мутными глазами.

— Если предположить, что именно так я и намерен поступить с инженером Гариным, что из этого вытекает?

— Вытекает то, что Гарин, видимо, ошибся.

— В чем?

— Предполагая, что вы негодяй более крупного масштаба. — Гарин проговорил это отдельно, по слогам, глядя весело и дерзко на Роллинга. Тот только выпустил синий дымок и осторожно помахал сигарой у носа.

— Глупо делить с инженером Гариным барыши, когда я могу взять все сто процентов, — сказал он. — Итак, чтобы кончить, я предлагаю сто тысяч франков и ни сентима больше.

— Право, мистер Роллинг, вы как-то все сбиваетесь. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты Семенов

и Тыклинский проследили, где живет Гарин. Донесите полиции, и его арестуют как большевистского шпиона. Аппарат и чертежи украдут те же Тыклинский и Семенов. Все это будет стоить вам не свыше пяти тысяч. А Гарина, чтобы он не пытался в дальнейшем восстановить чертежи, — всегда можно отправить по этапу в Россию через Польшу, где его прихлопнут на границе. Просто и дешево. Зачем же сто тысяч франков?

Роллинг поднялся, покосился на Гарина и стал ходить, утопая лакированными туфлями в серебристом ковре. Вдруг он вытащил руку из кармана и щелкнул пальцами.

— Дешевая игра, — сказал он, — вы врете. Я продумал вперед на пять ходов всевозможные комбинации. Опасности никакой. Вы просто дешевый шарлатан. Игра Гарина — мат. Он это знает и прислал вас торговаться. Я не дам и двух луидоров за его патент. Гарин выслежен и попался. (Он живо взглянул на часы, живо сунул их в жилетный карман.) Убирайтесь к черту!

Гарин в это время тоже поднялся и стоял у стола, опустив голову. Когда Роллинг послал его к черту, он провел рукой по волосам и проговорил упавшим голосом, будто человек, неожиданно попавший в ловушку:

— Хорошо, мистер Роллинг, я согласен на все ваши условия. Вы говорите о ста тысячах...

— Ни сентима! — крикнул Роллинг. — Убирайтесь, или вас вышвырнут!

Гарин запустил пальцы за воротник, глаза его начали закатываться. Он пошатнулся. Роллинг заревел:

— Без фокусов! Вон!

Гарин захрипел и повалился боком на стол. Правая рука его ударилась в исписанные листы бумаги и судорожно стиснула их. Роллинг подскочил к электрическому звонку. Мгновенно появился секретарь...

— Вышвырните этого субъекта...

Секретарь присел, как барс, изящные усики ощетинились, под тонким пиджаком налились стальные мускулы... Но Гарин уже отходил от стола — бочком, бочком, кланяясь Роллингу. Бегом спустился по мраморной лестнице на бульвар Мальзерб, вскочил в наемную машину с поднятым верхом, крикнул адрес, поднял оба окошка, спустил зеленые шторы и коротко, резко рассмеялся.

Из кармана пиджака он вынул скомканную бумагу и осторожно расправил ее на коленях. На хрустящем ли-

сте (вырванном из большого блокнота) крупным почерком Роллинга были набросаны деловые заметки на сегодняшний день. Видимо, в ту минуту, когда в кабинет вошел Гарин, рука насторожившегося Роллинга стала писать машинально, выдавая тайные мысли. Три раза, одно под другим было написано: *«Улица Гобеленов, шестьдесят три, инженер Гарин»*. (Это был новый адрес Виктора Ленуара, только что сообщенный по телефону Семеновым.) Затем: *«Пять тысяч франков — Семенову...»*

— Удача! Черт! Вот удача! — шептал Гарин, осторожно разглаживая листочки на коленях.

30

Через десять минут Гарин выскочил из автомобиля на бульваре Сен-Мишель. Зеркальные окна в кафе «Пантеон» были подняты. В глубине за столиком сидел Виктор Ленуар. Увидев Гарина, поднял руку и щелкнул пальцами.

Гарин поспешно сел за его столик — спиной к свету. Казалось, он сел против зеркала: такая же была у Виктора Ленуара продолговатая борода, мягкая шляпа, галстук бабочкой, пиджак в полоску.

— Поздравь — удача! Необычайно! — сказал Гарин, сморщив глаза. — Роллинг пошел на все. Предварительные расходы несет единолично. Когда начнется эксплуатация, пятьдесят процентов вала — ему, пятьдесят — нам.

— Ты подписал контракт?

— Подписываем через два-три дня. Демонстрацию аппарата придется отложить. Роллинг поставил условие — подписать только после того, как своими глазами увидит работу аппарата.

— Ставишь бутылку шампанского?

— Две, три, дюжину.

— А все-таки — жаль, что эта акула проглотит у нас половину доходов, — сказал Ленуар, подзывая лакея. — Бутылку Ирруа, самого сухого...

— Без капитала все равно мы не развернемся. Вот, Виктор, если бы удалось мое камчатское предприятие, — десять Роллингов послали бы к чертям.

— Какое камчатское предприятие?

Лакей принес вино и бокалы, Гарин закурил сигару, откинулся на соломенном стуле и, покачиваясь, жмурясь, стал рассказывать:

— Ты помнишь Манцева Николая Христофоровича, геолога? В пятнадцатом году он разыскал меня в Петрограде. Он только что вернулся с Дальнего Востока, испугавшись мобилизации, и попросил моей помощи, чтобы не попасть на фронт.

— Манцев служил в английской золотой компании?

— Производил разведки на Лене, на Алдане, затем в Колыме. Рассказывал чудеса. Они находили прямо под ногами самородки в пятнадцать килограммов... Вот тогда именно у меня зародилась идея, генеральная идея моей жизни... Это очень дерзко, даже безумно, но я верю в это. А раз верю — сам сатана меня не остановит. Видишь ли, мой дорогой, единственная вещь на свете, которую я хочу всеми печенками, — это власть... Не какая-нибудь королевская, императорская, — мелко, пошло, скучно. Нет, власть абсолютная... Когда-нибудь подробно расскажу тебе о моих планах. Чтобы властвовать — нужно золото. Чтобы властвовать, как я хочу, нужно золота больше, чем у всех индустриальных, биржевых и прочих королей вместе взятых...

— Действительно, у тебя планы смелые, — весело засмеявшись, сказал Ленуар.

— Но я на верном пути. Весь мир будет у меня — вот! — Гарин сжал в кулак маленькую руку. — Вехи на моем пути — это гениальный Манцев Николай Христофорович, затем Роллинг, вернее — его миллиарды, и, в-третьих, — мой гиперболоид...

— Так что же Манцев?

— Тогда же, в пятнадцатом году, я мобилизовал все свои деньжонки, больше нахальством, чем подкупом, освободил Манцева от воинской повинности и послал его с небольшой экспедицией на Камчатку, в чертову глушь... До семнадцатого года он мне еще писал: работа его была тяжелая, труднейшая, условия собачьи... С восемнадцатого года — сам понимаешь — след его потерялся... От его изысканий зависит все...

— Что он там ищет?

— Он ничего не ищет... Манцев должен только подтвердить мои теоретические предположения. Побережье

Тихого океана — азиатское и американское — представляет края древнего материка, опустившегося на дно океана. Такая гигантская тяжесть должна была сказаться на распределении глубоких горных пород, находящихся в расплавленном состоянии... Цепи действующих вулканов Южной Америки — в Андах и Кордильерах, вулканы Японии и, наконец, Камчатки подтверждают то, что расплавленные породы Оливинового пояса — золото, ртуть, оливин и прочее — по краям Тихого океана гораздо ближе к поверхности земли, чем в других местах земного шара...¹ Понятно тебе?

— Не понимаю, тебе-то зачем этот Оливиновый пояс?

— Чтобы владеть миром, дорогой мой... Ну, выпьем. За успех...

31

В черной шелковой кофточке, какие носят мидинетки, в короткой юбке, напудренная, с подведенными ресницами, Зоя Монроз соскочила с автобуса у ворот Сен-Дени, перебежала шумную улицу и вошла в огромное, выходящее на две улицы кафе «Глобус» — приют всевозможных певцов и певичек с Монмартра, актеров и актрисок средней руки, воров, проституток и анархически настроенных молодых людей из тех, что с десятью су бегают по бульварам, облизывая пересохшие от лихорадки губы, вождедея женщин, ботинки, шелковое белье и все на свете...

Зоя Монроз отыскала свободный столик. Закурила папироску, положила ногу на ногу. Сейчас же близко прошел человек с венерическими коленками, — пробормотал сиповато: «Почему такая сердитая, крошка?» Она отвернулась. Другой, за столиком, прищурясь, показал язык. Еще один разлетелся, будто по ошибке: «Ки-ки, наконец-то...» Зоя коротко послала его к черту.

Видимо, на нее здесь сильно клевали, хотя она и постаралась принять вид уличной девчонки. В кафе «Глобус» был нюх на женщин. Она приказала гарсону подать литр

¹ Существует предположение, что между земной корой и твердым центральным ядром земли есть слой расплавленных металлов — так называемый Оливиновый пояс.

красного и села перед налитым стаканом, подперев щеки. «Нехорошо, малютка, ты начинаешь спиваться», — сказал старичок актер, проходя мимо, потрепав ее по спине.

Она выкурила уже три папиросы. Наконец, не спеша подошел тот, кого она ждала, — угрюмый, плотный человек, с узким, заросшим лбом и холодными глазами. Усы его были приподняты, цветной воротник врезывался в сильную шею. Он был отлично одет — без лишнего шика. Сел. Коротко поздоровался с Зоей. Поглядел вокруг, и кое-кто опустил глаза. Это был Гастон Утиный Нос, в прошлом — вор, затем бандит из шайки знаменитого Бонно. На войне он выслужился до унтер-офицера и после демобилизации перешел на спокойную работу кота крупного масштаба.

Сейчас он состоял при небезызвестной Сюзанне Бурж. Но она отцветала. Она опускалась на ту ступень, которую Зоя Монроз давно уже перешагнула. Гастон Утиный Нос говорил:

— У Сюзанны хороший материал, но никогда использовать его она не сможет. Сюзанна не чувствует современности. Экое диво — кружевные панталоны и утренняя ванна из молока. Старо, — для провинциальных пожарных. Нет, клянусь горчичным газом, который выжег мне спину у дома паромщика на Изере, — современная проститутка, если хочет быть шикарной, должна поставить в спальне радиоаппарат, учиться боксу, стать колючей, как военная проволока, тренированной, как восемнадцатилетний мальчишка, уметь ходить на руках и прыгать с двадцати метров в воду. Она должна посещать собрания фашистов, разговаривать об отравляющих газах и менять любовников каждую неделю, чтобы не приучить их к свинству. А моя, изволите ли видеть, лежит в молочной ванне, как норвежская семга, и мечтает о сельскохозяйственной ферме в четыре гектара. Пошлая дура, — у нее за плечами публичный дом.

К Зое Монроз он относился с величайшим уважением. Встречаясь в ночных ресторанах, почтительно предлагал ей протанцевать и целовал руку, что делал единственной женщине в Париже. Зоя едва кланялась небезызвестной Сюзанне Бурж, но с Гастоном поддерживала дружбу, и он время от времени выполнял наиболее щекотливые из ее поручений.

Сегодня она спешно вызвала Гастона в кафе «Глобус» и появилась в обольстительном виде уличной мидинетки. Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно.

Потягивая кислое вино, жмурясь от дыма трубки, он хмуро слушал, что ему говорила Зоя. Окончив, она хрустнула пальцами. Он сказал:

— Но это — опасно.

— Гастон, если это удастся, вы навсегда обеспеченный человек.

— Ни за какие деньги, сударыня, ни за мокрое, ни за сухое дело я теперь не возьмусь: не те времена. Сегодня апаша предпочитают служить в полиции, а профессиональные воры — издавать газеты и заниматься политикой. Убивают и грабят только новички, провинциалы да мальчишки, получившие венерическую болезнь. И немедленно записываются в полицию. Что поделаешь — зрелым людям приходится оставаться в спокойных гаванях. Если вы хотите меня нанять за деньги — я откажусь. Другое — сделать это для вас. Тут я бы мог рискнуть свернуть себе шею.

Зоя выпустила дымок из уголка пунцовых губ, улыбнулась нежно и положила красивую руку на рукав Утинового Носа.

— Мне кажется, — мы с вами договоримся.

У Гастона дрогнули ноздри, зашевелились усы. Он прикрыл синеватыми веками нестерпимый блеск выпуклых глаз.

— Вы хотите сказать, что я теперь же мог бы освободить Сюзанну от моих услуг?

— Да, Гастон.

Он перегнулся через стол, стиснул бокал в кулаке.

— Мои усы будут пахнуть вашей кожей?

— Я думаю, что этого не избежать, Гастон.

— Ладно. — Он откинулся. — Ладно. Будет все, как вы хотите.

32

Обед окончен. Кофе со столетним коньяком выпито. Двухдолларовая сигара — «Корона Коронас» — выкурена до половины, и пепел ее не отвалился. Наступил мучительный час: куда ехать «дальше», каким

сатанинским смычком сыграть на усталых нервах что-нибудь веселенькое?

Роллинг потребовал афишу всех парижских развлечений.

— Хотите танцевать?

— Нет,— ответила Зоя, закрывая мехом половину лица.

— Театр, театр, театр,— читал Роллинг. Все это было скучно: трехактная разговорная комедия, где актеры от скуки и отвращения даже не гримируются, актрисы в туалетах от знаменитых портных глядят в зрительный зал пустыми глазами.

— Обзорение. Обзорение. Вот: «Олимпия» — сто пятьдесят голых женщин в одних туфельках и чудо техники: деревянный занавес, разбитый на шахматные клетки, в которых при поднятии и опускании стоят совершенно голые женщины. Хотите — поедем?

— Милый друг, они все кривоногие — девчонки с бульваров.

— «Аполло». Здесь мы не были. Двести голых женщин в одних только... Это мы пропустим. «Ска́ла». Опять женщины. Так, так. Кроме того, «Всемирно известные музыкальные клоуны Пим и Джек».

— О них говорят,— сказала Зоя,— поедемте.

Они заняли литерную ложу у сцены. Шло обзорение.

Непрерывнодвигающийся молодой человек в отличном фраке и зрелая женщина в красном, в широкополой шляпе и с посохом говорили добродушные колкости правительству, невинные колкости шефу полиции, очаровательно подсмеивались над высоковалютными иностранцами, впрочем, так, чтобы они не уехали сейчас же после этого обзорения совсем из Парижа и не отсоветовали бы своим друзьям и родственникам посетить веселый Париж.

Поболтав о политике, непрерывнодвигающий ногами молодой человек и дама с посохом воскликнули: «Гоп, ля-ля». И на сцену выбежали голые, как в бане, очень белые, напудренные девушки. Они выстроились в живую картину, изображающую наступающую армию. В оркестре мужественно грянули фанфары и сигнальные рожки.

— На молодых людей это должно действовать,— сказал Роллинг.

Зоя ответила:

— Когда женщин так много, то не действует.

Затем занавес опустился и вновь поднялся. Занимая половину сцены, у рампы стоял бутафорский рояль. Застучали деревянные палочки джаз-банда, и появились Пим и Джек. Пим, как полагается, — в невероятном фраке, в жилете по колено, сваливающиеся штаны, аршинные башмаки, которые сейчас же от него убежали (аплодисменты), морда — доброго идиота. Джек — обсыпан мукой, в войлочном колпаке, на задку — летучая мышь.

Сначала они проделывали все, что нужно, чтобы смеяться до упаду. Джек бил Пима по морде, тот выпускал сзади облако пыли, потом Джек бил Пима по черепу, и у того вскакивал гуттаперчевый волдырь.

Джек сказал: «Послушай, хочешь — я тебе сыграю на этом рояле?» Пим страшно засмеялся, сказал: «Ну, сыграй на этом рояле», — и сел поодаль. Джек изо всей силы ударил по клавишам — у рояля отвалился хвост. Пим опять страшно много смеялся. Джек второй раз ударил по клавишам — у рояля отвалился бок. «Это ничего», — сказал Джек и дал Пиму по морде. Тот покатился через всю сцену, упал (барабан — бумм). Встал? «Это ничего», — выплюнул пригоршню зубов, вынул из кармана метелку и совок, каким собирают навоз на улицах, почистился. Тогда Джек в третий раз ударил по клавишам, рояль рассыпался весь, под ним оказался обыкновенный концертный рояль. Сдвинув на нос войлочный колпачок, Джек с непостижимым искусством, вдохновенно стал играть «Кампанеллу» Листа.

У Зои Монроз похолодели руки. Обернувшись к Роллингу, она прошептала:

— Это великий артист.

— Это ничего, — сказал Пим, когда Джек кончил играть, — теперь ты послушай, как я сыграю.

Он стал вытаскивать из различных карманов дамские панталоны, старый башмак, клистирную трубку, живого котенка (аплодисменты), вынул скрипку и, повернувшись к зрительному залу скорбным лицом доброго идиота, заиграл бессмертный этюд Паганини.

Зоя поднялась, перекинула через шею соболий мех, сверкнула бриллиантами.

— Идемте, мне противно. К сожалению, я когда-то была артисткой.

— Крошка, куда же мы денемся! Половина одиннадцатого.

— Едемте пить.

Через несколько минут их лимузин остановился на Монмартре, на узкой улице, освещенной десятью окнами притона «Ужин Короля». В низкой, пунцового шелка, с зеркальным потолком и зеркальными стенами, жаркой и накуренной зале, в тесноте, среди летящих лент серпантина, целлулоидных шариков и конфетти, покачивались в танце женщины, перепутанные бумажными лентами, обнаженные по пояс, к их гримированным щекам прижимались багровые и бледные, пьяные, испитые, возбужденные мужские лица. Трещал рояль. Выли, визжали скрипки, и три негра, обливаясь потом, били в тазы, ревели в автомобильные рожки, трескали дощечками, звонили, громыхали тарелками, лупили в турецкий барабан. Чье-то мокрое лицо придвинулось вплотную к Зое. Чьи-то женские руки обвились вокруг шеи Роллинга.

— Дорогу, дети мои, дорогу химическому королю, — надрываясь, кричал метрдотель, с трудом отыскал место за узким столом, протянутым вдоль пунцовой стены, и усадил Зою и Роллинга. В них полетели шарики, конфетти, серпантин.

— На вас обращают внимание, — сказал Роллинг.

Зоя, полуопустив веки, пила шампанское. Ей было душно и влажно под легким шелком, едва прикрывающим ее груди. Целлулоидный шарик ударился ей в щеку.

Она медленно повернула голову, — чьи-то темные, словно обведенные угольной чертой, мужские глаза глядели на нее с мрачным восторгом. Она подалась вперед, положила на стол голые руки и впитывала этот взгляд, как вино: не все ли равно — чем опьяняться?

У человека, глядевшего на нее, словно осунулось лицо за эти несколько секунд. Зоя опустила подбородок в пальцы, вдвинутые в пальцы, исподлобья встретила в упор этот взгляд... Где-то она видела этого человека. Кто он такой! — ни француз, ни англичанин. В темной бородке запутались конфетти. Красивый рот. «Любопытно, Роллинг ревнив?» — подумала она.

Лакей, протолкнувшись сквозь танцующих, подал ей записочку. Она изумилась, откинулась на спинку дивана. Покосилась на Роллинга, сосавшего сигару, прочла:

Зоя, тот, на кого вы смотрите с
такой нежностью — Гарин.
Мелую ручку. Семенов.

Она, должно быть, так страшно побледнела, что неподалеку чей-то голос проговорил сквозь шум: «Смотрите, даме дурно». Тогда она протянула пустой бокал, и лакей налил шампанского.

Роллинг сказал:

— Что вам написал Семенов?

— Я скажу после.

— Он написал что-нибудь о господине, который нагло разглядывает вас? Это тот, кто был у меня вчера. Я его выгнал.

— Роллинг, разве вы не узнаете его?.. Помните, на площади Этуаль?.. Это — Гарин.

Роллинг только сопнул. Вынул сигару — «Ага». Вдруг лицо его приняло то самое выражение, когда он бежал по серебристому ковру кабинета, продумывая на пять ходов вперед все возможные комбинации борьбы. Тогда он бойко щелкнул пальцами. Сейчас он повернулся к Зое искаженным ртом.

— Поедем, нам нужно серьезно поговорить.

В дверях Зоя обернулась. Сквозь дым и путаницу серпантина она снова увидела горящие глаза Гарина. Затем — непонятно, до головокружения — лицо его раздвоилось: кто-то, сидевший перед ним, спиной к танцующим, придвинулся к нему, и оба они глядели на Зою. Или это был обман зеркал?..

На секунду Зоя зажмурилась и побежала вниз по истертому кабацкому ковру к автомобилю. Роллинг подождал ее. Захлопнув дверцу, он коснулся ее руки.

— Я не все рассказал вам про свидание с этим мнимым Пьянковым-Питкевичем... Кое-что осталось мне непонятным: для чего ему понадобилось разыгрывать истерику? Не мог же он предполагать, что у меня найдется капля жалости... Все его поведение — подозрительно. Но зачем он ко мне приходил?.. Для чего повалился на стол?..

— Роллинг, этого вы не рассказывали...

— Да, да... Опрокинул часы... Измял мои бумаги...

— Он пытался похитить ваши бумаги?

— Что? Похитить? — Роллинг помолчал. — Нет, это было не так. Он потерял равновесие и ударился рукой в бювар... Там лежало несколько листков...

— Вы уверены, что ничего не пропало?

— Это были ничего не значащие заметки. Они оказались смятыми, я бросил их потом в корзину.

— Умоляю, припомните до мелочей весь разговор...

Лимузин остановился на улице Сены. Роллинг и Зоя прошли в спальню. Зоя быстро сбросила платье и легла в широкую лепную, на орлиных ногах, кровать под парчовым балдахинном — одну из подлинных кроватей императора Наполеона Первого. Роллинг, медленно раздеваясь, расхаживал по ковру и, оставляя части одежды на золоченых стульях, на столиках, на каминной полке, рассказывал с мельчайшими подробностями о вчерашнем посещении Гарина.

Зоя слушала, опираясь на локоть. Роллинг начал стаскивать штаны и запрыгал на одной ноге. В эту минуту он не был похож на короля. Затем он лег, сказал: «Вот решительно все, что было», — и натянул атласное одеяло до носа. Голубоватый ночник освещал пышную спальню, разбросанные одежды, золотых амуров на столбиках кровати и уткнувшийся в одеяло мясистый нос Роллинга. Голова его ушла в подушку, рот полураскрылся, химический король заснул.

Этот посапывающий нос в особенности мешал Зое думать. Он отвлекал ее совсем на другие, ненужные воспоминания. Она встряхивала головой, отгоняла их, а вместо Роллинга чудилась другая голова на подушке. Ей надоело бороться, она закрыла глаза, усмехнулась. Выплыло побледневшее от волнения лицо Гарина... «Быть может, позвонить Гастону Утиный Нос, чтобы обождал?» Вдруг точно игла прошла сквозь нее: «С ним сидел двойник... Так же, как в Ленинграде...»

Она выскользнула из-под одеяла, торопливо натянула чулки. Роллинг замычал было во сне, но только повернулся на бок.

Зоя пробежала в гардеробную. Надела юбки, дождевое пальто, туго подпоясалась. Вернулась в спальню за сумочкой, где были деньги...

— Роллинг, — тихо позвала она, — Роллинг... Мы погибли...

Но он опять только замычал. Она спустилась в вестибюль и с трудом открыла высокие выходные двери. Ули-

ца Сены была пуста. В узком просвете над крышами мансард стояла тусклая желтоватая луна. Зою охватила тоска. Она глядела на этот лунный шар над спящим городом... «Боже, боже, как страшно, как мрачно...» Обеими руками она глубоко надвинула шапочку и побежала к набережной.

34

Старый трехэтажный дом, номер шестьдесят три по улице Гобеленов, одною стеной выходил на пустырь. С этой стороны окна были только на третьем этаже — мансарде. Другая, глухая стена примыкала к парку. По фасаду на улицу, в первом этаже, на уровне земли, помещалось кафе для извозчиков и шоферов. Второй этаж занимала гостиница для ночных свиданий. В третьем этаже — мансарде — сдавались комнаты постоянным жильцам. Ход туда вел через ворота и длинный туннель.

Был второй час ночи. На улице Гобеленов — ни одного освещенного окна. Кафе уже закрыто, — все стулья поставлены на столы. Зоя остановилась у ворот, с минуту глядела на номер шестьдесят три. Было холодно спине. Решилась. Позвонила. Зашуршала веревка, ворота приоткрылись. Она проскользнула в темную подворотню. Издалека голос привратницы проворчал: «Ночью надо спать, возвращаться надо вовремя». Но не спросил, кто вошел.

Здесь были порядки притона. Зою охватила страшная тревога. Перед ней тянулся низкий мрачный туннель. В корявой стене, цвета бычьей крови, тускло светил газовый рожок. Указания Семенова были таковы: в конце туннеля — налево — по винтовой лестнице — третий этаж — налево — комната одиннадцать.

Посреди туннеля Зоя остановилась. Ей показалось, что вдалеке, налево, кто-то быстро выглянул и скрылся. Не вернуться ли? Она прислушалась — ни звука. Она добежала до поворота на вонючую площадку. Здесь начиналась узкая, едва освещенная откуда-то сверху, винтовая лестница. Зоя пошла на цыпочках, боясь притронуться к липким перилам.

Весь дом спал. На площадке второго этажа облупленная арка вела в темный коридор. Поднимаясь выше, Зоя обернулась, и снова показалось ей, что из-за арки кто-то выглянул и скрылся... Только это был не Гастон Утиный

Нос... «Нет, нет, Гастон еще не был, не мог здесь быть, не успел...»

На площадке третьего этажа горел газовый рожок, освещающая коричневую стену с надписями и рисуночками, говорившими о неутоленных желаниях. Если Гарина нет дома, она будет ждать его здесь до утра. Если он дома, спит, — она не уйдет, не получив того, что он взял со стола на бульваре Мальзерб.

Зоя сняла перчатки, слегка поправила волосы под шапочкой и пошла налево по коридору, загибавшему коленом. На пятой двери крупно, белой краской, стояло — 11. Зоя нажала ручку, дверь легко отворилась.

В небольшую комнату, в открытое окно падал лунный свет. На полу валялся раскрытый чемодан. Жестко белели разбросанные бумаги. У стены, между умывальником и комодом, сидел на полу человек в одной сорочке, голые коленки его были подняты, огромными казались босые ступни... Луной освещена была половина лица, блестел широко открытый глаз и белели зубы, — человек улыбался. Приоткрыв рот, без дыхания, Зоя глядела на неподвижно смеющееся лицо, — это был Гарин.

Сегодня утром в кафе «Глобус» она сказала Гастону Утиный Нос: «Укради у Гарина чертежи и аппарат и, если можно, убей». Сегодня вечером она видела сквозь дымку над бокалом шампанского глаза Гарина и почувствовала: поманит такой человек — она все бросит, забудет, пойдет за ним. Ночью, поняв опасность и бросившись разыскивать Гастона, чтобы предупредить его, она сама еще не сознавала, что погнало ее в такой тревоге по ночному Парижу, из кабака в кабак, в игорные дома, всюду, где мог быть Гастон, и привело, наконец, на улицу Гобеленов. Какие чувства заставили эту умную, холодную, жестокую женщину отворить дверь в комнату человека, обреченного ею на смерть?

Она глядела на зубы и выкаченный глаз Гарина. Хрипло, негромко вскрикнула, подошла и наклонилась над ним. Он был мертв. Лицо посиневшее. На шее вздутые царапины. Это было то лицо — осунувшееся, притягивающее, с взволнованными глазами, с конфетти в шелковистой бородачке... Зоя схватилась за ледяной мрамор умывальника, с трудом поднялась. Она забыла, зачем пришла. Горькая слюна наполнила рот. «Не хватает еще — грохнуться без чувств». Последним усилием она оторвала пу-

говицу на душившем ее воротнике. Пошла к двери. В дверях стоял Гарин.

Так же, как и у того — на полу, у него блестели зубы, открытые застывшей улыбкой. Он поднял палец и погрозил. Зоя поняла, сжала рот рукой, чтобы не закричать. Сердце билось, будто вынырнуло из-под воды... «Жив, жив...»

— Убит не я, — шепотом сказал Гарин, продолжая грозить, — вы убили Виктора Лемуара, моего помощника... Роллинг пойдет на гильотину...

— Жив, жив, — хриповато проговорила она.

Он взял ее за локти. Она сейчас же закинула голову, вся подалась, не сопротивляясь. Он притянул ее к себе и, чувствуя, что женщину не держат ноги, обхватил ее за плечи.

— Зачем вы здесь?..

— Я искала Гастона...

— Кого, кого?

— Того, кому приказала вас убить...

— Я это предвидел, — сказал он, глядя ей в глаза.

Она ответила как во сне:

— Если бы Гастон вас убил, я бы покончила с собой...

— Не понимаю...

Она повторила за ним, точно в забытьи, нежным, угасающим голосом:

— Не понимаю сама...

Станный разговор этот происходил в дверях. В окне луна садилась за графитовую крышу. У стены скалил зубы Лемуар. Гарин проговорил тихо:

— Вы пришли за автографом Роллинга?

— Да. Пощадите.

— Кого? Роллинга?

— Нет. Меня. Пощадите, — повторила она.

— Я пожертвовал другом, чтобы погубить вашего Роллинга... Я такой же убийца, как вы... Щадить?.. Нет, нет...

Внезапно он вытянулся, прислушиваясь. Резким движением увлек Зою за дверь. Продолжая сжимать ее руку выше локтя, выглянул за арку на лестницу...

— Идемте. Я выведу вас отсюда через парк. Слушайте, вы изумительная женщина, — глаза его блеснули сумасшедшим юмором, — наши дорожки сошлись... Вы чувствуете это?..

Он побежал вместе с Зоей по винтовой лестнице. Она не сопротивлялась, оглушенная странным чувством, поднявшимся в ней, как в первый раз забродившее мутное вино.

На нижней площадке Гарин свернул куда-то в темноту, остановился, зажег восковую спичку и с усилием открыл ржавый замок, видимо, много лет не отпиравшейся двери.

— Как видите, — все предусмотрено. — Они вышли под темные, сыроватые деревья парка. В то же время с улицы в ворота входил отряд полиции, вызванный четверть часа тому назад Гариным по телефону.

35

Шельга хорошо помнил «проигранную пешку» на даче на Крестовском. Тогда (на бульваре Профсоюзов) он понял, что Пьянков-Питкевич непременно придет еще раз на дачу за тем, что было спрятано у него в подвале. В сумерки (того же дня) Шельга пробрался на дачу, не потревожив сторожа, и с потайным фонарем спустился в подвал. «Пешка» сразу была проиграна: в двух шагах от люка в кухне стоял Гарин. За секунду до появления Шельги он выскочил с чемоданом из подвала и стоял, распластавшись по стене за дверью. Он с грохотом захлопнул за Шельгой люк и принялся заваливать его мешками с углем. Шельга, подняв фонарик, глядел с усмешкой, как сквозь щели люка сыплется мусор. Он намеревался войти в мирные переговоры. Но внезапно наверху настала тишина. Послышались убегающие шаги, затем — грянули выстрелы, затем — дикий крик. Это была схватка с четырехпалым. Через час появилась милиция.

Проиграв «пешку», Шельга сделал хороший ход. Прямо из дачи он кинулся на милицейском автомобиле в яхт-клуб, разбудил дежурного по клубу, всклоченного морского человека с хриплым голосом, и спросил в упор:

— Какой ветер?

Моряк, разумеется, не задумываясь, отвечал:

— Зюйд-вест.

— Сколько баллов?

— Пять.

— Вы ручаетесь, что все яхты стоят на местах?

— Ручаюсь.

— Какая у вас охрана при яхтах?

— Петька, сторож.

— Разрешите осмотреть боны.

— Есть осмотреть боны, — ответил моряк, едва попадая спросонок в рукава морской куртки.

— Петька, — крикнул он спиртовым голосом, выходя с Шельгой на веранду клуба. (Никто не ответил.) — Непременно спит где-нибудь, тяни его за ногу, — сказал моряк, поднимая воротник от ветра.

Сторожа нашли неподалеку в кустах, — он здорово храпел, закрыв голову бараньим воротником тулупа. Моряк выразился. Сторож крякнул, встал. Пошли на боны, где над стальной уже засиневшей водой покачивался целый лес мачт. Била волна. Дул крепкий, со шквалами, ветер.

— Вы уверены, что все яхты на месте? — опять спросил Шельга.

— Не хватает «Ориона», он в Петергофе... Да в Стрельну загнали два судна.

Шельга дошел по брызжущим доскам до края бонов и здесь поднял кусок причала, — один конец его был привязан к кольцу, другой явно отрезан. Дежурный не спеша осмотрел причал. Сдвинул зюйдвестку на нос. Ничего не сказал. Пошел вдоль бонов, считая пальцем яхты. Рубанул рукой по ветру. А так как клубной дисциплиной запрещалось употребление военно-империалистических слов, то ограничился одними боковыми выражениями:

— Не так и не мать! — закричал он с невероятной энергией. — Шкот ему в глотку! Увели «Бибигонду», лучшее гоночное судно, разорви его в душу, сукиного сына, смоляной фал ему куда не надо... Петька, чтобы тебе тридцать раз утонуть в тухлой воде, что же ты смотрел, паразит, деревенщина паршивая? «Бибигонду» увели, так и не так и не мать...

Сторож Петька ахал, дивился, бил себя по бокам бараньими рукавами. Моряк неудержимо мчался фордевиндом по неизведанным безднам великорусского языка. Здесь делать больше было нечего. Шельга поехал в гавань.

Прошло часа три по крайней мере, покуда он на быстходном сторожевом катере не вылетел в открытое море. Била сильная волна. Катер зарывался. Водяная пыль туманила стекла бинокля. Когда поднялось солнце — в финских водах, далеко за маяком, — вблизи берега был замечен парус. Это билась среди подводных камней не-

счастливая «Бибигонда». Палуба ее была покинута. С катера дали несколько выстрелов для порядка, — пришлось вернуться ни с чем.

Так бежал через границу Гарин, выиграв в ту ночь еще одну пешку. Об участии в этой игре четырехпалого было известно только ему и Шельге. По этому случаю у Шельги, на обратном пути в гавань, ход мыслей был таков:

«За границей Гарин либо продаст, либо сам будет на свободе эксплуатировать таинственный аппарат. Изобретение это для Союза пока потеряно, и, кто знает, не должно ли оно сыграть в будущем роковой роли. Но за границей у Гарина есть острастка — четырехпалый. Покуда борьба с ним не кончена, Гарин не посмеет вылезть на свет с аппаратом. А если в этой борьбе стать на сторону Гарина, можно и выиграть в результате. Во всяком случае, самое дурацкое, что можно было бы придумать (и самое выгодное для Гарина), — это немедленно арестовать четырехпалого в Ленинграде». Вывод был прост: Шельга прямо из гавани приехал к себе на квартиру, надел сухое белье, позвонил в угрозыск о том, что «дело само собой ликвидировано», выключил телефон и лег спать, посмеиваясь над тем, как четырехпалый, — отравленный газами и, может быть, раненый, — удирает сейчас со всех ног из Ленинграда. Таков был контрудар Шельги в ответ на «потерянную пешку».

И вот — телеграмма (из Парижа):

_____ ЧЕТЫРЕХПАЛЫЙ ЗДЕСЬ _____

_____ СОБЫТИЯ — УГРОЖАЮЩИЕ _____

Это был крик о помощи.

Чем дальше думал Шельга, тем ясней становилось — надо лететь в Париж. Он взял по телефону справку об отлете пассажирских аэропланов и вернулся на веранду, где сидели в нетемнеющих сумерках Тарашкин и Иван. Беспризорный мальчишка, после того как прочли у него на спине надпись чернильным карандашом, притих и не отходил от Тарашкина.

В просветы между ветвями с оранжевых вод долетали голоса, плеск весел, женский смех. Старые, как мир, дела

творились под темными кущами леса на островах, где бессонно перекликались тревожными голосами какие-то птички, пощелкивали соловьи. Все живое, вынырнув из дождей и вьюг долгой зимы, торопилось жить, с веселой жадностью глотало хмельную прелесть этой ночи. Тарашкин обнял одной рукой Ивана за плечи, облокотился о перила и не шевелился, — глядел сквозь просветы на воду, где неслышно скользили лодки.

— Ну, как же, Иван, — сказал Шельга, придвинув стул и нагибаясь к лицу мальчика, — где тебе лучше нравится: там ли, здесь ли? На Дальнем Востоке ты, чай, плохо жил, впроголодь?

Иван глядел на Шельгу, не мигая. Глаза его в сумерках казались печальными, как у старика. Шельга вытащил из жилетного кармана леденец и постучал им Ивану в зубы, покуда те не разжались, — леденец проскользнул в рот.

— Мы, Иван, с мальчишками хорошо обращаемся. Работать не заставляем, писем на спине не пишем, за семь тысяч верст под вагонами не посылаем никуда. Видишь, как у нас хорошо на островах, и это все, знаешь, чье? Это все мы детям отдали на вечные времена. И река, и острова, и лодки, и хлеба с колбасой, — ешь досыта — все твое...

— Так вы мальчишку собьете, — сказал Тарашкин.

— Ничего, не собью, он умный. Ты, Иван, откуда?

— Мы с Амура, — ответил Иван неохотно. — Мать померла, отца убили на войне.

— Как же ты жил?

— Ходил по людям, работал.

— Такой маленький?

— А чего же... Коней пас...

— Ну, а потом?

— Потом взяли меня...

— Кто взял?

— Одни люди. Им мальчишка был нужен, — на деревья лазать, грибы, орехи собирать, белок ловить для пищи, бегать, за чем пошлют...

— Значит, взяли тебя в экспедицию? (Иван моргнул, промолчал.) Далеко? Отвечай, не бойся. Мы тебя не выдадим. Теперь ты — наш брат...

— Восемь суток на пароходе плыли... Думали, живые не останемся. И еще восемь дней шли пешком. Покуда пришли на огнедышащую гору...

— Так, так, — сказал Шельга, — значит, экспедиция была на Камчатку.

— Ну да, на Камчатку... Жили мы там в лачуге... Про революцию долго ничего не знали. А когда узнали, трое ушли, потом еще двое ушли, жрать стало нечего. Остались он да я...

— Так, так, а кто «он»-то? Как его звали?

Иван опять насупился. Шельга долго его успокаивал, гладил по низко опущенной остриженной голове...

— Да ведь убьют меня за это, если скажу. Он обещался убить...

— Кто?

— Да Манцев же, Николай Христофорович... Он сказал: «Вот, я тебе на спине написал письмо, ты не мойся, рубашки, жилетки не снимай, хоть через год, хоть через два — доберись до Петрограда, найди Петра Петровича Гарина и ему покажи, что написано, он тебя наградит...»

— Почему же Манцев сам не поехал в Петроград, если ему нужно видеть Гарина?

— Большевиков боялся... Он говорил: «Они хуже чертей. Они меня убьют. Они, говорит, всю страну до ручки довели, — поезда не ходят, почты нет, жрать нечего, из города все разбежались...» Где ему знать, — он на горе сидит шестой год...

— Что он там делает, что ищет?

— Ну, разве он скажет? Только я знаю... (У Ивана весело, хитро заблестели глаза.) Золото под землей ищет...

— И нашел?

— Он-то? Конечно, нашел...

— Дорогу туда, на гору, где сидит Манцев, указать можешь, если понадобится?

— Конечно, могу... Только вы меня, смотрите, не выдавайте, а то он, знаешь, сердитый...

Шельга и Тарашкин с величайшим вниманием слушали рассказы мальчика. Шельга еще раз внимательно осмотрел надпись у него на спине. Затем сфотографировал ее.

— Теперь иди вниз, Тарашкин вымоет тебя мылом, ложись, — сказал Шельга. — Не было у тебя ничего: ни отца, ни матери, одно голодное пузо. Теперь все есть, всего по горло, — живи, учись, расти на здоровье. Тарашкин тебя научит уму-разуму, ты его слушайся. Прощай. Дня через три увижу Гарина, поручение твое передам.

Шельга засмеялся, и скоро фонарик его велосипеда, подпрыгивая, пронесся за темными зарослями.

Сверкнули алюминиевые крылья высоко над зеленым аэродромом, и шестиместный пассажирский самолет скрылся за снежными облаками. Кучка провожающих постояла, задрав головы к лучезарной синеве, где лениво кружил стервятник да стригли воздух ласточки, но дюралюминиевая птица уже летела черт знает где.

Шесть пассажиров, сидя в поскрипывающих плетеных креслах, глядели на медленно падающую вниз лилово-зеленую землю. Ниточками вились по ней дороги. Игрушечными — слегка наклонными — казались гнезда построек, колокольни. Справа, вдалеке, расстилалась синева воды.

Скользила тень от облака, скрывая подробности земной карты. А вот и само облако появилось близко внизу.

Прильнув к окнам, все шесть пассажиров улыбались несколько принужденными улыбками людей, умеющих владеть собой. Воздушное передвижение было еще внове. Несмотря на комфортабельную кабину, журналы и каталоги, разбросанные на откидных столиках, на видимость безопасного уюта, — пассажирам все же приходилось уверять себя, что в конце концов воздушное сообщение гораздо безопаснее, чем, например, пешком переходить улицу. То ли дело в воздухе. Встретишься с облаком — пронырнешь, лишь запотеют окна в кабине, пробарабанит град по дюралюминию или встряхнет аппарат, как на ухабе, — ухватишься за плетеные ручки кресла, выкатив глаза, но сосед уже подмигивает, смеется: вот это так ухабик!.. Налетит шквал из тех, что в секунду валит мачты на морском паруснике, ломает руль, сносит лодки, людей в бушующие волны, — металлическая птица прочна и увертлива, — качнется на крыло, взвоет моторами, и уже выскочила, взмыла на тысячу метров выше гнездовины урагана.

Словом, не прошло и часа, как пассажиры в кабине освоились и с пустотой под ногами и с качкой. Гул мотора мешал говорить. Кое-кто надел на голову наушники с микрофонными мембранами, и завязалась беседа. Напротив Шельги сидел худощавый человек лет тридцати пяти в поношенном пальто и клетчатой кепке, видимо, приобретенной для заграничного путешествия.

У него было бледноватое, с тонкой кожей, лицо, умный нахмуренный изящный профиль, русая борода,

рот сложен спокойно и твердо. Сидел он сутулясь, сложив на коленях руки. Шельга с улыбкой сделал ему знак. Человек надел наушники. Шельга спросил:

— Вы не учились в Ярославле, в реальном? (Человек наклонил голову.) Земляк — я вас помню. Вы Хлынов Алексей Семенович? (Наклон головы.) Вы теперь где работаете?

— В физической лаборатории политехникума, — проговорил в трубку заглушенный гулом мотора, слабый голос Хлынова.

— В командировку?

— В Берлин, к Рейхеру.

— Секрет?

— Нет. В марте этого года нам стало известно, что в лаборатории Рейхера произведено атомное распадение ртути.

Хлынов повернулся всем лицом к Шельге, — глаза со строгим волнением уперлись в собеседника. Шельга сказал:

— Не понимаю, — не специалист.

— Работы ведутся пока еще в лабораториях. До применения в промышленности еще далеко... Хотя, — Хлынов глядел на клубистые, как снег, поля облаков, глубоко внизу застилающие землю, — от кабинета физика до мастерской завода шаг не велик. Принцип насильственного разложения атома должен быть прост, чрезвычайно прост. Вы знаете, конечно, что такое атом?

— Маленькое что-то такое, — Шельга показал пальцами.

— Атом в сравнении с песчинкой — как песчинка в сравнении с земным шаром. И все же мы измеряем атом, исчисляем скорость вращения его электронов, его вес, массу, величину электрического заряда. Мы подбираемся к самому сердцу атома, к его ядру. В нем весь секрет власти над материей. Будущее человечества зависит от того, сможем ли мы овладеть ядром атома, частичкой материальной энергии, величиной в одну стобиллионную сантиметра.

На высоте двух тысяч метров над землей Шельга слушал удивительные вещи, почудеснее сказок Шехеразады, но они не были сказкой. В то время, когда диалектика истории привела один класс к истребительной войне, а другой — к восстанию; когда горели города, и прах, и пепел, и газовые облака клубились над пашнями и садами; когда

сама земля содрогалась от гневных криков удушаемых революций и, как в старину, заработали в тюремных подвалах дыба и клещи палача; когда по ночам в парках стали вырастать на деревьях чудовищные плоды с высунутыми языками; когда упали с человека так любовно разукрашенные идеалистические ризы, — в это чудовищное и титаническое десятилетие одинокими светочами горели удивительные умы ученых.

37

Аэроплан снизился над Ковной. Зеленое поле, смоченное дождем, быстро полетело навстречу. Аппарат прокатился и стал. Соскочил на траву пилот. Пассажиры вышли размять ноги. Закурили папиросы. Шельга в стороне лег на траву, закинул руки, и чудно было ему глядеть на далекие облака с синеватыми днищами. Он только что был там, летел среди снежных легких гор, над лазоревыми провалами.

Его небесный собеседник, Хлынов, стоял, слегка сутулясь, в потертом пальтишке, около крыла серой рубчатой птицы. Человек как человек, — даже кепка из Ленинград-одежды.

Шельга рассмеялся:

— Здорово, все-таки, забавно жить. Черт знает как здорово!

Когда взлетели с ковенского аэродрома, Шельга подсел к Хлынову и рассказал ему, не называя ничьих имен, все, что знал о необычайных опытах Гарина и о том, что ими сильно, видимо, заинтересованы за границей.

Хлынов спросил, видел ли Шельга аппарат Гарина.

— Нет. Аппарата никто еще не видал.

— Стало быть, все это — в области догадок и предположений, да еще приукрашенных фантазией?

Тогда Шельга рассказал о подвале на разрушенной даче, о разрезанных кусках стали, об ящиках с угольными пирамидками. Хлынов кивал, поддакивал:

— Так, так. Пирамидки. Очень хорошо. Понимаю. Скажите, если это не слишком секретно, — вы не про инженера Гарина рассказываете?

Шельга минуту молчал, глядя в глаза Хлынову.

— Да, — ответил он, — про Гарина. Вы знаете его?

— Очень, очень способный человек. — Хлынов сморщился, будто взял в рот кислое. — Необыкновенный че-

ловек. Но — вне науки. Честолюбец. Совершенно изолированная личность. Авантюрист. Циник. Задатки гения. Непомерный темперамент. Человек с чудовищной фантазией. Но его удивительный ум всегда возбужден низкими желаниями. Он достигнет многого и кончит чем-нибудь вроде беспробудного пьянства либо попытается «ужаснуть человечество»... Гениальному человеку больше, чем кому бы то ни было, нужна строжайшая дисциплина. Слишком ответственно.

Красноватые пятна снова вспыхнули на щеках Хлынова.

— Просветленный, дисциплинированный разум — величайшая святыня, чудо из чудес. На земле, — песчинка во вселенной, — человек — порядка одной биллионной самой малой величины... И у этой умозрительной частицы, живущей в среднем шестьдесят оборотов земли вокруг солнца, — разум, охватывающий всю вселенную... Чтобы постигнуть это, мы должны перейти на язык высшей математики... Так вот, что вы скажете, если у вас из лаборатории возьмут какой-нибудь драгоценнейший микроскоп и станут им забивать гвозди?..

Так именно Гарин обращается со своим гением... Я знаю, — он сделал крупное открытие в области передачи на расстояние инфракрасных лучей. Вы слышали, конечно, о лучах смерти Риндель-Мэтьюза? Лучи смерти оказались чистейшим вздором. Но принцип верен. Тепловые лучи температуры тысячи градусов, посланные параллельно, — чудовищное орудие для разрушения и военной обороны. Весь секрет в том, чтобы послать нерассеивающийся луч. Этого до сих пор не было достигнуто. По вашим рассказам, видимо, Гарину удалось построить такой аппарат. Если это так, — открытие очень значительное.

— Мне давно уж кажется, — сказал Шельга, — что вокруг этого изобретения пахнет крупной политикой.

Некоторое время Хлынов молчал, затем даже уши у него вспыхнули.

— Отыщите Гарина, возьмите его за шиворот и вместе с аппаратом верните в Советский Союз. Аппарат не должен попасть к нашим врагам. Спросите Гарина, — сознает он свои обязанности? Или он действительно пошляк... Тогда дайте ему, черт его возьми, денег — сколько он захочет... Пусть заводит роскошных женщин, яхты, гоночные машины... Или убейте его...

Шельга поднял брови. Хлынов положил трубку на столик, откинулся, закрыл глаза. Аэроплан плыл над зелеными ровными квадратами полей, над прямыми линейками дорог. Вдали, с высоты, виднелся между синеватыми пятнами озер коричневый чертеж Берлина.

38

В половине восьмого поутру, как обычно, Роллинг проснулся на улице Сены в кровати императора Наполеона. Не открывая глаз, достал из-под подушки носовой платок и решительно высморкался, выгоняя из себя вместе с остатками сна вчерашнюю труху ночных развлечений.

Не совсем, правда, свежий, но вполне владеющий мыслями и волей, он бросил платок на ковер, сел посреди шелковых подушек и оглянулся. Кровать была пуста, в комнате — пусто. Зоина подушка холодна.

Роллинг нажал кнопку звонка, появилась горничная Зои. Роллинг спросил, глядя мимо нее: «Мадам?» Горничная подняла плечи, стала поворачивать голову, как сова. На цыпочках прошла в уборную, оттуда, уже поспешно, — в гардеробную, хлопнула дверь в ванную и снова появилась в спальне, — пальцы у нее дрожали с боков кружевного фартучка: «Мадам нигде нет».

— Кофе, — сказал Роллинг. Он сам налил ванну, сам оделся, сам налил себе кофе. В доме в это время шла тихая паника, — на цыпочках, шепотом. Выходя из отеля, Роллинг толкнул локтем швейцара, испуганно кинувшегося отворять дверь. Он опоздал в контору на двадцать минут.

На бульваре Мальзерб в это утро пахло порохом. На лице секретаря было написано полное непротивление злу. Посетители выходили перекошенные из ореховой двери. «У мистера Роллинга неважное настроение сегодня», — сообщали они шепотом. Ровно в час мистер Роллинг посмотрел на стенные часы и сломал карандаш. Ясно, что Зоя Монроз не заедет за ним завтракать. Он медлил до четверти второго. За эти ужасные четверть часа у секретаря в блестящем проборе появились два седых волоса. Роллинг поехал завтракать один к «Грифону», как обычно.

Хозяин ресторанчика, мосье Грифон, рослый и полный мужчина, бывший повар и содержатель пивнушки,

теперь — высший консультант по Большому Искусству Вкусовых Восприятий и Пищеварения, встретил Роллинга героическим взмахом руки. В темно-серой визитке, с холеной ассирийской бородой и благородным лбом, мосье Грифон стоял посреди небольшой залы своего ресторана, опираясь одной рукой на серебряный цоколь особого сооружения, вроде жертвенника, где под выпуклой крышкой томилось знаменитое жаркое — седло барана с бобами.

На красных кожаных диванах вдоль четырех стен за узкими сплошными столами сидели постоянные посетители — из делового мира Больших бульваров, женщин — немного. Середина залы была пуста, не считая жертвенника. Хозяин, вращая головой, мог видеть процесс вкусового восприятия каждого из своих клиентов. Малейшая гримаска неудовольствия не ускользала от его взора. Мало того, — он предвидел многое: таинственные процессы выделения соков, винтообразная работа желудка и вся психология еды, основанная на воспоминаниях когда-то съеденного, на предчувствиях и на приливах крови к различным частям тела, — все это было для него открытой книгой.

Подходя со строгим и вместе отеческим лицом, он говорил с восхитительной грубоватой лаской: «Ваш темперамент, мосье, сегодня требует рюмки мaderas и очень сухого Пуи, — можете послать меня на гильотину — я не даю вам ни капли красного. Устрицы, немного вареного тюрбо, крылышко цыпленка и несколько стебельков спаржи. Эта гамма вернет вам силы». Возражать в этом случае мог бы только патагонец, питающийся водяными крысами.

Мосье Грифон не подбежал, как можно было предполагать, с униженной торопливостью к прибору химического короля. Нет. Здесь, в академии пищеварения, миллиардер, и мелкий бухгалтер, и тот, кто сунул мокрый зонтик швейцару, и тот, кто, сопя, вылез из рольс-ройса, пропахшего гаванами, — платили один и тот же счет. Мосье Грифон был республиканец и философ. Он с великодушной улыбкой подал Роллингу карточку и посоветовал взять дыню на первое, запеченного с трюфелями омара на второе и седло барана. Вино мистер Роллинг днем не пьет, это известно.

— Стакан виски-сода и бутылку шампанского заморозить, — сквозь зубы сказал Роллинг.

Мосье Грифон отступил, на секунду в глазах его мелькнули изумление, страх, отвращение: клиент начинает с водки, оглушающей вкусовые пупырышки в полости рта, и продолжает шампанским, от которого пучит желудок. Глаза мосье Грифона потухли, он почтительно наклонил голову: клиент на сегодня потерян,— примиряюсь.

После третьего стакана виски Роллинг начал мять салфетку. С подобным темпераментом человек, стоящий на другом конце социальной лестницы, скажем, Гастон Утиный Нос, сегодня бы еще до заката отыскал Зою Монроз, тварь, грязную гадину, подобранную в луже,— и всадил бы ей в бок лезвие складного ножа. Роллингу нравились иные приемы. Глядя в тарелку, где стыл омар с трюфелями, он думал не о том, чтобы раскровенить нос распутной девке, сбежавшей ночью из его постели... В мозгу Роллинга, в желтых парах виски, рождались, скрещивались, извивались чрезвычайно изысканные болезненные идеи мщения. Только в эти минуты он понял, что значила для него красавица Зоя... Он мучился, впиваясь ногтями в салфетку.

Лакей убрал нетронутую тарелку. Налил шампанского. Роллинг схватил стакан и жадно выпил его, золотые зубы стукнули о стекло. В это время с улицы в ресторан вскочил Семенов. Сразу увидел Роллинга. Сорвал шляпу, перегнулся через стол и зашептал:

— Читали газеты?.. Я был только что в морге... Это он... Мы тут ни при чем... Клянусь под присягой... У нас алиби... Мы всю ночь оставались на Монмартре у девочек... Установлено — убийство произошло между тремя и четырьмя утра,— это из газет, из газет...

Перед глазами Роллинга прыгало землистое, перекошенное лицо. Соседи оборачивались. Приближался лакей со стулом для Семенова.

— К черту,— проговорил Роллинг сквозь завесу виски,— вы мешаете мне завтракать...

— Хорошо, извините... Я буду ждать вас на углу в автомобиле...

В парижской прессе все эти дни было тихо, как на лесном озере. Буржуа зевали, читая передовицы о литературе, фельетоны о театральных постановках, хронику из жизни артистов.

Этим безмятежным спокойствием пресса подготовляла ураганное наступление на среднебуржуазные кошельки. Химический концерн Роллинга, закончив организацию и истребив мелких противников, готовился к большой кампании на повышение. Пресса была куплена, журналисты вооружены нужными сведениями по химической промышленности. Для политических передовиков заготовлены ошеломляющие документы. Две-три пощечины, две-три дуэли устранили глупцов, пытавшихся лепетать не согласно общим планам концерна.

В Париже настала тишь да гладь. Тиражи газет несколько понизились. Поэтому чистой находкой оказалось убийство в доме шестьдесят три по улице Гобеленов.

На следующее утро все семьдесят пять газет вышли с жирными заголовками о «таинственном и кошмарном преступлении». Личность убитого не была установлена, — документы его похищены, — в гостинице он записался под явно вымышленным именем. Убийство, казалось, было не с целью ограбления, — деньги и золотые вещи остались при убитом. Трудно было также предположить месть, — комната номер одиннадцатый носила следы тщательного обыска. Тайна, все — тайна.

Двухчасовые газеты сообщили потрясающую деталь: в роковой комнате найдена женская черепаховая шпилька с пятью крупными бриллиантами. Кроме того, на пыльном полу обнаружены следы женских туфель. От этой шпильки Париж действительно дрогнул. Убийцей оказалась шикарная женщина. Аристократка? Буржуазка? Или кокотка из первого десятка? Тайна... Тайна...

Четырехчасовые газеты отдали свои страницы интервью со знаменитейшими женщинами Парижа. Все они в один голос восклицали: нет, нет и нет, — убийцей не могла быть француженка, это дело рук немки, бошки. Несколько голосов бросило намек в сторону Москвы, — намек успеха не имел. Известная Ми-Ми — из театра «Олимпия» — произнесла историческую фразу: «Я готова отдаться тому, кто мне раскроет тайну». Это имело успех.

Словом, во всем Париже один Роллинг, сидя у Грифона, ничего не знал о происшествии на улице Гобеленов. Он был очень зол и нарочно заставил Семенова подождать в таксомоторе. Наконец он появился на углу, молча влез в машину и велел везти себя в морг. Семенов, неистово юля, по дороге рассказал ему содержание газет.

При упоминании о шпильке с пятью бриллиантами пальцы Роллинга затрепетали на набалдашнике трости. Близ морга он внезапно рванулся к шоферу с жестом, приказывающим повернуть, — но сдержался и только свирепо засопел.

В дверях морга была давка. Женщины в дорогих мехах, курносенькие мидинетки, подозрительные личности из предместий, любопытные консьержки в вязаных пелеринках, хроникеры с потными носами и смятыми воротничками, актриски, цепляющиеся за мясистых актеров, — все стремились взглянуть на убитого, лежавшего в разодранной рубашке и босиком на покатой мраморной доске, головой к полуподвальному окну.

Особенно страшными казались босые ноги его — большие, синеватые, с отросшими ногтями. Желто-мертвое лицо «изуродовано судорогой ужаса». Бородка торчком. Женщины жадно стремились к этой оскаленной маске, впивались расширенными зрачками, тихо вскрикивали, ворковали. Вот он, вот он — любовник дамы с бриллиантовой шпилькой!

Семенов ужом, впереди Роллинга, пролез сквозь толпу к телу. Роллинг твердо взглянул в лицо убитого. Рассматривал с секунду. Глаза его сощурились, мясистый нос собрался складками, блеснули золотые зубы.

— Ну что, ну что, он ведь, он? — зашептал Семенов. И Роллинг ответил ему на этот раз:

— Опять двойник.

Едва была произнесена эта фраза, из-за плеча Роллинга появилась светловолосая голова, взглянула ему в лицо, точно сфотографировала, и скрылась в толпе.

Это был Шельга.

40

Бросив Семенова в морге, Роллинг проехал на улицу Сены. Там все оставалось по-прежнему — тихая паника. Зоя не появлялась и не звонила.

Роллинг заперся в спальне и ходил по ковру, рассматривая кончики башмаков. Он остановился с той стороны постели, где обычно спал. Поскреб подбородок. Закрыв глаза. И тогда вспомнил то, что его мучило весь день...

«...Роллинг. Роллинг... Мы погибли...»

Это было сказано тихим, безнадежным голосом Зои. Это было сегодня ночью, — внезапно посреди разговора

заснул. Голос Зои не разбудил его, — не дошел до сознания. Сейчас ее отчаянные слова отчетливо зазвучали в ушах.

Роллинга подбросило, точно пружиной... Итак, — странный припадок Гарина на бульваре Мальзерб; волнение Зои в кабаке «Ужин Короля»; ее настойчивые вопросы: какие именно бумаги мог похитить Гарин из кабинета? Затем — «Роллинг, Роллинг, мы погибли...» Ее исчезновение. Труп двойника в морге. Шпилька с бриллиантами. Именно вчера, — он помнил, — в пышных волосах Зои сияло пять камней.

В цепи событий ясно одно: Гарин прибегает к испытанному приему с двойником, чтобы отвести от себя удар. Он похищает автограф Роллинга, чтобы подбросить его на место убийства и привести полицию на бульвар Мальзерб.

При всем хладнокровии Роллинг почувствовал, что спинному хребту холодно. «Роллинг, Роллинг, мы погибли...» Значит, она предполагала, она знала про убийство. Оно произошло между тремя и четырьмя утра. (В половине пятого явилась полиция.) Вчера, засыпая, Роллинг слышал, как часы на камине пробили три четверти второго. Это было его последним восприятием внешних звуков. Затем Зоя исчезла. Очевидно, она кинулась на улицу Гобеленов, чтобы уничтожить следы автографа.

Каким образом Зоя могла знать так точно про готовящееся убийство? — только в том случае, если она его сама подготовила. — Роллинг подошел к камину, положил локти на мраморную доску и закрыл лицо руками. — Но почему же тогда она прошептала ему с таким ужасом: «Роллинг, Роллинг, мы погибли!..» Что-то вчера произошло, — перевернуло ее планы. Но что? И в какую минуту?.. В театре, в кабаке, дома?..

Предположим, ей нужно было исправить какую-то ошибку. Удалось ей или нет? Гарин жив, автограф куда не обнаружен, убит двойник. Спасает это или губит? Кто убийца — сообщник Зои или сам Гарин?

И почему, почему, почему Зоя исчезла? Отыскивая в памяти эту минуту — перелом в Зоинем настроении, Роллинг напрягал воображение, привыкшее к совсем другой работе. У него трещал мозг. Он припоминал — жест за жестом, слово за словом — все вчерашнее поведение Зои.

Он чувствовал, если теперь же, у камина, не поймет до мелочей всего происшедшего, то это — проигрыш, поражение, гибель. За три дня до большого наступления на биржу достаточно намек на его имя в связи с убийством, и — непомерный биржевой скандал, крах... Удар по Роллингу будет ударом по миллиардам, двигающим в Америке, Китае, Индии, Европе, в африканских колониях тысячами предприятий. Нарушится точная работа механизма... Железные дороги, океанские линии, рудники, заводы, банки, сотни тысяч служащих, миллионы рабочих, десятки миллионов держателей ценностей — все это заскрипит, застопорится, забьется в панике...

Роллинг попал в положение человека, не знающего, с какой стороны его ткнут ножом. Опасность была смертельной. Воображение его работало так, будто за каждый протекающий в секунду отрезок мысли платили по миллиону долларов. Эти четверть часа у камина могли быть занесены в историю наравне с известным присутствием духа у Наполеона на Аркольском мосту.

Но Роллинг, этот собиратель миллиардов, фигура почти уже символическая, в самую решительную для себя минуту (и опять-таки первый раз в жизни) внезапно предался пустому занятию, стоя с раздутыми ноздрями перед зеркалом и не видя в нем своего изображения. Вместо анализа поступков Зои он стал воображать ее самое — ее тонкое, бледное лицо, мрачно-ледяные глаза, страстный рот. Он ощущал теплый запах ее каштановых волос, прикосновение ее руки. Ему начало казаться, будто он, Роллинг, весь целиком, — со всеми желаниями, вкусами, честолюбием, жадностью к власти, с дурными настроениями (атония кишок) и едкими думами о смерти, — переселился в новое помещение, в умную, молодую, привлекательную женщину. Ее нет. И он будто вышвырнут в ночную слякоть. Он сам себе перестал быть нужен. Ее нет. Он без дома. Какие уж там мировые концерны, — тоска, тоска голого, маленького, жалкого человека.

Это поистине удивительное состояние химического короля было прервано стуком двух подошв о ковер. (Окно спальни, — в первом этаже, — выходившее в парк, было раскрыто.) Роллинг вздрогнул всем телом. В каминном зеркале появилось изображение коренастого человека с большими усами и сморщенным лбом. Он нагнул голову и глядел на Роллинга не мигая.

— Что вам нужно? — завизжал Роллинг, не попадая рукой в задний карман штанов, где лежал браунинг. Коренастый человек, видимо, ожидал этого и прыгнул за портьеру. Оттуда он снова выставил голову.

— Спокойно. Не кричите. Я не собираюсь убивать или грабить, — он поднял ладони, — я пришел по делу.

— Какое здесь может быть дело? — отправляйтесь по делу на бульвар Мальзерб, сорок восемь бис, от одиннадцати до часу... Вы влезли в окно, как вор и негодяй.

— Виноват, — вежливо ответил человек, — моя фамилия Леклер, меня зовут Гастон. У меня военный орден и чин сержанта. Я никогда не работаю по мелочам и воровом не был. Советую вам немедленно принести мне извинения, мистер Роллинг, без которых наш дальнейший разговор не может состояться...

— Убирайтесь к дьяволу! — уже спокойнее сказал Роллинг.

— Если я уберусь по этому адресу, то неизвестная вам мадемуазель Монроз погибла.

У Роллинга прыгнули щеки. Он сейчас же подошел к Гастону. Тот сказал почтительно, как подобает говорить с обладателем миллиардов, и вместе с оттенком грубоватой дружелюбности, как говорят с мужем своей любовницы:

— Итак, сударь, вы извиняетесь?

— Вы знаете, где скрывается мадемуазель Монроз?

— Итак, сударь, чтобы продолжить наш разговор, я должен понять, что вы извиняетесь передо мной?

— Извиняюсь, — заорал Роллинг.

— Принимаю! — Гастон отошел от окна, привычным движением расправил усы, откашлянулся и сказал: — Зоя Монроз в руках убийцы, о котором кричит весь Париж.

— Где она? (У Роллинга затряслись губы.)

— В Вилль Давре, близ парка Сен-клу, в гостинице для случайных посетителей, в двух шагах от музея Гамбетты. Вчера ночью я проследил их в автомобиле до Вилль Давре, сегодня я точно установил адрес.

— Она добровольно бежала с ним?

— Вот это именно я больше всего хотел бы знать, — ответил Гастон так зловеще, что Роллинг изумленно оглянул его.

— Позвольте, господин Гастон, я не совсем понимаю, какое ваше участие во всей этой истории? Какое вам дело до мадемуазель Монроз? Каким образом вы по ночам следите за ней, устанавливаете место ее нахождения?

— Довольно! — Гастон благородным жестом протянул перед собой руку. — Я вас понимаю. Вы должны были поставить мне этот вопрос. Отвечаю вам: я влюблен, и я ревнив...

— Ага! — сказал Роллинг.

— Вам нужны подробности? — вот они: сегодня ночью, выходя из кафе, где я пил стакан грога, я увидел мадемуазель Монроз. Она мчалась в наемном автомобиле. Лицо ее было ужасно. Вскочить в такси, броситься за нею вслед было делом секунды. Она остановила машину на улице Гобеленов и вошла в подъезд дома шестьдесят три. (Роллинг моргнул, будто его кольнули.) Вне себя от ревнивых предчувствий, я ходил по тротуару мимо дома шестьдесят три. Ровно в четверть пятого мадемуазель Монроз вышла не из подъезда, как я ожидал, а из ворот в стене парка, примыкающего к дому шестьдесят три. Ее за плечи придерживал человек с черной бородкой, одетый в коверкот и серую шляпу. Остальное вы знаете.

Роллинг опустился на стул (эпохи крестовых походов) и долго молчал, впившись пальцами в резные ручки... Так вот они — недостающие данные... Убийца — Гарин. Зоя — сообщница... Преступный план очевиден. Они убили двойника на улице Гобеленов, чтобы впутать в грязную историю его, Роллинга, и, шантажируя, выманить деньги на постройку аппарата. Честный сержант и классический дурак, Гастон, случайно обнаруживает преступление. Все ясно. Нужно действовать решительно и беспощадно.

Глаза Роллинга зло вспыхнули. Он встал, ногой отпихнул стул.

— Я звоню в полицию. Вы поедете со мной в Вилль Давре.

Гастон усмехнулся, большие усы его поползли вкось.

— Мне кажется, мистер Роллинг, будет благоразумнее не вмешивать полицию в эту историю. Мы обойдемся своими силами.

— Я желаю арестовать убийцу и его сообщницу и предать негодяев в руки правосудия. — Роллинг выпрямился, голос его звучал как сталь.

Гастон сделал неопределенный жест.

— Так-то оно так... Но у меня есть шесть надежных молодцов, выдавших виды... Через час в двух автомобилях я мог бы доставить их в Вилль Давре... А с полицией, уверяю вас, не стоит связываться...

Роллинг только фыркнул на это и взял с каминной полки телефонную трубку. Гастон с еще большей быстротой схватил его за руку.

— Не звоните в полицию!

— Почему?

— Потому, что глупее этого ничего нельзя придумать... (Роллинг опять потянулся за трубкой.) Вы редкого ума человек, мосье Роллинг, неужели вы не понимаете, — есть вещи, которые не говорятя прямо... умоляю вас — не звонить... Фу черт!.. Да потому, что после этого звонка мы с вами оба попадем на гильотину... (Роллинг в бешенстве толкнул его в грудь и вырвал трубку. Гастон живо оглянулся и в самое ухо Роллинга прошептал.) По вашему указанию мадемуазель Зоя поручила мне отправить облегченной скоростью к Аврааму одного русского инженера на улице Гобеленов, шестьдесят три. Этой ночью поручение исполнено. Сейчас нужно десять тысяч франков — в виде аванса моим малюткам. Деньги у вас с собой?..

.

Через четверть часа на улицу Сены подъехала дорожная машина с поднятым верхом. Роллинг стремительно вскочил в нее. Покуда машина делала на узкой улице поворот, из-за выступа дома вышел Шельга и прицепился к автомобилю к задней части кузова.

Машина пошла по набережной. На Марсовом поле, в том месте, где некогда Робеспьер, с колосьями в руке, клялся перед жертвенником Верховного Существа заставить человечество подписать великий колдоговор на вечный мир и вечную справедливость, — теперь возвышалась Эйфелева башня; два с половиной миллиона электрических свечей мигали и подмигивали на ее стальных переплетах, разбегались стрелами, очерчивали рисунки и писали над Парижем всю ночь: «ПОКУПАЙТЕ ПРАКТИЧНЫЕ И ДЕШЕВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГОСПОДИНА СИТРОЕНА...»

Ночь была сыроватая и теплая. За открытым окном, от низкого потолка до самого пола, невидимые листья принимались шелестеть и затихали. В комнате — во втором этаже гостиницы «Черный Дрозд» — было темно и тихо. Влажный аромат парка смешивался с запахом духов. Ими был пропитан ветхий штоф на стенах, истертые ковры и огромная деревянная кровать, приютившая за долгие годы вереницы любовников. Это было доброе старое место для любовного уединения. Деревья шелестели за окном, ветерок доносил из парка запах земли и грусти, теплая кровать убаюкивала короткое счастье любовников. Рассказывают даже, что в этой комнате Беранже сочинял свои песенки. Времена изменились, конечно. Торопливым любовникам, выскочившим на часок из кипящего Парижа, ослепленным огненными воплями Эйфелевой башни, было не до шелеста листьев, не до любви. Нельзя же в самом деле в наши дни мечтательно гулять по бульвару, засунув в жилетный карман томик Мюссе. Нынче — все на скорости, все на бензине. «Алло, малютка, в нашем распоряжении час двадцать минут! Нужно успеть в кино, скушать обед и полежать в кровати. Ничего не поделаешь, Ми-Ми, это — цивилизация».

Все же ночь за окном в гостинице «Черный Дрозд», темные кущи лип и нежные трещотки древесных лягушек не принимали участия в общем ходе европейской цивилизации. Было очень тихо и очень покойно. В комнате скрипнула дверь, слышались шаги по ковру. Неясное очертание человека остановилось посреди комнаты. Он сказал негромко (по-русски):

— Нужно решаться. Через тридцать — сорок минут подадут машину. Что же — да или нет?

На кровати пошевелились, но не ответили. Он подошел ближе:

— Зоя, будьте же благоразумны.

В ответ невесело засмеялись.

Гарин нагнулся к лицу Зои, всмотрелся, сел в ноги на постель.

— Вчерашнее приключение мы зачеркнем. Началось оно несколько необычно, кончилось в этой постели, — вы находите, что банально? Согласен. Зачеркнуто. Слушайте, я не хочу никакой другой женщины, кроме вас, — что поделаешь?

— Пошло и глупо, — сказала Зоя.

— Совершенно с вами согласен. Я пошляк, законченный, первобытный. Сегодня я думал: ба, вот для чего нужны деньги, власть, слава, — обладать вами. Дальше, когда вы проснулись, я вам доложил мою точку зрения: расставаться с вами я не хочу и не расстанусь.

— Ого! — сказала Зоя.

— «Ого» — ровно ничего не говорит. Я понимаю, — вы, как женщина умная и самолюбивая, ужасно возмущены, что вас принуждают. Что ж поделаешь! Мы связаны кровью. Если вы уйдете к Роллингу, я буду бороться. А так как я пошляк, то отправлю на гильотину и Роллинга, и вас, и себя.

— Вы это уже говорили, — повторяетесь.

— Разве вас это не убеждает?

— Что вы предлагаете мне взамен Роллинга? Я женщина дорогая.

— Оливиновый пояс.

— Что?

— Оливиновый пояс. Гм! Объяснять это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через двадцать минут мы должны ехать. Оливиновый пояс — это власть над миром. Я найму вашего Роллинга в швейцары, — вот что такое Оливиновый пояс. Он будет в моих руках через два года. Вы станете не просто богатой женщиной, вернее — самой богатой на свете. Это скучно. Но — власть! Упоение небывалой на земле властью. Средства для этого у нас совершеннее, чем у Чингис-хана. Вы хотите божеских почестей? Мы прикажем построить вам храмы на всех пяти материках и ваше изображение увенчивать виноградом.

— Какое мещанство!..

— Я не шучу сейчас. Захотите, и будете наместницей бога или черта, — что вам больше по вкусу. Вам придет желание уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем человечеством. Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищам Оливинового пояса. Я предлагаю выгодную партию. Два года борьбы — и я проникну сквозь Оливиновый пояс. Вы не верите?..

Помолчав, Зоя проговорила тихо:

— Почему я одна должна рисковать? Будьте смелы и вы.

Гарин, казалось, силился в темноте увидеть ее глаза, затем — почти печально, почти нежно — сказал:

— Если нет, тогда уйдите. Я не буду вас преследовать. Решайте добровольно.

Зоя коротко вздохнула. Села на постели, подняла руки, оправляя волосы (это было хорошим знаком).

— В будущем — Оливиновый пояс. А сейчас что у вас? — спросила она, держа в зубах шпильки.

— Сейчас — мой аппарат и угольные пирамидки. Вставайте. Идемте в мою комнату, я покажу аппарат.

— Не много. Хорошо, я посмотрю. Идемте.

43

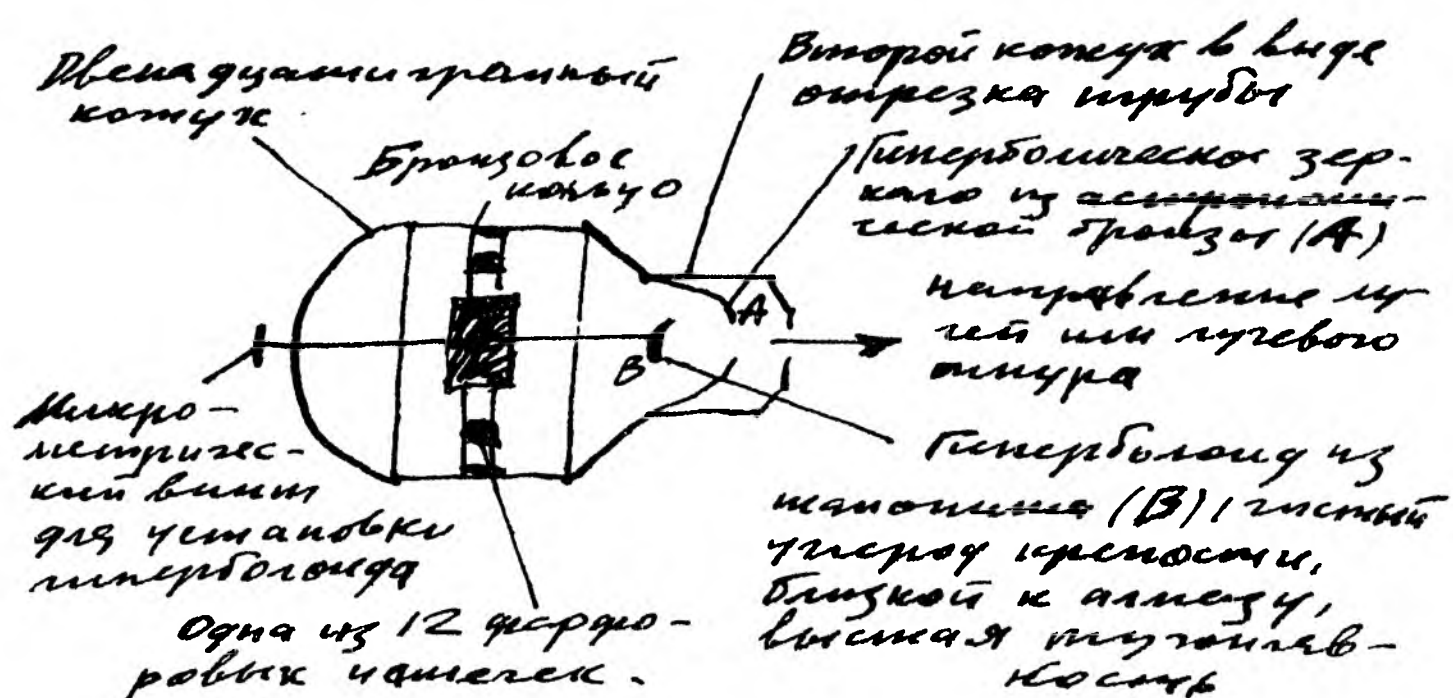
В комнате Гарина окно с балконной решеткой было закрыто и занавешено. У стены стояли два чемодана. (Он жил в «Черном Дрозде» уже больше недели.) Гарин запер дверь на ключ. Зоя села, облокотилась, заслонила лицо от света потолочной лампы. Ее дождевое шелковое пальто травяного цвета было помято, волосы небрежно прибраны, лицо утомленное, — такой она была еще привлекательнее. Гарин, раскрывая чемодан, поглядывал на нее обведенными синевой блестящими глазами.

— Вот мой аппарат, — сказал он, ставя на стол два металлических ящика: один — узкий, в виде отрезка трубы, другой — плоский, двенадцатигранный — втрое большего диаметра.

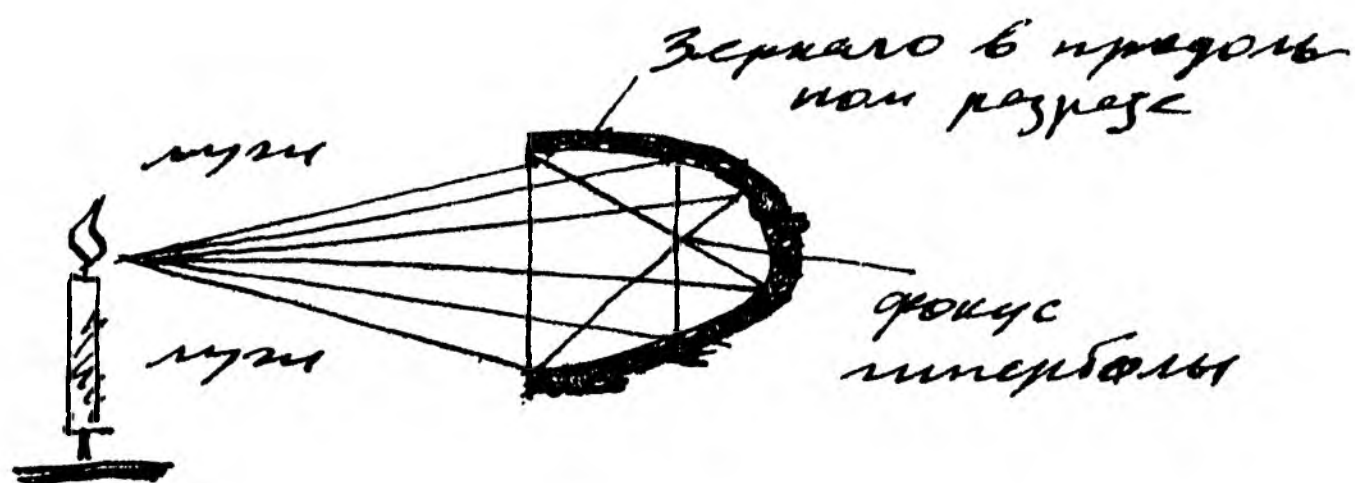
Он составил оба ящика, скрепил их анкерными болтами. Трубку направил отверстием к каминной решетке, у двенадцатигранного кожуха откинул сферическую крышку. Внутри кожуха стояло на ребре бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками.

— Это — модель, — сказал он, вынимая из второго чемодана ящик с пирамидками, — она не выдержит и часа работы. Аппарат нужно строить из чрезвычайно стойких материалов, в десять раз солиднее. Но он вышел бы слишком тяжелым, а мне приходится все время передвигаться. (Он вложил в чашечки кольца двенадцать пирамидок.) Снаружи вы ничего не увидите и не поймете. Вот чертеж, продольный разрез аппарата. — Он наклонился над Зоиным креслом (вдохнул запах ее волос), развернул чертежник размером в половину листа писчей бума-

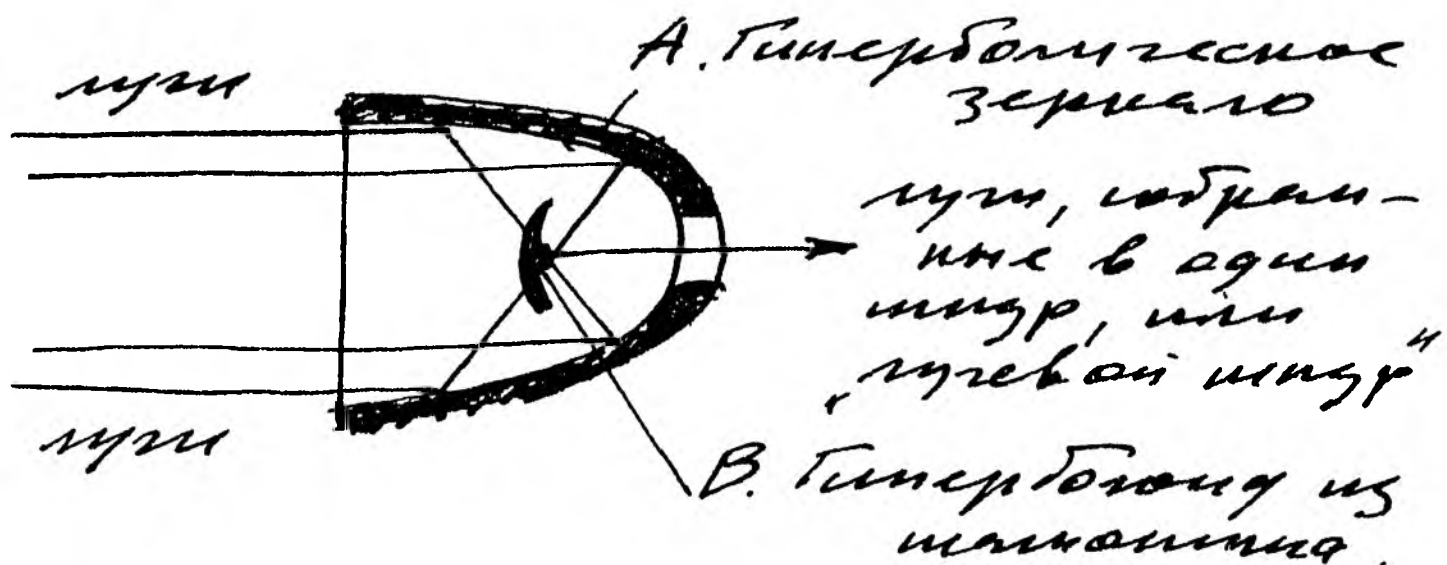
ги. — Вы хотели, Зоя, чтобы я также рискнул всем в нашей игре... Смотрите сюда... Это основная схема...



Это просто, как дважды два. Чистая случайность, что это до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале (А), напоминающем формой зеркало обыкновенного прожектора, и в кусочке шамотита (В), сделанном также в виде гиперболической сферы. Закон гиперболических зеркал таков:



Лучи света, падая на внутреннюю поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке, в фокусе гиперболы. Это известно. Теперь вот что неизвестно: я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую гиперболу (очерченную, так сказать, навыворот) — гиперболоид вращения, выточенный из тугоплавкого, идеально полирующегося минерала — шамотита (В), — залежи его на севере России неисчерпаемы. Что же получается с лучами?



Лучи, собираясь в фокусе зеркала (А), падают на поверхность гиперболоида (В) и отражаются от него математически параллельно, — иными словами, гиперболоид (В) концентрирует все лучи в один луч, или в «лучевой шнур» любой толщины. Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид (В), я по желанию увеличиваю или уменьшаю толщину «лучевого шнура». Потеря его энергии при прохождении через воздух ничтожна. При этом я могу довести его (практически) до толщины иглы.

При этих словах Зоя поднялась, хрустнула пальцами и снова села, обхватила колено.

— Во время первых опытов я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей. Путем установки гиперболоида (В) я доводил «лучевой шнур» до толщины вязальной спицы и легко разрезывал им дюймовую доску. Тогда же я понял, что вся задача — в нахождении компактных и чрезвычайно могучих источников лучевой энергии. За три года работы, стоившей жизни двоим моим помощникам, была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что, помещенные в аппарат, — как вы видите, — и зажженные (горят около пяти минут), они дают «лучевой шнур», способный в несколько секунд разрезать железнодорожный мост... Вы представляете, какие открываются возможности? В природе не существует ничего, что бы могло сопротивляться силе «лучевого шнура»... Здания, крепости, дредноуты, воздушные корабли, скалы, горы, кора земли — все пронизает, разрушит, разрежет мой луч...

Гарин внезапно оборвал и поднял голову, прислушиваясь. За окном шуршал и скрипел гравий, замирая, работали моторы. Он прыгнул к окну и проскользнул за портьеру. Зоя глядела, как за пыльным малиновым бархатом неподвижно стояло очертание Гарина, затем оно содрогнулось. Он выскользнул из-за портьеры.

— Три машины и восемь человек, — сказал он шепотом, — это за нами. Кажется — автомобиль Роллинга. В гостинице только мы и привратница. (Он живо вынул из ночного столика револьвер и сунул в карман пиджака.) Меня-то уж во всяком случае не выпустят живым... — Он весело вдруг почесал сбоку носа. — Ну, Зоя, решайте: да или нет? Другой такой минуты не выберешь.

— Вы с ума сошли, — лицо Зои вспыхнуло, помолодело, — спасайтесь!..

Гарин только вскинул бородкой.

— Восемь человек, вздор, вздор! — Он приподнял аппарат и повернул его дулом к двери. Хлопнул себя по карману. Лицо его внезапно осунулось.

— Спички, — прошептал он, — нет спичек...

Быть может, он сказал это нарочно, чтобы испытать Зою. Быть может, и вправду в кармане не оказалось спичек, — от них зависела жизнь. Он глядел на Зою, как животное, ожидая смерти. Она, будто во сне, взяла с кресла сумочку, вынула коробку восковых спичек. Протянула медленно, с трудом. Беря, он ощутил пальцами ее ледяную узкую руку.

Внизу по винтовой лестнице поднимались шаги, поскрипывая осторожно.

44

Несколько человек остановилось за дверью. Было слышно их дыхание. Гарин громко спросил по-французски:

— Кто там?

— Телеграмма, — ответил грубый голос, — отворите!..

Зоя молча схватила Гарина за плечи, затрясла головой. Он увлек ее в угол комнаты, силой посадил на ковер. Сейчас же вернулся к аппарату, крикнул:

— Подсуньте телеграмму под дверь.

— Когда говорят — отворите, нужно отворять, — зарычал тот же голос.

Другой, осторожный, спросил:

— Женщина у вас?

— Да, у меня.

— Выдайте ее, вас оставим в покое.

— Предупреждаю, — свирепо проговорил Гарин, — если вы не уберетесь к черту, через минуту ни один из вас не останется в живых...

— О-ля-ля!.. О-хо-хо!.. Гы-гы!.. — завывали, заржали голоса, и на дверь навалились, завертелась фарфоровая ручка, посыпались с косяков куски штукатурки. Зоя не сводила глаз с лица Гарина. Он был бледен, движения быстры и уверенны. Присев на корточки, он прикручивал в аппарате микрометрический винт. Вынул несколько спичек и положил на стол рядом с коробкой. Взял револьвер и выпрямился, ожидая. Дверь затрещала. Вдруг от удара посыпалось оконное стекло, колыхнулась портьера. Гарин сейчас же выстрелил в окно. Присел, чиркнул спичкой, сунул ее в аппарат и захлопнул сферическую крышку.

Прошла всего секунда тишины после его выстрела. И сейчас же началась атака одновременно на дверь и на окно. В дверь стали бить чем-то тяжелым, от филенок полетели щепы. Портьера на окне завилась и упала вместе с карнизом.

— Гастон! — вскрикнула Зоя. Через железную решетку окна лез Утиный Нос, держа во рту нож-наваху. Дверь еще держалась. Гарин, белый как бумага, прикручивал микрометрический винт, в левой руке его плясал револьвер. В аппарате билось, гудело пламя. Кружочек света на стене (против дула аппарата) уменьшался, — задымились обои. Гастон, косясь на револьвер, двигался вдоль стены, весь подбирался перед прыжком. Нож он держал уже в руке, по-испански — лезвием к себе. Кружочек света стал ослепительной точкой. В разбитые филенки двери лезли усатые морды... Гарин схватил обеими руками аппарат и дулом направил его на Утинового Носа...

Зоя увидела: Гастон разинул рот не то, чтобы крикнуть, не то, чтобы заглотнуть воздух... Дымная полоса прошла поперек его груди, руки поднялись было и упали. Он опрокинулся на ковер. Голова его вместе с плечами, точно кусок хлеба, отвалилась от нижней части туловища.

Гарин повернул аппарат к двери. По пути «лучевой шнур» разрезал провод, — лампочка под потолком погасла. Ослепительный, тонкий, прямой, как игла, луч из дула аппарата чиркнул поверх двери, — посыпались осколки дерева. Скользнул ниже. Раздался короткий вопль, будто раздавили кошку. В темноте кто-то шарахнулся. Мягко упало тело. Луч танцевал на высоте двух футов от пола. Послышался запах горящего мяса. И вдруг стало тихо, только гудело пламя в аппарате.



Гарин покашлял, сказал плохо повинующимся, хриповатым голосом:

— Кончено со всеми.

За разбитым окном ветерок налетел на невидимые липы, они зашелестели по-ночному — сонно. Из темноты, снизу, где неподвижно стояли машины, крикнули по-русски:

— Петр Петрович, вы живы? — Гарин появился в окне. — Осторожнее, это я, Шельга. Помните наш договор? У меня автомобиль Роллинга. Надо бежать. Спасайте аппарат. Я жду...

45

Вечером, как обычно по воскресеньям, профессор Рейхер играл в шахматы у себя, на четвертом этаже, на открытом небольшом балконе. Партнером был Генрих Вольф, его любимый ученик. Они курили, уставясь в шахматную доску. Вечерняя заря давно погасла в конце длинной улицы. Черный воздух был душен. Не шевелился плющ, обвивавший выступы веранды. Внизу, под звездами, лежала пустынная асфальтовая площадь.

Покряхтывая, посапывая, профессор разрешал ход. Поднял плотную руку с желтоватыми ногтями, но не дотронулся до фигуры. Вынул изо рта окурок сигары.

— Да. Нужно подумать.

— Пожалуйста, — ответил Генрих. Его красивое лицо с широким лбом, резко очерченным подбородком, коротким прямым носом выражало покой могучей машины. У профессора было больше темперамента (старое поколение), — стального цвета борода растрепалась, на морщинистом лбу лежали красные пятна.

Высокая лампа под широким цветным абажуром освещала их лица. Несколько чахлых зелененьких существ кружились у лампочки, сидели на свежепроглаженной скатерти, топорща усики, глядя точечками глаз и, должно быть, не понимая, что имеют честь присутствовать при том, как два бога тешатся игрою небожителей. В комнате часы пробили десять.

Фрау Рейхер, мать профессора, чистенькая старушка, сидела неподвижно. Читать и вязать она уже не могла при искусственном свете. Вдали, где в черной ночи горели окна высокого дома, угадывались огромные пространства каменного Берлина. Если бы не сын за шахмат-

ной доской, не тихий свет абажура, не зелененькие существа на скатерти, ужас, давно прилегший в душе, поднялся бы опять, как много раз в эти годы, и высушил бескровное личико фрау Рейхер. Это был ужас перед надвигающимися на город, на этот балкон миллионами. Их звали не Фрицы, Иоганны, Генрихи, Отто, а масса. Один, как один, — плохо выбриты, в бумажных манишках, покрытые железной, свинцовой пылью, — они по временам заполняли улицы. Они многого хотели, выпячивая тяжелые челюсти.

Фрау Рейхер вспомнила блаженное время, когда ее жених, Отто Рейхер, вернулся из-под Седана победителем французского императора. Он весь пропах солдатской кожей, был бородат и громогласен. Она встретила его за городом. На ней было голубое платье, и ленты, и цветы. Германия летела к победам, к счастью вместе с веселой бородой Отто, вместе с гордостью и надеждами. Скоро весь мир будет завоеван...

Прошла жизнь фрау Рейхер. И настала и прошла вторая война. Кое-как вытащили ноги из болота, где гнили миллионы человеческих трупов. И вот — появились массы. Взгляни любому под каскетку в глаза. Это не немецкие глаза. Их выражение упрямо, невесело, непостижимо. К их глазам нет доступа. Фрау Рейхер охватывал ужас.

На веранде появился Алексей Семенович Хлынов. Он был по-воскресному одет в чистенький серый костюм.

Хлынов поклонился фрау Рейхер, пожелал ей доброго вечера и сел рядом с профессором, который добродушно сморщился и с юмором подмигнул шахматной доске. На столе лежали журналы и иностранные газеты. Профессор, как и всякий интеллигентный человек в Германии, был беден. Его гостеприимство ограничивалось мягким светом лампы на свежеевыглаженной скатерти, предложенной сигарой в двадцать пфеннигов и беседой, стоившей, пожалуй, дороже ужина с шампанским и прочими излишествами.

В будни от семи утра до семи вечера профессор бывал молчалив, деловит и суров. По воскресеньям он «охотно отправлялся с друзьями на прогулку в страну фантазии». Он любил поговорить «от одного до другого конца сигары».

— Да, надо подумать, — опять сказал профессор, закутываясь дымом.

— Пожалуйста, — холодно-вежливо ответил Вольф.

Хлынов развернул парижскую «Л'Энтрансижан» и на первой странице под заголовком «ТАИНСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ВИЛЬ ДАВРЕ» увидел снимок, изображающий семерых людей, разрезанных на куски. «На куски, так на куски», — подумал Хлынов. Но то, что он прочел, заставило его задуматься:

«...Нужно предполагать, что преступление совершено каким-то неизвестным до сих пор орудием, либо раскаленной проволокой, либо тепловым лучом огромного напряжения. Нам удалось установить национальность и внешний вид преступника: это, как и надо было ожидать, — русский

следовало описание наружности, данное хозяйкой гостиницы).

В ночь преступления с ним была женщина. Но дальше все загадочно. Быть может, несколько приподнимает завесу кровавая находка в лесу Фонтенебло. Там, в тридцати метрах от дороги, найден в бесчувственном состоянии неизвестный. На теле его оказались четыре огнестрельные раны. Документы и все, устанавливающее его личность, похищено. По-видимому, жертва была сброшена с автомобиля. Привести в сознание его до сих пор еще не удалось...»

46

— Шах! — воскликнул профессор, взмывая взятым конем. — Шах и мат! Вольф, вы разбиты, вы оккупированы, вы на коленях, шестьдесят шесть лет вы платите репарации. Таков закон высокой империалистической политики.

— Реванш? — спросил Вольф.

— О нет, мы будем наслаждаться всеми преимуществами победителя.

Профессор потрепал Хлынова по колену.

— Что вы такое вычитали в газетке, мой юный и непримиримый большевик? Семь разрезанных французов? Что поделаешь, — победители всегда склонны к излишествам. История стремится к равновесию. Пессимизм — вот что притаскивают победители к себе в дом вместе с награбленным. Они начинают слишком жирно есть. Желудок их не справляется с жирами и отравляет кровь отвратительными ядами. Они режут людей на куски, вешаются на подтяжках, кидаются с мостов. У них пропадает любовь к жизни. Оптимизм — вот что остается у побежденных взамен награбленного. Великолепное свойство человеческой воли — верить, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Пессимизм должен быть выдернут с корешками. Угрюмая и кровавая мистика Востока, безнадежная печаль эллинской цивилизации, разнузданные страсти Рима среди дымящихся развалин городов, изуверство средних веков, каждый год ожидающих конца мира и страшного суда, и наш век, строящий картонные домики благополучия и глотающий нестерпимую чушь кинематографа, — на каком основании, я спрашиваю, построена эта чахлая психика царя природы? Основание — пессимизм... Проклятый пессимизм... Я читал вашего Ленина, мой дорогой... Это великий оптимист. Я его уважаю...

— Вы сегодня в превосходном настроении, профессор, — мрачно сказал Вольф.

— Вы знаете почему? — Профессор откинулся на плетеном кресле, подбородок его собрался морщинами, глаза весело, молодо посматривали из-под бровей. — Я сделал прелюбопытнейшее открытие... Я получил некоторые сводки, и сопоставил некоторые данные, и неожиданно пришел к удивительному заключению... Если бы германское правительство не было шайкой авантюристов, если бы я был уверен, что мое открытие не попадет в руки жуликам и грабителям, — я бы, пожалуй, опубликовал его... Но нет, лучше молчать...

— С нами-то, надеюсь, вы можете поделиться, — сказал Вольф.

Профессор лукаво подмигнул ему:

— Что бы вы, например, сказали, мой друг, если бы я предложил честному германскому правительству... вы слышите, — я подчеркиваю: «честному», в это я вкладываю особенный смысл... — предложил бы любые запасы золота?

— Откуда? — спросил Вольф.

— Из земли, конечно...

— Где эта земля?

— Безразлично. Любая точка земного шара... Хотя бы в центре Берлина. Но я не предложу. Я не верю, чтобы золото обогатило вас, меня, всех Фрицев, Михелей... Пожалуй, мы станем еще бедней... Один только человек, — он обернул к Хлынову седовласую львиную голову, — ваш соотечественник, предложил сделать настоящее употребление из золота... Вы понимаете?

Хлынов усмехнулся, кивнул.

— Профессор, я привык слушать вас серьезно, — сказал Вольф.

— Я постараюсь быть серьезным. Вот у них в Москве зимние морозы доходят до тридцати градусов ниже нуля, вода, выплеснутая с третьего этажа, падает на тротуар шариками льда. Земля носится в межпланетном пространстве десять — пятнадцать миллиардов лет. Должна была она остыть за этот срок, черт возьми? Я утверждаю — земля давным-давно остыла, отдала лучеиспусканием все свое тепло межпланетному пространству. Вы спросите: а вулканы, расплавленная лава, горячие гейзеры? Между твердой, слабо нагреваемой солнцем земной корой и всей массой земли находится пояс расплавленных металлов, так называемый Оливиновый пояс. Он происходит от непрерывного *атомного распада* основной массы земли. Эта основная масса представляет шар температуры межпланетного пространства, то есть в нем двести семьдесят три градуса ниже нуля. Продукты распада — Оливиновый пояс — не что иное, как находящиеся в жидком состоянии металлы: оливин, ртуть и золото. И нахождение их, по многим данным, не так глубоко: от пятнадцати до трех тысяч метров глубины. Можно в центре Берлина пробить шахту, и расплавленное золото само хлынет, как нефть, из глубины Оливинового пояса...

— Логично, заманчиво, но невероятно, — после молчания проговорил Вольф. — Пробить современными орудиями шахту такой глубины — невозможно...

Хлынов положил руку на развернутый лист «Л'Энтрансижан».

— Профессор, этот снимок напомнил мне разговор на аэроплане, когда я летел в Берлин. Задача пробраться

к распадающимся элементам земного центра не так уже невероятна.

— Какое это имеет отношение к разрезанным французам? — спросил профессор, опять раскуривая сигару.

— Убийство в Вилль Давре совершено тепловым лучом.

При этих словах Вольф придвинулся к столу, холодное лицо его насторожилось.

— Ах, опять эти лучи, — профессор сморщился, как от кислого, — вздор, блеф, утка, запускаемая английским военным министерством.

— Аппарат построен русским, я знаю этого человека, — ответил Хлынов, — это талантливый изобретатель и крупный преступник.

Хлынов рассказал все, что знал об инженере Гарине: об его работах в Политехническом институте, о преступлении на Крестовском острове, о странных находках в подвале дачи, о вызове Шельги в Париж и о том, что, видимо, сейчас идет бешеная охота за аппаратом Гарина.

— Свидетельство налицо, — Хлынов указал на фотографию, — это работа Гарина.

Вольф хмуро рассматривал снимок. Профессор проговорил рассеянно:

— Вы полагаете, что при помощи тепловых лучей можно бурить землю? Хотя... при трехтысячной температуре расплавятся и глины и гранит. Очень, очень любопытно... А нельзя ли куда-нибудь телеграфировать этому Гарину? Гм... Если соединить бурение с искусственным охлаждением и поставить электрические элеваторы для отчерпывания породы, можно пробраться глубоко... Другой, вы меня чертовски заинтересовали...

До второго часа ночи, сверх обыкновения, профессор ходил по веранде, дымил сигарой и развивал планы, один удивительнее другого.

Обычно Вольф, уходя от профессора, прощался с Хлыновым на площади. На этот раз он пошел рядом с ним, постукивая тростью, опутив нахмуренное лицо.

— Ваше мнение таково, что инженер Гарин скрылся вместе с аппаратом после истории в Вилль Давре? — спросил он.

— Да.

— А эта «кровавая находка в лесу Фонтенебло» не может оказаться Гариным?

— Вы хотите сказать, что Шельга захватил аппарат?..

— Вот именно.

— Мне это не приходило в голову... Да, это было бы очень неплохо.

— Я думаю, — подняв голову, насмешливо сказал Вольф.

Хлынов быстро взглянул на собеседника. Оба остановились. Издалека фонарь освещал лицо Вольфа, — злую усмешку, холодные глаза, упрямый подбородок. Хлынов сказал:

— Во всяком случае, все это только догадки, нам пока еще незачем ссориться.

— Я понимаю, понимаю.

— Вольф, я с вами не хитрю, но говорю твердо, — необходимо, чтобы аппарат Гарина оказался в СССР. Одним этим желанием я создаю в вас врага. Честное слово, дорогой Вольф, у вас очень смутные понятия, что вредно и что полезно для вашей родины.

— Вы стараетесь меня оскорбить?

— Фу ты, черт! Хотя — правда. — Хлынов чисто по-русски, что сразу отметил Вольф, двинул шляпу на сторону, почесал за ухом. — Да разве после того, как мы перебили друг у друга миллионы семь человек, можно еще обижаться на слова?.. Вы — немец от головы до ног, бронированная пехота, производитель машин, у вас и нервы, я думаю, другого состава. Слушайте, Вольф, попади в руки таким, как вы, аппарат Гарина, чего вы только не натворите...

— Германия никогда не примирится с унижением.

Они подошли к дому, где в первом этаже Хлынов снимал комнату. Молча простились. Хлынов ушел в ворота. Вольф стоял, медленно катая между зубами погасшую сигару. Вдруг окно в первом этаже распахнулось, и Хлынов взволнованно высунулся:

— А... Вы еще здесь?.. Слава богу. Вольф, телеграмма из Парижа, от Шельги... Слушайте: «Преступник ушел. Я ранен, встану нескоро. Опасность величайшая, неизмеримая грозит миру. Необходим ваш приезд».

— Я еду с вами, — сказал Вольф.

На белой колеблющейся шторе бегали тени от листвы. Неумолкаемое журчание слышалось за шторой. Это на газоне больничного сада из переносных труб распылялась вода среди радуг, стекала каплями с листьев платана перед окном.

Шельга дремал в белой высокой комнате, освещенной сквозь штору.

Издалека доносился шум Парижа. Близкими были звуки — шорох деревьев, голоса птиц и однообразный плеск воды.

Неподалеку крякал автомобиль или раздавались шаги по коридору. Шельга быстро открывал глаза, остро, тревожно глядел на дверь. Пошевелиться он не мог. Обе руки его были окованы гипсом, грудь и голова забинтованы. Для защиты — одни глаза. И снова сладкие звуки из сада навевали сон.

Разбудила сестра-кармелитка¹, вся в белом, осторожно полными руками поднесла к губам Шельги фарфоровый соусничек с чаем. Когда ушла, остался запах лаванды.

Между сном и тревогой проходил день. Это были седьмые сутки после того, как Шельгу, без чувств, окровавленного, подняли в лесу Фонтенебло.

Его уже два раза допрашивал следователь. Шельга дал следующие показания:

— В двенадцатом часу ночи на меня напали двое. Я защищался тростью и кулаками. Получил четыре пули, больше ничего не помню.

— Вы хорошо рассмотрели лица нападавших?

— Их лица — вся нижняя часть — были закрыты платками.

— Вы защищались также и тростью?

— Просто это был сучок, — я его подобрал в лесу.

— Зачем в такой поздний час вы попали в лес Фонтенебло?

— Гулял, осматривал дворец, пошел обратно лесом, заблудился.

— Чем вы объясните то обстоятельство, что вблизи места покушения на вас обнаружены свежие следы автомобиля?

— Значит, преступники приехали на автомобиле.

— Чтобы ограбить вас? Или чтобы убить?

¹ К а р м е л и т ы — монашеский орден.

— Ни то, ни другое, я думаю. Меня никто не знает в Париже. В посольстве я не служу. Политической миссии не выполняю. Денег с собой немного.

— Стало быть, преступники ожидали не вас, когда стояли у двойного дуба, на поляне, где один курил, другой потерял запонку с ценной жемчужиной?

— По всей вероятности, это были светские молодые люди, проигравшиеся на скачках или в казино. Они искали случая поправить дела. В лесу Фонтенебло мог попасться человек, набитый тысячефранковыми билетами.

На втором допросе, когда следователь предъявил копию телеграммы в Берлин Хлынову (переданную следователю сестрой-кармелиткой), Шельга ответил:

— Это шифр. Дело касается поимки серьезного преступника, ускользнувшего из России.

— Вы могли бы говорить со мною более откровенно?

— Нет. Это не моя тайна.

На вопросы Шельга отвечал точно и ясно, глядел в глаза честно и даже глуповато. Следователю оставалось только поверить в его искренность.

Но опасность не миновала. Опасностью были пропитаны столбцы газет, полные подробностями «кошмарного дела в Вилль Давре», опасность была за дверью, за белой шторой, колеблемой ветром, в фарфоровом соусничке, подносимом к губам полными руками сестры-кармелитки.

Спасение в одном: как можно скорее снять гипс и повязки. И Шельга весь застыл, без движения, в полудремоте.

50

...В полудремоте ему вспоминалось:

Фонари потушены. Автомобиль замедлил ход... В окошко машины высунулся Гарин и — громким шепотом:

— Шельга, сворачивайте. Сейчас будет поляна. Там...

Грузно трянувшись на шоссе канаве, автомобиль прошел между деревьями, повернулся и стал.

Под звездами лежала извилистая полянка. Смутно в тени деревьев громоздились скалы.

Мотор выключен. Остро запахло травой. Сонно плескался ручей, над ним вился туманчик, уходя неясным полотнищем в глубь поляны.

Гарин выпрыгнул на мокрую траву. Протянул руку. Из автомобиля вышла Зоя Монроз в глубоко надвинутой шапочке, подняла голову к звездам. Передернула плечами.

— Ну, вылезайте же, — резко сказал Гарин.

Тогда из автомобиля, головой вперед, вылез Роллинг. Из-под тени котелка его блестели золотые зубы.

Плескалась, бормотала вода в камнях. Роллинг вытащил из кармана руку, стиснутую, видимо, уже давно в кулак, и заговорил глуховатым голосом:

— Если здесь готовится смертный приговор, я протестую. Во имя права. Во имя человечности... Я протестую как американец... Как христианин... Я предлагаю любой выкуп за жизнь.

Зоя стояла спиной к нему. Гарин проговорил брезгливо:

— Убить вас я мог бы и там...

— Выкуп? — быстро спросил Роллинг.

— Нет.

— Участие в ваших... — Роллинг мотнул щеками, — в ваших странных предприятиях?

— Да. Вы должны это помнить... На бульваре Мальзерб... Я говорил вам...

— Хорошо, — ответил Роллинг, — завтра я вас приму... Я должен продумать заново ваши предложения.

Зоя сказала негромко:

— Роллинг, не говорите глупостей.

— Мадемуазель! — Роллинг подскочил, котелок съехал ему на нос, — мадемуазель... Ваше поведение неслыханно... Предательство... Разврат...

Так же тихо Зоя ответила:

— Ну вас к черту! Говорите с Гариным.

Тогда Роллинг и Гарин отошли к двойному дубу. Там вспыхнул электрический фонарик. Нагнулись две головы. Несколько секунд было слышно только, как плескался ручей в камнях.

— Но нас не трое, нас четверо... здесь есть свидетель, — долетел до Шельги резкий голос Роллинга.

.

— Кто здесь, кто здесь? — сотрясаясь, сквозь дремоту пробормотал Шельга. Зрачки его расширились во весь глаз.

Перед ним на белом стульчике, — со шляпой на коленях, — сидел Хлынов.

— Не предугадал хода... Думать времени не было,— рассказывал ему Шельга,— сыграл такого дурака, что — ну.

— Ваша ошибка в том, что вы взяли в автомобиль Роллинга,— сказал Хлынов.

— Какой черт я взял... Когда в гостинице началась пальба и резня, Роллинг сидел, как крыса, в автомобиле,— оцетинился двумя кольтами. Со мной оружия не было. Я влез на балкон и видел, как Гарин расправился с бандитами... Сообщил об этом Роллингу... Он струсил, зашипел, наотрез отказался выходить из машины... Потом он пытался стрелять в Зою Монроз. Но мы с Гариным свернули ему руки... Долго возиться было некогда, я вскочил за руль — и ходу...

— Когда вы были уже на полянке и они совещались около дуба, неужели вы не поняли?..

— Понял, что мое дело — ящик. А что было делать? Бежать? Ну, знаете, я все-таки спортсмен... К тому же у меня и план был весь разработан... В кармане фальшивый паспорт для Гарины, с десятью визами... Аппарат его,— рукой взять,— в автомобиле... При таких обстоятельствах мог я о шкуре своей очень-то думать?..

— Ну, хорошо... Они сговорились...

— Роллинг подписал какую-то бумажку там, под деревом,— я хорошо видел. После этого — слышу — он сказал насчет четвертого свидетеля, то есть меня. Я вполголоса говорю Зое: «Слушайте-ка, давеча мы проехали мимо полисмена, он заметил номер машины. Если меня сейчас убьют, к утру вы все трое будете в стальных наручниках». Знаете, что она мне ответила? Вот женщина!.. Через плечо, не глядя: «Хорошо, я приму это к сведению». А до чего красива!.. Бесовка! Ну, ладно. Гарин и Роллинг вернулись к машине. Я — как ни в чем не бывало... Первая села Зоя. Высунулась и что-то проговорила по-английски. Гарин — мне: «Товарищ Шельга, теперь — валяйте: полный ход по шоссе на запад». Я присел перед радиатором... Вот где моя ошибка. У них только и была эта одна минута... Когда машина на ходу, они бы со мной ничего не сделали, побоялись... Хорошо,— завожу машину... Вдруг, в темя, в мозг — будто дом на голову рухнул, хряснули кости, ударило, обожгло светом, опрокинуло навзничь... Видел только — мелькнула перекошенная морда

Роллинга. Сукин сын! Четыре пули в меня запустил... Потом, я открываю глаза, вот эта комната.

Шельга утомился, рассказывая. Долго молчали. Хлынов спросил:

— Где может быть сейчас Роллинг?

— Как где? Конечно, в Париже. Ворочает прессой. У него сейчас большое наступление на химическом фронте. Деньги лопатой загребает. В том-то все и дело, что я с минуты на минуту жду пулю в окно или яд в соуснике. Он меня все-таки пришьет, конечно...

— Чего же вы молчите?.. Немедленно нужно дать знать шефу полиции.

— Товарищ дорогой, вы с ума сошли! Я и жив-то до сих пор только потому, что молчу.

52

— Итак, Шельга, вы своими глазами видели действие аппарата?

— Видел и теперь знаю: пушки, газы, аэропланы — все это детская забава. Вы не забывайте, тут не один Гарин... Гарин и Роллинг. Смертоносная машина и миллиарды. Всего можно ждать.

Хлынов поднял штору и долго стоял у окна, глядя на изумрудную зелень, на старого садовника, с трудом перетаскивающего металлические суставчатые трубы в теневую сторону сада, на черных дроздов, — они деловито и озабоченно бегали под кустами вербены, вытаскивали из чернозема дождевых червяков. Небо, синее и прелестное, вечным покоем расстилалось над садом.

— А то предоставить их самим себе, пусть развернутся во всем великолепии — Роллинг и Гарин, и конец будет ближе, — проговорил Хлынов. — Этот мир погибнет неминуемо... Здесь одни дрозды живут разумно. — Хлынов отвернулся от окна. — Человек каменного века был значительнее, несомненно... Бесплатно, только из внутренней потребности, разрисовывал пещеры, думал, сидя у огня, о мамонтах, о грозах, о странном вращении жизни и смерти и о самом себе. Черт знает, как это было почетно!.. Мозг еще маленький, череп толстый, но духовная энергия молниями лучилась из его головы... А эти, нынешние, на кой черт им летательные машины? Посадить бы какого-нибудь франта с бульвара в пещеру напротив палеолитического человека. Тот бы, волосатый дядя, его спросил: «Рассказывай, сын больной суки, до чего ты

додумался за эти сто тысяч лет?..» — «Ах, ах, — завертелся бы франт, — я, знаете ли, не столько думаю, сколько наслаждаюсь плодами цивилизации, господин пращур... Если бы не опасность революций со стороны черни, то наш мир был бы поистине прекрасен. Женщины, рестораны, немножко волнения за картами в казино, немножко спорта... Но, вот беда, — эти постоянные кризисы и революции — это становится утомительным...» — «Ух, ты, — сказал бы на это пращур, впиваясь в франта горящими глазами, — а мне вот нравится ду-у-у-умать: я вот сижу и уважаю мой гениальный мозг... Мне бы хотелось проткнуть им вселенную...»

Хлынов замолчал. Усмехаясь, всматривался в сумрак палеолитической пещеры. Тряхнул головой:

— Чего добиваются Гарин и Роллинг? Щекотки. Пусть они ее называют властью над миром. Все же это не больше, чем щекотка. В прошлую войну погибло тридцать миллионов. Они постараются убить триста. Духовная энергия в глубочайшем обмороке. Профессор Рейхер обедает только по воскресеньям. В остальные дни он кушает два бутерброда с повидлой и с маргарином — на завтрак и отварной картофель с солью — к обеду. Такова плата за мозговой труд... И так будет, покуда мы не взорвем всю эту ихнюю «цивилизацию», Гарина посадим в сумасшедший дом, а Роллинга отправим завхозом куда-нибудь на остров Врангеля... Вы правы, нужно бороться... Что же, — я готов. Аппаратом Гарина должен владеть СССР...

— Аппарат будет у нас, — закрыв глаза, проговорил Шельга.

— С какого конца приступить к делу?

— С разведки, как полагается.

— В каком направлении?

— Гарин сейчас, по всей вероятности, бешеным ходом строит аппараты. В Вилль Давре у него была только модель. Если он успеет построить боевой аппарат, — тогда его взять будет очень трудно. Первое, — нужно узнать, где он строит аппараты.

— Понадобятся деньги.

— Поезжайте сегодня же на улицу Гренелль, переговорите с нашим послом, я его кое о чем уже осведомил. Деньги будут. Теперь второе, — нужно разыскать Зою Монроз. Это очень важно. Это баба умная, жестокая, с большой фантазией. Она Гарина и Роллинга связала насмерть. В ней вся пружина их махинации.

— Простите, бороться с женщинами отказываюсь...

— Алексей Семенович, она посильнее нас с вами... Она еще много крови прольет.

Зоя вышла из круглой и низкой ванны, подставила спину, — горничная накинула на нее мохнатый халат. Зоя, вся еще покрытая пузырьками морской воды, села на мраморную скамью.

Сквозь иллюминаторы скользили текущие отблески солнца, зеленоватый свет играл на мраморных стенах, ванная комната слегка покачивалась. Горничная осторожно вытирала, как драгоценность, ноги Зои, натянула чулки и белые туфли.

— Белье, мадам.

Зоя лениво поднялась, на нее надели почти не существующее белье. Она глядела мимо зеркала, заломив брови. Ее одели в белую юбку и белый, морского покроя, пиджачок с золотыми пуговицами, — как это и полагалось для владелицы трехсоттонной яхты в Средиземном море.

— Грим, мадам?

— Вы с ума сошли, — ответила Зоя, медленно взглянула на горничную и пошла наверх, на палубу, где с теневой стороны на низком камышовом столике был накрыт завтрак.

Зоя села у стола. Разломила кусочек хлеба и загляделась. Белый узкий корпус моторной яхты скользил по зеркальной воде, — море было ясно-голубое, немного темнее безоблачного неба. Пахло свежестью чисто вымытой палубы. Подувал теплый ветерок, лаская ноги под платьем.

На слегка выгнутой, из узких досок, точно замшевой палубе стояли у бортов плетеные кресла, посредине лежал серебристый азиатский ковер с разбросанными парчовыми подушками. От капитанского мостика до кормы натянут тент из синего шелка с бахромой и кистями.

Зоя вздохнула и начала завтракать.

Мягко ступая, улыбаясь, подошел капитан Янсен, норвежец, — выбритый, румяный, похожий на взрослого ребенка. Неторопливо приложил два пальца к фуражке, надвинутой глубоко на одно ухо.

— С добрым утром, мадам Ламоль. (Зоя плавала под этим именем и под французским флагом.)

Капитан был весь белоснежный, выглаженный, — косолапо, по-морски, изящный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до белых туфель с веревочными подошвами. Осталась удовлетворена.

— Доброе утро, Янсен.

— Имею честь доложить, курс — норд-вест-вест, широта и долгота (такие-то), на горизонте курится Везувий. Неаполь покажется меньше чем через час.

— Садитесь, Янсен.

Движением руки она пригласила его принять участие в завтраке. Янсен сел на заскрипевшую под сильным его телом камышовую банкетку. От завтрака отказался, — он уже ел в девять утра. Из вежливости взял чашечку кофе.

Зоя рассматривала его загорелое лицо со светлыми ресницами, — оно понемногу залилось краской. Не отхлебнув, он поставил чашечку на скатерть.

— Нужно переменить пресную воду и взять бензин для моторов, — сказал он, не поднимая глаз.

— Как, заходить в Неаполь? Какая тоска! Мы встанем на внешнем рейде, если вам так уже нужны вода и бензин.

— Есть встать на внешнем рейде, — тихо проговорил капитан.

— Янсен, ваши предки были морскими пиратами?

— Да, мадам.

— Как это было интересно! Приключения, опасности, отчаянные кутежи, похищение красивых женщин... Вам жалко, что вы не морской пират?

Янсен молчал. Рыжие ресницы его моргали. По лбу пошли складки.

— Ну?

— Я получил хорошее воспитание, мадам.

— Верю.

— Разве что-нибудь во мне дает повод думать, что я способен на противозаконные и нелояльные поступки?

— Фу, — сказала Зоя, — такой сильный, смелый, отличный человек, потомок пиратов — и все это, чтобы возить вздорную бабу по теплой скучной луже. Фу!

— Но, мадам...

— Устройте какую-нибудь глупость, Янсен. Мне скучно...

— Есть устроить глупость.

— Когда будет страшная буря, посадите яхту на камень.

— Есть посадить яхту на камни...

— Вы серьезно это намерены сделать?

— Если вы приказываете...

Он взглянул на Зою. В глазах его были обида и сдерживаемое восхищение. Зоя потянулась и положила руку ему на белый рукав:

— Я не шучу с вами, Янсен. Я знаю вас всего три недели, но мне кажется, что вы из тех, кто может быть предан (у него сжались челюсти). Мне кажется, вы способны на поступки, выходящие из пределов лояльности, если, если...

В это время на лакированной, сверкающей бронзой лестнице с капитанского мостика показались сбегающие ноги. Янсен сказал поспешно:

— Время, мадам...

Вниз сошел помощник капитана. Отдал честь:

— Мадам Ламоль, без трех минут двенадцать, сейчас будут вызывать по радио...

54

Ветер парусил белую юбку. Зоя поднялась на верхнюю палубу к рубке радиотелеграфа. Прищурясь, вдохнула соленый воздух. Сверху, с капитанского мостика, необъятным казался солнечный свет, падающий на стеклянно-рябое море.

Зоя глядела и загляделась, взявшись за перила. Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел среди ветерков в этом водянистом свете.

Сердце билось от счастья. Казалось, оторви руки от перил, и полетишь. Чудесное создание — человек. Какими числами измерить неожиданности его превращений? Злые излучения воли, текучий яд вожделений, душа, казалось, разбитая в осколки, — все мучительное темное прошлое Зои отодвинулось, растворилось в этом солнечном свете...

«Я молода, молода, — так казалось ей на палубе корабля, с поднятым к солнцу бушпритом, — я красива, я добра».

Ветер ласкал шею, лицо. Зоя восторженно желала счастья себе. Все еще не в силах оторваться от света, неба, моря, она повернула холодную ручку дверцы, вошла в хрустальную будку, где с солнечной стороны были задернуты шторы. Взяла слуховые трубки. Положила локти на стол, прикрыла глаза пальцами, — сердцу все еще было горячо. Зоя сказала помощнику капитана:

— Идите.

Он вышел, покосившись на мадам Ламоль. Мало того, что она была чертовски красива, стройна, тонка, «шикарна», — от нее неизъяснимое волнение.

Двойные удары хронометра, как склянки, прозвонили двенадцать. Зоя улыбнулась, — прошло всего три минуты с тех пор, как она поднялась с кресла под тентом.

«Нужно научиться чувствовать, раздвигать каждую минуту в вечность, — подумалось ей, — знать: впереди миллионы минут, миллионы вечностей».

Она положила пальцы на рычажок и, пододвинув его влево, настроила аппарат на волну сто тридцать семь с половиной метров. Тогда из черной пустоты трубки раздался медленный и жесткий голос Роллинга:

— ...Мадам Ламоль, мадам Ламоль, мадам Ламоль...
Слушайте, слушайте, слушайте...

— Да, слушаю я, успокойся, — прошептала Зоя.

— ...Все ли у вас благополучно? Не терпите ли бедствия? В чем-либо недостатка? Сегодня в тот же час, как обычно, буду счастлив слышать ваш голос... Волну посылайте той же длины, как обычно... Мадам Ламоль, не удаляйтесь слишком далеко от десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас все в порядке. Дела блестящи. Тот, кому нужно молчать, молчит. Будьте спокойны, счастливы, — безоблачный путь...

Зоя сняла наушные трубки. Морщина прорезала ее лоб. Глядя на стрелку хронометра, она проговорила сквозь зубы: «Надоело!» Эти ежедневные радиопризнания в любви ужасно сердили ее. Роллинг не может, не хочет оставить ее в покое... Пойдет на какое угодно преступление в конце концов, только бы позволила ему каждый день хрипеть в микрофон: «...Будьте спокойны, счастливы — безоблачный путь».

После убийств в Вилль Давре и Фонтенебло и затем бешеной езды с Гариным по залитым лунным светом пустынным шоссейным дорогам в Гавр Зоя и Роллинг больше не встречались. Он стрелял в нее в ту ночь, пытался оскорбить и затих. Кажется, он даже молча плакал тогда, согнувшись в автомобиле.

В Гавре она села на его яхту «Аризона» и на рассвете вышла в Бискайский залив. В Лиссабоне Зоя получила документы и бумаги на имя мадам Ламоль — она станови-

лась владелицей одной из самых роскошных на Западе яхт. Из Лиссабона пошли в Средиземное море, и там «Аризона» крейсировала у берегов Италии, держась десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты.

Немедленно была установлена связь между яхтой и частной радиостанцией Роллинга в Медоне под Парижем. Капитан Янсен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. Роллинг ежедневно вызывал Зою. Она каждый вечер докладывала ему о своих «настроениях». В этом однообразии прошло дней десять, и вот аппараты «Аризоны», щупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке. Дали знать Зое, и она услышала голос, от которого остановилось сердце.

— ...Зоя, Зоя, Зоя, Зоя...

Точно огромная муха о стекло, звенел в наушниках голос Гарина. Он повторял ее имя и затем через некоторые промежутки:

— ...Отвечай от часа до трех ночи...

И опять:

— ...Зоя, Зоя, Зоя... Будь осторожна, будь осторожна...

В ту же ночь над темным морем, над спящей Европой, над древними пепелищами Малой Азии, над равнинами Африки, покрытыми иглами и пылью высохших растений, полетели волны женского голоса:

— ...Тому, кто велел отвечать от часа до трех...

Этот вызов Зоя повторяла много раз. Затем говорила:

— ...Хочу тебя видеть. Пусть это неразумно. Назначь любой из итальянских портов... По имени меня не вызывай, узнаю тебя по голосу...

В ту же ночь, в ту самую минуту, когда Зоя упрямо повторяла вызов, надеясь, что Гарин где-то, — в Европе, Азии, Африке, — нащупает волны электромагнитов «Аризоны», за две тысячи километров, в Париже, на ночном столике у двухспальной кровати, где одиноко, уткнув нос в одеяло, спал Роллинг, затрещал телефонный звонок.

Роллинг, подскочив, схватил трубку. Голос Семенова поспешно проговорил:

— Роллинг. Она разговаривает.

— С кем?

— Плохо слышно, по имени не называет.

— Хорошо, продолжайте слушать. Отчет завтра.

Роллинг положил трубку, снова лег, но сон уже отошел от него.

Задача была нелегка: среди несущихся ураганом над Европой фокстротов, рекламных воплей, церковных хоралов, отчетов о международной политике, опер, симфоний, биржевых бюллетеней, шуточек знаменитых юмористов — уловить слабый голос Зои.

День и ночь для этого в Медоне сидел Семенов. Ему удалось перехватить несколько фраз, сказанных голосом Зои. Но и этого было достаточно, чтобы разжечь ревнивое воображение Роллинга.

Роллинг чувствовал себя отвратительно после ночи в Фонтенебло. Шельга остался жив, — висел над головой страшной угрозой. С Гариным, которого Роллинг с наслаждением повесил бы на сучке, как негра, был подписан договор. Быть может, Роллинг и заупрямился бы тогда, — лучше смерть, эшафот, чем союз, — но волю его сокрушала Зоя. Договариваясь с Гариным, он выигрывал время, и, быть может, сумасшедшая женщина опомнится, раскается, вернется... Роллинг действительно плакал в автомобиле, зажмурясь, молча... Это было черт знает что... Из-за распутной, продажной бабы... Но слезы были солены и мучительны... Одним из условий договора он поставил длительное путешествие Зои на яхте. (Это было необходимо, чтобы замести следы.) Он надеялся убедить, усовестить, увлечь ее ежедневными беседами по радио. Эта надежда была, пожалуй, глупее слез в автомобиле.

По условию с Гариным Роллинг немедленно начинал «всеобщее наступление на химическом фронте». В тот день, когда Зоя села в Гавре на «Аризону», Роллинг поездом вернулся в Париж. Он известил полицию о том, что был в Гавре и на обратном пути, ночью, подвергся нападению бандитов (трое, с лицами, обвязанными платками). Они отобрали у него деньги и автомобиль. (Гарин в это время, — как было условлено, — пересек с запада на восток Францию, проскочил границу в Люксембурге и в первом попавшемся канале утопил автомобиль Роллинга.)

«Наступление на химическом фронте» началось. Парижские газеты начали грандиозный переполох. «ЗАГАДОЧНАЯ ТРАГЕДИЯ В ВИЛЬ ДАВРЕ», «ТАИНСТВЕННОЕ НАПАДЕНИЕ НА РУССКОГО В ПАРКЕ ФОНТЕНЕБЛО», «НАГЛОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО КОРОЛЯ», «АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛИАРДЫ В ЕВРОПЕ», «ГИБЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГЕРМАНСКОЙ ИНДУСТРИИ», «РОЛЛИНГ ИЛИ МОСКВА» — все это умно и ловко было запутано в один клубок, который, разумеется, застрял в горле у обывателя — держателя ценностей. Биржа тряслась до основания. Между

серых колонн ее, у черных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые цифры падающих бумаг, мотались, орали обезумевшие люди с глазами, готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене.

Но это гибла плотва,— все это были шуточки. Крупные промышленники и банки, стиснув зубы, держались за пакеты акций. Их нелегко было повалить даже рогами Роллинга. Для этой наиболее серьезной операции и подготавливался удар со стороны Гарина.

Гарин «бешеным ходом», как верно угадал Шельга, строил в Германии аппарат по своей модели. Он разъезжал из города в город, заказывая заводам различные части. Для сношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в кельнской газете. Роллинг в свою очередь помещал в одной из бульварных парижских газет две-три строчки: «Все внимание сосредоточьте на анилине...», «Дорог каждый день, не жалейте денег...» и так далее.

Гарин отвечал: «Окончу скорее, чем предполагал...», «Место найдено...», «Приступаю...», «Непредвиденная задержка...»

Роллинг: «Тревожусь, назначьте день...»

Гарин ответил: «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора...»

Приблизительно с этим его сообщением совпала ночная телефонограмма Роллингу от Семенова. Роллинг пришел в ярость,— его водили за нос. Тайные сношения с «Аризоной», помимо всего, были опасны. Но Роллинг не выдал себя ни словом, когда на следующий день говорил с мадам Ламоль.

Теперь, в часы бессонниц, Роллинг стал «продумывать» заново свою «партию» со смертельным врагом. Он нашел ошибки. Гарин оказывался не так уже хорошо защищен. Ошибкой его было согласие на путешествие Зои,— конец партии для него предрешен. Мат будет сказан на борту «Аризоны».

57

Но на борту «Аризоны» происходило не совсем то, о чем думал Роллинг. Он помнил Зою умной, спокойно-расчетливой, холодной, преданной. Он знал, с какой брезгливостью она относилась к женским слабостям. Он не мог допустить, чтобы долго могло длиться ее увлечение этим нищим бродягой, бандитом Гариным. Хорошая прогулка по Средиземному морю должна прояснить ее ум.

Зоя действительно была как в бреду, когда в Гавре села на яхту. Несколько дней одиночества среди океана успокоили ее. Она пробуждалась, жила и засыпала среди синего света, блеска воды, под спокойный, как вечность, шум волн. Содрогаясь от омерзения, она вспоминала грязную комнату и оскалившийся, стеклянноглазый труп Ленуара, закипевшую дымную полосу поперек груди Утино-го Носа, сырую поляну в Фонтенебло и неожиданные выстрелы Роллинга, точно он убивал бешеную собаку...

Но все же ум ее не прояснялся, как надеялся Роллинг. Наяву и во сне чудились какие-то дивные острова, мраморные дворцы, уходящие лестницами в океан. Толпы красивых людей, музыка, выющиеся флаги... И она — повелительница этого фантастического мира...

Сны и видения в кресле под синим тентом были продолжением разговора с Гариным в Вилль Давре (за час до убийства). Один на свете человек, Гарин, понял бы ее сейчас. Но с ним были связаны и стеклянные глаза Ленуара и разинутый страшный рот Гастона Утиный Нос.

Вот почему у Зои остановилось сердце, когда неожиданно в трубку радио забормотал голос Гарина... С тех пор она ежедневно звала его, умоляла, грозила. Она хотела видеть его и боялась. Он чудился ей черным пятном в лазурной чистоте моря и неба... Ей нужно было рассказать ему о снах наяву. Спросить, где же его Оливиновый пояс? Зоя металась по яхте, лишая капитана Янсена и его помощника присутствия духа.

Гарин отвечал:

«...Жди. Будет все, что ты захочешь. Только умей хотеть. Желай, сходи с ума — это хорошо. Ты мне нужна такой. Без тебя мое дело мертвое».

Таково было его последнее радио, точно так же перехваченное Роллингом. Сегодня Зоя ждала ответа на запрос, — в какой точно день его нужно ждать на яхте? Она вышла на палубу и облокотилась о перила. Яхта едва двигалась. Ветер затих. На востоке поднимались испарения еще невидимой земли, и стоял пепельный столб дыма над Везувием.

На мостике капитан Янсен опустил руку с биноклем, и Зоя чувствовала, что он, как зачарованный, смотрит на нее. Да и как было ему не смотреть, когда все чудеса неба и воды были сотворены только затем, чтобы ими любовалась мадам Ламоль, — у перил над молочно-лазурной бездной.

Невероятным, смешным казалось время, когда за дюжину шелковых чулок, за платье от большого дома, просто за тысячу франков Зоя позволяла слюнявить себя молодчикам с коротенькими пальцами и сизыми щеками... Фу!.. Париж, кабаки, глупые девки, гнусные мужчины, уличная вонь, деньги, деньги, деньги, — какое убожество... Возня в зловонной яме!..

Гарин сказал в ту ночь: «Захотите — и будете наместницей бога или черта, что вам больше по вкусу. Вам захочется уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем человечеством... Такая женщина, как вы, найдет применение сокровищам Оливинового пояса...»

Зоя думала:

«Римские императоры обожествляли себя. Наверно, им это доставляло удовольствие. В наше время это тоже не плохое развлечение. На что-нибудь должны пригодиться людишки. Воплощение бога, живая богиня среди фантастического великолепия... Отчего же, — пресса могла бы подготовить мое обожествление легко и быстро. Миром правит сказочно-прекрасная женщина. Это имело бы несомненный успех. Построить где-нибудь на островах великолепный город для избранных юношей, предполагаемых любовников богини. Появляться, как богиня, среди этих голодных мальчишек, — недурные эмоции».

Зоя пожала плечиком и снова посмотрела на капитана:

— Подите сюда, Янсен.

Он подошел, мягко и широко ступая по горячей палубе.

— Янсен, вы не думаете, что я сумасшедшая?

— Я не думаю этого, мадам Ламоль, и не подумаю, что бы вы мне ни приказали.

— Благодарю. Я вас назначаю командором ордена божественной Зои.

Янсен моргнул светлыми ресницами. Затем взял под козырек. Опустил руку и еще раз моргнул. Зоя засмеялась, и его губы поползли в улыбку.

— Янсен, есть возможность осуществить самые несбыточные желания... Все, что может придумать женщина в такой знойный полдень... Но нужно будет бороться...

— Есть бороться, — коротко ответил Янсен.

— Сколько узлов делает «Аризона»?

— До сорока.

— Какие суда могут нагнать ее в открытом море?

— Очень немногие...

— Быть может, нам придется выдержать длительную погоню.

— Прикажете взять полный запас жидкого топлива?

— Да. Консервов, пресной воды, шампанского... Капитан Янсен, мы идем на очень опасное предприятие.

— Есть идти на опасное предприятие.

— Но, слышите, я уверена в победе...

Склянки пробили половину первого... Зоя вошла в радиотелефонную рубку. Села к аппарату. Она потрогала рычажок радиоприемника. Откуда-то поймались несколько тактов фокстрота.

Сдвинув брови, она глядела на хронометр. Гарин молчал. Она снова стала двигать рычажок, сдерживая дрожь пальцев.

...Незнакомый, медленный голос по-русски проговорил в самое ухо:

«...Если вам дорога жизнь... в пятницу высадитесь в Неаполе... в гостинице «Сплендид» ждите известий до полудня субботы».

Это был конец какой-то фразы, отправленной на длине волны четыреста двадцать один, то есть станции, которой все это время пользовался Гарин.

58

Третью ночь подряд в комнате, где лежал Шельга, забывали закрывать ставни. Каждый раз он напоминал об этом сестре-кармелитке. Он внимательно смотрел за тем, чтобы задвижка, соединяющая половинки створчатых ставен, была защелкнута как следует.

За эти три недели Шельга настолько поправился, что вставал с койки и пересаживался к окну, поближе к пышнолистным ветвям платана, к черным дроздам и радугам над водяной пылью среди газона.

Отсюда был виден весь больничный садик, обнесенный каменной глухой стеной. В восемнадцатом веке это место принадлежало монастырю, уничтоженному революцией. Монахи не любят любопытных глаз. Стена была высока, и по всему гребню ее поблескивали осколки битого стекла.

Перелезть через стену можно было, лишь подставив с той стороны лестницу. Улички, граничившие с больницей, были тихие и пустынные, все же фонари там горели

настолько ярко и так часто слышались в тишине за стеной шаги полицейских, что вопрос о лестнице отпадал.

Разумеется, не будь битого стекла на стене, ловкий человек перемахнул бы и без лестницы. Каждое утро Шельга из-за шторы осматривал всю стену до последнего камешка. Опасность грозила только с этой стороны. Человек, посланный Роллингом, вряд ли рискнул бы появиться изнутри гостиницы. Но что убийца так или иначе появится, Шельга не сомневался.

Он ждал теперь осмотра врача, чтобы выписаться. Об этом было известно. Врач приезжал обычно пять раз в неделю. На этот раз оказалось, что врач заболел. Шельге заявили, что без осмотра старшего врача его не выпишут. Протестовать он даже и не пытался. Он дал знать в советское посольство, чтобы оттуда ему доставляли еду. Больничный суп он выливал в раковину, хлеб бросал дроздам.

Шельга знал, что Роллинг должен избавиться от единственного свидетеля. Шельга теперь почти не спал, — так велико было возбуждение. Сестра-кармелитка приносила ему газеты, — весь день он работал ножницами и изучал вырезки. Хлынову он запретил приходить в больницу. (Вольф был в Германии, на Рейне, где собирал сведения о борьбе Роллинга с Германской анилиновой компанией.)

Утром, подойдя, как обычно, к окну, Шельга оглядел сад и сейчас же отступил за занавес. Ему стало даже весело. Наконец-то! В саду, с северной стороны, полускрытая липой, к стене была прислонена лестница садовника, верхний конец ее торчал на пол-аршина над осколками стекла.

Шельга сказал:

— Ловко, сволочи!

Оставалось только ждать. Все было уже обдумано. Правая рука его, хотя и свободная от бинтов, была еще слаба. Левая — в лубках и в гипсе, — сестра крепко прибинтовала ее в груди. Рука с гипсом весила не меньше пятнадцати фунтов. Это было единственное оружие, которым он мог защищаться.

На четвертую ночь сестра опять забыла закрыть ставни. Шельга на этот раз не протестовал и с девяти часов притворился спящим. Он слышал, как хлопали в обоих этажах ставни. Его окно опять осталось открытым настежь. Когда погас свет, он соскочил с койки и правой слабой рукой и зубами стал распутывать повязку, державшую левую руку.

Он останавливался, не дыша вслушивался. Наконец рука повисла свободно. Он мог разогнуть ее до половины. Выглянул в сад, освещенный уличным фонарем, — лестница стояла на прежнем месте за липой. Он скатал одеяло, сунул под простыню, в полутьме казалось, что на койке лежит человек.

За окном было тихо, только падали капли. Лиловатое зарево трепетало в тучах над Парижем. Сюда не долетали шумы с бульваров. Неподвижно висела черная ветвь платана.

Где-то заворчал автомобиль. Шельга насторожился, — казалось, он слышит, как бьется сердце у птицы, спящей на платановой ветке. Прошло, должно быть, много времени. В саду началось поскрипывание и шуршание, точно деревом терли по известке.

Шельга отступил к стене за штору. Опустил гипсовую руку. «Кто? Нет, кто? — подумал он. — Неужели сам Роллинг?»

Зашелестели листья, — встревожился дрозд. Шельга глядел на тускло освещенный из окна паркет, где должна появиться тень человека.

«Стрелять не будет, — подумал он, — надо ждать какой-нибудь дряни, вроде фосгена...» На паркете стала подниматься тень головы в глубоко надвинутой шляпе. Шельга стал отводить руку, чтобы сильнее был удар. Тень выдвинулась по плечи, подняла растопыренные пальцы.

— Шельга, товарищ Шельга, — прошептала тень по-русски, — это я, не бойтесь...

Шельга ожидал всего, но только не этих слов, не этого голоса. Невольно он вскрикнул. Выдал себя, и тот человек тотчас одним прыжком перескочил через подоконник. Протянул для защиты обе руки. Это был Гарин.

— Вы ожидали нападения, я так и думал, — торопливо сказал он, — сегодня в ночь вас должны убить. Мне это невыгодно. Я рискую черт знает чем, я должен вас спасти. Идем, у меня автомобиль.

Шельга отделился от стены.

Гарин весело блеснул зубами, увидев все еще отведенную гипсовую руку.

— Слушайте, Шельга, ей-богу, я не виноват. Помните наш уговор в Ленинграде? Я играю честно. Неприятностью в Фонтенебло вы обязаны исключительно этой сволочи Роллингу. Можете верить мне, — идем, дороги секунды...

Шельга проговорил, наконец:

— Ладно, вы меня увезете, а потом что?

— Я вас спрячу... На небольшое время, не бойтесь. Покуда не получу от Роллинга половины... Вы газеты читаете? Роллингу везет как утопленнику, но он не может честно играть. Сколько вам нужно, Шельга? Говорите первую цифру. Десять, двадцать, пятьдесят миллионов? Я выдам расписку...

Гарин говорил негромко, торопливо, как в бреду, — лицо его все дрожало.

— Не будьте дураком, Шельга. Вы что, принципиальный, что ли?.. Я предлагаю работать вместе против Роллинга... Ну... Едем...

Шельга упрямо мотнул головой:

— Не хочу. Не поеду.

— Все равно — вас убьют.

— Посмотрим.

— Сиделки, сторожа, администрация, — все куплено Роллингом. Вас задушат. Я знаю... Сегодняшней ночи вам не пережить... Вы предупредили ваше посольство? Хорошо, хорошо... Посол потребует объяснений. Французское правительство в крайнем случае извинится... Но вам от этого не легче. Роллингу нужно убрать свидетеля... Он не допустит, чтобы вы перешагнули ворота советского посольства...

— Сказал — не поеду... Не хочу...

Гарин передохнул. Оглянулся на окно.

— Хорошо. Тогда я вас возьму и без вашего желания. — Он отступил на шаг, сунул руку в пальто.

— То есть как это — без моего желания?

— А вот так...

Гарин, рванув из кармана, вытащил маску с коротким цилиндром противогаса, поспешно приложил ее ко рту, и Шельга не успел крикнуть, — в лицо ему ударила струя маслянистой жидкости... Мелькнула только рука Гарина, сжимающая резиновую грушу... Шельга захлебнулся душистым, сладким дурманом...

59

— Есть новости?

— Да. Здравствуйте, Вольф.

— Я прямо с вокзала, голоден, как в восемнадцатом году.

— У вас веселый вид, Вольф. Много узнали?

— Кое-что узнал... Будем говорить здесь?

— Хорошо, но только быстро.

Вольф сел рядом с Хлыновым на гранитную скамью у подножия конного памятника Генриху IV, спиной к черным башням Консьержери. Внизу, там, где остров Сите кончался острым мысом, наклонилась к воде плакучая ветла. Здесь некогда корчились на кострах рыцари ордена Тамплиеров. Вдали, за десятками мостов, отраженных в реке, садилось солнце в пыльно-оранжевое сияние. На набережных, на железных баржах с песком сидели с удочками французы, добрые буржуа, разоренные инфляцией, Роллингом и мировой войной. На левом берегу, на гранитном парапете набережной, далеко, до самого министерства иностранных дел, скучали под вечерним солнцем букинисты у никому уже больше в этом городе не нужных книг.

Здесь доживал век старый Париж. Еще бродили около книг на набережной, около клеток с птицами, около унылых рыболовов пожилые личности со склерозными глазами, с усами, закрывающими рот, в разлетайках, в старых соломенных шляпах... Когда-то это был их город... Вон там, черт возьми, в Консьержери ревел Дантон, точно бык, которого волокут на бойню. Вон там, направо, за графитовыми крышами Лувра, где в мареве стоят сады Тюильри, — там были жаркие дела, когда вдоль улицы Риволи визжала картечь генерала Галифе. Ах, сколько золота было у Франции! Каждый камень здесь, — если уметь слушать, — расскажет о великом прошлом. И вот, — сам черт не поймет, — хозяином в этом городе оказался заморское чудовище, Роллинг, — теперь только и остается доброму буржуа закинуть удочку и сидеть с опущенной головой... Э-хе-хе! О-ля-ля!..

Раскурив крепкий табак в трубке, Вольф сказал:

— Дело обстоит так. Германская анилиновая компания — единственная, которая не идет ни на какие соглашения с американцами. Компания получила двадцать восемь миллионов марок государственной субсидии. Сейчас все усилия Роллинга направлены на то, чтобы повалить германский анилин.

— Он играет на понижение? — спросил Хлынов.

— Продает на двадцать восьмое этого месяца анилиновые акции на колоссальные суммы.

— Но это очень важные сведения, Вольф.

— Да, мы попали на след. Роллинг, видимо, уверен в игре, хотя акции не упали ни на пфенниг, а сегодня уже

двадцатое... Вы понимаете, на что единственно он может рассчитывать?

— Стало быть, у них все готово?

— Я думаю, что аппарат уже установлен.

— Где находятся заводы Анилиновой компании?

— На Рейне, около Н. Если Роллинг свалит анилин, он будет хозяином всей европейской промышленности. Мы не должны допустить до катастрофы. Наш долг спасти германский анилин. (Хлынов пожал плечом, но промолчал.) Я понимаю: чему быть — то будет. Мы с вами вдвоем не остановим натиска Америки. Но черт его знает, история иногда выкидывает неожиданные фокусы.

— Вроде революций?

— А хотя бы и так.

Хлынов взглянул на него с некоторым даже удивлением. Глаза у Вольфа были круглые, желтые, злые.

— Вольф, буржуа не станут спасать Европу.

— Знаю.

— Вот как?

— В эту поездку я насмотрелся... Буржуа — французы, немцы, англичане, итальянцы — преступно, слепо, цинично распродают старый мир. Вот чем кончилась культура — аукционом... С молотка!

Вольф побагровел:

— Я обращался к властям, намекал на опасность, просил помочь в розысках Гарина... Я говорил им страшные слова... Мне смеялись в лицо... К черту! Я не из тех, кто отступает...

— Вольф, что вы узнали на Рейне?

— Я узнал... Анилиновая компания получила от германского правительства крупные военные заказы. Процесс производства на заводах Анилиновой компании в наиболее сейчас опасной стадии. У них там чуть ли не пятьсот тонн тетрила в работе.

Хлынов быстро поднялся. Трость, на которую он опирался, согнулась. Он снова сел.

— В газетах проскользнула заметка о необходимости возможно отдалить рабочие городки от этих проклятых заводов. В Анилиновой компании занято свыше пятидесяти тысяч человек... Газета, поместившая заметку, была оштрафована... Рука Роллинга...

— Вольф, мы не можем терять ни одного дня.

— Я заказал билеты на одиннадцатичасовой, на сегодня.

— Мы едем в Н.?

— Думаю, что только там можно найти следы Гарина.

— Теперь посмотрите, что мне удалось достать.— Хлынов вынул из кармана газетные вырезки.— Третьего дня я был у Шельги... Он передал мне ход своих рассуждений: Роллинг и Гарин должны сноситься между собой...

— Разумеется. Ежедневно.

— Почтой? Телеграфно? Как вы думаете, Вольф?

— Ни в коем случае. Никаких письменных следов.

— Тогда — радио?

— Чтобы орать на всю Европу... Нет...

— Через третье лицо?

— Нет... Я понял,— сказал Вольф,— ваш Шельга молодчина. Дайте вырезки...

Он разложил их на коленях и внимательно стал прочитывать подчеркнутое красным:

«Все внимание сосредоточьте на анилине». «Приступаю». «Место найдено».

— «Место найдено»,— прошептал Вольф,— это газета из К., городок близ Н. ...«Тревожусь, назначьте день», «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора...» Это могут быть только они. Ночь подписания договора в Фонтенебло — двадцать третьего прошлого месяца. Прибавьте тридцать пять,— будет двадцать восемь,— срок продажи акций анилина...

— Дальше, дальше, Вольф... «Какие меры вами приняты?» — это из К., спрашивает Гарин. На другой день в парижской газете — ответ Роллинга: «Яхта наготове. Прибывает на третьи сутки. Будет сообщено по радио». А вот — четыре дня назад — спрашивает Роллинг: «Не будет ли виден свет?» Гарин отвечает: «Кругом пустынно. Расстояние пять километров».

— Иными словами, аппарат установлен в горах: ударить лучом за пять километров можно только с высокого места. Слушайте, Хлынов, у нас ужасно мало времени. Если взять пять километров за радиус,— в центре заводы,— нам нужно обшарить местность не менее тридцати пяти километров в окружности. Есть еще какие-нибудь указания?

— Нет. Я только что собирался позвонить Шельге. У него должны быть вырезки за вчерашний и сегодняшний день.

Вольф поднялся. Было видно, как под одеждой его вздулись мускулы.

Хлынов предложил позвонить из ближайшего кафе на левом берегу. Вольф пошел через мост так стремительно, что какой-то старичок с цыплячьей шеей в запачканном пиджачке, пропитанном, быть может, одинокими слезами по тем, кого унесла война, затряс головой и долго глядел из-под пыльной шляпы вслед бегущим иностранцам:

— О-о! Иностранцы... Когда деньги в кармане, то и толкаются и бегают, как будто бы они дома... О-о... ди-кари!...

В кафе, стоя у цинкового прилавка, Вольф пил содовую. Ему была видна сквозь стекло телефонной будки спина разговаривающего Хлынова, — вот у него поднялись плечи, он весь налез на трубку; выпрямился, вышел из будки; лицо его было спокойно, но белое, как маска.

— Из больницы ответили, что сегодня ночью Шельга исчез. Приняты все меры к его разысканию... Думаю, что он убит.

60

Трещал хворост в очаге, прокопченном за два столетия, с огромными ржавыми крючьями для колбас и окороков, с двумя каменными святыми по бокам, — на одном висела светлая шляпа Гарина, на другом засаленный офицерский картуз. У стола, освещенные только огнем очага, сидели четверо. Перед ними — оплетенная бутылка и полные стаканы вина.

Двое мужчин были одеты по-городскому, — один скуластый, крепкий, с низким ежиком волос, у другого — длинное, злое лицо. Третий, хозяин фермы, где на кухне сейчас происходило совещание, — генерал Субботин, — сидел в одной холщовой грязной рубашке с закатанными рукавами. Начисто обритая кожа на голове его двигалась, толстое лицо с взъерошенными усами побагровело от вина.

Четвертый, Гарин, в туристском костюме, небрежно водя пальцем по краю стакана, говорил:

— Все это очень хорошо... Но я настаиваю, чтобы моему пленнику, хотя он и большевик, не было причинено ни малейшего ущерба. Еда — три раза в день, вино, овощи, фрукты... Через неделю я его забираю от вас... Бельгийская граница?..

— Три четверти часа на автомобиле, — торопливо подавшись вперед, сказал человек с длинным лицом.

— Все будет шито-крыто... Я понимаю, господин генерал и господа офицеры (Гарин усмехнулся), что вы, как дворяне, как беззаветно преданные памяти замученного императора, действуете сейчас исключительно из высших, чисто идейных соображений... Иначе бы я и не обратился к вам за помощью...

— Мы здесь все люди общества,— о чем говорить? — прохрипел генерал, двинув кожей на черепе.

— Условия, повторяю, таковы: за полный пансион пленника я вам плачу тысячу франков в день. Согласны?

Генерал перекатил налитые глаза в сторону товарищей. Скуластый показал белые зубы, длиннолицый опустил глаза.

— Ах, вот что,— сказал Гарин,— виноват, господа,— задаточек...

Он вынул из револьверного кармана пачку тысячефранковых билетов и бросил ее на стол в лужу вина.

— Пожалуйста...

Генерал крикнул, подвинул к себе пачку, осмотрел, вытер ее о живот и стал считать, сопя волосатыми ноздрями. Товарищи его понемногу стали придвигаться, глаза их поблескивали.

Гарин сказал, вставая:

— Введите пленника.

61

Глаза Шельги были завязаны платком. На плечах накинуто автомобильное кожаное пальто. Он почувствовал тепло, идущее от очага,— ноги его задрожали. Гарин подставил табурет. Шельга сейчас же сел, уронив на колени гипсовую руку.

Генерал и оба офицера глядели на него так, что, казалось, дай знак, мигни,— от человека рожки да ножки останутся. Но Гарин не подал знака. Потрепав Шельгу по колену, сказал весело:

— Здесь у вас ни в чем не будет недостатка. Вы у порядочных людей,— им хорошо заплачено. Через несколько дней я вас освобожу. Товарищ Шельга, дайте честное слово, что вы не будете пытаться бежать, скандалить, привлекать внимание полиции.

Шельга отрицательно мотнул опущенной головой. Гарин нагнулся к нему:

— Иначе трудно будет поручиться за удобство вашего пребывания... Ну, даете?

Шельга проговорил медленно, негромко:

— Даю слово коммуниста... (Сейчас же у генерала бритая кожа на черепе поползла к ушам, офицеры быстро переглянулись, нехорошо усмехнулись.) Даю слово коммуниста, — убить вас при первой возможности, Гарин... Даю слово отнять у вас аппарат и привезти его в Москву... Даю слово, что двадцать восьмого...

Гарин не дал ему договорить. Схватил за горло...

— Замолчи... идиот!.. Сумасшедший!..

Обернулся и — повелительно:

— Господа офицеры, предупреждаю вас, этот человек очень опасен, у него навязчивая идея...

— Я и говорю, — самое лучшее держать его в винном погребе, — пробасил генерал. — Увести пленника...

Гарин взмахнул бородкой. Офицеры подхватили Шельгу, втолкнули в боковую дверь и поволокли в погреб. Гарин стал натягивать автомобильные перчатки.

— В ночь на двадцать девятое я буду здесь. Тридцатого вы можете, ваше превосходительство, прекратить опыты над разведением кроликов, купить себе каюту первого класса на трансатлантическом пароходе и жить барином хоть на Пятой авеню в Нью-Йорке.

— Нужно оставить какие-нибудь документы для этого сукиного кота, — сказал генерал.

— Пожалуйста, любой паспорт на выбор.

Гарин вынул из кармана сверток, перевязанный бечевкой. Это были документы, похищенные им у Шельги в Фонтенебло. Он еще не заглядывал в них за недосугом.

— Здесь, видимо, паспорта, приготовленные для меня. Предусмотрительно... Вот, получайте, ваше превосходительство...

Гарин швырнул на стол паспортную книжку и, продолжая рыться в бумажнике, — чем-то заинтересовался, — придвинулся к лампе. Брови его сдвинулись.

— Черт! — И он кинулся к боковой двери, куда утащили Шельгу.

Шельга лежал на каменном полу на матраце. Керосиновая коптилка освещала сводчатый погреб, пустые бочки, заросли паутины. Гарин некоторое время искал глазами Шельгу. Стоя перед ним, покусывал губы.

— Я погорячился, не сердитесь, Шельга. Думаю, что все-таки мы найдем с вами общий язык. Договоримся. Хотите?

— Попробуйте.

Гарин говорил вкрадчиво, совсем по-другому, чем десять минут назад. Шельга насторожился. Но пережитое за эту ночь волнение, еще гудящие во всем теле остатки усыпительного газа и боль в руке ослабляли его внимание. Гарин присел на матрац. Закурил. Лицо его казалось задумчивым, и весь он — благожелательный, изящный...

«К чему, подлец, гнет? К чему гнет?» — думал Шельга, морщась от головной боли.

Гарин обхватил колено, закурил папиросу, поднял глаза к сводчатому потолку.

— Видите ли, Шельга, прежде всего вам нужно усвоить, что я никогда не лгу... Может быть, из презрения к людям, но это неважно. Итак: Роллинг с его миллиардами нужен мне до поры до времени, только... Так же, как и я нужен Роллингу... Это он, кажется, уже понял, несмотря на тупость... Роллинг приехал сюда, чтобы колонизировать Европу. Если он этого не сделает, он лопнет у себя в Америке со своими миллиардами. Роллинг — животное, вся его задача — переть вперед, бодать, топтать. У него ни на грош фантазии... Единственная стена, о которую он может расшибить башку, — это Советская Россия. Он это понимает, и вся его ярость направлена на ваше дорогое отечество... Русским я себя не считаю (добавил он торопливо), я интернационалист...

— Разумеется, — с презрительной усмешкой сказал Шельга.

— Наши взаимоотношения таковы: до некоторого времени мы работаем вместе...

— До двадцать восьмого...

Гарин быстро, с блестящими глазами, с юмором взглянул на Шельгу.

— Вы это высчитали? По газетам?

— Может быть...

— Хорошо... Пусть до двадцать восьмого. Затем неминуемо мы должны вгрызться друг другу в печеньку... Если одолеет Роллинг — Советской России это будет вдвойне ужасно: мой аппарат окажется у него в руках, и тогда с ним бороться будет вам чрезвычайно трудно... Так вот, тем самым, товарищ Шельга, что вы пробудете здесь с недельку в соседстве с пауками, вы страшно, неизмеримо увеличиваете возможность моей победы.

Шельга закрыл глаза. Гарин сидел у него в ногах и курил короткими затяжками. Шельга проговорил:

— На какой черт вам мое согласие, вы и без согласия продержите меня здесь, сколько влезет. Говорите уж прямо, что вам нужно.

— Давно бы так... А то — слово коммуниста... Ей-богу, давеча вы мне так больно сделали, так досадно... Сейчас, кажется, вы уже начинаете разбираться. Мы с вами враги, правда... Но мы должны работать вместе... С вашей точки зрения я — выродок, величайший индивидуалист... Я, Петр Петрович Гарин, милостью сил, меня создавших, с моим мозгом, — не улыбайтесь, Шельга, — гениальным, да, да, с неизжитыми страстями, от которых мне и самому тяжело и страшно, с моей жадностью и беспринципностью, противопоставляю себя, буквально — противопоставляю себя человечеству.

— Ух ты, — сказал Шельга, — ну и сволочь...

— Именно: «Ух ты, сволочь», вы меня поняли. Я — сластолюбец, все секунды моей жизни я стремлюсь отдать наслаждению. Я бешено тороплюсь покончить с Роллингом, потому что теряю эти драгоценные секунды. Вы — там, в России, — воинствующая, материализованная идея. У меня нет никакой идеи, — сознательно, религиозно ненавижу всякую идею. Я поставил себе цель: создать такую обстановку. (подробно рассказывать не буду, вы утомитесь), окружить себя таким излишеством, — сады Семирамиды и прочий восточный вздор — чахлая фанташишка перед моим раем. Я призову всю науку, всю индустрию, все искусство служить мне. Шельга, вы понимаете, что я для вас — опасность отдаленная и весьма фантастичная. Роллинг — опасность конкретная, близкая, страшная. Поэтому до известной точки мы с вами должны идти вместе, до тех пор, покуда Роллинг не будет растоптан. Большого я не прошу.

— В чем вы хотите, чтобы выразилась моя помощь? — сквозь зубы проговорил Шельга.

— Нужно, чтобы вы совершили небольшую прогулку по морю.

— Иными словами, вы хотите продолжать мой плен?

— Да.

— Что дадите за то, чтобы я не позвал на помощь первого попавшегося полицейского, когда вы повезете меня к морю?

— Любую сумму.

— Не хочу никакой суммы!

— Ловко, — сказал Гарин и повертелся на тюфяке. — А за модель моего аппарата согласитесь? (Шельга засопел.) Не верите? Обману, не отдам? Ну-ка, подумайте, — обману или нет? (Шельга дернул плечом.) То-то... Идея аппарата проста до глупости... Никакими силами я не смогу долго держать ее в секрете. Такова судьба гениальных изобретений. После двадцать восьмого во всех газетах будет описано действие инфракрасных лучей, и немцы, именно немцы, ровно через полгода построят точно такой же аппарат. Я ничем не рискую. Берите модель, везите ее в Россию. Да, кстати, у меня ваши паспорта и бумаги... Пожалуйста, они не нужны больше... Простите, что я в них порылся. Я страшно любопытен... Что это у вас за снимок татуированного мальчишки?

— Так, один беспризорный, — сейчас же ответил Шельга, понимая сквозь головную боль, что Гарин подбирается к самому главному, для чего и пришел в подвал.

— На обороте карточки помечено двенадцатое число прошлого месяца, значит вы снимали мальчишку накануне отъезда?.. И фотографию взяли с собой, чтобы показать мне? В Ленинграде вы ее никому не показывали?

— Нет, — сквозь зубы ответил Шельга.

— А мальчишку куда дели? Так, так, я и не заметил, — тут даже имя поставлено: Иван Гусев. В гребном клубе, что ли, снимали, на террасе? Узнаю, места знакомые... Что же вам мальчишка рассказывал? Манцев жив?

— Жив.

— Он нашел то, что они там искали?

— Кажется, нашел.

— Вот видите, я всегда верил в Манцева.

Гарин рассчитал верно. У Шельги так устроена была голова, что врать он никак не мог — и по брезгливости и потому еще, что лганье считал дешевкой в игре и в борьбе. Через минуту Гарин узнал всю историю появления Ивана в гребном клубе и все, что он рассказал о работах Манцева.

— Итак, — Гарин поднялся, весело потер руки, — если двадцать девятого ночью мы поедем на автомобиле, модель аппарата будет с нами, — вы укажете любое место, где мы аппаратик припрячем до времени... Так вот: достаточной будет для вас такая гарантия? Согласны?

— Согласен.

— Добиваться моей смерти не будете?

— В ближайшее время — не буду.

— Я прикажу перевести вас наверх, здесь слишком сыро, — поправляйтесь, пейте, кушайте всласть.

Гарин подмигнул и вышел.

— Ваше имя, фамилия?

— Ротмистр Кульневского полка Александр Иванович Волшин,— ответил широкоскулый офицер, вытягиваясь перед Гариным.

— На какие средства существуете?

— Поденная работа у генерала Субботина по разведанию кроликов, двадцать су в день, харчи его. Был шофером, неплохо зарабатывал, однополчане уговорили пойти делегатом на монархический съезд. На первом же заседании сгоряча въехал в морду полковнику Шерстобитову, кирилловцу. Лишен полномочий и потерял службу.

— Предлагаю опасную работу. Крупный гонорар. Согласны?

— Так точно.

— Вы поедете в Париж. Получите рекомендацию. Будете зачислены на службу. С бумагами и мандатом выедете в Ленинград... Там вот по этой фотографии отыщете одного мальчишку...

.

Прошло пять дней. Ничто не нарушало покой прирейнского небольшого городка К., лежащего в зеленой и влажной долине вблизи знаменитых заводов Анилиновой компании.

На извилистых улицах с узкими тротуарами с утра весело постукивали деревянные подошвы школьников, раздавались тяжелые шаги рабочих, женщины катили детские колясочки в тень лип к речке... Из парикмахерской выходил парикмахер в парусиновом жилете и ставил на тротуар стремянку. Подмастерье лез на нее чистить и без того сверкающую вывеску на штанге — медный тазик и белый конский хвост. В кофейне вытирали зеркальные стекла. Громыхала на огромных колесах телега с пустыми пивными бочками.

Это был старый, весь выметенный, опрятный городок, тихий в дневные часы, когда солнце греет горбатую плиточную мостовую, оживающий неторопливыми голосами на закате, когда возвращаются с заводов рабочие и работницы, загораются огни в кофейнях и старичок фонарщик, в коротком плаще, бог знает какой древности, идет, шаркая деревянными подошвами, зажигать фонари.

Из ворот рынка выходили жены рабочих и бюргеров с корзинами. Прежде в корзиночках лежали живность, овощи и фрукты, достойные натюрмортов Снайдерса. Теперь — несколько картофелин, пучочек луку, брюква и немного серого хлеба.

Странно. За четыре столетия черт знает как разбогатела Германия. Какую славу знали ее сыны. Какими надеждами светились голубые германские глаза. Сколько пива протекло по запрокинутым русым бородам. Сколько миллиардов киловатт освободилось человеческой энергии...

И вот, все это напрасно. В кухоньках — пучочек луку на изразцовой доске, и у женщин давнишняя тоска в голодных глазах.

Вольф и Хлынов, в пыльной обуви, с пиджаками, перекинутыми через руку, с мокрыми лбами, перешли горбатый мостик и стали подниматься по шоссе под липами в К.

Солнце уходило за невысокие горы. В золотистом вечернем свете еще дымились трубы Анилиновой компании. Корпуса, трубы, железнодорожные пути, черепицы амбаров подходили по склонам холмов к самому городу.

— Там, я уверен, — сказал Вольф и указал рукой на красноватые скалы в закате, — если выбирать лучший пункт для обстрела заводов, я бы выбрал только там.

— Хорошо, хорошо, но осталось только три дня, Вольф...

— Ну что ж, с южной стороны не может быть никакой опасности, — слишком отдаленно. Северный и восточный секторы обшарены до последнего камня. Три дня нам хватит.

Хлынов обернулся к засиневшим на севере лесистым холмам, глубокие тени лежали между ними. В той стороне Вольф и Хлынов облазили за эти пять дней и ночей каждую впадину, где могла бы притаиться постройка, — дача или барак, — с окнами на заводы.

Пять суток они не раздевались, спали в глухие часы ночи, привалившись где попало. Ноги перестали даже болеть. По каменистым дорогам, тропинкам, напрямик через овраги и заборы, они исколесили кругом города по горам почти сто километров. Но нигде ни малейшего присутствия Гарина. Встречные крестьяне, фермеры, прислуга с дач, лесничие, сторожа — только разводили руками:

— Во всей округе нет никого из приезжих, здешние все нам известны.

Оставался западный сектор, наиболее тяжелый. По карте там находилась пешеходная дорога к скалистому плато, где лежали знаменитые развалины замка «Прикованного скелета», рядом с ним, как и полагалось в таких случаях, находился пивной ресторан «К прикованному скелету».

В развалинах действительно показывали остатки подземелья и за железной решеткой — огромный скелет в ржавых цепях, в сидячем положении. Изображения его продавались повсюду на открытках, на разрезных ножах и пивных кружках. Можно было даже сфотографироваться за двадцать пфеннигов рядом со скелетом и послать открытку знакомым или любимой девушке. По воскресеньям развалины пестрели отдыхающими обывателями, ресторан хорошо торговал. Бывали иностранцы.

Но после войны интерес к знаменитому скелету упал. Обыватели захудосочели и ленились в праздничные дни лазить на крутую гору, — предпочитали располагаться с бутербродами и полубутылками пива вне исторических воспоминаний — на берегу речки, под липами. Хозяин ресторана «К прикованному скелету» не мог уже со всем тщанием поддерживать порядок в развалинах. И бывало, что целыми неделями, не обеспокоенный ничьим присутствием, средневековый скелет глядел пустыми впадинами черепа на зеленую долину, где некогда в роковой день его сбил с седла владетель замка, — глядел на кирки с петухами и шпилями, на трубы заводов, где в мировом масштабе готовили нарывный газ, тетрил и прочие дьявольские фабрикаты, отбивавшие у населения охоту к историческим воспоминаниям, к открыткам с изображением скелета и, пожалуй, к самой жизни.

В эти места и направлялись сейчас Вольф и Хлынов. Они зашли подкрепиться в кофейню на городской площади и долго изучали карту местности, расспрашивали кельнера. Достопримечательностями в западной части долины оказалась, кроме развалин и ресторана, еще и вилла разорившегося за последние годы фабриканта пишущих машин. Вилла стояла на западных склонах, и со стороны города ее не было видно. Фабрикант жил в ней один, безвыездно.

Полная луна взошла перед рассветом. То, что казалось неясным нагромождением камней и скал, отчетливо выступало в лунном свете, легли бархатные тени от уцелевших сводов, потянулись вниз, в овраг, остатки крепостной стены, поросшей корявыми деревцами и путаницей ежевики, ожила квадратная башня, старейшая часть замка, построенная норманнами, или, как ее называли на открытках, — «Башня пыток».

С восточной стороны к ней примыкали кирпичные своды, здесь, видимо, была когда-то галерея, соединявшая древнюю башню с жилым замком. От всего этого остались фундаменты, щебень да разбросанные капители колонн из песчаника. У основания башни под крестовым сводом, образующим раковину, сидел «Прикованный скелет».



Вольф долго смотрел на него, навалившись локтями на решетку, затем повернулся к Хлынову и сказал:

— Теперь смотрите сюда.

Глубоко внизу под лунным светом лежала долина, подернутая дымкой. Серебристая чешуя играла на реке в тех местах, где вода сквозила из-под древесных кущ. Городок казался игрушечным. Ни одного освещенного окна. За ним налево горели сотни огней Анилиновой компании. Поднимались белые клубы дыма, розовый огонь вырывался из труб. Доносились свистки паровозов, какой-то грохот.

— Я прав, — сказал Вольф, — только с этого плато можно ударить лучом. Смотрите, вот то — склады сырья, там, за земляным валом — склады полуфабрикатов, они совсем открыты, там длинные корпуса производства серной кислоты по русскому способу — из серного колчедана. А вон те, в стороне, круглые крыши — производство

анилина и всех этих дьявольских веществ, которые взрываются иногда по собственному капризу.

— Хорошо, Вольф, если предположить, что Гарин поставит аппарат только в ночь на двадцать восьмое, все же должны быть какие-то признаки предварительной установки.

— Нужно осмотреть развалины. Я облазаю башню, вы — стены и своды... В сущности, лучше места, где сидит эта скелетина, не выдумаешь.

— В семь часов сходимся в ресторане.

— Ладно.

67

В восьмом часу утра Вольф и Хлынов пили молоко на деревянной веранде ресторана «К прикованному скелету». Ночные поиски были безуспешны. Сидели молча, подперев головы. За эти дни они так изучили друг друга, что читали мысли. Хлынов, более впечатлительный и менее склонный доверять себе, много раз начинал пересматривать весь ход рассуждений, которые привели его и Вольфа из Парижа в эти, казалось, совсем безобидные места. На чем основано было это убеждение? На двух-трех строчках из газет.

— Не окажемся ли мы в дураках, Вольф?

На это Вольф отвечал:

— Человеческий ум ограничен. Но всегда для дела разумнее полагаться на него, чем сомневаться. К тому же, если мы ничего не найдем и дьявольское предприятие Гарина окажется нашей выдумкой, то и слава богу. Мы исполнили свой долг.

Кельнер принес яичницу и две кружки пива. Появился хозяин, багрово-румяный толстяк:

— Доброе утро, господа! — И, посвистывая одышкой, он озабоченно ждал, когда гости утолят аппетит. Затем протянул руку к долине, еще голубоватой и сверкающей влагой: — Двадцать лет я наблюдаю... Дело идет к концу, — вот что я скажу, мои дорогие господа... Я видел мобилизацию. Вон по той дороге шли войска. Это были добрые германские колонны. (Хозяин выкинул, как пружину над головой, жирный указательный палец.) Это были зигфриды — те самые, о которых писал Тацит: могучие, наводившие ужас; в шлемах с крылышками. Обер, еще две кружки пива господам... В четырнадцатом году зигфриды шли покорять вселенную. Им не хватало только щи-

тов, — вы помните старый германский обычай: издавать воинственные крики, прикладывая щит ко рту, чтобы голос казался страшнее. Да, я видел кавалерийские зады, плотно сидевшие на лошадях... Что случилось, я хочу спросить? Или мы разучились умирать в кровавом бою? Я видел, как войска проходили обратно. Кавалеристы все еще плотно, черт возьми, сидели на седлах... Германцы не были разбиты на поле. Их пронзили мечами в постелях, у их очагов...

Хозяин выпученными глазами обвел гостей, обернулся к развалинам, лицо его стало кирпичного цвета. Медленно он вытащил из кармана пачку открыток и хлопнул ею по ладони:

— Вы были в городе, я спрошу: видали вы хотя бы одного немца выше пяти с половиной футов росту? А когда эти пролетарии возвращаются с заводов, вы слышали, чтобы один хотя бы имел смелость громко сказать: «Дейчланд»? А вот о социализме эти пролетарии хрипят за пивными кружками.

Хозяин ловко бросил на стол пачку открыток, рассыпавшихся веером... Это были изображения скелета — просто скелета и германца с крылышками, скелета и воина четырнадцатого года в полной амуниции.

— Двадцать пять пфеннигов штука, две марки пятьдесят пфеннигов за дюжину, — сказал хозяин с презрительной гордостью, — дешевле никто не продаст, это добрая довоенная работа, — цветная фотография, в глаза вставлена фольга, это производит неизгладимое впечатление... И вы думаете — эти трусы-буржуа, эти пяти с половиной футовые пролетарии покупают мои открытки? Пфуй... Вопрос поставлен так, чтобы я снял Карла Либкнехта рядом со скелетом...

Он опять надулся кровью и вдруг захохотал:

— Подождут!.. Обер, положите в наши оригинальные конверты по дюжине открыток господам... Да, да, придется изворачиваться... Я покажу вам мой патент... Гостиница «К прикованному скелету» будет продавать это сотнями... Здесь я иду в ногу с нашим временем и не отступаю от принципов.

Хозяин ушел и сейчас же вернулся с небольшим, в виде коробки от сигар, ящичком. На крышке его был выжжен по дереву все тот же скелет.

— Желаете испробовать? Действует не хуже, чем на катодных лампах. — Он живо приладил провод и слуховые трубки, включил радиоприемник в штепсель, при-

строенный под столом. — Стоит три марки семьдесят пять пфеннигов, без слуховых трубок, разумеется. — Он протянул наушники Хлынову. — Можно слушать Берлин, Гамбург, Париж, если это доставит вам удовольствие. Я вас соединю с Кельнским собором, сейчас там обедня, вы услышите орган, это колоссально... Поверните рычажок налево... В чем дело? Кажется, опять мешает проклятый Штуфер? Нет?

— Кто мешает? — спросил Вольф, нагибаясь к аппарату.

— Разорившийся фабрикант пишущих машин Штуфер, пьяница и сумасшедший... Два года тому назад он поставил у себя на вилле радиостанцию. Потом разорился. И вот недавно станция опять заработала...

Хлынов, странно блестя глазами, опустил трубку:

— Вольф, — платите и идите.

Когда через несколько минут, отвязавшись от говорливого хозяина, они вышли за калитку ресторана, Хлынов изо всей силы сжал руку Вольфа:

— Я слышал, я узнал голос Гарина...

68

В это утро, часом раньше, на вилле Штуфера, расположенной на западном склоне тех же холмов, в полутемной столовой за столом сидел Штуфер и разговаривал с невидимым собеседником. Вернее, это были обрывки фраз и ругательств. На обсыпанном пеплом столе валялись пустые бутылки, окурки сигар, воротничок и галстук Штуфера. Он был в одном белье, чесал рыхлую грудь, пялился на электрическую лампочку, единственную горевшую в огромной железной люстре, и, сдерживая отрыжку, ругал вполголоса последними словами человеческие образы, выплывавшие в его пьяной памяти.

Торжественно башенным боем столовые часы пробили семь. Почти тотчас же послышался шум подъехавшего автомобиля. В столовую вошел Гарин, весь пронизанный утренним ветром, насмешливый, зубы оскалены, кожаный картуз на затылке:

— Опять всю ночь пьянствовали?

Штуфер покосился налитыми глазами. Гарин ему нравился. Он щедро платил за все. Не торгуясь, снял на летние месяцы виллу вместе с винным погребом, предоставив Штуферу расправляться самому со старыми рейнскими, французским шампанским и ликерами. Чем он зани-

мался, черт его знает, видимо спекуляцией, но он ругательно ругал американцев, разоривших Штуфера два года тому назад, он презирал правительство и называл людей вообще сволочью, — это тоже было хорошо. Он привозил в автомобиле такую жратву, что даже в лучшие времена Штуфер не позволял себе и думать намазывать столовой ложкой драгоценные страсбургские паштеты, русскую икру, любительские камамберы, кишащие сверху белыми червяками. Могло даже показаться, что в его расчеты входило непрерывно держать Штуфера мертвецки пьяным.

— Как будто вы-то всю ночь богу молились, — прохрипел Штуфер.

— Премило провел время с девочками в Кельне и, видите, свеж и не сижу в подштанниках. Вы падаете, Штуфер. Кстати, меня предупредили о не совсем приятной вещи... Оказывается, ваша вилла стоит слишком близко к химическим заводам... Как на пороховом погребе...

— Вздор, — заорал Штуфер, — опять какая-то сволочь подкапывается... На моей вилле вы в полной безопасности...

— Тем лучше. Дайте-ка ключ от сарая.

Крутя за цепочку ключ, Гарин вышел в сад, где стоял небольшой застекленный сарай под мачтами антенны. Кое-где на запущенных куртинах стояли керамиковые карлики, загаженные птицами. Гарин отомкнул стеклянную дверь, вошел, распахнул окна. Облокотился на подоконник и так стоял некоторое время, вдыхая утреннюю свежесть. Почти двадцать часов он провел в автомобиле, заканчивая дела с банками и заводами. Теперь все было в порядке перед двадцать восьмым числом.

Он не помнил, сколько времени так простоял у окна. Потянулся, закурил сигару, включил динамо, осмотрел и настроил аппараты. Затем встал перед микрофоном и заговорил громко и раздельно:

— Зоя, Зоя, Зоя, Зоя... Слушайте, слушайте, слушайте... Будет все так, как ты захочешь. Только умей хотеть. Ты мне нужна. Без тебя мое дело мертвое. На днях буду в Неаполе. Точно сообщу завтра. Не тревожься ни о чем. Все благоприятствует...

Он помолчал, затянулся сигарой и снова начал: «Зоя, Зоя, Зоя...» Закрыв глаза. Мягко гудело динамо, и невидимые молнии срывались одна за другой с антенны.

Проезжай сейчас артиллерийский обоз — Гарин, наверное, не расслышал бы шума. И он не слышал, как

в конце лужайки покатались камни под откос. Затем в пяти шагах от павильона раздвинулись кусты, и в них на уровень человеческого глаза поднялся вороненый ствол кольта.

69

Роллинг взял телефонную трубку:

— Да.

— Говорит Семенов. Только что перехвачено радио Гарина. Разрешите прочесть?..

— Да.

— «Будет все так, как ты хочешь, только умей хотеть», — начал читать Семенов, кое-как переводя с русского на французский. Роллинг слушал, не издавая ни звука.

— Все?

— Так точно, все.

— Запишите, — стал диктовать Роллинг: — Немедленно настроить отправную станцию на длину волны сорока два двадцать один. Завтра десятью минутами раньше того времени, когда вы перехватили сегодняшнюю телеграмму, начнете отправлять радио: «Зоя, Зоя, Зоя... Случилось неожиданное несчастье. Необходимо действовать. Если вам дорога жизнь вашего друга, высадитесь в пятницу в Неаполе, остановитесь в гостинице «Сплэндид», ждите известий до полудня субботы». Это вы будете повторять непрерывно, слышите ли, непрерывно громким и убедительным голосом. Все.

Роллинг позвонил.

— Немедленно найти и привести ко мне Тыклинского, — сказал он вскочившему в кабинет секретарю. — Немедленно ступайте на аэродром. Арендуйте или купите — безразлично — закрытый пассажирский аэроплан. Наймите пилота и бортмеханика. К двадцать восьмому приготовьте все к отлету...

70

Весь остальной день Вольф и Хлынов провели в К. Бродили по улицам, болтали о разных пустяках с местными жителями, выдавая себя за туристов. Когда городок затих, Вольф и Хлынов пошли в горы. К полуночи они уже поднимались по откосу в сад Штуффера. Было решено объявить себя заблудившимися туристами, если полиция обратит на них внимание. Если их

задержат, — арест был безопасен: их алиби мог установить весь город. После выстрела из кустов, когда ясно было видно, как у Гарина брызнули осколки черепа, Вольф и Хлынов меньше чем через сорок минут были уже в городе.

Они перелезли через низкую ограду, осторожно обогнули поляну за кустами и вышли к дому Штуффера. Остановились, переглянулись, ничего не понимая. В саду и в доме было спокойно и тихо. Несколько окон освещено. Большая дверь, ведущая прямо в сад, раскрыта. Мирный свет падал на каменные ступени, на карликов в густой траве. На крыльце, на верхней ступени, сидел толстый человек и тихо играл на флейте. Рядом с ним стояла оплетенная бутылка. Это был тот самый человек, который утром неожиданно появился на тропинке близ радиопавильона, и, услышав выстрел, повернулся и шаткой рысью побежал к дому. Сейчас он благодумствовал, как будто ничего не случилось.

— Пойдем, — прошептал Хлынов, — нужно узнать.

Вольф проворчал:

— Я не мог промахнуться.

Они пошли к крыльцу. На полдороге Хлынов проговорил негромко:

— Простите за беспокойство... Здесь нет собак?

Штуффер опустил флейту, повернулся на ступеньке, вытянул шею, вглядываясь в две неясные фигуры.

— Ну, нет, — протянул он, — собаки здесь злые.

Хлынов объяснил:

— Мы заблудились, хотели посетить развалины «Прикованного скелета»... Разрешите отдохнуть.

Штуффер ответил неопределенным мычанием. Вольф и Хлынов поклонились, сели на нижние ступени, — оба настороженные, взволнованные. Штуффер поглядывал на них сверху.

— Между прочим, — сказал он, — когда я был богат, в сад спускались цепные кобели. Я не любил нахалов и ночных посетителей. (Хлынов быстро пожал Вольфу руку, — молчите, мол.) Американцы меня разорили, и мой сад сделался проезжей дорогой для бездельников, хотя повсюду прибиты доски с предупреждением о тысяче марок штрафа. Но Германия перестала быть страной, где уважают закон и собственность. Я говорил человеку, арендовавшему у меня виллу: обнесите сад колючей проволокой и наймите сторожа. Он не послушался меня и сам виноват...

Подняв камешек и бросив его в темноту, Вольф спросил:

— Что-нибудь случилось неприятное у вас из-за этих посетителей?

— Сказать «неприятное» — слишком сильно, но — смешное. Не далее, как сегодня утром. Во всяком случае, мои экономические интересы не затронуты, и я буду предаваться моим развлечениям.

Он приложил флейту к губам и издал несколько пронзительных звуков.

— В конце концов какое мне дело, живет он здесь или пьянствует с девочками в Кельне? Он заплатил все до последнего пфеннига... Никто не смеет бросить ему упрека. Но, видите ли, он оказался нервным господином. За время войны можно было привыкнуть к револьверным выстрелам, черт возьми. Уложил все имущество, до свиданья, до свиданья... Что ж — скатерью дорога.

— Он уехал совсем? — внезапно громко спросил Хлынов.

Штуфер приподнялся, но снова сел. Видно было, как щека его, на которую падал свет из комнаты, расплылась, — маслянистая, ухмыляющаяся. Заколыхался толстый живот.

— Так и есть, он меня предупредил: непременно об его отъезде будут у меня спрашивать двое джентльменов. Уехал, уехал, дорогие джентльмены. Не верите, пойдемте, покажу его комнаты. Если вы его друзья, — пожалуйста, убедитесь... Это ваше право, — за комнаты заплачено...

Штуфер опять хотел встать, — ноги его никак не держали. Больше от него ничего нельзя было добиться путного. Вольф и Хлынов вернулись в город. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Только на мосту, над черной водой, где отражался фонарь, Вольф вдруг остановился, стиснул кулаки:

— Что за чертовщина! Я же видел, как у него разлетелся череп...

Небольшой и плотный человек с полуседыми волосами, приглаженными на гладкий пробор, в голубых очках, прикрывающих больные глаза, стоял у изразцовой печи и, опустив голову, слушал Хлынова.

Сначала Хлынов сидел на диване, затем пересел на подоконник, затем начал бегать по небольшой приемной комнате советского посольства.

Он рассказывал о Гарине и Роллинге. Рассказ был точен и последователен, но Хлынов и сам чувствовал невероятность всех нагромоздившихся событий.

— Предположим, мы с Вольфом ошибаемся... Прекрасно,— мы счастливы, если ошибаемся в выводах. Но все же пятьдесят процентов за то, что катастрофа будет. Нас должны интересовать только эти пятьдесят процентов. Вы, как посол, можете убедить, повлиять, раскрыть глаза... Все это ужасно серьезно. Аппарат существует. Шельга дотрагивался до него рукой. Действовать нужно немедленно, сию минуту. В вашем распоряжении не больше суток. Завтра в ночь все это должно разразиться. Вольф остался в К. Он делает, что может, чтобы предупредить рабочих, профсоюзы, городское население, администрацию заводов. Разумеется, ну, разумеется,— никто не верит... Вот даже вы...

Посол, не поднимая глаз, промолчал.

— В редакции местной газеты над нами смеялись до слез... В лучшем случае нас считают сумасшедшими.

Хлынов сжал голову,— нечесанные клочья волос торчали между грязными пальцами. Лицо его было осунувшееся, пыльное. Побелевшие глаза остановились, как перед видением ужаса. Посол осторожно, из-за края очков, взглянул на него:

— Почему вы раньше не обратились ко мне?

— У нас не было фактов... Предположения, выводы — все на грани фантастики, безумия... Мне и сейчас минутами сдается,— проснусь — и вздохну облегченно... Но уверяю вас — я в здравом уме. Восемь суток мы с Вольфом не раздевались, не ложились спать.

После молчания посол сказал серьезно:

— Я уверен, что вы не мистификатор, товарищ Хлынов. Скорее всего вы поддались навязчивой идее,— он быстро поднял руку, останавливая отчаянное движение Хлынова,— но для меня убедительно прозвучали ваши пятьдесят процентов. Я поеду и сделаю все, что в моих силах...

Двадцать восьмого с утра на городской площади в К. собирались кучками обыватели и, одни с недоумением, другие с некоторым страхом обсуждали странные прокламации, прилепленные жеваным хлебом к стенам домов на перекрестках.

Ни власть, ни заводская администрация ни рабочие
Союзы — НИКТО не потянул внять нашему
отчаянному призыву. СЕГОДНЯ, — мы в этом
уверенны, — заводам, городу, всему населению
• ГРОЗИТ ГИБЕЛЬ •
мы старались предотвратить её, но негодяи,
покушавшие американскими банкирами,
оказались неумовими, СПАСАЙТЕСЬ,
Бегите из города на равнину. ВЕРЬТЕ нам во
имя вашей жизни, во имя ваших детей,
во имя Бога.

Полиция догадывалась, кто писал прокламации, и разыскивала Вольфа. Но он исчез. К середине дня городские власти выпустили афиши, предупреждения — ни в каком случае не покидать города и не устраивать паники, так как, видимо, шайка мошенников намерена похозяйничать этой ночью в покинутых домах.

**ГРАЖДАНЕ, ВАС ДУРАЧАТ.
ОБРАТИТЕСЬ К ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
МОШЕННИКИ
СЕГОДНЯ ЖЕ БУДУТ ОБНАРУЖЕНЫ,
СХВАЧЕНЫ, И С НИМИ ПОСТУПЯТ
ПО ЗАКОНУ**

Власти попали в точку, пугающая тайна оказалась простой, как репа. Обыватели сразу успокоились и уже посмеивались: «А ловко было придумано, — похозяйничали бы эти ловкачи по магазинам, по квартирам, — ха-ха. А мы-то, дураки, всю бы ночь тряслись от страха на равнине».

Настал вечер, такой же, как тысячи вечеров, озаривший городские окна закатным светом. Успокоились птицы по деревьям. На реке, на сырых берегах, заквакали лягушки. Часы на кирпичной кирке проиграли «Вахт ам Рейн», на страх паршивым французам, и прозвонили восемь. Из окон кабачков мирно струился свет, завсегдатаи не спеша мочили усы в пивной пене. Успокоился и хозяин загородного ресторана «К прикованному скеле-

ту», — походил по пустой террасе, проклял правительство, социалистов и евреев, приказал закрыть ставни и поехал на велосипеде в город к любовнице.

В этот час по западному склону холмов, по малопроезжей дороге, почти бесшумно и без огней, промчался автомобиль. Заря уже погасла, звезды были еще не яркие, за горами разливалось холодноватое сияние, — всходила луна. На равнине кое-где желтели огоньки. И только в стороне заводов не утихала жизнь.

Над обрывом, там, где кончались развалины замка, сидели Вольф и Хлынов. Они еще раз облазили все закоулки, поднялись на квадратную башню, — нигде ни малейшего намека на приготовления Гарина. Одно время им показалось, что вдалеке промчался автомобиль. Они прислушивались, вглядывались. Вечер был тих, пахло древним покоем земли. Иногда движения воздушных струй доносили снизу сырость цветов.

— Смотрел по карте, — сказал Хлынов, — если мы спустимся в западном направлении, то пересечем железную дорогу на полустанке, где останавливается почтовый, в пять тридцать. Не думаю, чтобы там тоже дежурила полиция.

Вольф ответил:

— Смешно и глупо все это кончилось. Человек еще слишком недавно поднялся с четверенек на задние конечности, слишком еще тяготеют над ним миллионы веков непросветленного зверства. Страшная вещь — человеческая масса, не руководимая большой идеей. Людей нельзя оставлять без вожаков. Их тянет стать на четвереньки.

— Ну что это уж вы так, Вольф?..

— Я устал. — Вольф сидел на куче камней, подперев кулаками крепкий подбородок. — Разве хоть на секунду вам приходило в голову, что двадцать восьмого нас будут ловить, как мошенников и грабителей? Если бы вы видели, как эти представители власти переглядывались, когда я распинался перед ними. Ах, какой же я дурак! И они правы, — вот в чем дело. Они никогда не узнают, что им грозило...

— Если бы не ваш выстрел, Вольф...

— Черт!.. Если бы я не промахнулся... Я готов десять лет просидеть в каторжной тюрьме, только бы доказать этим идиотам...

Голос Вольфа теперь гулко отдавался в развалинах. В тридцати шагах от разговаривающих, — совершенно так же, как охотник крадется под глухариное токанье, — в тени полуобвалившейся стены пробирался Гарин. Ему были ясно видны очертания двух людей над обрывом, слышно каждое слово. Открытое место между концом стены и башней он прополз. В том месте, где к подножью башни примыкала сводчатая пещера «Прикованного скелета», лежал осколок колонны из песчаника, Гарин скрылся за ним. Раздался хруст камня и скрип заржавленного железа. Вольф вскочил:

— Вы слышали?

Хлынов глядел на кучу камней, где под землей исчез Гарин. Они побежали туда. Обошли кругом башни.

— Здесь водятся лисы, — сказал Вольф.

— Нет, скорее всего это крикнула ночная птица.

— Нужно уходить. Мы с вами начинаем галлюцинировать...

Когда они подошли к обрывистой тропинке, уводящей из развалин на горную дорогу, раздался второй шум, — будто что-то упало и покатилося. Вольф весь затрясся. Они долго слушали, не дыша. Сама тишина, казалось, звенела в ушах. «Сплю-сплю, сплю-сплю», — кротко и нежно то там, то вот — совсем низко — покрикивал, летая, невидимый козодой.

— Идем.

— Да, глупо.

На этот раз они решительно и не оборачиваясь зашагали вниз. Это спасло одному из них жизнь.

73

Вольф не совсем был неправ, когда уверял, что у Гарина брызнули осколки черепа. Когда Гарин, на секунду замолчав перед микрофоном, потянулся за сигарой, дымившейся на краю стола, слуховая чашечка из эбонита, которую он прижимал к уху, чтобы контролировать свой голос при передаче, внезапно разлетелась вдребезги. Одновременно с этим он услышал резкий выстрел и почувствовал короткую боль удара в левую сторону черепа. Он сейчас же упал на бок, перевалился ничком и за-

мер. Он слышал, как завыл Штуфер, как зашуршали шаги убегающих людей.

«Кто — Роллинг или Шельга?» Эту загадку он решал, когда часа через два мчался на автомобиле в Кельн. Но только сейчас, услышав разговор двух людей на краю обрыва, разгадал. Молодчина Шельга... Но все-таки, ай-ай — прибегать к недозволенным приемам...

Он отсунул осколок колонны, прикрывавшей ржавую крышку люка, проскользнул под землей и с электрическим фонариком поднялся по разрушенным ступеням в «каменный мешок» — одиночку, сделанную в толще стены нормандской башни. Это была глухая камера, шага по два с половиной в длину и ширину. В стене еще сохранились бронзовые кольца и цепи. У противоположной стены на грубо сколоченных козлах стоял аппарат. Под ним лежали четыре жестянки с динамитом. Против дула аппарата стена была продолблена и отверстие с наружной стороны прикрыто костяком «Прикованного скелета».

Гарин погасил фонарь, отодвинул в сторону дуло и, просунув руку в отверстие, сбросил костяк. Череп отскочил и покатился. В отверстие были видны огни заводов. У Гарина были зоркие глаза. Он различал даже крошечные человеческие фигуры,двигающиеся между постройками. Все тело его дрожало. Зубы стиснуты. Он не предполагал, что так трудно будет подойти к этой минуте. Он снова направил аппарат дулом в отверстие, приладил. Откинул заднюю крышку, осмотрел пирамидки. Все это было приготовлено еще неделю тому назад. Второй аппарат и старая модель лежали у него внизу, в роще, в автомобиле.

Он захлопнул крышку и положил руку на рычажок магнето, которым автоматически зажигались пирамидки. Он дрожал с головы до ног. Не совесть (какая уж там совесть после мировой войны!), не страх (он был слишком легкомыслен), не жалость к обреченным (они были слишком далеко) обдавали его ознобом и жаром. Он с ужасающей ясностью понял, что вот от одного этого оборота рукоятки он становится врагом человечества. Это было чисто эстетическое переживание важности минуты.

Он даже снял было руку с рычажка и полез в карман за папиросами. И тогда его взволнованный мозг ответил на движение руки: «Ты медлишь, ты наслаждаешься, это — сумасшествие...»

Гарин закрутил магнето. В аппарате вспыхнуло и зашипело пламя. Он медленно стал поворачивать микрометрический винт.



Хлынов первый обратил внимание на странный клубочек света высоко в небе.

— А вот еще один,— сказал он тихо. Они остановились на половине дороги над обрывом и глядели, подняв головы. Пониже первого, над очертаниями деревьев, возник второй огненный клубок, и, роняя искры, как догоревшая ракета, стал падать...

— Это горят птицы,— прошептал Вольф,— смотрите.— Над лесом на светлой полосе неба летел торопливо, неровным полетом, должно быть, козодой, кричавший давеча: «Сплю-сплю». Он вспыхнул, перевертываясь, и упал.

— Они задевают за проволоку.

— Какую проволоку?

— Разве не видите, Вольф?

Хлынов указал на светящуюся, прямую, как игла, нить. Она шла сверху от развалин по направлению заводов Анилиновой компании. Путь ее обозначался вспыхивающими листочками, горящими клубками птиц. Теперь она светилась ярко,— большой отрезок ее перерезывал черную стену сосен.

— Она опускается! — крикнул Вольф. И не окончил. Оба поняли, что это была за нить. В оцепенении они могли следить только за ее направлением. Первый удар луча пришелся по заводской трубе,— она заколебалась, надломилась посередине и упала. Но это было очень далеко, и звук падения не был слышен.

Почти сейчас же влево от трубы поднялся столб пара над крышей длинного здания, порозовел, перемешался с черным дымом. Еще левее стоял пятиэтажный корпус. Внезапно все окна его погасли. Сверху вниз, по всему фасаду, побежал огненный зигзаг, еще и еще...

Хлынов закричал, как заяц... Здание осело, рухнуло, его костяк закутался облаками дыма.

Тогда только Вольф и Хлынов кинулись обратно в гору, к развалинам замка. Пересекая извивающуюся дорогу, лезли на крутизны по орешнику и мелколесью. Падали, соскальзывая вниз. Рычали, ругались,— один по-русски, другой по-немецки. И вот до них долетел глухой звук, точно вздохнула земля.

Они обернулись. Теперь был виден весь завод, раскинувшийся на много километров. Половина зданий его пы-

лала, как картонные домики. Внизу, у самого города, грибом поднимался серо-желтый дым. Луч гиперболоида бешено плясал среди этого разрушения, нащупывая самое главное — склады взрывчатых полуфабрикатов. Зарево разливалось на полнеба. Тучи дыма, желтые, бурые, серебряно-белые снопы искр взвивались выше гор.

— Ах, поздно! — закричал Вольф.

Было видно, как по меловым лентам дорог ползет из города какая-то живая каша. Полоса реки, отражающая весь огромный пожар, казалась рябой от черных точек. Это спасалось население, — люди бежали на равнину.

— Поздно, поздно! — кричал Вольф. Пена и кровь текли по его подбородку.

Спасаться было поздно. Травянистое поле между городом и заводом, покрытое длинными рядами черепичных кровель, вдруг поднялось. Земля вспучилась. Это первое, что увидели глаза. Сейчас же из-под земли сквозь щели вырвались бешеные языки пламени. И сейчас же из пламени взвился ослепительный, никогда никем не виданной яркости столб огня и раскаленного газа. Небо точно улетело вверх над всей равниной. Пространства заполнились зелено-розовым светом. Выступили в нем, точно при солнечном затмении, каждый сучок, каждый клоч травы, камень и два окаменевших белых человеческих лица.

Ударило. Загрохотало. Поднялся рев разверзшейся земли. Сотряслись горы. Ураган потряс и пригнул деревья. Полетели камни, головни. Тучи дыма застлали и равнину.

Стало темно, и в темноте раздался второй, еще более страшный взрыв. Весь дымный воздух насытился мрачно-ржавым, гнойным светом.

Ветер, осколки камней, сучьев опрокинули и увлекли под кручу Хлынова и Вольфа.

75

— Капитан Янсен, я хочу высадиться на берег.

— Есть.

— Я хочу, чтобы вы поехали со мной.

Янсен покраснел от удовольствия. Через минуту шестивесельная лакированная шлюпка легко упала с борта «Аризоны» в прозрачную воду. Три смугло-красных ма-

троса соскользнули по канату на банки. Подняли весла, замерли.

Янсен ждал у трапа. Зоя медлила, — все еще глядела рассеянным взором на зыбкие от зноя очертания Неаполя, уходящего вверх террасами, на терракотовые стены и башни древней крепости над городом, на лениво курящуюся вершину Везувия. Было безветренно, и море — зеркально.

Множество лодок лениво двигалось по заливу. В одной стоя греб кормовым веслом высокий старик, похожий на рисунки Микеланджело. Седая борода падала на изодранный, в заплатках, темный плащ, короной взлохмачены седые кудри. Через плечо — холщовая сума.

Это был известный всему свету Пеппо, нищий.

Он выезжал в собственной лодке просить милостыню. Вчера Зоя швырнула ему с борта стодолларовую бумажку. Сегодня он снова направлял лодку к «Аризоне». Пеппо был последним романтиком старой Италии, возлюбленной богами и музами. Все это ушло невозвратно. Никто уж больше не плакал, счастливыми глазами глядя на старые камни. Сгнили на полях войны те художники, кто, бывало, платил звонкий золотой, рисуя Пеппо среди развалин дома Цецилия Юкундуса в Помпее. Мир стал скучен.

Медленно поворачивая весло, Пеппо проплыл вдоль зеленоватого от отсветов борта «Аризоны», поднял великолепное, как медаль, морщинистое лицо с косматыми бровями и протянул руку. Он требовал жертвоприношения. Зоя, перегнувшись вниз, спросила его по-итальянски:

— Пеппо, отгадай, — чет или нечет?

— Чет, синьора.

Зоя бросила ему в лодку пачку новеньких ассигнаций.

— Благодарю, прекрасная синьора, — величественно сказал Пеппо.

Больше нечего было медлить. Зоя загадала на Пеппо: приплывет к лодке старый нищий, ответит «чет», — все будет хорошо.

Все же мучили дурные предчувствия: а вдруг в отеле «Спленидид» засада полиции? Но повелительный голос звучал в ушах: «...Если вам дорога жизнь вашего друга...» Выбора не было.

Зоя спустилась в шлюпку. Янсен сел на руль, весла взмахнули, и набережная Санта Лючия полетела навстречу, — дома с наружными лестницами, с бельем и тряпьем на веревках, узкие улочки ступенями в гору, полуголые

ребятишки, женщины у дверей, рыжие козы, устричные палатки у самой воды и рыбацкие сети, раскинутые на граните.

Едва шлюпка коснулась зеленых свай набережной, сверху, по ступеням, полетела куча оборванцев, продавцов кораллов и брошек, агентов гостиниц. Размахивая бичами, орали парные извозчики, полуголые мальчишки кувыркались под ногами, завывая, просили сольди у прекрасной форестьеры.

— «Сплэндид», — сказала Зоя, садясь вместе с Янсеном в коляску.

76

У портье гостиницы Зоя спросила, нет ли корреспонденции на имя мадам Ламоль? Ей подали радиотелефонограмму без подписи:

«ЖДИТЕ ДО ВЕЧЕРА СУББОТЫ».

Зоя пожала плечами, заказала комнаты и поехала с Янсеном осматривать город. Янсен предложил — музей.

Зоя скользила скучающим взором по застывшим навеки красавицам Возрождения, — они навьючивали на себя несгибающуюся парчу, не стригли волос, видимо не каждый день брали ванну и гордились такими мощными плечами и бедрами, которых бы постыдилась любая рыночная торговка в Париже. Еще скучнее было смотреть на мраморные головы императоров, на лица позеленевшей бронзы — лежать бы им в земле... на детскую порнографию помпейских фресок... Нет, у древнего Рима и у Возрождения был дурной вкус. Они не понимали остроты цинизма. Довольствовались разведенным вином, неторопливо целовались с пышными и добродетельными женщинами, гордились мускулами и храбростью. Они с уважением волочили за собой прожитые века. Они не знали, что такое делать двести километров в час на гоночной машине. Или при помощи автомобилей, аэропланов, электричества, телефонов, радио, лифтов, модных портных и чековой книжки (в пятнадцать минут по чеку вы получаете золота столько, сколько не стоил весь древний Рим) выдавливать из каждой минуты жизни до последней капли все наслаждения.

— Янсен, — сказала Зоя. (Капитан шел на полшага сзади, прямой, медно-красный, весь в белом, выглаженный и готовый на любую глупость.) — Янсен, мы теряем время, мне скучно.

Они поехали в ресторан. Между блюдами Зоя вставляла, закидывала на плечи Янсену голую прекрасную руку и танцевала с ничего не выражающим лицом, с полузакрытыми веками. На нее «бешено» обращали внимание. Танцы возбуждали аппетит и жажду. У капитана дрожали ноздри, он глядел в тарелку, боясь выдать блеск глаз. Теперь он знал, какие бывают любовницы у миллиардеров. Такой нежной, длинной, нервной спины ни разу еще не ощущала его рука во время танцев, ноздри никогда не вдыхали такого благоухания кожи и духов. А голос — певучий и насмешливый... А умна... А шикарна...

Когда выходили из ресторана, Янсен спросил:

— Где мне прикажете быть этой ночью — на яхте или в гостинице?

Зоя взглянула на него быстро и странно и сейчас же отвернула голову, не ответила.

77

Зоя опьянела от вина и танцев. «О-ла-ла, как будто я должна отдавать отчет». Входя в подъезд гостиницы, она оперлась о каменную руку Янсена. Портье, подавая ключ, скверно усмехнулся черномазо-неаполитанской рожей. Зоя вдруг насторожилась:

— Какие-нибудь новости?

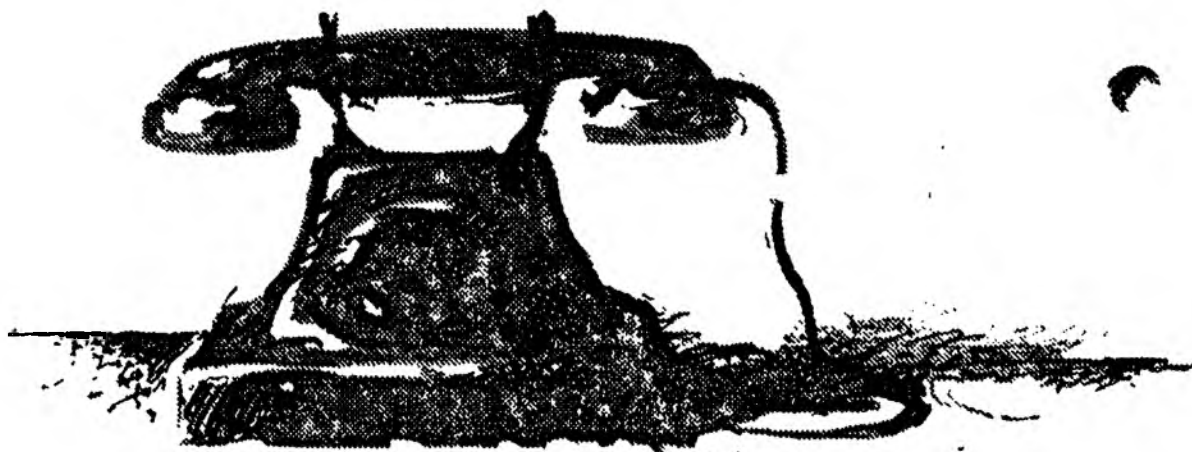
— О, никаких, синьора.

Зоя сказала Янсену:

— Пойдите в курительную, выкурите папиросу, если вам не надоело со мной болтать, — я позвоню...

Она легко пошла по красному ковру лестницы. Янсен стоял внизу. На повороте она обернулась, усмехнулась. Он, как пьяный, пошел в курительную и сел около телефона. Закурил, — так велела она. Откинувшись, — представлял:

...Она вошла к себе... Сняла шляпу, белый суконный плащ... Не спеша, ленивыми, слегка неумелыми, как у подростка, движениями начала раздеваться... Платье упало, она перешагнула через него. Остановилась перед зеркалом... Соблазнительная, всматривающаяся большими зрачками в свое отражение... Да, да, она не торопится, — таковы женщины... О, капитан Янсен умеет ждать... Ее телефон — на ночном столике... Стало быть, он увидит ее в постели... Она оперлась о локоть, протянула руку к аппарату...



Но телефон не звонил. Янсен закрыл глаза, чтобы не видеть проклятого аппарата... Фу, в самом деле, нельзя же быть влюбленным, как мальчишка... А вдруг она передумала? Янсен вскочил. Перед ним стоял Роллинг. У капитана вся кровь ударила в лицо.

— Капитан Янсен,— проговорил Роллинг скрипучим голосом,— благодарю вас за ваши заботы о мадам Ламоль, на сегодня она больше не нуждается в них. Предлагаю вам вернуться к вашим обязанностям...

— Есть,— одними губами произнес Янсен.

Роллинг сильно изменился за этот месяц — лицо его потемнело, глаза ввалились, бородка черно-рыжеватой щетиной расползлась по щекам. Он был в теплом пиджаке, карманы на груди топорщились, набитые деньгами и чековыми книжками... «Левой в висок,— правой наискось, в скулу, и — дух вон из жабы...» — железные кулаки у капитана Янсена наливались злобой. Будь Зоя здесь в эту секунду, взгляни на капитана, от Роллинга остался бы мешок костей.

— Я буду через час на «Аризоне», — нахмурясь, повелительно сказал Роллинг.

Янсен взял со стола фуражку, надвинул глубоко, вышел. Вскочил на извозчика: «На набережную!» Казалось, каждый прохожий усмехался, глядя на него: «Что, надавали по щекам!» Янсен сунул извозчику горсть мелочи и кинулся в шлюпку: «Греби, собачьи дети». Взбежав по трапу на борт яхты, зарычал на помощника: «Хлев на палубе!» Заперся на ключ у себя в каюте и, не снимая фуражки, упал на койку. Он тихо рычал.

Ровно через час слышался оклик вахтенного, и ему ответил с воды слабый голос. Заскрипел трап. Весело, звонко крикнул помощник капитана:

— Свистать всех наверх!

Приехал хозяин. Спасти остатки самолюбия можно было, только встретив Роллинга так, будто ничего не произошло на берегу. Янсен достойно и спокойно вышел

на мостик. Роллинг поднялся к нему, принял рапорт об отличном состоянии судна и пожал руку. Официальная часть была кончена. Роллинг закурил сигару, — маленький, сухопутный, в теплом темном костюме, оскорбляющем изящество «Аризоны» и небо над Неаполем.

Была уже полночь. Между мачтами и реями горели созвездия. Огни города и судов отражались в черной, как базальт, воде залива. Взвыла и замерла сирена буксирного пароходика. Закачались вдали маслянисто-огненные столбы.

Роллинг, казалось, был поглощен сигарой, — понюхивал ее, пускал струйки дыма в сторону капитана. Янсен, опустив руки, официально стоял перед ним.

— Мадам Ламоль пожелала остаться на берегу, — сказал Роллинг, — это каприз, но мы, американцы, всегда уважаем волю женщины, будь это даже явное сумасбродство.

Капитан принужден был наклонить голову, согласиться с хозяином. Роллинг поднес к губам левую руку, пососал кожу на верхней стороне ладони.

— Я останусь на яхте до утра, быть может весь завтрашний день... Чтобы мое пребывание не было истолковано как-нибудь вкривь и вкось... (Пососав, он поднес руку к свету из открытой двери каюты.) Э, так вот... вкривь и вкось... (Янсен глядел теперь на его руку, на ней были следы от ногтей.) Удовлетворяю ваше любопытство: я жду на яхту одного человека. Но он меня здесь не ждет. Он должен прибыть с часу на час. Распорядитесь немедленно донести мне, когда он поднимется на борт. Покойной ночи.

У Янсена пылала голова. Он силился что-нибудь понять. Мадам Ламоль осталась на берегу. Зачем? Каприз... или она ждет его? Нет, — а свежие царапины на руке хозяина... Что-то случилось... А вдруг она лежит на кровати с перерезанным горлом? Или в мешке на дне залива? Миллиардеры не стесняются.

За ужином в кают-компании Янсен потребовал стакан виски без содовой, чтобы как-нибудь прояснило мозги. Помощник капитана рассказывал газетную сенсацию — чудовищный взрыв в германских заводах Анилиновой компании, разрушение близлежащего городка и гибель более чем двух тысяч человек.

Помощник капитана говорил:

— Нашему хозяину адски везет. На гибели анилиновых заводов он зарабатывает столько, что купит всю Гер-

манию вместе с потрохами, Гогенцоллернами и социал-демократами. Пью за хозяина.

Янсен унес газеты к себе в каюту. Внимательно прочитал описание взрыва и разные, одно нелепее другого, предположения о причинах его. Именем Роллинга нестрели столбцы. В отделе мод указывалось, что с будущего сезона в моде — борода, покрывающая щеки, и высокий котелок вместо мягкой шляпы. В «Экзельсиор» на первой странице — фотография «Аризоны» и в овале — прелестная голова мадам Ламоль.



Глядя на нее, Янсен потерял присутствие духа. Тревога его все росла.

В два часа ночи он вышел из каюты и увидел Роллинга на верхней палубе, в кресле. Янсен вернулся в каюту. Сбросил платье, на голое тело надел легкий костюм из тончайшей шерсти, фуражку, башмаки и бумажник завязал в резиновый мешок. Пробили склянки — три. Роллинг все еще сидел в кресле. В четыре он продолжал сидеть в кресле, но силуэт его с упавшей в плечи головой казался неживым, — он спал. Через минуту Янсен бесшумно спустился по якорной цепи в воду и поплыл к набережной.

— Мадам Зоя, не беспокойте себя напрасно: телефон и звонки перерезаны.

Зоя опять присела на край постели. Злая усмешка держала ее губы. Стась Тыклинский развалился посреди ком-

наты в кресле,—крутил усы, рассматривал свои лакированные полуботинки. Курить он все же не смел,—Зоя решительно запретила, а Роллинг строго наказал проявлять вежливость с дамой.

Он пробовал рассказывать о своих любовных похождениях в Варшаве и Париже, но Зоя с таким презрением смотрела в глаза, что у него деревенел язык. Приходилось помалкивать. Было уже около пяти утра. Все попытки Зои освободиться, обмануть, обольстить не привели ни к чему.

— Все равно,—сказала Зоя,—так или иначе я дам знать полиции.

— Прислуга в отеле подкуплена, даны очень большие деньги.

— Я выбью окно и закричу, когда на улице будет много народу.

— Это тоже предусмотрено. И даже врач нанят, чтобы установить ваши нервные припадки. Мадам, вы, так сказать, для внешнего света на положении жены, пытающейся обмануть мужа. Вы — вне закона. Никто не поможет и не поверит. Сидите смирно.

Зоя хрустнула пальцами и сказала по-русски:

— Мерзавец. Полячишка. Лакей. Хам.

Тыклинский стал надуваться, усы полезли дыбом. Но ввязываться в ругань не было приказано. Он проворчал:

— Э, знаем, как ругаются бабы, когда их хваленая красота не может подействовать. Мне жалко вас, мадам. Но сутки, а то и двое, придется нам здесь просидеть в тет-а-тете. Лучше лягте, успокойте ваши нервы... Бай-бай, мадам.

К его удивлению, Зоя на этот раз послушалась. Сбросила туфельки, легла, устроилась на подушках, закрыла глаза.

Сквозь ресницы она видела толстое, сердитое, внимательно наблюдающее за ней лицо Тыклинского. Она зевнула раз, другой, положила руку под щеку.

— Устала, пусть будет что будет,—проговорила она тихо и опять зевнула.

Тыклинский удобнее устроился в кресле. Зоя ровно дышала. Через некоторое время он стал тереть глаза. Встал, прошелся,—привалился к косяку. Видимо, решил бодрствовать стоя.

Тыклинский был глуп. Зоя выведала от него все, что было нужно, и теперь ждала, когда он заснет. Торчать у дверей было трудно. Он еще раз осмотрел замок и вернулся к креслу.

Через минуту у него отвалилась жирная челюсть. Тогда Зоя соскользнула с постели. Быстрым движением вытащила ключ у него из жилетного кармана. Подхватила туфельки. Вложила ключ, — тугой замок неожиданно за скрипел.

Тыклинский вскрикнул, как в кошмаре: «Кто? Что?» Рванулся с кресла. Зоя распахнула дверь. Но он схватил ее за плечи. И сейчас же она впилась в его руку, с наслаждением прокусила кожу.

— Песья девка, курва! — заорал он по-польски. Ударил коленкой Зою в поясницу. Повалил. Отпихивая ее ногой в глубь комнаты, силился закрыть дверь. Но — что-то ему мешало. Зоя видела, как шея его налилась кровью.

— Кто там? — хрипло спросил он, наваливаясь плечом.

Но его ступни продолжали скользить по паркету, — дверь медленно растворялась. Он торопливо тащил из заднего кармана револьвер и вдруг отлетел на середину комнаты.

В двери стоял капитан Янсен. Мускулистое тело его облипала мокрая одежда. Секунду он глядел в глаза Тыклинскому. Стремительно, точно падая, кинулся вперед. Удар, назначавшийся Роллингу, обрушился на поляка: двойной удар, — тяжестью корпуса на вытянутую левую — в переносицу — и со всем размахом плеча правой рукой снизу в челюсть. Тыклинский без крика опрокинулся на ковер. Лицо его было разбито и изломано.

Третьим движением Янсен повернулся к мадам Ламоль. Все мускулы его танцевали.

— Есть, мадам Ламоль.

— Янсен, как можно скорее, — на яхту.

— Есть на яхту.

Она закинула, как давеча в ресторане, локоть ему за шею. Не целуя, придвинула рот почти вплотную к его губам:

— Борьба только началась, Янсен. Самое опасное впереди.

— Есть самое опасное впереди.

— Извозчик, гони, гони вовсю... Я слушаю, мадам Ламоль... Итак... Покуда я ждал в курительной...

— Я поднялась к себе. Сняла шляпу и плащ...

— Знаю.

— Откуда?

Рука Янсена задрожала за ее спиной. Зоя ответила ласковым движением.

— Я не заметила, что шкаф, которым была заставлена дверь в соседний номер, отодвинут. Не успела я подойти к зеркалу, открывается дверь, и — передо мной Роллинг... Но я ведь знала, что вчера еще он был в Париже. Я знала, что он до ужаса боится летать по воздуху... Но если он здесь, значит для него действительно вопрос жизни или смерти... Теперь я поняла, что он задумал... Но тогда я просто пришла в ярость. Заманить, устроить мне ловушку... Я ему наговорила черт знает что... Он зажал уши и вышел...

— Он спустился в курительную и отослал меня на яхту...

— В том-то и дело... Какая я дура! А все эти танцы, вино, глупости... Да, да, милый друг, когда хочешь бороться — глупости нужно оставить... Через две-три минуты он вернулся. Я говорю: объяснимся... Он, — наглым голосом, каким никогда не смел со мной говорить: «Мне объяснять нечего, вы будете сидеть в этой комнате, покуда я вас не освобожу...» Тогда я надавала ему пощечин...

— Вы настоящая женщина, — с восхищением сказал Янсен.

— Ну, милый друг, это была вторая моя глупость. Но какой трус!.. Снес четыре оплеухи... Стоял с трясущимися губами... Только попытался удержать мою руку, но это ему дорого обошлось. И, наконец, третья глупость: я заревела...

— О, негодяй, негодяй!..

— Подождите вы, Янсен... У Роллинга идиосинкразия к слезам, его корчит от слез... Он предпочел бы еще сорок пощечин... Тогда он позвал поляка, — тот стоял за дверью. У них все было условлено. Поляк сел в кресло. Роллинг сказал мне: «В виде крайней меры — ему приказано стрелять». И ушел. Я принялась за поляка. Через час мне был ясен во всех подробностях предательский план Роллинга. Янсен, милый, дело идет о моем счастье... Если вы

мне не поможет, все пропало... Гоните, гоните извозчика...

Коляска пролетела по набережной, пустынной в этот час перед рассветом, и остановилась у гранитной лестницы, где внизу поскрипывало несколько лодок на черно-маслянистой воде.

Немного спустя Янсен, держа на руках драгоценную мадам Ламоль, неслышно поднялся по брошенной с кормы веревочной лестнице на борт «Аризоны».

80

Роллинг проснулся от утреннего холода. Палуба была мокрая. Побледнели огни на мачтах. Залив и город были еще в тени, но дым над Везувием уже розовел.

Роллинг оглядывал сторожевые огни, очертания судов. Подошел к вахтенному, постоял около него. Фыркнул носом. Поднялся на капитанский мостик. Сейчас же из каюты вышел Янсен, свежий, вымытый, выглаженный. Пожелал доброго утра. Роллинг фыркнул носом, — несколько более вежливо, чем вахтенному.

Затем он долго молчал, крутил пуговицу на пиджаке. Это была дурная привычка, от которой его когда-то отучала Зоя. Но теперь ему было все равно. К тому же, наверно, на будущий сезон в Париже будет в моде — крутить пуговицы. Портные придумывают даже специальные пуговицы для кручения.

Он спросил отрывисто:

— Утопленники всплывают?

— Если не привязывать груза, — спокойно ответил Янсен.

— Я спрашиваю: на море, если человек утонул, значит — утонул?

— Бывает, — неосторожное движение, или снесет волна, или иная какая случайность — все это относится в разряд утонувших. Власти обычно не суют носа.

Роллинг дернул плечом.

— Это все, что я хотел знать об утопленниках. Я иду к себе в каюту. Если подойдет лодка, повторяю, не сообщать, что я на борту. Принять подъехавшего и доложить мне.

Он ушел. Янсен вернулся в каюту, где за синими задернутыми шторками на капитанской койке спала Зоя.

В девятом часу к «Аризоне» подошла лодка. Греб какой-то веселый оборванец, подняв весла, он крикнул:

— Алло... Яхта «Аризона»?

— Предположим, что так, — ответил датчанин-матрос, перегнувшись через фальшборт.

— Имеется на вашей посудине некий Роллинг?

— Предположим.

Оборванец открыл улыбкой великолепные зубы:

— Держи.

Он ловко бросил на палубу письмо, матрос подхватил его, оборванец щелкнул языком:

— Матрос, соленые глаза, дай сигару.

И пока датчанин раздумывал, чем бы в него запустить с борта, тот уже отплыл и, приплясывая в лодке и кривляясь от неудержимой радости жизни в такое горячее утро, запел во все горло.

Матрос поднял письмо, понес его капитану. (Таков был приказ.) Янсен отодвинул шторку, наклонился над спящей Зоей. Она открыла глаза, еще полные сна.

— Он здесь?

Янсен подал письмо. Зоя прочла:

*Я жестоко ранен. Будете ли милосердны.
Я боролся как лев за ваши интересы,
но случилось невозможное: мадам
Зоя на свободе. Прощаю к вам*

Не дочитав, Зоя разорвала письмо.

— Теперь мы можем ожидать его спокойно. (Она взглянула на Янсена, протянула ему руку.) Янсен, милый, нам нужно условиться. Вы мне нравитесь. Вы мне нужны. Стало быть, неизбежное должно случиться...

Она коротко вздохнула:

— Я чувствую, — с вами будет много хлопот. Милый друг, это все лишнее в жизни — любовь, ревность, верность... Я знаю — влечение. Это стихия. Я так же свободна отдавать себя, как и вы брат, — запомните, Янсен. Заключим договор: либо я погибну, либо я буду властвовать над

миром. (У Янсена поджались губы, Зое понравилось это движение.) Вы будете орудием моей воли. Забудьте сейчас, что я — женщина. Я фантастка. Я авантюристка, — понимаете вы это? Я хочу, чтобы все было мое. (Она описала руками круг.) И тот человек, единственный, кто может мне дать это, должен сейчас прибыть на «Аризону». Я жду его, и ждет Роллинг...

Янсен поднял палец, оглянулся. Зоя задернула шторы. Янсен вышел на мостик. Там стоял, вцепившись в перила, Роллинг. Лицо его, с криво и плотно сложенным ртом, было искажено злобой. Он всматривался в еще дымную перспективу залива.

— Вот он, — с трудом проговорил Роллинг, протягивая руку, и палец его повис крючком над лазурным морем, — вон в той лодке.

И он торопливо, наводя страх на матросов, кривоногий, похожий на краба, побежал по лестнице с капитанского мостика и скрылся у себя внизу. Оттуда по телефону он подтвердил Янсену давешний приказ — взять на борт человека, подплывающего на шестивесельной лодке.

82

Никогда не случалось, чтобы Роллинг отрывал пуговицы на пиджаке. Сейчас он открутил все три пуговицы. Он стоял посреди пышной, устланной широкими коврами, отделанной драгоценным деревом каюты и глядел на стенные часы.

Оборвав пуговицы, он принялся грызть ногти. С чудовищной быстротой он возвращался в первоначальное дикое состояние. Он слышал оклик вахтенного и ответ Гарина с лодки. У него вспотели руки от этого голоса.

Тяжелая лодка ударилась о борт. Раздалась дружная ругань матросов. Заскрипел трап, застучали шаги. «Бери, подхватывай... Осторожнее... Готово... Куда нести?» — Это грузили ящики с гиперболоидами. Затем все утихло.

Гарин попался в ловушку. Наконец-то! Роллинг взял холодными влажными пальцами за нос и издал шипящие, кашляющие звуки. Люди, знавшие его, утверждали, что он никогда в жизни не смеялся. Неправда! Роллинг любил посмеяться, но без свидетелей, наедине, после удачи и именно так, беззвучно.

Затем по телефону он вызвал Янсена:

— Взяли на борт?

— Да.

— Проведите его в нижнюю каюту и закройте на ключ. Постарайтесь сделать это чисто, без шума.

— Есть, — бойко ответил Янсен. Что-то уж слишком бойко, Роллингу это не понравилось.

— Алло, Янсен?

— Да.

— Через час яхта должна быть в открытом море.

— Есть.

На яхте началась беготня. Загрохотала якорная цепь. Заработали моторы. За иллюминатором потекли струи зеленоватой воды. Стал поворачиваться берег. Влетел влажный ветер в каюту. И радостное чувство скорости разлилось по всему стройному корпусу «Аризоны».

Разумеется, Роллинг понимал, что совершает большую глупость. Но не было прежнего Роллинга, холодного игрока, несокрушимого буйвола, неременного посетителя воскресной проповеди. Он поступал теперь так или иначе не потому, что это было выгодно, а потому, что мука бессонных ночей, ненависть к Гарину, ревность искали выхода: растоптать Гарина и вернуть Зою.

Даже невероятная удача — гибель заводов Анилиновой компании — прошла как во сне. Роллинг даже не поинтересовался, сколько сотен миллионов отсчитали ему двадцать девятого биржи всего мира.

В этот день он ждал Гарина в Париже, как было условлено. Гарин не приехал. Роллинг предвидел это и тридцатого бросился на аэроплане в Неаполь.

Теперь Зоя была убрана из игры. Между ним и Гариным никто не стоял. Расправа продумана была до мелочей. Роллинг закурил сигару. Он нарочно несколько медлил. Он вышел из каюты в коридор. Отворил дверь на нижнюю палубу, — там стояли ящики с аппаратами. Два матроса, сидевшие на них, вскочили. Он отослал их в кубрик.

Захлопнув дверь на нижнюю палубу, он не спеша пошел к противоположной двери, в рубку. Взявшись за дверную ручку, заметил, что пепел на сигаре надломился. Роллинг самодовольно улыбнулся, мысли были ясны, давно он не ощущал такого удовлетворения.

Он распахнул дверь. В рубке, под хрустальным колпаком верхнего света, сидели, глядя на вошедшего, Зоя, Гарин и Шельга. Тогда Роллинг отступил в коридор. Он задохнулся, мозг его будто мгновенно взболтали ложкой. Нос вспотел. И, что было уже совсем чудовищно, он улыбнулся жалко и глупо, совсем как служащий, накры-

тый за подчищением бухгалтерской книги (был с ним такой случай лет двадцать пять назад).

— Добрый день, Роллинг, — сказал Гарин, вставая, — вот и я, дружище.

83

Произошло самое страшное — Роллинг попал в смешное положение.

Что можно было сделать? Скрежетать зубами, бушевать, стрелять? — Еще хуже, еще глупее. Капитан Янсен предал его, — ясно. Команда не надежна... Яхта в открытом море. Усилием воли (у него даже скрипнуло что-то внутри) Роллинг согнал с лица проклятую улыбку.

— А! — Он поднял руку и помотал ею, приветствуя: — А, Гарин... Что же, захотели проветриться? Прошу, рад... Будем веселиться...

Зоя сказала резко:

— Вы скверный актер, Роллинг. Перестаньте потешать публику. Входите и садитесь. Здесь все свои, — смертельные враги. Сами виноваты, что приготовили себе такое веселенькое общество для прогулки по Средиземному морю.

Роллинг оловянными глазами взглянул на нее.

— В больших делах, мадам Ламоль, нет личной вражды или дружбы.

И он сел к столу, точно на королевский трон, — между Зоей и Гариным. Положил руки на стол. Минуту длилось молчание. Он сказал:

— Хорошо, я проиграл игру. Сколько я должен платить?

Гарин ответил, блестя глазами, улыбкой, готовый, кажется, залиться самым добродушным смехом:

— Ровно половину, старый дружище, половину, как было условлено в Фонтенебло. Вот и свидетель. — Он махнул бородкой в сторону Шельги, мрачно барабанившего ногтями по столу. — В бухгалтерские книги ваши я залезать не стану. Но на глаз — миллиард в долларах, конечно, в окончательный расчет. Для вас эта операция пройдет безболезненно. Вы же загребли чертовы деньги в Европе.

— Миллиард будет трудно выплатить сразу, — ответил Роллинг. — Я обдумаю. Хорошо. Сегодня же я выеду в Париж. Надеюсь, в пятницу, скажем, в Марселе, я смогу выплатить большую часть этой суммы...

— Ай, ай, ай,— сказал Гарин,— но вы-то, старина, получите свободу только после уплаты.

Шельга быстро взглянул на него, промолчал. Роллинг поморщился, как от глупой бестактности.

— Я должен понять так, что вы меня намерены задерживать на этом судне?

— Да.

— Напоминаю, что я, как гражданин Соединенных Штатов, неприкосновенен. Мою свободу и мои интересы будет защищать весь военный флот Америки.

— Тем лучше! — крикнула Зоя гневно и страстно. — Чем скорее, тем лучше!..

Она поднялась, протянула руки, сжала кулаки так, что побелели косточки.

— Пусть весь ваш флот — против нас, весь свет встанет против нас. Тем лучше!

Ее короткая юбка разлетелась от стремительного движения. Белая морская куртка с золотыми пуговичками, маленькая, по-юношески остриженная голова Зои и кулачки, в которых она собиралась стиснуть судьбу мира, серые глаза, потемневшие от волнения, взволнованное лицо — все это было и забавно и страшно.

— Должно быть, я плохо расслышал вас, сударыня, — Роллинг всем телом повернулся к ней, — вы собираетесь бороться с военным флотом Соединенных Штатов? Так вы изволили выразиться?

Шельга бросил барабанить ногтями. В первый раз за этот месяц ему стало весело. Он даже вытянул ноги и развалился, как в театре.

Зоя глядела на Гарина, взгляд ее темнел еще больше.

— Я сказала, Петр Петрович... Слово за вами...

Гарин заложил руки в карманы, встал на каблуки, покачиваясь и улыбаясь красным, точно покрашенным ртом. Весь он казался фатоватым, несерьезным. Одна Зоя угадывала его стальную, играющую от переизбытка, преступную волю.

— Во-первых, — сказал он и поднялся на носки, — мы не питаем исключительной вражды именно к Америке. Мы постараемся потрепать любой из флотов, который попытается выступить с агрессивными действиями против меня. Во-вторых, — он перешел с носков на каблуки, — мы отнюдь не настаиваем на драке. Если военные силы Америки и Европы признают за нами священное право захвата любой территории, какая нам понадобится, право суверенности и так далее и так далее, — тогда мы оставим их

в покое, по крайней мере в военном отношении. В противном случае с морскими и сухопутными силами Америки и Европы, с крепостями, базами, военными складами, главными штабами и прочее и прочее будет поступлено беспощадно. Судьба анилиновых заводов, я надеюсь, убеждает вас, что я не говорю на ветер.

Он пошлепал Роллинга по плечу.

— Алло, старина, а ведь было время, когда я просил вас войти компаньоном в мое предприятие... Фантазии не хватило, а все оттого, что высокой культуры у вас нет. Это что — раздевать биржевиков да скупать заводы. Старинушка-матушка... А настоящего человека — прозевали... Настоящего организатора ваших дурацких миллиардов.

Роллинг начал походить на разлагающегося покойника. С трудом выдавливая слова, он прошипел:

— Вы анархист...

Тут Шельга, ухватившись здоровой рукой за волосы, принялся так хохотать, что наверху за стеклянным потолком появилось испуганное лицо капитана Янсена. Гарин повернулся на каблуках и опять — Роллингу:

— Нет, старина, у вас плохо стал варить котелок. Я — не анархист... Я тот самый великий организатор, которого вы в самом ближайшем времени начнете искать днем с фонарем... Об этом поговорим на досуге. Пишите чек... И полным ходом — в Марсель.

84

В ближайшие дни произошло следующее: «Аризона» бросила якорь на внешнем рейде в Марселе. Гарин предъявил в банке Лионского кредита чек Роллинга на двадцать миллионов фунтов стерлингов. Директор банка в панике выехал в Париж.

На «Аризоне» было объявлено, что Роллинг болен. Он сидел под замком у себя в каюте, и Зоя неусыпно следила за его изоляцией. В продолжение трех суток «Аризона» грузилась жидким топливом, водой, консервами, вином и прочим. Матросы и зеваки на набережной немало дивились, когда к «шикарной кокотке» пошла шаланда, груженная мешками с песком. Говорили, будто яхта идет на Соломоновы острова, кишацие людоедами. Капитаном Янсенем было закуплено оружие — двадцать карабинов, револьверы, газовые маски.

В назначенный день Гарин и Янсен снова явились в банк. Их встретил товарищ министра финансов,

экстренно прибывший из Парижа. Рассыпаясь в любезностях и не сомневаясь в подлинности чека, он все же пожелал видеть самого Роллинга. Его отвезли на «Аризону».

Роллинг встретил его совсем больной, с провалившимися глазами. Он едва мог подняться с кресла. Он подтвердил, что чек выдан им, что он уходит на яхте в далекое путешествие и просит поскорее кончить все формальности.

Товарищ министра финансов, взявшись за спинку стула и жестикулируя наподобие Камилла Демулена, произнес речь о великом братстве народов, о культурной сокровищнице Франции и попросил отсрочки платежа.

Роллинг, закрыв устало глаза, покачал головой. Покончили на том, что Лионский кредит выплатит треть суммы в фунтах, остальные — во франках по курсу.

Деньги привезены были к вечеру на военном катере. Затем, когда посторонние были удалены, на капитанском мостике появились Гарин и Янсен.

— Свистать всех наверх.

Команда выстроилась на шканцах, и Янсен сказал твердым и суровым голосом:

— Матросы, яхта, называемая «Аризона», отправляется в чрезвычайно опасное и рискованное плавание. Будь я проклят, если я поручусь за чью-либо жизнь, за жизнь владельцев и целость самого судна. Вы меня знаете, акулы дети... Жалованье я увеличиваю вдвое, так же удваиваются обычные премии. Всем, кто вернется на родину, будет дана пожизненная пенсия. Даю срок на размышление до захода солнца. Не желающие рисковать могут уносить свои подошвы.

Вечером восемь человек из команды сошли на берег. В ту же ночь команду пополнили восемью отчаянными негодьями, которых капитан Янсен сам разыскал в портовых кабаках.

Через пять дней яхта легла на рейде в Соутгемптоне, и Гарин и Янсен предъявили в английском королевском банке чек Роллинга на двадцать миллионов фунтов. (В палате по этому поводу был сделан мягкий запрос лидером рабочей партии.) Деньги выдали. Газеты взвыли. Во многих городах произошли рабочие демонстрации. Журналисты рванулись в Соутгемптон. Роллинг не принял никого. «Аризона» взяла жидкого топлива и пошла через океан.

Через двенадцать дней яхта стала в Панамском канале и послала радио, вызывая к аппарату главного директора «Анилин Роллинг» — Мак Линнея. В назначенный час Рол-

линг, сидя в радиорубке под дулом револьвера, отдал приказ Мак Линнею выплатить подателю чека, мистеру Гарину, сто миллионов долларов. Гарин выехал в Нью-Йорк и возвратился с деньгами и самим Мак Линнеем. Это была ошибка. Роллинг говорил с директором ровно пять минут в присутствии Зои, Гарина и Янсена. Мак Линней уехал с глубоким убеждением, что дело не чисто.

Затем «Аризона» стала крейсировать в пустынном Караибском море. Гарин разъезжал по Америке по заводам, зафрахтовывал пароходы, закупал машины, приборы, инструменты, сталь, цемент, стекло. В Сан-Франциско происходила погрузка. Доверенный Гарина заключал контракты с инженерами, техниками, рабочими. Другой доверенный выехал в Европу и вербовал среди остатков русской белой армии пятьсот человек для несения полицейской службы.

Так прошло около месяца. Роллинг ежедневно разговаривал по радио с Нью-Йорком, Парижем, Берлином. Его приказы были суровы и неумолимы. После гибели анилиновых заводов европейская химическая промышленность перестала сопротивляться. «Анилин Роллинг» — значилось на всех фабриках. Это было клеймо — желтый круг с тремя черными полосками и надписью: наверху — «Мир», внизу — «Анилин Роллинг Компани». Начинало походить на то, что каждый европеец должен быть проштемпелеван этим желтым кружочком. Так «Анилин Роллинг» шел на приступ сквозь дымящиеся развалины заводов Анилиновой компании.

Колониальным, жутким запашком тянуло по всей Европе. Гасли надежды. Не возвращались веселье и радость. Гнили бесчисленные сокровища духа в пыльных библиотеках. Желтое солнце с тремя черными полосками озаряло неживым светом громады городов, трубы и дымы, рекламы, рекламы, рекламы, выпивающие кровь у людей, и в кирпичных проплеванных улицах и переулках, между витрин, реклам желтых кругов и кружочков — человеческие лица, искаженные гримасой голода, скуки и отчаяния.

Валюты падали. Налоги поднимались. Долги росли. И священной законности, повелевавшей чтить долг и право, ударило в лоб желтое клеймо. Плати.

Деньги текли ручейками, ручьями, реками в кассы «Анилин Роллинг». Директора «Анилин Роллинг» вмешивались во внутренние дела государств, в международную

политику. Они составляли как бы орден тайных правителей.

Гарин носился из конца в конец по Соединенным Штатам с двумя секретарями, инженерами, пишущими барышнями и сворой рассыльных. Он работал двадцать часов в сутки. Никогда не спрашивал цен и не торговался.

Мак Линней с тревогой и изумлением следил за ним. Он не понимал, для чего все это покупается и грузится и зачем с таким безрассудством расшвыриваются миллионы Роллинга. Секретарь Гарина, одна из пишущих барышень и двое рассыльных были агентами Мак Линнея. Они ежедневно посылали ему в Нью-Йорк подробный отчет. Но все же трудно было что-либо понять в этом вихре закупок, заказов и контрактов.

В начале сентября «Аризона» опять появилась в Панамском канале, взяла на борт Гарина и, выйдя в Тихий океан, исчезла в направлении на юго-запад.

В том же направлении, двумя неделями позже, вышли десять груженных кораблей с запечатанными приказами.

85

Океан был неспокоен. «Аризона» шла под парусами. Были поставлены гроты и кливера, — все паруса, кроме марселей. Узкий корпус яхты, — скорлупка с парусами, наполненными ветром, со звенящими, поющими вантами, — то скрывался до верхушек мачт между волнами, то взмывал на гребне, отряхивая пену.

Тент был убран. Люки задраены. Шлюпки подняты на палубу и закреплены. Мешки с песком, положенные вдоль обоих бортов, увязаны проволокой. На баке и на юте установлены две решетчатые башни с круглыми, как котлы, камерами на верхних площадках. Башни эти, покрытые брезентами, придавали «Аризоне» странный профиль полувоенного судна.

На капитанском мостике, куда долетали только брызги волн, стояли Гарин и Шельга. На обоих — кожаные плащи и шляпы. Рука Шельги была освобождена от гипса, но пока еще годилась только на то, чтобы взять коробку спичек да вилку за столом. ☿

— Вот океан, — сказал Гарин, — и ничтожное суденышко, кристаллик человеческого гения и воли... Летим, товарищ Шельга, хоть ты что... Боремся... А волны какие... Смотрите — горы.

Огромная волна шла с правого борта. Кипящий гребень ее рос и пенился. Под ним все круче выгибалась стеклянно-зеленая вогнутая поверхность в жгутах пены. Гребень закручивался. «Аризона» ложилась на левый борт. Пел дикий ветер между парусами, вынося кораблик из бездны. И он, совсем ложась, показывая красное днище до киля, наискось, по вогнутой поверхности вылетел на гребень волны и скрылся в шумящей пене. Исчезли палуба, и шлюпки, и бак, погрузилась до купола решетчатая мачта на баке. Вода кипела кругом капитанского мостика.

— Здорово! — крикнул Гарин.

«Аризона» выпрямилась, вода схлынула с палубы, кливера плеснули, и она понеслась вниз по уклону волны.

— Так и человек, товарищ Шельга, так и человек в человеческом океане... Я вот страстно полюбил это суденышко... Разве мы не похожи?.. У обоих грудь полна ветром... А?

Шельга пожал плечами, не ответил. Не спорить же с этим — влюбленным в себя до восторга... Пусть упивается, — сверхчеловек, да и только. Недаром он и Роллинг нашли на земле друг друга: лютые враги, а одному без другого не дыхнуть. Химический король порождает из своего чрева этого воспаленного преступными идеями человечка, — тот, в свою очередь, оплодотворяет чудовищной фантазией Роллингову пустыню. Кол им обоим в глотку!

Действительно, трудно было понять, почему до сих пор Роллинга не жрут акулы. Дело свое он сделал, — не миллиард, но триста миллионов долларов Гарин получил. Теперь бы и концы в воду. Но нет, что-то еще более прочное связывало этих людей.

Не понимал Шельга также, почему и его не спихнули за борт в Тихом океане. Тогда, в Неаполе, он был нужен Гарину как третье лицо и свидетель. Явись Гарин один в Неаполе на «Аризону», могли случиться неожиданные неприятности. Но устранить сразу двоих Роллингу было бы гораздо труднее. Все это ясно. Гарин выиграл партию.

Зачем же ему теперь Шельга? Во время крейсерства в Карибском море были еще строгости. Здесь же, в океане, за Шельгой никто не следил, и он делал, что хотел. Присматривался. Прислушивался. И ему начинали мерещиться кое-какие выходы из скверного положения.

Перегон по океану был похож на увеселительную прогулку. Завтраки, обеды и ужины обставлялись с роскошью. За стол садились Гарин, мадам Ламоль, Роллинг, ка-

питан Янсен, помощник капитана, Шельга, инженер Чермак — чех (помощник Гарина), щупленький, взъерошенный, болезненный человек, с бледными пристальными глазами и реденькой бородкой, и второй помощник — химик, немец Шефер, костлявый, застенчивый молодой человек, еще недавно умиравший с голоду в Сан-Франциско.

В этой странной компании смертельных врагов, убийц, грабителей, авантюристов и голодных ученых, — во фраках, с буффоньями в петлицах, — Шельга, как и все, — во фраке, с буффонькой, спокойно помалкивал, ел и пил со вкусом.

Сосед справа однажды пустил в него четыре пули, сосед слева — убийца трех тысяч человек, напротив — красавица, бесовка, какой еще не видал свет.

После ужина Шефер садился за пианино, мадам Ламоль танцевала с Янсеном. Роллинг оставался обычно у стола и глядел на танцующих. Остальные поднимались в курительный салон. Шельга шел курить трубку на палубу. Его никто не удерживал, никто не замечал. Дни проходили однообразно. Суровому оксану не было конца. Катились волны так же, как миллионы лет тому назад.

Сегодня Гарин, сверх обыкновения, вышел вслед за Шельгой на мостик и заговорил с ним по-приятельски, будто ничего и не произошло с тех пор, как они сидели на скамеечке на бульваре Профсоюзов в Ленинграде. Шельга насторожился. Гарин восхищался яхтой, самим собой, океаном, но, видимо, куда-то клонил.

Со смехом сказал, отряхивая брызги с бородки:

— У меня к вам предложение, Шельга.

— Ну?

— Помните, мы условились играть честную партию?

— Так.

— Кстати... Ай, ай... Это ваш подручный угостил меня из-за кустов? На волосок ближе — и череп вдребезги.

— Ничего не знаю...

Гарин рассказал о выстреле на даче Штуффера. Шельга замотал головой.

— Я ни при чем. А жаль, что промахнулся...

— Значит — судьба?

— Да, судьба.

— Шельга, предлагаю вам на выбор, — глаза Гарина, неумолимые и колючие, приблизились, лицо сразу стало злым, — либо вы бросьте разыгрывать из себя принципиального человека... либо я вас вышвырну за борт. Поняли?

— Понял.

— Вы мне нужны. Вы мне нужны для больших дел... Мы можем договориться... Единственный человек, кому я верю, — это вам.

Он не договорил, гребень огромной волны, выше прежних обрушился на яхту. Кипящая пена покрыла капитанский мостик. Шельгу бросило на перила, его выкаченные глаза, разинутый рот, рука с растопыренными пальцами показались и исчезли под водой... Гарин кинулся в водоворот.

86

Шельга не раз впоследствии припоминал этот случай.

Рискуя жизнью, Гарин схватил его за край плаща и боролся с волнами, покуда они не пронеслись через яхту. Шельга оказался висящим за перилами мостика. Легкие его были полны воды. Он тяжело упал на палубу. Матросы с трудом откачали его и унесли в каюту.

Туда же вскоре пришел и Гарин, переодетый и веселый. Приказал подать два стаканчика грога и, раскурив трубку, продолжал прерванный разговор.

Шельга рассматривал его насмешливое лицо, ловкое тело, развалившееся в кожаном кресле. Станный, противоречивый человек. Бандит, негодяй, темный авантюрист... Но от грога ли, или от перенесенного потрясения Шельге приятно было, что Гарин вот так сидит перед ним, задрав ногу на колено, и курит и рассуждает о разных вещах, как будто не трещат бока «Аризоны» от ударов волн, не проносятся кипящие струи за стеклом иллюминатора, не уносятся, как на качелях, вниз и вверх, то Шельга на койке, то Гарин в кресле.

Гарин сильно изменился после Ленинграда, — весь стал уверенный, смеющийся, весь благорасположенный и добродушный, какими только бывают очень умные, убежденные эгоисты.

— Зачем вы пропустили удобный случай? — спросил его Шельга. — Или вам до зарезу нужна моя жизнь? Не понимаю.

Гарин закинул голову и засмеялся весело:

— Чудак вы, Шельга... Зачем же я должен поступать логично?.. Я не учитель математики... До чего ведь дожили... Простое проявление человечности — и непонятно.

Какая мне выгода была тащить за волосы утопающего? Да никакая... Чувство симпатии к вам... Человечность...

— Когда взрывали анилиновые заводы, кажется, не думали о человечности.

— Нет! — крикнул Гарин. — Нет, не думал. Вы все еще никак не можете выкарабкаться из-под обломков морали... Ах, Шельга, Шельга... Что это за полочки: на этой полочке — хорошее, на этой — плохое... Я понимаю, дегустатор: пробует, плюет, жует корочку, — это, говорит, вино хорошее, это плохое. Но ведь руководится он вкусом, пупырышками на языке. Это реальность. А где ваш дегустатор моральных марок? Какими пупырышками он это пробует?

— Все, что ведет к установлению на земле советской власти, — хорошо, — проговорил Шельга, — все, что мешает, — плохо.

— Превосходно, чудно, знаю... Ну, а вам-то до этого какое дело? Чем вы связаны с Советской республикой? Экономически? Вздор... Я вам предлагаю жалованье в пятьдесят тысяч долларов... Говорю совершенно серьезно. Пойдете?

— Нет, — спокойно сказал Шельга.

— То-то что нет... Значит, связаны вы не экономически, а идеей, честностью: словом, материей высшего порядка. И вы злостный моралист, что я и хотел вам доказать... Хотите мир перевернуть... Расчищаете от тысячелетнего мусора экономические законы, взрываете империалистические крепости. Ладно. Я тоже хочу мир перевернуть, но по-своему. И переверну одной силой моего гения.

— Ого!

— Наперекор всему, заметьте, Шельга. Слушайте, да что же такое человек в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в несказуемом ужасе смерти в глиняный шарик земли и летящий с нею в ледяной тьме? Или это — мозг, божественный аппарат для выработки особой, таинственной материи — мысли, — материи, один микрон которой вмещает в себя всю вселенную... Ну? Вот — то-то...

Гарин уселся глубже, поджал ноги. Всегда бледные щеки его зарумянились.

— Я предлагаю другое. Враг мой, слушайте... Я овладеваю всей полнотой власти на земле... Ни одна труба не задымит без моего приказа, ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все подчине-

но,—вплоть до права дышать,—центру. В центре — я. Мне принадлежит все. Я отчеканиваю свой профиль на кружочках: с бородкой, в веночке, а на обратной стороне профиль мадам Ламоль. Затем я отбираю «первую тысячу», — скажем, это будет что-нибудь около двух-трех миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем мы установим, сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры. Здесь также сделаем отбор. Этих назовем для вежливости — трудовиками...

— Ну, разумеется...

— Хихикать, друг мой, будете по окончании разговора... Они не взбунтуются, нет, дорогой товарищ. Возможность революций будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция. Совершенно незаметно, под нечаянным наркозом... Небольшой прокол сквозь черепную кость. Ну, просто закружилась голова, — очнулся, и он уже раб. И, наконец, отдельную группу мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения. Все остальное придется убрать за ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества по Петру Гарину. Эти трудовики работают и служат безропотно за пищу, как лошади. Они уже не люди, у них нет иной тревоги, кроме голода. Они будут счастливы, переваривая пищу. А избранные патриции — это уже полубожества. Хотя я презираю, вообще-то говоря, людей, но приятнее находиться в хорошем обществе. Уверяю вас, дружище, это и будет самый настоящий золотой век, о котором мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки земли от лишнего населения сгладится очень скоро. Зато какие перспективы для гения! Земля превращается в райский сад. Рождение регулируется. Производится отбор лучших. Борьбы за существование нет: она — в туманах варварского прошлого. Вырабатывается красивая и утонченная раса — новые органы мышления и чувств. Покуда коммунизм будет волочь на себе все человечество на вершины культуры, я это сделаю в десять лет... К черту! — скорее чем в десять лет... Для немногих... Но дело не в числе...

— Фашистский утопизм, довольно любопытно, — сказал Шельга. — Роллингу вы об этом рассказывали?

— Не утопия, — вот в чем весь курьез. Я только логичен... Роллингу я, разумеется, ничего не говорил, потому что он просто животное... Хотя Роллинг и все Роллинги на свете вслепую делают то, что я развиваю в законченную и четкую программу. Но делают это варварски, громоздко и медленно. Завтра, надеюсь, мы будем уже на острове... Увидите, что я не шучу...

— С чего же начнете-то? Деньги с бородкой чеканить?

— Ишь ты, как эта бородка вас задела. Нет. Я начну с обороны. Укреплять остров. И одновременно бешеным темпом пробиваться сквозь Оливиновый пояс. Первая угроза миру будет, когда я повалю золотой паритет¹. Я смогу добывать золото в любом количестве. Затем перейду в наступление. Будет война — страшнее четырнадцатого года. Моя победа обеспечена. Затем — отбор оставшегося после войны и моей победы населения, уничтожение непригодных элементов, и мною избранная раса начинает жить, как боги, а трудовики начинают работать не за страх, а за совесть, довольные, как первые люди в раю. Ловко? А? Не нравится?

Гарин снова расхохотался. Шельга закрыл глаза, чтобы не глядеть на него. Игра, начатая на бульваре Профсоюзов, разворачивалась в серьезную партию. Он лежал и думал. Оставался опасный, но единственный ход, который только и мог привести к победе. Во всяком случае, самое неверное было бы сейчас ответить Гарину отказом. Шельга потянулся за папиросами, Гарин с усмешкой наблюдал за ним.

— Решили?

— Да, решил.

— Великолепно. Я раскрываю карты: вы мне нужны, как кремень для огнива. Шельга, я окружен тупым зверьем. Людями без фантазии. Мы будем с вами ссориться, но я добьюсь, что вы будете работать со мной. Хотя бы в первой половине, когда мы будем бить Роллингов... Кстати, предупреждаю, бойтесь Роллинга, он упрям и если решил вас убить, — убьет.

— Меня давно удивляло, почему вы его не скормили акулам.

¹ Постоянная стоимость золота во всем мире. Задача Гарина обесценить золото, чтобы внести хаос среди денежных магнатов буржуазного мира и овладеть властью.

— Мне нужен заложник... Но во всяком случае он-то не попадет в список «первой тысячи»...

Шельга помолчал. Спросил спокойно:

— Сифилиса у вас не было, Гарин?

— Представьте — не было. Мне тоже иногда думалось, все ли в порядке в черепушке... Ходил даже к врачу. Рефлексы повышены, только. Ну, одевайтесь, идем ужинать.

87

Грозовые тучи утонули на северо-востоке. Синий океан был необъятно ласков. Мягкие гребни волн сверкали стеклом. Гнались дельфины за водяным следом яхты, перегоняя, кувыркались, маслянистые и веселые. Гортанно кричали большие чайки, плывя над парусами. Вдали из океана подымались голубоватые, как мираж, очертания скалистого острова.

Сверху — в бочке — матрос крикнул: «Земля». И стоявшие на палубе вздрогнули. Это была земля неведомого будущего. Она была похожа на длинное облачко, лежащее на горизонте. К нему несли «Аризону» полные ветра паруса.

Матросы мыли палубу, шлепая босыми ногами. Косматое солнце пылало в бездонных просторах неба и океана. Гарин, пощипывая бородку, силился проникнуть в пелену будущего, окутавшую остров. О, если бы знать!..

88

В далеких перспективах Васильевского острова пылал осенний закат. Багровым и мрачным светом были озарены баржи с дровами, буксиры, лодки рыбаков, дымы, запутавшиеся между решетчатыми кранами эллингов. Пожаром горели стекла пустынных дворцов.

С запада, из-за дымов, по лилово-черной Неве подходил пароход. Он заревел, приветствуя Ленинград и конец пути. Огни его иллюминаторов озарили колонны Горного института, Морского училища, лица гуляющих, и он стал ошвартовываться у плавучей красной, с белыми колонками таможни. Началась обычная суeta досмотра.

Пассажир первого класса, смуглый, широкоскулый человек, по паспорту научный сотрудник Французского географического общества, стоял у борта. Он глядел на город, затянутый вечерним туманом. Еще остался свет на

куполе Исаакия, на золотых иглах Адмиралтейства и Петропавловского собора. Казалось, этот шпиль, пронзающий небо, задуман был Петром, как меч, грозящий на морском рубеже России.

Широкоскулый человек вытянул шею, глядя на иглу собора. Казалось, он был потрясен и взволнован, как путник, увидевший после многолетней разлуки кровлю родного дома. И вот по темной Неве от крепости долетел торжественный звон: на Петропавловском соборе, где догорал свет на узком мече, над могилами императоров куранты играли «Интернационал».

Человек стиснул перила, из горла его вырвалось что-то вроде рычания, он повернулся спиной к крепости.

В таможне он предъявил паспорт на имя Артура Леви и во все время осмотра стоял, хмуро опустив голову, чтобы не выдать злого блеска глаз.

Затем, положив клетчатый плед на плечо, с небольшим чемоданчиком, он сошел на набережную Васильевского острова. Сияли осенние звезды. Он выпрямился с долго сдерживаемым вздохом. Оглянул спящие дома, пароход, на котором горели два огня на мачтах да тихо постукивал мотор динамо, и зашагал к мосту.

Какой-то высокий человек в парусиновой блузе медленно шел навстречу. Минуя, взглянул в лицо, прошептал: «Батюшки», и вдруг спросил вдогонку:

— Волшин, Александр Иванович?

Человек, назвавший себя в таможне Артуром Леви, споткнулся, но, не оборачиваясь, еще быстрее зашагал по мосту.

89

Иван Гусев жил у Тарашкина. был ему не то сыном, не то младшим братом. Тарашкин учил его грамоте и уму-разуму.

Мальчишка оказался до того понятливый, упорный, — сердце радовалось. По вечерам напьются чаю с ситником и чайной колбасой, Тарашкин полезет в карман за папиросами, вспомнит, что дал коллективу клуба обещание не курить, — крякнет, взъерошит волосы и начинает разговор:

— Знаешь, что такое капитализм?

— Нет, Василий Иванович, не знаю.

— Объясню тебе в самой упрощенной форме. Девять человек работают, десятый у них все берет, они голодают, он лопается от жира. Это — капитализм. Понял?

— Нет, Василий Иванович, не понял.

— Чего ты не понял?

— Зачем они ему дают?

— Он заставляет, он эксплуататор...

— Как заставляет? Их девять, он один...

— Он вооружен, они безоружные...

— Оружие всегда можно отнять, Василий Иванович. Это, значит, они нерасторопные...

Тарашкин с восхищением, приоткрывая рот, глядел на Ивана.

— Правильно, брат... Рассуждаешь по-большевистски... Мы в Советской России так и сделали — оружие отняли, эксплуататоров прогнали, и у нас все десять человек работают и все сытые...

— Все от жира лопаемся...

— Нет, брат, лопаться от жира не надо, мы не свиньи, а люди. Мы жир должны перегонять в умственную энергию.

— Это чего это?

— А то, что мы в кратчайший срок должны стать самым умным, самым образованным народом на свете... Понятно? Теперь давай арифметику...

— Есть арифметику, — говорил Иван, доставая тетрадь и карандаш.

— Нельзя муслить чернильный карандаш, — это некультурно... Понятно?

Так они занимались каждый вечер, далеко за полночь, покуда у обоих не начинали слипаться глаза.

90

У калитки гребного клуба стоял скуластый, хорошо одетый гражданин и тростью ковырял землю. Он поднял голову и так странно поглядел на подходивших Тарашкина и Ивана, что Тарашкин ошетинился. Иван прижался к нему. Человек сказал:

— Я жду здесь с утра. Этот мальчик и есть Иван Гусев.

— А вам какое дело? — засопев, спросил Тарашкин.

— Виноват, прежде всего вежливость, товарищ. Моя фамилия Артур Леви.

Он вынул карточку, развернул перед носом у Тарашкина:

— Я сотрудник советского полпредства в Париже. Вам этого довольно, товарищ?

Тарашкин проворчал неопределенное. Артур Леви достал из бумажника фотографию, взятую Гариным у Шельги.

— Вы можете подтвердить, что снимок сделан именно с этого самого мальчика?

Тарашкину пришлось согласиться. Иван попытался было улизнуть, но Артур Леви жестко взял его за плечо.

— Фотографию мне передал Шельга. Мне дано секретное поручение отвезти мальчика по указанному адресу. В случае сопротивления должен его арестовать. Вы намерены подчиниться?

— Мандат? — спросил Тарашкин.

Артур Леви показал мандат с бланком советского посольства в Париже, со всеми подписями и печатями. Тарашкин долго читал его. Вздохнув, сложил вчетверо.

— Черт его разберет, будто бы все правильно. А может, кому бы другому вместо него поехать? Мальчишке учиться надо...

Артур Леви зубасто усмехнулся:

— Не бойтесь. Мальчику со мной будет неплохо...

91

Тарашкин наказал Ивану посылать вести с дороги. Тревога его немного улеглась, когда он получил из Челябинска открытку:

Дорогой товарищ Тарашкин! Слава труду! Эдем мы ничего себе в первом классе. Лица хорошая а также обращение. В Москве Артур Артурович купил мне шапку новой. Гиджак на вате и сапоги. Одно скучно заедает Артур Артурович целый день. Мамин Мамед прошил в Самаре на вокзале встретил я одного безгризоров бывшего товарища я ему даю извините ваш адрес. Наверно придет ждите! ☆

Александр Иванович Волшин прибыл в СССР с паспортом на имя Артура Леви и бумагами от Французского географического общества. Все документы были в порядке (в свое время это стоило Гарину немало хлопот), — сфабрикованы были лишь мандат и удостоверение из полпредства. Но эти бумажки Волшин показал только Тарашкину. Официально же Артур Леви приехал для исследования вулканической деятельности камчатских гигантских огнедышащих гор — сопки по местному названию.

В середине сентября он выехал вместе с Иваном во Владивосток. Ящики со всеми инструментами и вещами, нужными для экспедиции, прибыли туда еще заранее морем из Сан-Франциско. Артур Леви торопился. В несколько дней собрал партию, и двадцать восьмого сентября экспедиция отплыла из Владивостока на советском пароходе в Петропавловск. Переход был тяжелый. Северный ветер гнал тучи, сеющие снежной крупой в свинцовые волны Охотского моря. Пароход тяжело скрипел, ныряя в грозной водяной пустыне. В Петропавловск прибыли только на одиннадцатый день. Выгрузили ящики, лошадей и на другие сутки уже двинулись через леса и горы, тропами, руслами ручьев, через болота и лесные чащобы.

Экспедицию вел Иван, — у мальчишки были хорошая память и собачье чутье. Артур Леви торопился: трогались в путь на утренней заре и шли до темноты, без привалов. Лошади выбивались из сил, люди роптали: Артур Леви был неумолим, — он не щадил никого, но хорошо платил.

Погода портилась. Мрачно шумели вершины кедров, иногда слышался тяжелый треск повалившегося столетнего дерева или грохот каменной лавины. Камнями убило двух лошадей, две другие вместе с вьюками утонули в трясине зыбучего болота.

Иван обычно шел впереди, карабкаясь на сопки, влезая на деревья, чтобы разглядеть одному ему известные приметы. Однажды он закричал, раскачиваясь на кедровой ветке:

— Вот он! Артур Артурович, вот он!..

На отвесной скале, висевшей над горной речкой, было видно древнее, высеченное на камне полуистертое временем изображение воина в конусообразной шапке, со стрелой и луком в руках...

— Отсюда теперь на восток, прямо по стреле до Шайтан-камня, а там недалеко лагерь! — кричал Иван.

Здесь стали привалом. Перепаковали выюки. Зажгли большой костер. Утомленные люди заснули. В темноте сквозь шум кедров доносились отдаленные глухие взрывы, вздрагивала земля. И когда огонь костра начал угасать, на востоке под тучами обозначилось зарево, будто какой-то великан раздувал угли между гор и их мрачный отсвет мигал под тучами...

Чуть свет Артур Леви, не отнимавший руки от кобуры маузера, уже расталкивал пинками людей. Он не дал развести огонь, вскипятить чай. «Вперед, вперед!..» Измученные люди побрели через непролазный лес, загроможденный осколками камней. Деревья здесь были необыкновенной красоты. В папоротнике лошади скрывались с головой. У всех ноги были в крови. Еще двух лошадей пришлось бросить. Артур Леви шел сзади, держа руку на маузере. Казалось, еще несколько шагов, — и хоть убивай на месте — никто не сдвинется с места...

По ветру донесся звонкий голос Ивана:

— Сюда, сюда, товарищи, вот он, Шайтан-камень...

Это была огромная глыба в форме человеческой головы, окутанная клубами пара. У ее подножия из земли била, пульсируя, струя горячей воды. С незапамятных времен люди, оставившие путевые знаки на скалах, купались в этом источнике, восстанавливающем силы. Это была та самая «живая вода», которую в сказках приносил ворон, — вода, богатая радиоактивными солями.

93

Весь этот день дул северный ветер, ползли тучи низко над лесом. Печально шумели высокие сосны, гнулись темные вершины кедров, облетали лиственницы. Сыпало крупой из туч, сеяло ледяным дождем. Тайга была пустынна. На тысячу верст шумела хвоя над болотами, над каменистыми сопками. С каждым днем студенее, страшнее дышал север с беспросветного неба.

Казалось, ничего, кроме важного шума вершин да посвистывания ветра, не услышишь в этой пустыне. Птицы улетели, зверь ушел, попрятался. Человек разве только за смертью забрел бы в эти места.

Но человек появился. Он был в рыжей рваной дохе, низко подпоясанной веревкой, в разбухших от дождя пимах. Лицо заросло космами не чесанной уже несколько

лет бороды, седые волосы падали на плечи. Он с трудом передвигался, опираясь на ружье, огибал косогор, скрываясь иногда за корневищами. Останавливался, согнувшись, и начинал посвистывать:

— Фють, Машка, Машка... Фють...

Из бурьяна поднялась голова лесного козла с обрывком веревки на вытертой шее. Человек поднял ружье, но козел снова скрылся в бурьяне. Человек зарычал, опустился на камень. Ружье дрожало у него между колен, он уронил голову. Долго спустя опять стал звать:

— Машка, Машка...

Мутные глаза его искали среди бурьяна эту единственную надежду — ручного козла: убить его последним, оставшимся зарядом, высушить мясо и протянуть еще несколько месяцев, быть может даже до весны.

Семь лет тому назад он искал применения своим гениальным замыслам. Он был молод, силен и беден. В роковой день он встретил Гарина, развернувшего перед ним такие грандиозные планы, что он, бросив все, очутился здесь, у подножия вулкана. Семь лет тому назад здесь был вырублен лес, поставлено зимовище, лаборатория, радиоустановка от маленькой гидростанции. Земляные крыши поселка, просевшие и провалившиеся, виднелись среди огромных камней, некогда выброшенных вулканом, у стены шумящего вершинами мачтового леса.

Люди, с которыми он пришел сюда, — одни умерли, другие убежали. Постройки пришли в негодность, плотину маленькой гидростанции снесло весенней водой. Весь труд семи лет, все удивительные выводы — исследования глубоких слоев земли — Оливинового пояса — должны были погибнуть вместе с ним из-за такой глупости, как Машка — козел, не желающий подходить на ружейный выстрел, сколько его, проклятого, ни зови.

Прежде шуткой бы показалось — пройти в тайге километров триста до человеческого поселения. Теперь ноги и руки изломаны ревматизмом, зубы вывалились от цинги. Последней надеждой был ручной козел, — старик готовил его на зиму. Проклятое животное перетерло веревку и удрало из клетки.

Старик взял ружье с последним зарядом и ходил, подманивая Машку. Близился вечер, темнели гряды туч, злее шумел ветер, раскачивая огромные сосны. Надвигалась зима — смерть. Сжималось сердце... Неужели никогда больше ему не увидеть человеческих лиц, не посидеть у огня

печи, вдыхая запах хлеба, запах жизни? Старик молча заплакал.

Долго спустя еще раз позвал:

— Машка, Машка...

Нет, сегодня не убить... Старик, кряхтя, поднялся, побрел к зимовищу. Остановился. Поднял голову, — снежная крупа ударила в лицо, ветер трепал бороду... Ему показалось... Нет, нет — это ветер, должно быть, заскрипел сосной о сосну... Старик все же долго стоял, стараясь, чтобы не так громко стучало сердце...

— Э-э-э-эй, — слабо долетел человеческий голос со стороны Шайтан-камня.

Старик ахнул. Глаза застлало слезами. В разинутый рот било крупой. В надвинувшихся сумерках уже ничего нельзя было различить на поляне...

— Э-э-э-эй, Манцев, — снова долетел срываемый ветром мальчишеский звонкий голос. Из бурьяна поднялась козлиная голова, — Машка подошла к старику и, наставив ушки, тоже прислушивалась к необычным голосам, потревожившим эту пустыню... Справа, слева приближались, звали.

— Э-эй... Где вы там, Манцев? Живы?

У старика тряслась борода, тряслись губы, он разводил руками и повторял беззвучно:

— Да, да, я жив... Это я, Манцев.

Прокопченные бревна зимовища никогда еще не видели такого великолепия. В очаге, сложенном из вулканических камней, пылал огонь, в котелках кипела вода. Манцев втягивал ноздрями давно забытые запахи чая, хлеба, сала.

Входили и выходили громкогласные люди, внося и распаковывая выюки. Какой-то скуластый человек подал ему кружку с дымящимся чаем, кусок хлеба... Хлеб. Манцев задрожал, торопливо пережевывая его деснами. Какой-то мальчик, присев на корточки, сочувственно глядел, как Манцев то откусит хлеб, то прижмет его к косматой бороде, будто боится: не сон ли вся эта жизнь, ворвавшаяся в его полуразрушенное зимовище.

— Николай Христофорович, вы меня не узнаете, что ли?

— Нет, нет, я отвык от людей, — бормотал Манцев, — я очень давно не ел хлеба.

— Я же Иван Гусев... Николай Христофорович, ведь я все сделал, как вы наказывали. Помните, еще грозились мне голову оторвать.

Манцев ничего не помнил, только таращился на оза-ренные пламенем незнакомые лица. Иван стал ему рассказывать про то, как тогда шел тайгой к Петропавловску, прятался от медведей, видел рыжую кошку величиной с теленка, сильно ее испугался, но кошка и за ней еще три кошки прошли мимо; питался кедровыми орехами, разыскивая их в беличьих гнездах; в Петропавловске нанялся на пароход чистить картошку; приплыл во Владивосток и еще семь тысяч километров трясся под вагонами в угольных ящиках.

— Я свое слово сдержал, Николай Христофорович, привел за вами людей. Только вы тогда напрасно мне на спине чернильным карандашом писали. Надо было просто сказать: «Иван, даешь слово?» — «Даю». А вы мне на спине написали, может, что-нибудь против советской власти. Разве это красиво? Теперь вы на меня больше не рассчитывайте, я — пионер.

Наклонившись к нему, Манцев спросил, выворачивая губы, хриплым шепотом:

— Кто эти люди?

— Французская ученая экспедиция, говорю вам. Специально меня разыскали в Ленинграде, чтобы вести ее сюда, за вами...

Манцев больно схватил его за плечо:

— Ты видел Гарина?

— Николай Христофорович, бросьте запугивать, у меня теперь за плечами советская власть... Ваша записка на моем горбу попала в надежные руки... Гарин мне ни к чему.

— Зачем они здесь? Что они от меня хотят?.. Я им ничего не скажу. Я им ничего не покажу.

Лицо Манцева багровело, он возбужденно озирался. Рядом с ним на нары сел Артур Леви.

— Надо успокоиться, Николай Христофорович. Кушайте, отдыхайте... Времени у нас будет много, раньше ноября вас отсюда не увезем...

Манцев слез с нар, руки его тряслись...

— Я хочу с вами говорить с глазу на глаз.

Он проковылял к двери, сколоченной из нетесаных, наполовину сгнивших горбылей. Толкнул ее. Ночной ве-

тер подхватил его седые космы. Артур Леви шагнул за ним в темноту, где крутился мокрый снег.

— В моей винтовке последний заряд... Я вас убью! Вы пришли меня ограбить! — закричал Манцев, трясясь от злобы.

— Пойдемте, станем за ветром.— Артур Леви потащил его, прислонил к бревенчатой стене.— Перестаньте бесноваться. Меня прислал за вами Петр Петрович Гарин.

Манцев судорожно схватился за руку Леви. Распухшее лицо его, с вывороченными веками, тряслось, беззубый рот всхлипывал:

— Гарин жив?.. Он не забыл меня? Вместе голодали, вместе строили великие планы... Но все это чепуха, бредни... Что я здесь открыл?.. Я прощупал земную кору... Я подтвердил все мои теоретические предположения... Я не ждал таких блестящих выводов... Оливин здесь, — Манцев затопал мокрыми пимами, — ртуть и золото можно брать в неограниченном количестве... Слушайте, короткими волнами я прощупал земное ядро... Там черт знает что делается... Я перевернул мировую науку... Если бы Гарин смог достать сто тысяч долларов, — что бы мы натворили!..

— Гарин располагает миллиардами, о Гарине кричат газеты всего мира, — сказал Леви, — ему удалось построить гиперболоид, он завладел островом в Тихом океане и готовится к большим делам. Он ждет только ваших исследований земной коры. За вами пришлют дирижабль. Если не помешает погода, через месяц мы сможем поставить причальную мачту.

Манцев привалился к стене, долго молчал, уронив голову.

— Гарин, Гарин, — повторил он с душераздирающей укоризной. — Я дал ему идею гиперболоида. Я навел его на мысль об Оливиновом поясе. Про остров в Тихом океане сказал ему я. Он обокрал мой мозг, сгноил меня в проклятой тайге... Что теперь я возьму от жизни? — постель, врача, манную кашу... Гарин, Гарин... Пожиратель чужих идей!..

Манцев поднял лицо к бушующей непогоде:

— Цинга съела мои зубы, лишай источили мою кожу, я почти слеп, мой мозг оступел... Поздно, поздно вспомнил обо мне Гарин...

Гарин послал в газеты Старого и Нового Света радио о том, что им, Пьером Гарри, занят в Тихом океане, под сто тридцатым градусом западной долготы и двадцать четвертым градусом южной широты, остров площадью в пятьдесят пять квадратных километров, с прилегающими островками и мелями, что этот остров он считает своим владением и готов до последней капли крови защищать свои суверенные права.

Впечатление получилось смехотворное. Островишко в южных широтах Тихого океана был необитаем и ничем, кроме живописности, не отличался. Даже произошла путаница — кому, собственно, он принадлежит: Америке, Голландии или Испании? Но с американцами долго спорить не приходилось, — поворчали и отступились.

Остров не стоил того угля, который нужно было затратить, чтобы доплыть к нему, но принцип прежде всего, и из Сан-Франциско вышел легкий крейсер, чтобы арестовать этого Пьера Гарри и на острове поставить на вечные времена железную мачту с прорезиненным звездным флагом Соединенных Штатов.

Крейсер ушел. Про смехотворную историю с Гариным был сочинен фокстрот «Бедный Гарри», где говорилось о том, как маленький, бедный Пьер Гарри полюбил креолку, и так ее полюбил, что захотел сделать ее королевой. Он увез ее на маленький остров, и там они танцевали фокстрот, король с королевой вдвоем. И королева просила: «Бедный Гарри, я хочу завтракать, я голодна». В ответ Гарри только вздыхал и продолжал танцевать, — увы, кроме раковин и цветов, у него ничего не было. Но вот пришел корабль. Красавец капитан предложил королеве руку и повел к великолепному завтраку. Королева смеялась и кушала. А бедному Гарри оставалось только танцевать одному... И так далее. Словом, все это были шуточки.

Дней через десять пришло радио с крейсера:

«СТОЮ В ВИДУ ОСТРОВА. ВЫСАДИТЬСЯ НЕ ПРИШЛОСЬ, ТАК КАК ПОЛУЧИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧТО ОСТРОВ УКРЕПЛЕН. ПОСЛАЛ УЛЬТИМАТУМ ПЬЕРУ ГАРРИ, НАЗЫВАЮЩЕМУ СЕБЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОСТРОВА. СРОК ЗАВТРА В СЕМЬ УТРА. ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫСАЖИВАЮ ДЕСАНТ».

Это было уже забавно, — бедный Гарри грозит кулачком шестидюймовым пушкам... Но ни завтра, ни в ближайшие дни никаких известий с крейсера больше не поступало.

На последний запрос он не отвечал. Ого! Кое-кто нахмурил брови в военном министерстве.

Затем в газетах появилось сенсационное интервью с Мак Линнеем. Он утверждал, что Пьер Гарри не кто иной, как известный русский авантюрист инженер Гарин, с которым связаны слухи о целом ряде преступлений, в том числе о загадочном убийстве в Вилль Давре, близ Парижа. История с захватом острова тем более удивляет Мак Линнея, что на борту яхты, доставившей на остров Гарина, находился не кто иной, как сам Роллинг, глава и распорядитель треста «Анилиин Роллинг». На его средства были произведены огромные закупки в Америке и Европе и зафрахтованы корабли для перевозки материалов на остров. Пока все происходило в законном порядке, Мак Линней молчал, но сейчас он утверждает, что отличительная черта химического короля Роллинга — это исключительное уважение к законам. Поэтому несомненно, что наглый захват острова сделан вне воли Роллинга и доказывает только, что Роллинг содержится в плену на острове и что миллиардером пользуются в целях неслыханного шантажа.

Тут уже шуточки кончились. Поширалось святое святых. Агенты полиции собрали сведения о закупках Гарина за август месяц. Получились ошеломляющие цифры. В то же время военное министерство напрасно разыскивало крейсер, — он исчез. И, ко всему, в газетах было опубликовано описание взрыва анилиновых заводов, рассказанное свидетелем катастрофы, русским ученым Хлыновым.

Начинался скандал. Действительно, под носом у правительства какой-то авантюрист произвел колоссальные военные закупки, захватил остров, лишил свободы величайшего из граждан Америки, и, ко всему, это был безнравственный негодяй, массовый убийца, гнусный изверг.

Телеграф принес еще одно ошеломляющее известие: таинственный дирижабль, новейшего типа, пролетел над Гавайскими островами, опустился в порте Гило, взял бензин и воду, проплыл над Курильскими островами и снизился над Сахалином, в порте Александровском взял бензин и воду, после чего исчез в северо-западном направлении. На металлическом борту корабля были замечены буквы П и Г.

Тогда всем стало ясно: Гарин московский агент. Вот тебе и «бедный Гарри». Палата вотировала самые решительные меры. Флот из восьми линейных крейсеров вы-

шел к «Острову Негодяев», как его теперь называли в американских газетах.

В тот же день радиостанции всего мира приняли коротковолновую радиogramму, чудовищную по наглости и дурному стилю:

«АЛЛО! АЛЛО! ГОВОРIT СТАНЦИЯ ЗОЛОТОГО ОСТРОВА, ИМЕНУЕМОГО ПО НЕОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОСТРОВОМ НЕГОДЯЕВ. АЛЛО! ПЬЕР ГАРРИ ИСКРЕННЕ СОВЕТУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ СТРАН НЕ СОВАТЬ НОСА В ЕГО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА. ПЬЕР ГАРРИ БУДЕТ ОБОРОНЯТЬСЯ, И ВСЯКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ ИЛИ ФЛОТ, ВОШЕДШИЙ В ВОДЫ ЗОЛОТОГО ОСТРОВА, БУДЕТ ПОДВЕРГНУТ УЧАСТИ АМЕРИКАНСКОГО ЛЕГКОГО КРЕЙСЕРА, ПУЩЕННОГО КО ДНУ МЕНЕЕ ЧЕМ В ПЯТНАДЦАТЬ СЕКУНД. ПЬЕР ГАРРИ ИСКРЕННЕ СОВЕТУЕТ ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ ЗЕМНОГО ШАРА БРОСИТЬ ПОЛИТИКУ И БЕЗЗАБОТНО ТАНЦЕВАТЬ ФОКСТРОТ ЕГО ИМЕНИ».

95

Плотина в овраге около зимовища была восстановлена. Электростанция заработала. Артур Леви ежедневно принимал нетерпеливые запросы с Золотого острова: готова ли причальная мачта?

Электромагнитные волны, равнодушные к тому, что вызвало их из космического покоя, неслись в эфир, чтобы устремиться в радиоприемники и там, прохрипев в микрофоны бешеным голосом Гарина: «Если через неделю причал не будет готов, я пошлю дирижабль и прикажу расстрелять вас, слышите, Волшин?» — прохрипев это, электромагнитные волны по проводам заземления возвращались в первоначальный покой.

В зимовище у подножия вулкана шла торопливая работа: очищали от порослей большую площадь, валили мачтовые сосны, ставили сужающуюся кверху двадцатипятиметровую башню на трех ногах, глубоко зарытых в землю.

Работали все, выбиваясь из сил, но больше всех суетился и волновался Манцев. Он отъелся за это время, немного окреп, но разум его, видимо, был тронут безумием. Бывали дни, когда он будто забывал обо всем, равнодушный, обхватив руками косматую голову, сидел на нарах. Или, отвязав козла Машку, говорил Ивану:

— Хочешь, я покажу тебе то, чего еще ни один человек никогда не видел.

Держа козла Машку за веревку (козел помогал ему взбираться на скалы), Манцев и за ним Иван начинали восхождение к кратеру вулкана.

Мачтовый лес кончился, выше — между каменными

глыбами — рос корявый кустарник, еще выше — только черные камни, покрытые лишаями и кое-где снегом.

Края кратера поднимались отвесными зубцами, будто полуразрушенные стены гигантского цирка. Но Манцев знал здесь каждую щель и, кряхтя, часто присаживаясь, пробирался зигзагами с уступа на уступ. Все же только раз — в тихий солнечный день — им удалось взобраться на самый край кратера. Причудливые зубцы его окружали рыже-медное озеро застывшей лавы. Низкое солнце бросало от зубцов резкие тени на металлические лепешки лавы. Ближе к западной стороне на поверхности лавы возвышался конус, вершина его курилась беловатым дымом.

— Там, — сказал Манцев, указывая скрюченными пальцами на курящийся конус, — там свищ или, если хочешь, бездна в недра земли, куда не заглядывал человек... Я бросал туда пироксилиновые шашки, — когда на дне вспыхивал разрыв, включал секундомер и высчитывал глубину по скорости прохождения звука. Я исследовал выходящие газы, набирал их в стеклянную реторту, пропускал через нее свет электрической лампы и прошедшие через газ лучи разлагал на призме спектроскопа... В спектре вулканического газа я обнаружил линии сурьмы, ртути, золота и еще многих тяжелых металлов... Тебе понятно, Иван?

— Понятно, валяйте дальше...

— Думаю, что ты все-таки понимаешь больше, чем козел Машка... Однажды, во время особенно бурной деятельности вулкана, когда он плевал и харкал из чудовищно глубоких недр, мне удалось с опасностью для жизни набрать немного газа в реторту... Когда я спустился вниз, к становищу, вулкан начал швырять под облака пепел и камни величиной с бочку. Земля тряслась, будто спина проснувшегося чудовища. Не обращая внимания на эти мелочи, я кинулся в лабораторию и поставил газ под спектроскоп... Иван и ты, Машка, слушайте...

Глаза у Манцева блестели, беззубый рот кривился:

— Я обнаружил следы тяжелого металла, которого нет в таблице Менделеева. Через несколько часов в колбе началось его распадение, — колба начала светиться желтым светом, потом голубым и, наконец, пронзительно красным... Из предосторожности я отошел, — раздался взрыв, колба и половина моей лаборатории разлетелись к черту... Я назвал этот таинственный металл буквой *М*, так как мое имя начинается на *М* и имя этого козла тоже начинается на *М*. Честь открытия принадлежит нам обоим — козлу и мне... Ты понимаешь что-нибудь?

— Валяйте дальше, Николай Христофорович...

— Металл *М* находится в самых глубоких слоях Оливинового пояса. Он распадается и освобождает чудовищные запасы тепла... Я утверждаю дальше: ядро земли состоит из металла *М*. Но, так как средняя плотность ядра земли всего восемь единиц, приблизительно — плотность железа, а металл *М* вдвое тяжелее его, то, стало быть, в самом центре земли — пустота.

Манцев поднял палец и, поглядев на Ивана и на козла, дико рассмеялся.

— Идем заглянем...

Они, втроем, спустились со скалистого гребня на металлическое озеро и, скользя по металлическим лепешкам, пошли к дымящемуся конусу. Сквозь трещины вырывался горячий воздух. Кое-где чернели под ногами дыры без дна.

— Машку надо оставить внизу, — сказал Манцев, щелкнув козла в нос, и полез вместе с Иваном на конус, цепляясь за осыпающийся горячий щебень.

— Ложись на живот и гляди.

Они легли на краю конуса, с той стороны, откуда относилось клубы дыма, и опустили головы. Внутри конуса было углубление и посреди него — овальная дыра метров семи диаметром. Оттуда доносились тяжелые вздохи, отдаленный грохот, будто где-то, черт знает на какой глубине, перекачивались камни.

Присмотревшись, Иван различил красноватый свет, он шел из непостижимой глубины. Свет, то помрачаясь, то вспыхивая вновь, разгорался все ярче, — становился малиновым, пронзительным... Тяжелее вздыхала земля, грознее принимались грохотать камни.

— Начинается прилив, надо уходить, — проговорил Манцев. — Этот свет идет из глубины семи тысяч метров. Там распадается металл *М*, там кипят и испаряются золото и ртуть...

Он схватил Ивана за кушак, потащил вниз. Конус дрожал, осыпался, плотные клубы дыма вырывались теперь, как пар из лопнувшего котла, ослепительно алый свет бил из бездны, окрашивая низкие облака...

Манцев схватил веревку от Машкиного ошейника.

— Бегом, бегом, ребята!.. Сейчас полетят камни...

Раздался тяжелый грохот, отдавшийся по всему скалистому амфитеатру, — вулкан выстрелил каменной глыбой... Манцев и Иван бежали, прикрыв головы руками, впереди скакал козел, волоча веревку...

Причальная мачта была готова. С Золотого острова сообщили, что дирижабль вылетел, несмотря на угрожающие показания барометра.

Все эти последние дни Артур вызывал Манцева на откровенный разговор об его замечательных открытиях. Усевшись на нары, подальше от рабочих, он вытащил фляжку со спиртом и подливал Манцеву в чай.

Рабочие лежали на полу на подстилках из хвои. Иногда кто-нибудь из них вставал и подбрасывал в очаг кедровое корневище. Огонь озарял прокопченные стены, усталые, обросшие бородами лица. Ветер бушевал над крышей.

Артур Леви старался говорить тихо, ласково, успокаивающе. Но Манцев, казалось, совсем сошел с ума...

— Слушайте, Артур Артурович, или как вас там... Бросьте хитрить. Мои бумаги, мои формулы, мои проекты глубокого бурения, мои дневники запаяны в жестяную коробку и спрятаны надежно... Я улечу, они останутся здесь, — их не получит никто, даже Гарин. Не отдам даже под пыткой...

— Успокойтесь, Николай Христофорович, вы же имеете дело с порядочными людьми.

— Я не настолько глуп. Гарину нужны мои формулы... А мне нужна моя жизнь... Я хочу каждый день мыться в душистой ванне, курить дорогой табак, пить хорошее вино... Я вставляю зубы и буду жевать трюфели... Я тоже хочу славы! Я ее заслужил!.. Черт вас всех возьми вместе с Гариным.

— Николай Христофорович, на Золотом острове вы будете обставлены по-царски...

— Бросьте. Я знаю Гарина... Он меня ненавидит, потому что весь Гарин выдуман мной... Без меня из него получился бы просто мелкий жулик... Вы повезете на дирижабле мой живой мозг, а не тетрадки с моими формулами.

Иван Гусев, наставив ухо, слушал обрывки этих разговоров. В ночь, когда была готова причальная мачта, он подполз по нарам к Манцеву, лежавшему с открытыми глазами, и зашептал в самое его ухо:

— Николай Христофорович, плюнь на них. Поедем лучше в Ленинград... Мы с Тарашкиным за вами, как за малым ребенком, будем ходить... Зубы вставим... Найдем хорошую жилплощадь, — чего вам связываться с буржуями...

— Нет, Ванька, я погибший человек, у меня слишком необузданные желания, — отвечал Манцев, глядя на потолок, откуда между бревен свешивались клочья закопченного мха. — Семь лет под этой проклятой крышей бушевала моя фантазия... Я не хочу ждать больше ни одного дня...

Иван Гусев давно понял, какова была эта «французская экспедиция», — он внимательно слушал, наблюдал и делал свои выводы.

За Манцевым он теперь ходил, как привязанный, и эту последнюю ночь не спал: когда начинали слипаться глаза, он совал в нос птичье перо или щипал себя где больнее.

На рассвете Артур Леви, сердито надев полушубок, обмотав горло шарфом, пошел на радиостанцию — она помещалась рядом в землянке. Иван не спускал глаз с Манцева. Едва Артур Леви вышел, Манцев оглянулся, — все ли спят, — осторожно слез с нар, пробрался в темный угол зимовища, поднял голову. Но, должно быть, глаза его плохо видели, — он вернулся, подбросил в очаг смолья. Когда огонь разгорелся, опять пошел в угол.

Иван догадался, на что он смотрит, — в углу, там, где скрещивались балки сруба, в потолке чернела щель между балками наката, — мох был содран. Это и беспокоило Манцева... Поднявшись на цыпочки, он сорвал с низкого потолка космы черного мха и, кряхтя, заткнул ими щель.

Иван бросил перышко, которым щекотал нос, повернулся на бок, прикрылся с головой одеялом и сейчас же заснул.

Снежная буря не утихала. Вторые сутки огромный дирижабль висел над поляной, пришвартованный носом к причальной мачте. Мачта гнулась и трещала. Сигарообразное тело раскачивалось, и снизу казалось, что в воздухе повисло днище железной баржи. Экипаж едва успевал очищать от снега его борта.

Капитан, перегнувшись с гондолы, кричал стоявшему внизу Артуру Леви:

— Алло! Артур Артурович, какого черта! Нужно сниматься... Люди выбились из сил.

Леви ответил сквозь зубы:

— Я еще раз говорил с островом. Мальчишку приказано привезти во что бы то ни стало.

— Мачта не выдержит...

Леви только пожал плечами. Дело было, конечно, не в мальчишке. Иван пропал этой ночью. О нем никто и не спохватился. Пришвартовывали дирижабль, появившийся на рассвете и долго кружившийся над поляной в снежных облаках. Выгружали продовольствие. (Рабочие экспедиции Артура Леви заявили, что, если не получают вдоволь продовольствия и наградных, распорют дирижабль брюхо пироксилиновой шашкой.) Узнав, что мальчишка пропал, Артур Леви махнул рукой:

— Неважно.

Но дело обернулось гораздо серьезнее.

Манцев первый влез в гондолу воздушного корабля. Через минуту, чем-то обеспокоенный, спустился на землю по алюминиевой лесенке и заковылял к зимовищу. Сейчас же оттуда донесся его отчаянный вопль. Манцев, как бешеный, выскочил из облаков снега, размахивая руками:

— Где моя жестяная коробка? Кто взял мои бумаги?.. Ты, ты украл, подлец!

Он схватил Леви за воротник, затряс с такой силой, — у того слетела шапка...

Было ясно: бесценные формулы, то, за чем прилетел сюда дирижабль, унесены проклятым мальчишкой. Манцев обезумел.

— Мои бумаги! Мои формулы! Человеческий мозг не в силах снова создать это!.. Что я передам Гарину? Я все забыл!..

Леви немедленно снарядил погоню за мальчишкой. Люди заворчали. Все же несколько человек согласились. Манцев повел их в сторону Шайтан-камня. Леви остался у гондолы, грызя ногти. Прошло много времени. Двое из ушедших в погоню вернулись.

— Там такое крутит — шагу не ступить...

— Куда вы дели Манцева? — закричал Леви.

— Кто его знает... Отбился...

— Найдите Манцева. Найдите мальчишку... За того и другого по десяти тысяч золотом.

Тучи мрачнели. Надвигалась ночь. Ветер усиливался. Капитан опять начал грозиться — перерезать причал и улететь к черту.

Наконец со стороны Шайтан-камня показался высокий человек в забитой снегом дохе. Он нес на руках Ивана Гусева. Леви кинулся к нему, сорвав перчатку, залез мальчишке под шубенку. Иван будто спал, застывшие руки его плотно прижимали к груди небольшую жестяную коробку с драгоценными формулами Манцева.

— Живой, живой, только застыл маленько, — проговорил высокий человек, раздвигая широкой улыбкой набитую снегом бороду. — Отойдет. Наверх его, что ли? — И, не дожидаясь ответа, понес Ивана в гондолу.

— Ну, что? — крикнул сверху капитан. — Летим?

Артур Леви нерешительно взглянул на него.

— Вы готовы к отлету?

— Есть, — ответил капитан.

Леви еще раз обернулся в сторону Шайтан-камня, где сплошной завесой из помрачневших облаков летел, крутился снег. В конце концов главное — формулы были бы на борту.

— Летим! — сказал он, вскакивая на алюминиевую лесенку. — Ребята, отдавай концы...

Он отворил горбатую дверцу и влез в гондолу. Наверху причальной мачты начали перерезать пеньковый трос, удерживающий корабль. Застучали, стреляя, моторы. Закрутились винты.

В это время, гонимый метелью, из снежных вихрей выскочил Манцев. Ветер дыбом вздымал его волосы. Протянутые руки хватали улетающие очертания корабля...

— Стойте!.. Стойте!.. — хрипло вскрикивал он. Когда алюминиевая лесенка гондолы поднялась уже за метр над землей, он схватился за нижнюю ступеньку. Несколько человек поймали его за доху, чтобы отодрать. Он отпихнул их ногами. Металлическое днище корабля раскачивалось. Стреляли моторы. Сердито ревели винты. Корабль шел вверх — в крутящиеся снежные облака.

Манцев вцепился, как клещ, в нижнюю ступеньку. Его быстро поднимало... Снизу было видно, как растопыренные ноги его, развевающиеся полы дохи понеслись в небо.

Далеко ли он улетел, на какой высоте сорвался и упал, — этого уже не видели стоявшие внизу люди.

Перегнувшись через окно алюминиевой гондолы, мадам Ламоль глядела в бинокль. Дирижабль еле двигался, описывая круг в лучезарном небе. Под ним, на глубине тысячи метров, расстилался на необъятную ширину прозрачный сине-зеленый океан. В центре его лежал остров неправильной формы. Сверху он походил на очертания Африки в крошечном масштабе. С юга, востока и северо-востока, как брызги около него, темнели

окаймленные пеной каменистые островки и мели. С запада океан был чист.

Здесь в глубоком заливе, недалеко от прибрежной полосы песка, лежали грузовые корабли. Зоя насчитала их двадцать четыре, — они походили на жуков, спящих на воде.

Остров был прорезан ниточками дорог, — они сходились у северо-восточной скалистой части его, где сверкали стеклянные крыши. Это достраивался дворец, опускавшийся тремя террасами к волнам маленькой песчаной бухты.

С южной стороны острова виднелись сооружения, похожие сверху на путаницу детского меккано: фермы, крепления, решетчатые краны, рельсы, бегающие вагонетки. Крутились десятки ветряных двигателей. Попыхивали трубы электростанций и водокачек.



В центре этих сооружений черпело круглое отверстие шахты. От нее к берегу двигались широкие железные транспортеры, относящие вынутую породу, и дальше в море уходили червяками красные понтоны землечерпалок. Облачко пара, не переставая, курилось над отверстием шахты.

День и ночь — в шесть смен — шли работы в шахте: Гарин пробивал гранитную броню земной коры. Дерзость этого человека граничила с безумием. Мадам Ламоль глядела на облачко над шахтой, бинокль дрожал в ее руке, золотистой от загара.

По низкому берегу залива тянулись правильными рядами крыши складов и жилых строений. Муравьиные фигурки людей двигались по дорогам. Катились автомобили и мотоциклы. В центре острова синело озеро, из него к югу вытекала извилистая речка. По ее берегам лежали полосы полей и огородов. Весь восточный склон зеленел

изумрудным покровом, — здесь, за изгородями, паслись стада. На северо-востоке перед дворцом, среди скал, пестрели причудливые фигуры цветников и древесных насаждений.

Еще полгода тому назад здесь была пустыня — колючая трава да камни, серые от морской соли, да чахлый кустарник. Корабли выбросили на остров тысячи тонн химических удобрений, были вырыты артезианские колодцы, привезены растения, целые деревья.

С высоты гондолы Зоя глядела на заброшенный в океане клочок земли, пышный и сверкающий, омываемый снежной пеной прибоя, любовалась им, как женщина, держащая в руке драгоценность.

98

Было семь чудес на свете. Народная память донесла до нас только три: храм Дианы Эфесской¹, сады Семирамиды² и медного колосса³ в Родосе. Об остальных воспоминание погружено на дно Атлантического океана.

Восьмым чудом, как это ежедневно повторяла мадам Ламоль, нужно было считать шахту на Золотом острове. За ужином в только что отделанном зале дворца, с огромными окнами, раскрытыми дуновению океана, мадам Ламоль поднимала бокал:

— За чудо, за гений, за дерзость!

Все избранное общество острова вставало и приветствовало мадам Ламоль и Гарина. Все были охвачены лихорадкой работы и фантастическими замыслами. Пусть там, на материках, вопят о нарушении прав. Плевать. Здесь день и ночь гудит подземным гулом шахта, гремят черпаки элеваторов, забираясь все глубже, глубже к неисчерпаемым запасам золота. Сибирские россыпи, овраги Калифорнии, снежные пустыни Клондайка — чушь, кустарный промысел. Золото здесь под ногами, в любом месте, только прорвись сквозь граниты и кипящий оливин.

В дневниках несчастного Манцева Гарин нашел такую запись:

¹ Знаменитый храм Дианы, древнегреческой богини охоты и луны в городе Эфесе, сожженный в 356 году до нашего летосчисления.

² С е м и р а м и д а — легендарная царица, будто бы основавшая Вавилон.

³ К о л о с с Р о д о с с к и й — исполинская статуя Гелиоса, древнегреческого бога солнца, стоявшая у входа в гавань острова Родоса.

«В настоящее время, то есть когда закончился четвертый ледниковый период и с чрезвычайной быстротой начала развиваться одна из пород животных, лишенных волосяного покрова, способных передвигаться на задних конечностях и снабженных удачным устройством ротовой полости для произношения разнообразных звуков, — земной шар представляет следующую картину.

Верхний его покров состоит из застывших гранитов и диоритов, толщиной от пяти до двадцати пяти километров. Эта корка снаружи покрыта морскими отложениями и слоями погибшей растительности (уголь) и погибших животных (нефть). Кора лежит на второй оболочке земного шара, — из расплавленных металлов, — на Оливиновом поясе.

Расплавленный Оливиновый пояс местами, как, например, в некоторых районах Тихого океана, подходит близко к поверхности земли, до глубины пяти километров.

Толщина этой второй расплавленной оболочки достигает в настоящее время свыше ста километров и увеличивается на километр в каждые сто тысяч лет.

В расплавленном Оливиновом поясе нужно различать три слоя: ближайший к земной коре — это шлаки, лава, выбрасываемая вулканами; средний слой — оливин, железо, никель, то есть то, из чего состоят метеориты, падающие в виде звезд на землю в осенние ночи, и, наконец, третий — нижний слой — золото, платина, цирконий, свинец, ртуть.

Эти три слоя Оливинового пояса покоятся, как на подушке, на слое сгущенного, до жидкого состояния, газа гелия, получающегося как продукт атомного распада.

И, наконец, под оболочкой жидкого газа находится земное ядро. Оно твердое, металлическое, температура его около двухсот семидесяти трех градусов ниже нуля, то есть температуры мирового пространства.

Земное ядро состоит из тяжелых радиоактивных металлов. Нам известны два из них, находящиеся в конце таблицы Менделеева, — это уран и торий.

Но они сами являются продуктом распада основного, неизвестного до сих пор в природе сверхтяжелого металла. Я обнаружил его следы в вулканических газах. Это металл М. Он в одиннадцать раз тяжелее платины.

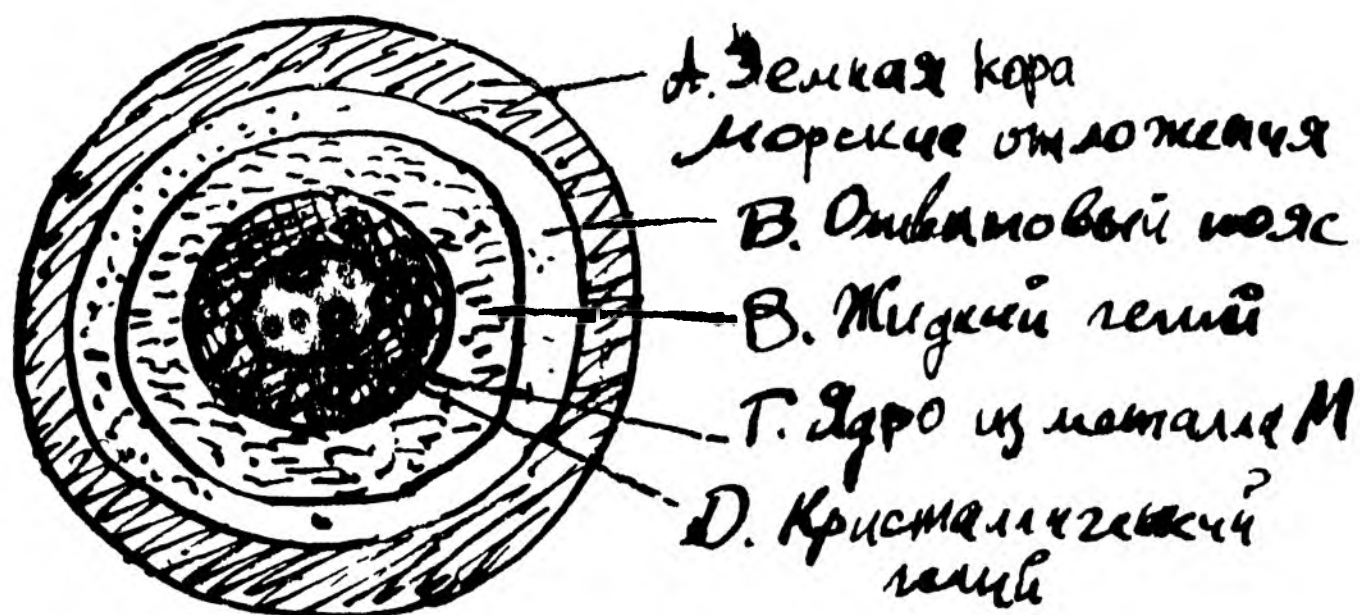
Он обладает чудовищной силой радиоактивностью. Если

один килограмм этого металла извлечь на поверхность земли, — все живое на несколько километров в окружности будет убито, все предметы, покрытые его эманацией¹, будут светиться.

Так как удельный вес земного ядра составляет всего восемь единиц (удельный вес железа), что всегда наводило на ошибочную мысль, будто ядро железное, и так как нельзя предположить, что металл М находится в ядре земли под давлением в миллион атмосфер, в пористом состоянии, то нужно сделать единственный вывод:

Ядро земли представляет пустотелый шар, или бомбу из металла М, наполненную гелием, находящимся вследствие чудовищного давления в кристаллическом состоянии.

В разрезе земной шар таков:



Металл М, составляющий ядро земли, непрерывно распадаясь и превращаясь в другие легкие металлы, освобождает чудовищное количество тепла. Ядро земли прогревается. Через несколько миллиардов лет земля должна прогреться насквозь, взорваться, как бомба, вспыхнуть, превратиться в газовый шар, диаметром с орбиту, которую описывает луна вокруг земли, засиять, как маленькая звезда, и затем начать охлаждаться и снова сжиматься до размеров земного шара. Тогда снова возникнет на земле жизнь, через миллиарды лет появится человек, начнется стремительное развитие человечества, борьба за высшее социальное устройство мира. Земля снова будет, не переставая, прогреваться

¹ Излучением.

атомным распадом, чтобы снова вспыхнуть маленькой звездой.

Это круговорот земной жизни. Их было бесчисленно много и бесчисленно много будет впереди. Смерти нет. Есть вечное обновление...»

Вот что прочел Гарин в дневнике Манцева.

99

Верхние края шахты были одеты стальной броней. Массивные цилиндры из тугоплавкой стали опускались в нее по мере ее углубления. Они доходили до того места, где температура в шахте поднималась до трехсот градусов. Это случилось неожиданно, скачком, на глубине пяти километров от поверхности. Смена рабочих и два гиперболоида погибли на дне шахты.

Гарин был недоволен. Опускание и клепка цилиндров тормозили работу. Теперь, когда стены шахты были раскалены, их охлаждали сжатым воздухом, и они, застывая, сами образовывали мощную броню. Их распирали по диагоналям решетчатыми фермами.

Диаметр шахты был невелик — двадцать метров. Внутренность ее представляла сложную систему воздухопроводных и отводных труб, креплений, сети проводов, дюралюминиевых колодцев, внутри которых двигались черпаки элеваторов, шкивов, площадок для элеваторной передачи и площадок, где стояли машины жидкого воздуха и гиперболоиды.

Все приводилось в движение электричеством: подъемные лифты, элеваторы, машины. С боков шахты пробивались пещеры для склада машин и отдыха рабочих. Чтобы разгрузить главную шахту, Гарин повел параллельно ей вторую в шесть метров диаметром, — она соединяла пещеры электрическими лифтами, двигающимися со скоростью пневматического ядра.

Важнейшая часть работ — бурение — происходила согласованным действием лучей гиперболоидов, охлаждения жидким воздухом и отчерпывания породы элеваторами. Двенадцать гиперболоидов особого устройства, берущих энергию от вольтовых дуг с углями из шамонита, понижывали и расплавляли породу, струи жидкого воздуха мгновенно охлаждали ее, и она, распадаясь на мельчайшие частицы, попадала в черпаки элеваторов. Продукты горения и пары уносились вентиляторами.

Дворец в северо-восточной части Золотого острова был построен по фантастическим планам мадам Ламоль.

Это было огромное сооружение из стекла, стали, темно-красного камня и мрамора. В нем помещалось пятьсот зал и комнат. Главный фасад с двумя широкими мраморными лестницами вырастал из моря. Волны разбивались о ступени и цоколи по сторонам лестниц, где вместо обычных статуй или ваз стояли четыре бронзовые решетчатые башенки, поддерживающие золоченые шары, — в них находились заряженные гиперболоиды, угрожающие подступам с океана.

Лестницы поднимались до открытой террасы, — с нее два глубоких входа, укрепленных квадратными колоннами, вели внутрь дома. Весь каменный фасад, слегка наклоненный, как на египетских постройках, скупо украшенный, с высокими, узкими окнами и плоской крышей, казался суровым и мрачным. Зато фасады, выходившие во внутренний двор, в цветники ползучих роз, вербены, орхидей, цветущей сирени, миндаля и лилиевых деревьев, были построены пышно, даже кокетливо.

Двое бронзовых ворот вели внутрь острова. Это был дом-крепость. Сбоку его на скале возвышалась на сто пятьдесят метров решетчатая башня, соединенная подземным ходом со спальней Гарина. На верхней площадке ее стояли мощные гиперболоиды. Бронированный лифт взлетал к ним от земли в несколько секунд. Всем, даже мадам Ламоль, было запрещено под страхом смерти подходить к основанию башни. Это был первый закон Золотого острова.

В левом крыле дома помещались комнаты мадам Ламоль, в правом — Гарина и Роллинга. Больше здесь никто не жил. Дом предназначался для того времени, когда величайшим счастьем для смертного будет получить приглашение на Золотой остров и увидеть ослепительное лицо владительницы мира.

Мадам Ламоль готовилась к этой роли. Дела у нее было по горло. Создавался этикет утреннего вставания, выходов, малых и больших приемов, обедов, ужинов, маскарадов и развлечений. Широко развернулся ее актерский

темперамент. Она любила повторять, что рождена для мировой сцены. Хранителям этикета был намечен знаменитый балетный постановщик — русский эмигрант. С ним заключили контракт в Европе, пожаловали золотой, с бриллиантами на белой ленте, орден «Божественной Зои» и возвели в древнерусское звание постельничего (chevalier de lit).

Кроме этих внутренних — дворцовых — законов, ею создавались, совместно с Гариным, «Заповеди Золотого века» — законы будущего человечества. Но это были скорее общие проекты и основные идеи, подлежащие впоследствии обработке юристов. Гарин был бешено занят, — ей приходилось выкраивать время. День и ночь в ее кабинете дежурили две стенографистки.

Гарин приходил прямо из шахты, измученный, грязный, пропахший землей и машинным маслом. Он торопливо ел, валился с ногами на атласный диван и закутывался дымом трубки (он был объявлен выше этикета, его привычки — священные и вне подражания). Зоя ходила по ковру, перебирая в худых пальцах огромные жемчужины ожерелья, и вызывала Гарина на беседу. Ему нужно было несколько минут мертвого покоя, чтобы мозг снова мог начать лихорадочную работу. В своих планах он не был ни зол, ни добр, ни жесток, ни милосерд. Его забавляло только остроумие в разрешении вопроса. Эта «прохладность» возмущала Зою. Большие ее глаза темнели, по нервной спине пробегала дрожь, низким, ненавидящим голосом она говорила (по-русски, чтобы не поняли стенографистки):

— Вы фат. Вы страшный человек, Гарин. Я понимаю, как можно хотеть содрать с вас с живого кожу, — посмотреть, как вы в первый раз в жизни станете мучиться. Неужели вы никого не ненавидите, никого не любите?

— Кроме вас, — скаля зубы, отвечал Гарин, — но ваша головка набита сумасшедшим вздором... А у меня считаны секунды. Я подожду, когда ваше честолюбие насытится до отвала. Но вы все же правы в одном, любовь моя: я слишком академичен. Идеи, не насыщенные влагой жизни, рассеиваются в пространстве. Влага жизни — это страсть. У вас ее переизбыток.

Он покосился на Зою, — она стояла перед ним, бледная, неподвижная.

— Страсть и кровь. Старый рецепт. Только зачем же именно с меня драть кожу? Можно с кого-нибудь другого. А вам, видимо, очень нужно для здоровья омочить платочек в этой жидкости.

— Я многого не могу простить людям.

— Например, коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами?

— Да. Зачем вы вспоминаете об этом?

— Не можете простить самой себе... За пятьсот франков небось вызывали вас по телефону. Было. Чулочки шелковые штопали поспешно, откусывали нитки вот этими божественными зубками, когда торопились в ресторан. А бессонные ночи, когда в сумочке — два су, и ужас, что будет завтра, и ужас — пасть еще ниже... А собачий нос Роллинга — чего-нибудь да стоит.

С длинной усмешкой глядя ему в глаза, Зоя сказала:

— Этого разговора я тоже не забуду до смерти...

— Боже мой, только что вы меня упрекали в академичности...

— Будет моя власть, повешу вас на башне гиперболоида...

Гарин быстро поднялся, схватил Зою за локти, силой привлек к себе на колени и целовал ее закинутое лицо, стиснутые губы. Обе стенографистки, светловолосые, завитые, равнодушные, как куклы, отвернулись.

— Глупая, смешная женщина, пойми, — такой только тебя люблю... Единственное существо на земле... Если бы ты двадцать раз не умирала во вшивых вагонах, если бы тебя не покупали как девку, — разве бы ты постигла всю остроту дерзости человеческой... Разве бы ты ходила по коврам такой повелительницей... Разве бы я положил к твоим ногам самого себя...

Зоя молча освободилась, движением плеч поправила платье, отошла на середину комнаты и оттуда все еще дико глядела на Гарина. Он сказал:

— Итак, на чем же мы остановились?

Стенографистки записывали мысли. За ночь отпечатавали их и подавали поутру в постель мадам Ламоль.

Для экспертизы по некоторым вопросам приглашали Роллинга. Он жил в великолепных, не совсем еще законченных апартаментах. Выходил из них только к столу. Его воля и гордость были сломлены. Он сильно сдал за

эти полгода. Гарина он боялся. С Зоей избегал оставаться с глазу на глаз. Никто не знал (и не интересовался), что он делает целыми днями. Книг он отроду не читал. Записок, кажется, не вел. Говорили, что будто бы он пристрастился коллекционировать курительные трубки. Однажды вечером Зоя видела из окна, как на предпоследней ступени мраморной лестницы у воды сидел Роллинг и, пригорюнясь, глядел на океан, откуда сто миллионов лет тому назад вышел его предок в виде человекообразной ящерицы. Это было все, что осталось от великого химического короля.

Ни потеря трехсот миллионов долларов, ни плен на Золотом острове, ни даже измена Зои не сломили бы его. Двадцать пять лет тому назад он торговал ваксой на улице. Он умел, он любил бороться. Сколько приложено было усилий, таланта и воли, чтобы заставить людей платить ему, Роллингу, золотые кружочки. Европейская война, разорение Европы — вот какие силы были подняты для того, чтобы золото потекло в кассы «Анили́н Роллин́г».

И вдруг это золото, эквивалент силы и счастья, будут черпать из шахты, как глину, как грязь, элеваторными черпаками в *любом количестве*. Вот тут-то подошвы Роллинга повисли в пустоте, он перестал ощущать себя царем природы — «гомо сапиенсом». Оставалось только — коллекционировать трубки.

Но он все еще, по настоянию Гарина, ежедневно диктовал по радио свою волю директорам «Анили́н Роллин́г». Ответы их были неопределенны. Становилось ясным, что директора не верят в добровольное уединение Роллинга на Золотом острове. Его спрашивали:

«Что предпринять для вашего возвращения на континент?»

Роллинг отвечал:

«Курс нервного лечения проходит благоприятно».

По его приказу были получены еще пять миллионов фунтов стерлингов. Когда же через две недели он вновь приказал выдать такую же сумму, агенты Гарина, предъявившие чек Роллинга, были арестованы. Это было первым сигналом атаки континента на Золотой остров. Флот из восьми линейных судов, крейсировавший в Тихом океане, близ двадцать второго градуса южной широты и сто тридцатого градуса западной долготы, ожидал только боевого приказа атаковать остров Негодяев.

Шесть тысяч рабочих и служащих Золотого острова были набраны со всех концов света. Первый помощник Гарина, инженер Чермак, носивший звание губернатора, разместил рабочую силу по национальностям на пятнадцати участках, отгороженных друг от друга колючей проволокой.

На каждом участке были построены бараки и молельни по возможности в национальном вкусе. Консервы, бисквиты, мармелад, бочонки с капустой, рисом, маринованными медузами, сельдями, сосисками, и прочее и прочее заказывались (американским заводам) также с национальными этикетками.

Два раза в месяц выдавалась прозодежда, выдержанная в национальном духе, и раз в полгода — праздничные национальные костюмы: славянам — поддевки и свитки, китайцам — сырцовые кофты, немцам — сюртуки и цилиндры, итальянцам — шелковое белье и лакированные ботинки, неграм — набедренники, украшенные крокодильими зубами и бусами, и т. д.

Чтобы оправдать в глазах населения эти колючие границы, инженер Чермак организовал штат провокаторов. Их было пятнадцать человек. Они раздували национальную вражду: в будни умеренно, по праздникам вплоть до кулачной потасовки.

Полиция острова из бывших врангелевских офицеров, носивших мундир ордена Зои — белого сукна короткую куртку с золотым шитьем и канареечные штаны в обтяжку, — поддерживала порядок, не допуская национальности до взаимного истребления.

Рабочие получали огромное в сравнении с континентом жалованье. Иные посылали его на родину с ближайшим пароходом, иные сдавали на хранение. Расходовать было негде, так как только по праздникам в уединенном ущелье на юго-восточном берегу острова бывали открыты кабаки и Луна-парк. Там же функционировали пятнадцать домов терпимости, выдержанные также в национальном вкусе.

Рабочим было известно, для какой цели пробивается в глубь земли гигантская шахта. Гарин объявил всем, что при расчете он разрешит каждому взять с собой столько золота, сколько можно унести на спине. И не было человека на острове, кто бы без волнения не смотрел на стальные ленты, уносящие породу из земных недр, в океан, кого бы не опьянял желтоватый дымок над жерлом шахты.

.

— Господа, наступил наиболее тревожный момент в нашей работе. Я ждал его и приготовился, но это, разумеется, не уменьшает опасности. Мы блокированы. Только что получено радио: два наших корабля, груженные фигурным железом для крепления шахты, консервами и мороженой бараниной, захвачены американским крейсером и объявлены призом. Это значит — война началась. С часу на час нужно ждать ее официального объявления. Одна из ближайших моих целей — война. Но она начинается раньше, чем мне нужно. На континенте слишком нервничают. Я предвижу их план: они боятся нас, они будут стараться уморить нас голодом. Справка: продовольствия на острове хватит на две недели, не считая живого скота. В эти четырнадцать дней мы должны будем прорвать блокаду и подвезти консервы. Задача трудная, но выполнимая. Кроме того, мои агенты, предъявившие чеки Роллинга, арестованы. Денег у нас в кассе нет. Триста пятьдесят миллионов долларов израсходованы до последнего цента. Через неделю мы должны платить жалованье, и, если расплатимся чеками, рабочие взбунтуются и остановят гиперболоид. Стало быть, в продолжение семи дней мы обязаны достать деньги.

Заседание происходило в сумерки в еще не оконченном кабинете Гарина. Присутствовали Чермак, инженер Шефер, Зоя, Шельга и Роллинг. Гарин, как всегда в минуты опасности и умственного напряжения, разговаривал, с усмешечкой покачиваясь на каблуках, засунув руки в карманы. Зоя председательствовала, держа в руке молоточек. Чермак, маленький, нервный, с воспаленными глазами, покашляв, сказал:

— Второй закон Золотого острова гласит: никто не должен пытаться проникнуть в тайну конструкции гиперболоида. Всякий, прикоснувшийся хотя бы к верхнему кожуху гиперболоида, подлежит смертной казни.

— Так, — подтвердил Гарин, — таков закон.

— Для успешного завершения указанных вами предприятий понадобится по крайней мере одновременная работа трех гиперболоидов: один для добычи денег, другой для прорыва блокады, третий для обороны острова. Вам придется сделать исключение из закона для двух помощников.

Наступило молчание. Мужчины следили за дымом сигар. Роллинг сосредоточенно нюхал трубку. Зоя повернула голову к Гарину. Он сказал:

— Хорошо. (Легкомысленный жест.) Опубликуйте. Исключение из второго закона делается для двух людей на острове: для мадам Ламоль и...

Он весело перегнулся через стол и хлопнул Шельгу по плечу:

— Ему, Шельге, второму человеку доверяю тайну аппарата...

— Ошиблись, товарищ,— ответил Шельга, снимая с плеча руку,— отказываюсь.

— Основание?

— Не обязан объяснять. Подумайте,— сами догадаетесь.

— Я поручаю вам уничтожить американский флот.

— Дело милое, что и говорить. Не могу.

— Почему, черт возьми?

— Как почему... Потому что путь скользкий...

— Смотрите, Шельга...

— Смотрю...

У Гарина торчком встала борода, блеснули зубы. Он сдержался. Спросил тихо:

— Вы что-нибудь задумали?

— Моя линия, Петр Петрович, открытая. Я ничего не скрываю.

Короткий этот разговор был веден по-русски. Никто, кроме Зои, его не понял. Шельга снова принялся чертить завитушки на бумаге. Гарин сказал:

— Итак, помощником при гиперболоидах назначаю одного человека — мадам Ламоль. Если вы согласны, сударыня,— «Аризона» стоит под парами,— утром вы выходите в океан...

— Что я должна делать в океане? — спросила Зоя.

— Грабить все суда, которые попадутся на линиях Транспасифик. Через неделю мы должны заплатить рабочим.

В двадцать третьем часу с Флагманского линейного корабля эскадры североамериканского флота было замечено постороннее тело над созвездием Южного Креста.

Голубоватые, как хвосты кометы, лучи прожекторов, омахивающие звездный небосвод, заметались и уперлись в постороннее тело. Оно засветилось. Сотни подзорных труб рассмотрели металлическую гондолу, прозрачные круги винтов и на борту дирижабля буквы П. и Г.

Защелкали огненные сигналы на судах. С флагманского корабля снялись четыре гидроплана и, рыча, стали круто забирать к звездам. Эскадра, увеличивая скорость, шла в кильватерном строе.

Гул самолетов становился все прозрачнее, все слабее. И вдруг воздушный корабль, к которому взвивались они, исчез из поля зрения. Много подзорных труб было протерто носовыми платками. Корабль пропал в ночном небе, сколько ни щупали прожекторы.

Но вот слабо донеслось туканье пулемета: нащупали. Туканье оборвалось. В небе, перевертываясь, понеслась отвесно вниз блестящая мушка. Смотревшие в трубы ахнули, — это падал гидроплан и где-то рухнул в черные волны. Что случилось?

И снова, — так-так-так-так, — застучали в небе пулеметы, и так же оборвался их стук, и, один за другим, все три самолета пролетели сквозь лучи прожекторов, кубарем, штопорами бухнулись в океан. Заплясали огненные сигналы с флагманского судна. Замигали до самого горизонта огни: что случилось?

Потом все увидели совсем близко бегущее против ветра — поперек кильватерной линии — черное рваное облако. Это снижался воздушный корабль, окутанный дымовой завесой. На флагмане дали сигнал: «Берегись, газ. Берегись, газ». Рывкнули зенитные орудия. И сейчас же на палубу, на мостики, на бронебойные башни упали, разорвались газовые бомбы.

Первым погиб адмирал, двадцативосьмилетний красавец, из гордости не надевший маски: схватился за горло и опрокинулся со вздутым, посиневшим лицом. В несколько секунд отравлены были все, кто находился на палубе, — противогазы оказались малодействительны. Флагманский корабль был атакован неизвестным газом.

Командование перешло к вице-адмиралу. Крейсера легли на правый галс и открыли зенитный огонь. Три залпа потрясли ночь. Три зарницы, вырвавшись из орудий, окровавили океан. Три роя стальных дьяволов, визжа слепыми головками, пронеслись черт знает куда и, лопнув, озарили звездное небо.

Вслед за залпами с крейсеров снялись шесть гидропланов, — все экипажи в масках. Было очевидно, что первые четыре аппарата погибли, налетев на отравленную дымовую завесу воздушного корабля. Вопрос теперь касался чести американского флота. На судах погасли огни. Остались только звезды. В темноте слышно было, как бились волны о стальные борта да пели в вышине самолеты.

Наконец-то!.. Так-так-так-так — из серебристого тумана Млечного Пути долетело таканье пулеметов... Затем — будто там откупоривали бутылки. Это началась атака гранатами. В зените засветилось буро-черным светом клубящееся облачко: из него выскользнула, наклонив тупой нос, металлическая сигара. По верхнему гребню ее плясали огненные язычки. Она неслась наклонно вниз, оставляя за собой светящийся хвост, и, вся охваченная пламенем, упала за горизонтом.

Через полчаса один из гидропланов донес, что снизился около горевшего дирижабля и расстрелял из пулемета все, что на нем и около него оставалось живого.

Победа дорого обошлась американской эскадре: погибли четыре самолета со всем экипажем. Отравлено газами насмерть двадцать восемь офицеров, в том числе адмирал эскадры, и сто тридцать два матроса. Обиднее всего при таких потерях было то, что великолепные линейные крейсера с могучей артиллерией оказались на положении бескрылых пингвинов: противник бил их сверху каким-то неизвестным газом, как хотел. Необходимо было взять реванш, показать действительную мощь морской артиллерии.

В этом духе контр-адмирал в ту же ночь послал в Вашингтон донесение о всех происшествиях морского боя. Он настаивал на бомбардировке острова Негодяев.

Ответ морского министра пришел через сутки: идти к указанному острову и сровнять его с волнами океана.

— Ну, что? — вызывающе спросил Гарин, кладя на письменный стол наушники радиоприемника. (Заседание происходило в том же составе, кроме мадам Ламоль.) — Ну, что, милостивые государи?... Могу поздравить... Блокады больше не существует... Американскому флоту отдан приказ о бомбардировке острова.

Роллинг сотрясся, поднялся с кресла, трубка вывалилась у него изо рта, лиловые губы искривились, точно он хотел и не мог произнести какое-то слово.

— Что с вами, старина? — спросил Гарин. — Вас так волнует приближение родного флота? Не терпится повесить меня на мачте? Или трусили бомбардировки?.. Глупо вам, разумеется, разлететься на мокрые кусочки от американского снаряда. Или совесть, черт возьми, у вас зашевелилась... Ведь как-никак воюем на ваши денежки.

Гарин коротко засмеялся, отвернулся от старика. Роллинг, так и не сказав ничего, опустился на место, прикрыл землистое лицо дрожащими руками.

— Нет, господа... Без риска можно наживать только три цента на доллар. Мы идем сейчас на огромный риск. Наш разведочный дирижабль отлично выполнил задачу... Прошу почтить вставанием двенадцать погибших, в том числе командира дирижабля Александра Ивановича Волшина. Дирижабль успел протелефонировать подробно состав эскадры. Восемь линейных крейсеров новейшего типа, вооруженных четырьмя броневыми башнями, по три орудия в каждой. После боя у них должно остаться не менее двенадцати гидропланов. Кроме того, легкие крейсера, эсминцы и подводные лодки. Если считать удар каждого снаряда в семьдесят пять миллионов килограммов живой силы, залп всей эскадры по острову, в круглых цифрах, будет равен миллиарду килограммов живой силы.

— Тем лучше, тем лучше, — прошипел, наконец, Роллинг.

— Перестаньте хныкать, дедуля, стыдно... Я и забыл, господа, — мы должны поблагодарить мистера Роллинга за любезно предоставленное нам новейшее и пока еще секретнейшее изобретение: газ, под названием «Черный крест». Посредством его наши пилоты опрокинули в воду четыре гидроплана и вывели из строя флагманский корабль...

— Нет, я не предоставлял вам любезно «Черный крест», мистер Гарин! — хрипло крикнул Роллинг. — Под дулом револьвера вы у меня вырвали приказание послать на остров баллоны с «Черным крестом».

Он задохнулся и, шатаясь, вышел. Гарин стал развивать план защиты острова. Нападения эскадры нужно было ожидать на третьи сутки.

«Аризона» подняла пиратский флаг.

Это совсем не означало, что на ней взвилось черное с черепом и берцовыми костями романтическое знамя морских разбойников. Теперь разве только на бутылочках с сулемой изображались подобные ужасы.

Флага, собственно, на «Аризоне» не было поднято никакого. Две решетчатые башни с гиперболоидами слишком отличали ее профиль от всех судов на свете. Командовал судном Янсен, подчиненный мадам Ламоль.

Великолепное помещение Зои — спальня, ванная, туалетная, салон — заперто было на ключ. Зоя помещалась наверху, в капитанской рубке, вместе с Янсеном. Прежняя роскошь — синие шелковые тенты, ковры, подушки, кресла — все было убрано. Команда, взятая еще в Марселе, была вооружена кольтами и короткими винтовками. Команде объявлена цель выхода в море и призы с каждого захваченного судна.

Все свободное помещение на яхте было заполнено бидонами с бензином и пресной водой. При боковом ветре, под всеми парусами, с полной нагрузкой изумительных моторов рольс-ройс, «Аризона» летела, как альбатрос, — с гребня на гребень по взволнованному океану.

— Ветер подходит к семи баллам, капитан.

— Убрать марселя.

— Есть, капитан.

— Сменять каждый час вахты. Дозорного в бочку на грот.

— Есть, капитан.

— Будут замечены огни, — немедленно будить меня.

Янсен прищурился на непроглядную пустыню океана. Луна еще не всходила. Звезды были затянуты пеленой. За все эти пять суток пути на северо-запад у него не проходило ощущение восторженной легкой дрожи во всем теле. Что ж — пиратством жили прадеды. Он кивком простился с помощником и вошел в каюту.

Когда он вошел, мускулы его тела испытали знакомое сотрясение, обессиливающую отраву. Он неподвижно

стоял под матовым полушарием потолочной лампы. Низкая комфортабельная, отделанная кожей и лакированным деревом капитанская каюта — строгое жилище одинокого моряка — была насыщена присутствием молодой женщины.

Прежде всего здесь пахло духами. Тысяча дьяволов... Предводительница пиратов душилась так, что у мертвого бы заходила селезенка. На спинку стула небрежно кинула фланелевую юбку и золотистый свитер. На пол, прямо на коврик, сброшены чулки вместе с подвязками, — один чулок как будто еще хранил форму ноги.

Мадам Ламоль спала на его койке. (Янсен все эти пять дней, не раздеваясь, ложился на кожаный диванчик.) Она лежала на боку. Губы ее были приоткрыты. Лицо, осмугленное морским ветром, казалось спокойным, невинным. Голая рука закинута за голову. Пиратка!

Тяжелым испытанием было для Янсена это воинственное решение мадам Ламоль поселиться вместе с ним в капитанской каюте. С боевой точки зрения — правильно. Шли на разбой, быть может, — на смерть. Во всяком случае, если бы их поймали, обоих повесили бы рядом на мачте. Это его не смущало, это его даже вдохновляло. Он был подданным мадам Ламоль, королевы Золотого острова. Он любил ее.

Сколько там ни объясняй, любовь — темная история. Янсен видывал и девчонок из портовых кабаков и великолепных леди на пароходах, от скуки и любопытства падавших в его морские объятия. Иных он забыл, как пустую страницу пустой книжонки, иных приятно было вспоминать в часы спокойной вахты, похаживая на мостике под теплыми звездами.

Так и в Неаполе, когда Янсен дожидался в курительной звонка мадам Ламоль, было еще что-то похожее на его прежние похождения. Но то, что должно было случиться тогда — после ужина и танцев, не случилось. Прошло полгода, и Янсену теперь дико было даже вспоминать, — неужели вот этой рукой он когда-то в здоровой памяти держал спину танцующей мадам Ламоль? Неужели какие-то несколько минут, половина выкуренной папиросы, отделяли его от немыслимого счастья. Теперь, услышав с другого конца яхты ее голос, он медленно вздрагивал, точно в нем разражалась тихая гроза. Когда он видел

на палубе в плетеном кресле королеву Золотого острова, с глазами, блуждающими по краю неба и воды, у него где-то — за границами разумного — все пело и тосковало от преданности, от влюбленности.

Может быть, причиной всему были викинги, морские разбойники, предки Янсена, — те, которые плавали далеко от родной земли по морям в красных ладьях с поднятой кормой и носом в виде петушиного гребня, с повешенными по бортам щитами, с прямым парусом на ясеновой мачте. У такой мачты Янсен-пращур и пел о синих волнах, о грозовых тучах, о светловолосой деве, о той далекой, что ждет у берега моря и глядит вдаль, — проходят годы, и глаза ее как синее море, как грозовые тучи. Вот из какой давности налетала мечтательность на бедного Янсена.

Стоя в каюте, пахнувшей кожей и духами, он с отчаянием и восторгом глядел на милое лицо, на свою любовь. Он боялся, что она проснется. Неслышно подошел к дивану, лег. Закрыв глаза. Шумели волны за бортом. Шумел океан. Пращур пел давнюю песню о прекрасной деве. Янсен закинул руки за голову, и сон и счастье прикрыли его.

107

— Капитан!.. (Стук в дверь.) Капитан!

— Янсен! — Встревоженный голос мадам Ламоль иглой прошел через мозг. Капитан Янсен вскочил, — вынырнул с одичавшими глазами из сновидений. Мадам Ламоль торопливо натягивала чулки. Рубашка ее спустилась, оголив плечо.

— Тревога, — сказала мадам Ламоль, — а вы спите...

В дверь опять стукнули, и — голос помощника:

— Капитан, огни с левого борта.

Янсен растворил дверь. Сырой ветер рванулся ему в легкие. Он закашлялся, вышел на мостик. Ночь была непроглядная. С левого борта, вдали, над волнами показывались два огня.

Не сводя глаз с огней, Янсен пошарил на груди свисток. Свистнул. Ответили боцмана. Янсен скомандовал отчетливо:

— Аврал! Свистать всех наверх! Убрать паруса!

Раздались свистки, крики команды. С бака, с юта повысыпали матросы. Они, как кошки, полезли на мачты, закачались на реях. Заскрипели блоки. Задрав голову, боцман проклял все святое, что есть на свете. Паруса упали. Янсен командовал:

— Право руля! Вперед — полный! Гаси огни!

Идя теперь на одних моторах, «Аризона» сделала крутой поворот. С правого борта взвился гребень волны и покатился по палубе. Огни погасли. В полной темноте корпус яхты задрожал, развивая предельную скорость.

Замеченные огни быстро вырастали из-за горизонта. Скоро темным очертанием показалось сильно дымившее судно — двухтрубный пакетбот.

Мадам Ламоль вышла на капитанский мостик. На голову она надвинула вязаный колпачок с помпончиком, на шею — мохнатый шарф, выющийся за спиной. Янсен подал ей бинокль. Она поднесла его к глазам, но так как сильно качало, пришлось положить руку с биноклем на плечо Янсону. Он слушал, как бьется ее сердце под теплым свитером.

— Нападем! — сказала она и близко, твердо посмотрела ему в глаза.

Метрах в пятистах «Аризона» была замечена с пакетбота. На нем со штурвального мостика замахали фонарем, затем низко завывла сирена. «Аризона» без огней, не отвечая на сигналы, мчалась под прямым углом к освещенному кораблю. Он замедлил ход, начал поворачивать, стараясь избежать столкновения...

.

Вот как описывал неделю спустя корреспондент «Нью-Йорк-Геральд» это неслыханное дело:

«...Было без четверти пять, когда нас разбудил тревожный рев сирены. Пассажиры высыпали на палубу. После света кают ночь казалась похожей на чернила. Мы заметили тревогу на капитанском мостике и шарили биноклями в темноте.

Никто толком не знал, что случилось. Наше судно замедлило ход. И вдруг мы увидели это... на нас мчался какой-то невиданный корабль. Узкий и длинный, с тремя высокими мачтами, похожий очертаниями на быстроходный клипер, на

корме и носу его возвышались странные решетчатые башни. Кто-то в шутку крикнул, что это — «Летучий голландец»... На минуту всех охватила паника. В ста метрах от нас таинственный корабль остановился, и резкий голос оттуда прокричал в мегафон по-английски:

«Остановить машины. Погасить топки».

Наш капитан ответил:

«Раньше чем исполнить приказание, нужно знать, кто приказывает».

С корабля крикнули:

«Приказывает королева Золотого острова».

Мы были ошеломлены, — что это — шутка? Новая наглость Пьера Гарри?

Капитан ответил:

«Предлагаю королеве свободную каюту и сытный завтрак, если она голодна».

Это были слова из фокстрота «Бедный Гарри». На палубе раздался дружный хохот. И сейчас же на таинственном корабле, на носовой башне, появился луч. Он был тонок, как вязальная игла, ослепительно белый, и шел из купола башни, не расширяясь. Никому в ту минуту не приходило в голову, что перед нами самое страшное оружие, когда-либо выдуманное человечеством. Мы были весело настроены.

Луч описал петлю в воздухе и упал на носовую часть

нашего пакетбота. Послышалось ужасающее шипение, вспыхнуло зеленоватое пламя разрезаемой стали. Дико закричал матрос, стоявший на юте. Носовая надводная часть пакетбота обрушилась в море. Луч поднялся, задрожал в вышине и, снова опустившись, прошел параллельно над нами. С грохотом на палубу повалились верхушки обеих мачт. В панике пассажиры кинулись к трапам. Капитан был ранен обломком.

Остальное известно. Пираты подъехали на шлюпке, вооруженные короткими карабинами, поднялись на борт пакетбота и потребовали денег. Они взяли десять миллионов долларов, — все, что находилось в почтовых переводах и в карманах у пассажиров.

Когда шлюпка с награбленным вернулась к пиратскому кораблю, на нем ярко светилась палуба. Мы видели, как с решетчатой башни спустилась высокая худощавая женщина в вязаном колпачке, стремительно взошла на капитанский мостик и приложила ко рту мегафон. Откинувшись, она крикнула нам:

«Можете свободно продолжать путь».

Пиратский корабль сделал поворот и с необычайной быстротой скрылся за горизонтом».

События последних дней — нападение на американскую эскадру дирижабля «П. Г.» и приказ по флоту о бомбардировке — взбудоражили все население Золотого острова.

В контору посыпались заявления о расчете. Из сберегательной кассы брали вклады. Рабочие совещались за проволоками, не обращая внимания на желто-белых гвардейцев, с мрачными и решительными лицами шагавших по полицейским тропинкам. Поселок был похож на потревоженный улей. Напрасно завывали медные трубы и бухали турецкие барабаны в овраге перед публичными домами. Луна-парк и бары были пусты. Напрасно пятнадцать провокаторов прилагали нечеловеческие усилия, чтобы разрядить дурное настроение в национальную потасовку. Никто никому в эти дни не хотел сворачивать скул за то только, что он живет за другой проволокой.

Инженер Чермак расклеил по острову правительственное сообщение. Объявлялось военное положение, запрещались сборища и митинги, до особого распоряжения никто не имел права требовать расчета. Население предостерегалось от критики правительства. Работы в шахте должны продолжаться без перебоя день и ночь. «ТЕХ, КТО ГРУДЬЮ ПОДДЕРЖИТ В ЭТИ ДНИ ГАРИНА, — говорилось в сообщении, — ТЕХ ОЖИДАЕТ СКАЗОЧНОЕ БОГАТСТВО. МАЛОДУШНЫХ МЫ САМИ ВЫШВЫРНЕМ С ОСТРОВА. ПОМНИТЕ, МЫ БОРЕМСЯ ПРОТИВ ТЕХ, КТО МЕШАЕТ НАМ РАЗБОГАТЕТЬ». Несмотря на решительный дух этого сообщения, утром, накануне дня, в который ожидалось нападение флота, шахтовые рабочие заявили, что они остановят гиперболоиды и машины жидкого воздуха, если сегодня до полудня не будет выплачено жалованье (это был день получки) и до полудня же не будет послано американскому правительству заявление о миролюбии и о прекращении всяких военных действий.

Остановить машины жидкого воздуха — значило взорвать шахту, быть может, вызвать извержение расплавленной магмы. Угроза была сильна. Инженер Чермак сгоряча пригрозил расстрелом. У шахты стали сосредотачиваться бело-желтые. Тогда сто человек рабочих спустились в шахту, в боковые пещеры и по телефону сообщили в контору:

«Нам не оставляют иного выхода, кроме смерти, к четырем часам взрываемся вместе с островом».

Все же это была отсрочка на четыре часа. Инженер Чермак убрал из района шахты гвардию и на мотоциклете помчался во дворец. Он застал за беседой Гарина и Шельгу. Обоих — красных и встрепанных. Гарин вскочил, как бешеный, увидев Чермака.

— У кого вы учились административной глупости?

— Но...

— Молчать... Вы отставлены. Отправляйтесь в лабораторию, к черту или куда хотите... Вы — осел...

Гарин распахнул дверь и вытолкнул Чермака. Вернулся к столу, на углу которого сидел Шельга с сигарой в зубах.

— Шельга, настал час, я его предвидел, — один вы можете овладеть движением, спасти дело... То, что началось на острове, опаснее десяти американских флотов.

— Н-да, — сказал Шельга, — давно бы пора понять...

— К черту с вашей политтграмотой... Я назначаю вас губернатором острова с чрезвычайными полномочиями... Попробуйте отказаться! — торопливо забирая на самые верхи, закричал Гарин, кинулся к столу, вытащил револьвер. — Коротко: если нет — я стреляю... Да или нет?

— Нет, — сказал Шельга, косясь на револьвер.

Гарин выстрелил. Шельга поднес руку, державшую сигару, к виску:

— Дерьмо собачье, сволочь...

— Ага, значит, согласны?

— Положите эту штуку.

— Хорошо. (Гарин швырнул револьвер в ящик.)

— Что вам нужно? Чтобы рабочие не взорвали шахты? Ладно. Не взорвут. Но — условие...

— Заранее согласен.

— Как я был частным лицом на острове, так я и остаюсь. Я вам не слуга и не наемник. Это первое. Все национальные границы сегодня же уничтожить, чтобы ни одной проволоки. Это второе...

— Согласен.

— Шайку ваших провокаторов...

— У меня нет провокаторов, — быстро сказал Гарин.

— Врете...

— Ладно, — вру. Что с ними? Утопить?

— Сегодня же ночью.

— Сделано. Считайте их утопленными. (Гарин быстро помечал карандашом на блокноте.)

— Последнее, — сказал Шельга, — полное невмешательство в мои отношения с рабочими.

— Ой ли? (Шельга сморщился, стал слезать со стола. Гарин схватил его за руку.) Согласен. Придет время,— я вам все равно обломаю бока. Что еще?

Шельга, сощурясь, раскуривал сигару, так что за дымом не стало видно его лукавого обветренного лица с короткими светлыми усиками, с приподнятым носом. В это время зазвонил телефон. Гарин взял трубку.

— Я. Что? Радио?

Гарин швырнул трубку и надел наушники. Слушал, кусал ноготь. Рот его пополз вкось усмешкой.

— Можете успокоить рабочих. Завтра мы платим. Мадам Ламоль достала десять миллионов долларов. Сейчас посылаю за деньгами прогулочный дирижабль. «Аризона» всего в четырехстах милях на северо-западе.

— Ну что же, это упрощает,— сказал Шельга. Засунув руки в карманы, он вышел.

109

Повиснув на потолочных ремнях так, чтобы ноги не касались пола, зажмурившись и на секунду задержав дыхание, Шельга рухнул вниз в стальной коробке лифта.

Охлаждение параллельной шахты было неравномерным, и от пещеры к пещере приходилось пролетать горячие пояса,— спасала только скорость падения.

На глубине восьми километров, глядя на красную стрелку указателя, Шельга включил реостаты и остановил лифт. Это была пещера номер тридцать семь. В трехстах метрах глубже нее на дне шахты гудели гиперболоиды и раздавались короткие, непрерывные взрывы раскаленной почвы, охлаждаемой сжатым воздухом. Позвякивали, шуршали черпаки элеваторов, уносящие породу на поверхность земли.

Пещера номер тридцать семь, как и все пещеры сбоку главной шахты, представляла собой внутренность железного клепаного куба. За стенками его испарялся жидкий воздух, охлаждая гранитную толщу. Пояс кипящей магмы, видимо, был неглубоко, ближе, чем это предполагалось по данным электромагнитных и сейсмографических разведок. Гранит был накален до пятисот градусов. Остановись хотя бы на несколько минут охлаждающие приборы жидкого воздуха, все живое мгновенно превратилось бы в пепел.

Внутри железного куба стояли койки, лавки, ведра с водой. На четырехчасовой смене рабочие приходили в такое состояние, что их полуживыми укладывали на койки, прежде чем поднять на поверхность земли. Шумели вентиляторы и воздухопроводные трубы. Лампочка под клепаным потолком резко освещала мрачные, нездоровые, отечные лица двадцати пяти человек. Семьдесят пять рабочих находились в пещерах выше, соединенные телефонами.

Шельга вышел из лифта. Кое-кто обернулся к нему, но не поздоровались, — молчали. Очевидно, решение взорвать шахту было твердое.

— Переводчика. Я буду говорить по-русски, — сказал Шельга, садясь к столу и отодвигая локтем банки с мармеладом, с английской солью, недопитые стаканы вина. (Всем этим правительство острова щедро снабжало шахтеров.)

К столу подошел синевато-бледный, под щетиной бороды, сутулый, костлявый еврей.

— Я переводчик.

Шельга начал говорить:

— Гарин и его предприятие — не что иное, как крайняя точка капиталистического сознания. Дальше Гарина идти некуда: насильственное превращение трудящейся части человечества в животных путем мозговой операции, отбор избранных — «царей жизни», остановка хода цивилизации. Буржуа пока еще не понимают Гарина, — да он и сам не торопится, чтобы его поняли. Его считают бандитом и захватчиком. Но они в конце концов поймут, что империализм упирается в систему Гарина... Товарищи, мы должны предупредить самый опасный момент: чтобы Гарин с ними не сговорился. Тогда вам придется туго, товарищи. А вы в этой коробке решили умереть за то, чтобы Гарин не ссорился с американским правительством. Как же теперь быть, подумайте? Одолеет Гарин — плохо, одолеют капиталисты — плохо. Гарин с ними сговорится — тогда уже хуже некуда. Вы еще не знаете себе цены, товарищи, — сила на вашей стороне. И через месяц, когда черпаки погонят золото на поверхность земли, это будет на руку не Гарину, а вам, тому делу, которое мы должны совершить на земле. Если вы мне верите, но как верите, — до конца, свирепо, — тогда я — ваш вождь... Выбирайте единогласно... А если не верите...

Шельга приостановился, оглянул угрюмые лица рабочих, устремленные на него немигающие глаза, — сильно почесал в затылке...

— Если не верите, — еще буду разговаривать.

К столу подошел голый по пояс, весь в саже, плечистый юноша. Нагнувшись, посмотрел на Шельгу синими глазами. Поддернул штаны, повернулся к товарищам:

— Я верю.

— Верим, — сказали остальные. Через многоверстную гранитную толщину долетело по телефонам: «Верим, верим».

— Ну, верите, так ладно, — сказал Шельга, — теперь по пунктам: национальные границы к вечеру уберут. Зарплату получите завтра. Гвардейцы пусть охраняют дворец, — мы без них обойдемся. Пятнадцать душ провокаторов утопим, — это я первым условием поставил. Теперь задача — как можно скорее пробиться к золоту. Правильно, товарищи?

110

Ночью на северо-западе появился блуждающий свет прожекторов. В гавани тревожно завыли сирены. На рассвете, когда море еще лежало в тени, появились первые вестники приближающейся эскадры: высоко над островом закружились самолеты, поблескивая в розовой заре.

Гвардейцы открыли было по ним стрельбу из карабинов, но скоро перестали. Кучками собирались жители острова. Над шахтой продолжал куриться дымок. Били склянки на судах. На большом транспорте шла разгрузка — береговой кран выбрасывал на берег накрест перевязанные тюки.

Океан был спокоен в туманном мареве. В небе пели воздушные винты.

Поднялось солнце туманным шаром. И тогда все увидели на горизонте дымы. Они ложились длинной и плоской тучей, тянувшейся на юго-восток. Это приближалась смерть.

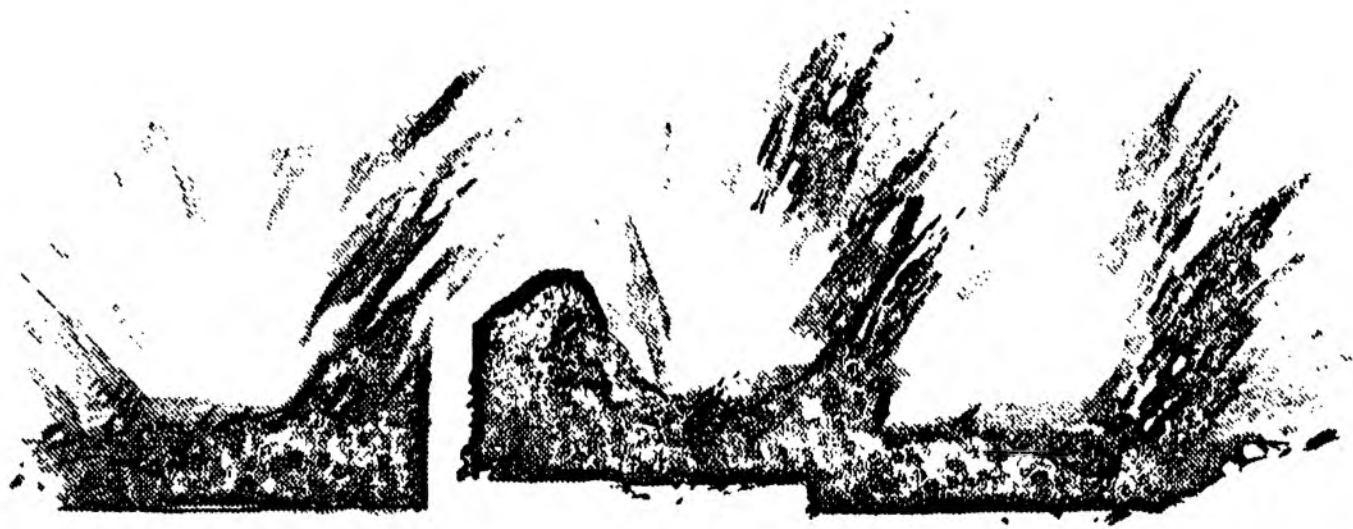
На острове все затихло, как будто перестали даже петь птицы, привезенные с континента. В одном месте кучка людей побежала к лодкам в гавани, и лодки, нагруженные до бортов, торопливо пошли в открытое море. Но лодок было мало, остров — как на ладони, укрыться негде. И жители стояли в столбняке, молча. Иные ложились лицом в песок.

Во дворце не было заметно движения. Бронзовые ворота закрыты. Вдоль красноватых наклонных стен шагали, с карабинами за спиной, гзардейцы в широкополых высоких шляпах, в белых куртках, расшитых золотом. В стороне возвышалась прозрачная, как кружево, башня большого гиперboloида. Восходящая пелена тумана скрывала от глаз ее верхушку. Но мало кто надеялся на эту защиту: буро-черное облако на горизонте было слишком вещественно и угрожающе.

Многие с испугом обернулись в сторону шахты. Там заревел гудок третьей смены. Нашли время работать! Будь проклято золото! Затем часы на крыше замка пробили восемь. И тогда по океану покатился грохот — тяжелые, возрастающие громовые раскаты. Первый залп эскадры. Секунды ожидания, казалось, растянулись в пространстве в звуках налетающих снарядов.

111

Когда раздался залп эскадры, Роллинг стоял на террасе, наверху лестницы, спускающейся к воде. Он вынул изо рта трубку и слушал рев налетающих снарядов: не менее девяноста стальных дьяволов, начиненных меленитом и нарывным газом, мчались к острову прямо в мозг Роллингу. Они победоносно ревели. Сердце, казалось, не выдержит этих звуков. Роллинг попятился к двери в гранитной стене. (Он давно приготовил себе убежище в подвале на случай бомбардировки.) Снаряды разорвались в море, взлетев водяными столбами. Громыкнули. Недолет.



Тогда Роллинг стал смотреть на вершину сквозной башни. Там со вчерашнего вечера сидел Гарин. Круглый купол на башне вращался, — это было заметно по движениям меридиональных щелей. Роллинг надел пенсне и всматривался, задрав голову. Купол вращался очень бы-

стро — направо и налево. При движении направо видно было, как по меридиональной щели ходит вверх и вниз блестящий ствол гиперболоида.

Самым страшным была та торопливость, с которой Гарин работал аппаратом. И — тишина. Ни звука на острове.

Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. Роллинг поправил пенсне на взмокшем носу и глядел теперь в сторону эскадры. Там расплывались грибами три кучи бело-желтого дыма. Левее их вспучивались лохматые клубы, озарились кроваво, поднялись, и вырос, расплылся четвертый гриб. Докатился четвертый раскат грома.

Пенсне все сваливалось с носа Роллинга. Но он мужественно стоял и смотрел, как за горизонтом вырастали дымные грибы, как все восемь линейных кораблей американской эскадры взлетели на воздух.

Снова стало тихо на острове, на море и в небе. В сквозной башне сверху вниз мелькнул лифт. Хлопнули двери в доме, послышалось фалыпное насвистывание фокстрота, на террасу выбежал Гарин. Лицо у него было измученное, измятое, волосы — торчком.

Не замечая Роллинга, он стал раздеваться. Сошел по лестнице к самой воде, стащил подштанники цвета семги, шелковую рубашку. Глядя на море, где еще таял дым над местом погибшей эскадры, Гарин скреб себя под мышками. Он был, как женщина, белый телом, сытенький, в его наготе было что-то постыдное и отвратительное.

Он попробовал ногой воду, присел по-бабьи навстречу волне, поплыл, но сейчас же вылез и только тогда увидел Роллинга.

— А, — протянул он, — а вы что, тоже купаться собрались? Холодно, черт его дери.

Он вдруг рассмеялся дребезжащим смехом, захватил одежду и, помахивая подштанниками и не прикрываясь, во всей срамоте пошел в дом. Такого унижения Роллинг еще не переживал. От ненависти, от омерзения сердце его оледенело. Он был безоружен, незащищен. В эту минуту слабости он почувствовал, как на него легло прошлое, — вся тяжесть истраченных сил, бычьей борьбы за первое место в жизни... И все для того, чтобы мимо него торжествуяще прошествовал этот его победитель — голый бесстыдник.

Открывая огромные бронзовые двери, Гарин обернулся:

— Дядя, идем завтракать. Раздавим бутылочку шампанского.

Самое странное в дальнейшем поведении Роллинга было то, что он покорно поплелся завтракать. За столом, кроме них, сидела только мадам Ламоль, бледная и молчаливая от пережитого волнения. Когда она подносила ко рту стакан, — стекло дребезжало об ее ровные ослепительные зубы.

Роллинг, точно боясь потерять равновесие, напряженно глядел в одну точку — на золотую бутылочную пробку, сделанную в форме того самого проклятого аппарата, которым в несколько минут были уничтожены все прежние понятия Роллинга о мощи и могуществе.

Гарин, с мокрыми непричесанными волосами, без воротничка, в помятом и прожженном пиджаке, болтал какой-то вздор, жуя устрицы, — залпом выпил несколько стаканов вина:

— Вот теперь только понимаю, до чего проголодался.

— Вы хорошо поработали, мой друг, — тихо сказала Зоя.

— Да. Признаться, одну минуту было страшновато, когда горизонт окутался пушечным дымом... Они меня все-таки опередили... Черти... Возьми они на один кабельтов дальше — от этого дома, чего там — от всего острова остались бы пух и перья...

Он выпил еще стакан вина и, хотя сказал, что голоден, локтем оттолкнул ливрейного лакея, поднесшего блюдо.

— Ну как, дядя? — Он неожиданно повернулся к Роллингу и уже без смеха впился в него глазами. — Пора бы нам поговорить серьезно. Или будете ждать еще более потрясающих эффектов?

Роллинг без стука положил на тарелку вилку и серебряный крючок для омаров, опустил глаза:

— Говорите, я вас слушаю.

— Давно бы так... Я вам уже два раза предлагал сотрудничество. Надеюсь — помните? Впрочем, я вас не виню, вы не мыслитель, вы из породы буйволов. Сейчас еще раз предлагаю. Удивляетесь? Объясню. Я — организатор. Я перестраиваю всю вашу тяжеловесную, набитую глупейшими предрассудками капиталистическую систему. Понятно? Если я не сделаю этого — коммунисты вас съедят с маслицем и еще сплюнут не без удовольствия. Коммунизм — это то единственное в жизни, что я ненавижу... Почему? Он уничтожает меня, Петра Гарина, целую вселенную замыслов в моем мозгу... Вы вправе спросить, для

чего же мне нужны вы, Роллинг, когда у меня под ногами неисчерпаемое золото?

— Да, спрошу, — хрипло проговорил Роллинг.

— Дядя, выпейте стакан джину с кайенским перцем, это оживит ваше воображение. Неужели вы хотя на минуту могли подумать, что я намерен превратить золото в навоз? Действительно, я устрою несколько горячих денечков человечеству. Я подведу людей к самому краю страшной пропасти, когда они будут держать в руках килограмм золота, стоящий пять центов¹.

Роллинг вдруг поднял голову, тусклые глаза молодо блеснули, рот раздвинулся кривой усмешкой...

— Ага! — каркнул он.

— То-то — ага. Поняли, наконец?.. И тогда, в эти дни величайшей паники, мы, то есть я, вы и еще триста таких же буйволов, или мировых негодяев, или финансовых королей, — выбирайте название по своему вкусу, — возьмем мир за глотку... Мы покупаем все предприятия, все заводы, все железные дороги, весь воздушный и морской флот... Все, что нам нужно и что пригодится, — будет наше. Тогда мы взрываем этот остров вместе с шахтой и объявляем, что мировой запас золота ограничен, золото в наших руках и золоту возвращено его прежнее значение — быть единой мерой стоимости.

Роллинг слушал, откинувшись на спинку стула, рот его с золотыми зубами раздвинулся, как у акулы, лицо побавровело.

Так он сидел неподвижно, посверкивая маленькими глазами. Мадам Ламоль на минуту даже подумала: не хватит ли старика удар.

— Ага! — снова каркнул он. — Идея смела... Вы можете рассчитывать на успех... Но вы не учитываете опасности всяких забастовок, бунтов...

— Это учитываю в первую голову, — резко сказал Гарин. — Для начала мы построим громадные концентрационные лагеря. Всех недовольных нашим режимом — за проволоку. Затем — проведем закон о мозговой кастрации. Итак, дорогой друг, вы избираете меня вождем?.. Ха! (Он неожиданно подмигнул, и это было почти страшно.)

Роллинг опустил лоб, насупился. Его спрашивали, он обязан был подумать.

— Вы принуждаете меня к этому, мистер Гарин?

¹ Около шести копеек.

— А вы как думали, дядя? На коленях, что ли, прошу? Принуждаю, если вы сами еще не поняли, что уже давно ждете меня как спасителя.

— Очень хорошо,— сквозь зубы сказал Роллинг и через стол протянул Гарину лиловую шершавую руку.

— Очень хорошо,— повторил Гарин.— События развиваются стремительно. Нужно, чтобы на континенте было подготовлено мнение трехсот королей. Вы напишете им письмо о всем безумии правительства, посылающего флот расстреливать мой остров. Вы постараетесь приготовить их к «золотой панике». (Он щелкнул пальцами; подскочил ливрейный лакей.) Налей-ка еще шампанского. Итак, Роллинг, выпьем за великий исторический переворот... Ну что, брат, а Муссолини какой-нибудь — щенок...

Петр Гарин договорился с мистером Роллингом... История была пришпорена, история понеслась вскачь, звеня золотыми подковами по черепам дураков.

113

Впечатление, произведенное в Америке и Европе гибелью тихоокеанской эскадры, было потрясающее, небывалое. Североамериканские Соединенные Штаты получили удар, отдавшийся по всей земле. Правительства Германии, Франции, Англии, Италии неожиданно с нездоровой нервностью воспрянули духом: показалось,— а вдруг в нынешнем году (а вдруг и совсем) не нужно будет платить процентов распухшей от золота Америке? «Колосс оказался на глиняных ногах,— писали в газетах,— не так-то просто завоевывать мир...»

Кроме того, сообщения о пиратских похождениях «Аризоны» внесли перебой в морскую торговлю. Владельцы пароходов отказывались от погрузки, капитаны боялись идти через океан, страховые общества подняли цены, в банковских переводах произошел хаос, начались протесты векселей, лопнуло несколько торговых домов, Япония поспешила просунуть на американские колониальные рынки свои дешевые и скверные товары.

Плачевный морской бой обошелся Америке в большие деньги. Пострадал престиж, или, как его называли, «национальная гордость». Промышленники требовали мобилизации всего морского и воздушного флотов,— войны до победного конца, чего бы это ни стоило. Американские газеты грозились, что «не снимут траура» (названия газет были обведены траурной рамкой,— это на многих

производило впечатление, хотя типографски стоило недорого), покуда Пьер Гарри не будет привезен в железной клетке в Нью-Йорк и казнен на электрическом стуле. В города, в обывательскую толщу, проникали жуткие слухи об агентах Гарина, снабженных будто бы карманным инфракрасным лучом. Были случаи избиения неизвестных личностей и мгновенных паник на улицах, в кино, в ресторанах. Вашингтонское правительство гремело словами, но по существу показывало ужасную растерянность. Единственное из всей эскадры судно, миноносец, уцелевший от гибели под Золотым островом, привез военному министру донесение о бое, — подробности настолько страшные, что их побоялись опубликовать. Семнадцатидюймовые орудия были бессильны против световой башни острова Негодяев.

Все эти неприятности заставили правительство Соединенных Штатов созвать в Вашингтоне конференцию. Ее лозунгом было:

**«ВСЕ ЛЮДИ СУТЬ ДЕТИ ОДНОГО БОГА,
ПОДУМАЕМ О МИРНОМ ПРОЦВЕТАНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».**

Когда был опубликован день конференции, редакции газет, радиостанции всего мира получили извещение о том, что инженер Гарин лично будет присутствовать на открытии.

114

Гарин, Чермак и инженер Шефер опускались в лифте в глубину главной шахты. За слюдяными окошками проходили бесконечные ряды труб, проводов, креплений, элеваторных колодцев, площадок, железных дверей.

Миновали восемнадцать поясов земной коры — восемнадцать слоев, по которым, как по слоям дерева, отмечались эпохи жизни планеты. Органическая жизнь началась с четвертого «от огня» слоя, образованного палеозойским океаном. Девственные воды его были насыщены неведомой нам жизненной силой. Они содержали радиоактивные соли и большое количество углекислоты. Это была «вода жизни».

На заре последующей — мезозойской — эры из вод его вышли гигантские чудовища. Миллионы лет они потрясали землю криками жадности и похоти. Еще выше, в слоях шахты, находили остатки птиц, еще выше — млекопи-

тающих. А там уже близился ледниковый период — суровое снежное утро человечества.

Лифт опускался через последний, девятнадцатый, слой, произошедший из пламени и хаоса извержений. Это была земля архейской эры — сплошной черно-багровый, мелкозернистый гранит.

Гарин кусал нготь от нетерпения. Все трое молчали. Было тяжело дышать. На спине у каждого висел кислородный аппарат. Слышался рев гиперболоидов и взрывы.

Лифт вошел в полосу яркого света электрических ламп и остановился над огромной воронкой, собирающей газы. Гарин и Шефер надели резиновые круглые, как у водолазов, шлемы и проникли через один из люков воронки на узкую железную лестницу, которая вела отвесно вниз на глубину пятиэтажного дома. Они начали спускаться. Лестница окончилась кольцевой площадкой. На ней несколько голых по пояс рабочих, в круглых шлемах, с кислородными аппаратами за спиной, сидели на корточках над кожухами гиперболоидов. Глядя вниз, в гудящую пропасть, рабочие контролировали и направляли лучи.

Такие же отвесные, с круглыми прутьями-ступенями лестницы соединяли эту площадку с нижним кольцом. Там стояли охладители с жидким воздухом. Рабочие, одетые с ног до головы в прорезиненный войлок, в кислородных шлемах, руководили с нижней площадки охладителями и черпаками элеваторов. Это было наиболее опасное место работ. Неловкое движение, и человек попадал под режущий луч гиперболоида. Внизу раскаленная порода лопалась и взрывалась в струях жидкого воздуха. Снизу летели осколки породы и клубы газов.

Элеваторы вынимали в час до пятидесяти тонн. Работа шла споро. Вместе с углублением черпаков опускалась вся система — «железный крот», — построенная по чертежам Манцева, верхнее кольцо с гиперболоидами и наверху газовая воронка. Крепления шахты начинались уже выше «кротовой» системы.

Шефер взял с пролетающего черпака горсть серой пыли. Гарин растер ее между пальцами. Нетерпеливым движением потребовал карандаш. Написал на коробке от папирос:

Мягкие шланги. Лава

Шефер закивал круглым очкастым шлемом. Осторожно передвигаясь по краю кольцевой площадки, они остановились перед приборами, висящими на монолитной стене шахты на стальных тросах и опускающимися по мере опускания всей системы «железного крота». Это были барометры, сейсмографы, компасы, маятники, записывающие величину ускорения силы тяжести на данной глубине, электромагнитные измерители.

Шефер указал на маятник, взял у Гарина коробку от папирос и написал на ней не спеша аккуратным немецким почерком:

Ускорение силы тяжести на этой глубине
 измерено на девять ускорение дауну
 в сотнях со было ускорение 9,998.
 возвращено ускор. Внесено этого мн
 ускорения на 1,07...
 маятник ?

— написал Гарин.
 Шефер ответил:

Маятниковые
 Сегодня с утра
 приборы стоят
 на нуль.
 Маятниковые
 маятниковые
 маятниковые

Уперев руки в колени, Гарин долго глядел вниз, в суживающийся до едва видимой точки черным колодец, где ворчал, вгрызаясь все глубже в землю, «железный крот». Сегодня с утра шахта начала проходить сквозь Оливинный пояс.

— Ну, как, Иван, здоровьишко?

Шельга погладил мальчика по голове. Иван сидел у него в маленьком прибрежном домике, у окна, глядел на океан. Домик был сложен из прибрежных камней, обмазан светло-желтой глиной. За окном по синему океану

шли волны, белея пеной, разбивались о рифы, о прибрежный песок уединенной бухточки, где жил Шельга.

Ивана привезли полумертвым на воздушном корабле. Шельга отходил его с большим трудом. Если бы не свой человек на острове, Иван навряд бы остался жить. Весь он был обморожен, застужен, и, ко всему, душа его была угнетена: поверил людям, старался из последних сил, а что вышло?

— Мне теперь, товарищ Шельга, в Советскую Россию въезда нет, засудят.

— Брось, дурачок. Ты ни в чем не виноват.

Сидел ли Иван на берегу, на камешке, ловил ли крабов, или бродил по острову, среди чудес, кипучей работы, суетливых чужих людей, — глаза его с тоской нет-нет да и оборачивались на запад, где садился в океан пышный шар солнца, где еще дальше солнца лежала советская родина.

— На дворе ночь, — говорил он тихим голосом, — у нас в Ленинграде — утро. Товарищ Тарашкин чаю с ситником напился, пошел на работу. В клубе на Крестовке лодки конопатят, через две недели поднятие флага.

Когда мальчик поправился, Шельга начал осторожно объяснять ему положение вещей и увидел, так же как и Тарашкин в свое время, что Иван боек понимать с полуслова и настроен непримиримо, по-советски. Если бы только не скулил он по Ленинграду — золотой был бы мальчишка.

— Ну, Иван, — однажды весело сказал Шельга, — ну, Ванюшка, скоро отправлю тебя домой.

— Спасибо, Василий Витальевич.

— Только надо будет сначала одну штуку отгвоздить.

— Готов.

— Ты лазить ловок?

— В Сибири, Василий Витальевич, на пятидесятиметровые кедровые лазил за шишками, влезешь, — земли оттуда не видно.

— Когда нужно будет, скажу тебе, что делать. Да зря не шатайся по острову. Возьми лучше удочку, лови морских ежей.

Гарин теперь уверенно двигался в своих работах по плану, найденному в записках и дневниках Манцева.

Черпаки прошли мощный слой магмы. На дне шахты слышался гул кипящего подземного океана. Стены шахты, замороженные в толщину на тридцать метров, образовывали несокрушимый цилиндр,— все же шахта получала такие вздрагивания и колебания, что пришлось бросить все силы на дальнейшее замораживание. Элеваторы выкидывали теперь на поверхность кристаллическое железо, никель и оливин.

Начались странные явления. В море, куда уносились по стальным лентам и понтонам поднятая на поверхность порода, появилось свечение. Оно усиливалось в продолжение нескольких суток. Наконец огромные массы воды, камней, песку вместе с частью понтонов взлетели на воздух. Взрыв настолько был силен, что ураганом снесло рабочие бараки и большая волна, хлынув на остров, едва не залила шахты.

Пришлось перегружать породу прямо на баржи и топить ее далеко в океане, где не прекращались свечение и взрывы. Объяснялось это еще неизвестными явлениями атомного распада элемента М.

Не менее странное происходило и на дне шахты. Началось с того, что магнитные приборы, показывавшие еще недавно нулевые деления, внезапно обнаружили магнитное поле чудовищного напряжения. Стрелки поднялись до отказа. Со дна шахты стал исходить лиловатый дрожащий свет. Самый воздух как будто перерождался. Азот и кислород воздуха, бомбардируемые мириадами альфа-частиц, распадались на гелий и водород.

Часть свободного водорода сгорала в лучах гиперболоидов,— по шахте пролетали огненные языки, раздавались точно пистолетные выстрелы. На рабочих загоралась одежда. Шахты потрясали какие-то приливы и отливы в океане магмы. Было замечено, что стальные черпаки и железные части покрываются землисто-красным налетом. В железных частях машин началось бурное распадение атомов. Многие из рабочих были обожжены невидимыми лучами. Все же с прежним упорством «железный крот» продолжал прогрызаться сквозь Оливиновый пояс.

Гарин почти не выходил из шахты. Только теперь он начал понимать все безумие своего предприятия. Никто не мог сказать, на какую глубину залегает слой кипящего подземного океана. Сколько еще километров придется проходить сквозь расплавленный оливин. Одно только было несомненно,— приборы указывали на присутствие в центре земли магнитного твердого ядра чрезвычайно низкой температуры.

Опасность была, что замороженный цилиндр шахты, более плотный, чем расплавленная среда вокруг него, оторвется силой земного тяготения и увлечется к центру. Действительно, в стенках шахты начали появляться опасные трещины, через них с шипением пробивались газы. Пришлось уменьшить вдвое диаметр шахты и ставить мощные вертикальные крепления.

Много времени заняла установка нового, вдвое меньшего диаметром, «железного крота». Утешительными были только известия с «Аризона». Ночью яхта, снова начавшая крейсировать под пиратским флагом, ворвалась в гавань Мельбурна, зажгла склады копры, чтобы известить о своем прибытии, и потребовала пять миллионов фунтов. (Для острастки был сбит движением луча бульвар на берегу моря.) В несколько часов город опустел, деньги были уплачены банками. При выходе из гавани «Аризона» была встречена английским стационаром, открывшим огонь. Яхта получила сквозную пробоину шестидюймовым снарядом выше ватерлинии и в свою очередь атаковала и искромсала военное судно. Боем командовала мадам Ламоль с верхушки башни гиперболоида.

Это сообщение развеселило Гарина. За последнее время на него нападали мрачные мысли. А вдруг Манцев ошибся в своих расчетах? Так же, как год тому назад в уединенном доме на Петроградской стороне, утомленный мозг его нащупывал возможности спасения, если постигнет неудача с шахтой.

Двадцать пятого апреля, стоя внутри кротовой системы на кольцевой площадке, Гарин наблюдал необычайное явление. Сверху, с воронки, собирающей газы, пошел ртутный дождь. Пришлось прекратить действие гиперболоидов. Ослабили замораживание на дне шахты. Черпаки прошли оливин и брали теперь чистую ртуть. Следующим номером, восемьдесят первым, по таблице Менделеева, за ртутью следовал металл талий. Золото (по атомному весу — 197,2 и номеру — 79) лежало выше ртути по таблице.

То, что произошла катастрофа и золота не оказалось при прохождении сквозь слои металлов, расположенных по удельному весу, понимали только Гарин и инженер Шефер. Это была катастрофа! Проклятый Манцев ошибся!

Гарин опустил голову. Он ожидал чего угодно, но не такого жалкого конца... Шефер рассеянно протянул перед собой руку, ладонью вверх, ловя падающие из-под во-

ронки капельки ртути. Вдруг он схватил Гарина за локоть и увлек к отвесной лестнице. Когда они взобрались наверх, сели в лифт и сняли резиновые шлемы, Шефер затопал тяжелыми башмаками. Костлявое, детски-простоватое лицо его светилось радостью.

— Это же золото! — крикнул он, хохоча. — Мы просто бараньи головы... Золото и ртуть кипят рядом. Что получается? Ртутное золото!.. Глядите же! — Он разжал ладонь, на которой лежали жидкие дробинки. — В ртути золотистый оттенок. Здесь девяносто процентов червонного золота!

117

Золото, как нефть, само шло из земли. Работы по углублению шахты приостановились. «Железный крот» был разобран и вынут. Временные фермовые крепления шахты снимались. Вместо них опускали во всю глубину массивные стальные цилиндры, в толще которых пролежала система охладительных труб.

Нужно было только регулировать температуру, чтобы получить выпираемое снизу раскаленными парами ртутное золото на любой высоте в шахте. Гарин вычислил, что после того, как стальные цилиндры будут опущены до самого дна, ртутное золото можно заставить подняться на всю высоту и черпать его прямо с поверхности земли.

От шахты на северо-восток спешно строился ртутпровод. В левом крыле замка, примыкающем к подножию башни большого гиперболоида, ставили печи и вмазывали фаянсовые тигли, где должно было выпариваться золото.

Гарин предполагал довести на первое время суточную продукцию золота до десяти тысяч пудов, то есть до ста миллионов долларов в сутки.

«Аризоне» был послан приказ вернуться на остров. Мадам Ламоль ответила поздравлением и по радио объявила всем, всем, всем, что прекращает пиратские нападения в Тихом океане.

118

Незадолго до открытия Вашингтонской конференции в гавань Сан-Франциско вошли пять океанских кораблей. Они мирно подняли голландский флаг и ошвартовались у набережной среди тысячи таких же

торговых судов в широком и дымном заливе, залитом летним солнцем.

Капитаны съехали на берег. Все было в порядке. На кораблях сушились матросские подштанники. Мыли палубу. Некоторое изумление у таможенных чиновников вызвал груз на судах под голландским флагом. Но им объяснили, что литые, по пяти килограммов, бруски желтого металла не что иное, как золото, привезенное для продажи.

Чиновники посмеялись над такой забавной шуткой.

— Почем же вы продаете золото? Хе!

— По себестоимости, — ответили помощники капитанов. (На всех пяти кораблях происходил слово в слово один и тот же разговор.)

— А именно?

— По два с половиной доллара за килограмм.

— Недорого цените ваше золото.

— Продаем дешево, товару много, — ответили помощники капитанов, посасывая трубки.

Так чиновники и записали в журналах: «Груз — бруски желтого металла, под названием золото». Посмеялись и ушли. А смеяться совсем было нечему.

Через два дня в Сан-Франциско в утренних газетах, в отделе объявлений, на бело-желтых афишах, расклеенных по рекламным столбам, и просто на тротуарах мелом, появилось сообщение:

«ИНЖЕНЕР ПЕТР ГАРИН, СЧИТАЯ ВОЙНУ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ЗОЛОТОГО ОСТРОВА ОКОНЧЕННОЙ И ГЛУБОКО СОЖАЛЕЯ О ЖЕРТВАХ, ПОНЕСЕННЫХ ПРОТИВНИКОМ, С ПОЧТЕНИЕМ ПРЕДЛАГАЕТ ЖИТЕЛЯМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, В ВИДЕ НАЧАЛА МИРНЫХ ТОРГОВЫХ СНОШЕНИЙ, ПЯТЬ КОРАБЛЕЙ, ГРУЖЕННЫХ ЧЕРВОННЫМ ЗОЛОТОМ. ПЯТИКИЛОГРАММОВЫЕ БРУСКИ ЗОЛОТА ПРОДАЮТСЯ ПО ЦЕНЕ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРА ЗА КИЛОГРАММ. ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ИХ В ТАБАЧНЫХ, МОСКАТЕЛЬНЫХ, МЕЛОЧНЫХ ЛАВКАХ, В ГАЗЕТНЫХ КИОСКАХ, У ЧИСТИЛЬЩИКОВ САПОГ И ТАК ДАЛЕЕ... ПРОШУ УБЕДИТЬСЯ В ПОДЛИННОСТИ ЗОЛОТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ У МЕНЯ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ. С ПОЧТЕНИЕМ. ГАРИН».

Разумеется, ни один человек не поверил этим дурацким рекламам. Большинство контрагентов припрятали золотые слитки. Все же город заговорил о Петре Гарине, пирате и легендарном негодяе, снова тревожащем спокойствие честных людей. Вечерние газеты потребовали линчевания Пьера Гарри. В шестом часу вечера праздные

толпы устремились в гавань и на летучих митингах выносили резолюцию — потопить гаринские пароходы и повесить команды на фонарных столбах. Полисмены едва сдерживали толпы.

В то же время портовые власти производили расследование. Все бумаги на пяти кораблях оказались в порядке, сами суда не подлежали секвестру, так как владельцем их была известная голландская транспортная компания. Все же власти требовали запрещения торговли брусками, возбуждающими население. Но ни один из чиновников не устоял, когда в карманы брюк ему опустили по два бруска. На зуб, на цвет, на вес это было самое настоящее золото, хоть тресни. Вопрос о торговле оставили открытым, временно замяли.

В тридцать две редакции ежедневных газет какие-то неразговорчивые моряки втащили по мешку с загадочными брусками. Сказали только: «В подарок». Редакторы возмутились. В тридцати двух редакциях стоял страшный крик. Вызвали ювелиров. Предлагались кровавые меры против наглости Пьера Гарри. Но бруски неизвестно куда исчезли из редакций тридцати двух газет.

За ночь по городу были разбросаны золотые бруски прямо на тротуарах. К девяти часам в парикмахерских и табачных лавках вывесили объявление:

**ЗДЕСЬ ПРОДАЕТСЯ
ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО
ПО ДВА С ПОЛОВИН
ОЙ ДОЛЛАРА ЗА КИЛО**

Население дрогнуло.

Хуже всего было то, что никто не понимал, для чего продают золото по два с половиной доллара за килограмм. Но не купить — значило остаться в дураках. В городе начались давка и безобразие. Многотысячная толпа стояла в гавани перед кораблями и кричала: «Бруски, бруски, бруски!..» Золото продавали прямо на сходнях. В этот день остановились трамваи и подземная дорога. В конторах и казенных учреждениях стоял хаос: чиновники, вме-

сто того, чтобы заниматься делами, бегали по табачным лавкам, прося продать брусочек. Склады и магазины не торговали, приказчики разбегались, воры и взломщики хозяйничали по городу.

Прошел слух, будто золото привезено для продажи в ограниченном количестве и больше кораблей с брусками не будет.

На третий день во всех концах Америки началась золотая лихорадка. Тихоокеанские линии железных дорог повезли на запад взволнованных, недоумевающих, сомневающих, взбудораженных искателей счастья. Поезда брались с бою. Была величайшая растерянность в этой волне человеческой глупости.

С опозданием, как всегда это бывает, из Вашингтона пришло правительственное распоряжение: «ЗАГРАДИТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМИ ВОЙСКАМИ ДОСТУП К СУДАМ, ГРУЖЕННЫМ ТАК НАЗЫВАЕМОМ ЗОЛОТОМ, КОМАНДИРОВ И КОМАНДЫ АРЕСТОВАТЬ, СУДА ОПЕЧАТАТЬ». Приказ был исполнен.

Разъяренные толпы людей, прибывшие за счастьем с других концов страны, побросавшие дела, службу, чтобы заполнить раскаленные солнцем набережные Сан-Франциско, где все съестное было уничтожено, как саранчой, — одичавшие люди эти прорвали цепи полисменов, дрались, как бешеные, револьверами, ножами, зубами, побросали большое количество полисменов в залив, освободили команды гаринских пароходов и установили вооруженную очередь за золотом.

Пришли еще три парохода с Золотого острова. Они стали выгружать связки брусков кранами прямо на набережную, валили их в штабеля. В этом был какой-то нестерпимый ужас. Люди дрожали, глядя из очередей на сокровища, сверкающие прямо на мостовой.

В это время агенты Гарина окончили установку в больших городах уличных громкоговорителей. В субботний день, когда население городов, окончив службу и работу, наполнило улицы, раздался по всей Америке громкий, с варварским акцентом, но необычайно уверенный голос:

«Американцы! С вами говорит инженер Гарин, тот, кто объявлен вне закона, кем пугают детей. Американцы, я совершил много преступлений, но все они вели меня к одной цели: счастьем человечества. Я присвоил клочок земли, ничтожный островок, чтобы на нем довести до конца грандиозное и небывалое предприятие. Я решил проникнуть в недра земли к девственным залежам золота. На глубине восьми километров шахта вошла в мощный слой кипящего золота. Американцы, каждый торгует

тем, что у него есть. Я предлагаю вам свой товар — золото. Я наживаю на нем десять центов на доллар, при цене два с половиной доллара за килограмм. Это скромно. Но почему мне запрещают продавать мой товар? Где ваша свобода торговли? Ваше правительство попирает священные основы свободы и прогресса. Я готов возместить военные издержки. Я возвращаю государству, компаниям и частным людям все деньги, которые «Аризона» реквизировала на судах и банках в порядке обычаев военного времени. Я прошу только одного — дайте мне свободу торговать золотом. Ваше правительство запрещает мне это, накладывает арест на мои корабли. Я отдаюсь под защиту всего населения Соединенных Штатов».

Громкоговорители были уничтожены полисменами в ту же ночь. Правительство обратилось к благоразумию населения:

«...Пусть верно то, о чем сообщил пресловутый бандит, выходец из Советской России, инженер Гарин. Но тем скорее нужно засыпать шахту на Золотом острове, уничтожить самую возможность иметь неисчерпаемые запасы золота. Что будет с эквивалентом труда, счастья, жизни, если золото начнут копать, как глину? Человечество неминуемо вернется к первобытным временам, к меновой торговле, к дикости и хаосу. Погибнет вся экономическая система, умрут промышленность и торговля. Людям незачем будет напрягать высшие силы своего духа. Умрут большие города. Зарастут травой железнодорожные пути. Погаснет свет в кинематографах и луна-парках. Человек снова кремневым копьем будет добывать себе пропитание. Инженер Гарин — величайший провокатор, слуга дьявола. Его задача — девальвировать доллар. Но этого он не добьется...»

Правительство нарисовало жалкую картину уничтожения золотого паритета. Но благоразумных нашлось мало. Безумие охватило всю страну. По примеру Сан-Францис-

ско в городах останавливалась жизнь. Поезда и миллионы автомобилей мчались на запад. Чем ближе к Тихому океану, тем дороже становились продукты питания. Их не на чем было подвозить. Голодные искатели счастья разбивали съестные лавки. Фунт ветчины поднялся до ста долларов. В Сан-Франциско люди умирали на улицах. От голода, жажды, палящего зноя сходили с ума.

На узловых станциях, на путях валялись трупы убитых при штурме поездов. По дорогам, проселкам, через горы, леса, равнины брели — обратно на восток — кучки счастливых, таща на спинах мешки с золотыми брусками. Отставших убивали местные жители и шайки бандитов.

Начиналась охота за золотоношами, на них нападали даже с аэропланов.

Правительство пошло, наконец, на крайние меры. Палата вотировала закон о всеобщей мобилизации возрастов от семнадцати до сорока пяти лет, уклоняющиеся подлежали военно-полевому суду. В Нью-Йорке в кварталах бедноты расстреляли несколько сот человек. На вокзалах появились вооруженные солдаты. Кое-кого хватали, стакивали с площадок вагонов, стреляли в воздух и в людей. Но поезда отходили переполненными. Железные дороги, принадлежавшие частным компаниям, находили более выгодным не обращать внимания на распоряжение правительства.

В Сан-Франциско прибыли еще пять пароходов Гарина, и на открытом рейде, в виду всего залива, стала на якорь красавица «Аризона» — «гроза морей». Под защитой ее двух гиперболоидов корабли разгружали золото.

Вот при каких условиях наступил день открытия Вашингтонской конференции. Месяц тому назад Америка владела половиной всего золота на земном шаре. Теперь, что ни говори, золотой фонд Америки расценивался дешевле ровно в двести пятьдесят раз. С трудом, с чудовищными потерями, пролив много крови, это еще можно было как-нибудь пережить. Но вдруг сумасшедшему негодяю, Гарину, вздумается продавать золото по доллару за килограмм или по десяти центов. Старые сенаторы и члены палаты ходили с белыми от ужаса глазами по кулуарам. Промышленные и финансовые короли разводили руками:

«Это мировая катастрофа, — хуже, чем столкновение с кометой».

«Кто такой инженер Гарин? — спрашивали. — Что ему в сущности нужно? Разорить страну? Глупо. Непонятно...

Чего он добивается? Хочет быть диктатором? Пожалуй-ста, если ты самый богатый человек на свете. В конце концов нам и самим этот демократический строй надоел хуже маргарина... В стране безобразия, разбой, беспорядок, чепуха, — право, уж лучше пусть правит страной диктатор, вождь с волчьей хваткой».

Когда стало известно, что на заседании будет сам Гарин, публики в конференц-зале набралось столько, что висели на колоннах, на окнах. Появился президиум. Сели. Молчали. Ждали. Наконец председатель открыл рот, и все, кто был в зале, повернулись к высокой белой с золотом двери. Она раскрылась. Вошел небольшого роста человек, необычайно бледный, с острой темной бородкой, с темными глазами, обведенными тенью. Он был в сером обыкновенном пиджаке, красный галстук — бабочкой, башмаки коричневые, на толстой подошве, в левой руке новые перчатки.

Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородака его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, — так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением, он сказал:

— Джентльмены... Я — Гарин... Я принес миру золото...

Весь зал обрушился аплодисментами. Все, как один человек, поднялись и одной глоткой крикнули:

— Да здравствует мистер Гарин!.. Да здравствует диктатор!..

За окнами миллионная толпа ревела, топая в такт подошвами:

— Бруски!.. Бруски!.. Бруски!..

119

«Аризона» только что вернулась в гавань Золотого острова. Янсен докладывал мадам Ламоль о положении вещей на континенте. Зоя была еще в постели, среди кружевных подушек (малый утренний прием). Полутемную спальню наполнял острый запах цветов, идущий из сада. Над правой рукой ее работала маникюрша. В другой она держала зеркальце и, разговаривая, недовольно посматривала на себя.

— Но, мой друг, Гарин сходит с ума,— сказала она Янсену,— он обесценивает золото... он хочет быть диктатором нищих.

Янсен искоса посматривал на великолепие только что отделанной спальни. Ответил, держа на коленях фуражку:

— Гарин сказал мне при свидании, чтобы вы не тревожились, мадам Ламоль. Он ни на шаг не отступает от задуманной программы. Повалив золото, он выиграл сражение. На будущей неделе сенат объявит его диктатором. Тогда он поднимет цену золота.

— Каким образом? Не понимаю.

— Издаст закон о запрещении ввоза и продажи золота. Через месяц оно поднимется до прежней цены. Продано не так уж много. Больше было шума.

— А шахта?

— Шахта будет уничтожена.

Мадам Ламоль нахмурилась. Закурила:

— Ничего не понимаю.

— Необходимо, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота. Разумеется, перед тем как уничтожить шахту, будет извлечен запас с таким расчетом, чтобы за Гариным было обеспечено свыше пятидесяти процентов мирового количества золота. Таким образом, паритет если и упадет, то на несколько центов за доллар.

— Превосходно... но сколько же они ассигнуют на мой двор, на мои фантазии? Мне нужно ужасно много.

— Гарин просил вас составить смету. В порядке законодательства вам будет отпущено столько, сколько вы потребуете...

— Но разве я знаю, сколько мне нужно?.. Как это все глупо!.. Во-первых, на месте рабочего поселка, мастерских, складов будут построены театры, отели, цирки. Это будет город чудес... Мосты, как на старинных китайских рисунках, соединят остров с мелями и рифами. Там я построю купальни, павильоны для игр, гавани для яхт и воздушных кораблей. На юге острова будет огромное здание, видимое за много миль: «Дом, где почиет гений». Я ограблю все музеи Европы. Я соберу все, что было создано человечеством. Милый мой, у меня голова трещит от всех этих планов. Я и во сне вижу какие-то мраморные лестницы, уходящие к облакам, праздники, карнавалы...

Янсен вытянулся на золоченом стульчике:

— Мадам Ламоль...

— Подождите, — нетерпеливо перебила она, — через три недели сюда приезжает мой двор. Весь этот сброд нужно кормить, развлекать и приводить в порядок. Я хочу пригласить из Европы двух-трех настоящих королей и дюжину принцев крови. Мы привезем папу из Рима на дирижабле. Я хочу быть помазанной и коронованной по всем правилам, чтобы перестали сочинять обо мне уличные фокстроты...

— Мадам Ламоль, — сказал Янсен умоляюще, — я не видал вас целый месяц. Покуда вы еще свободны. Пойдемте в море. «Аризона» отделана заново. Мне хотелось бы снова стоять с вами на мостике под звездами.

Зоя взглянула на него, лицо ее стало нежным. Усмехаясь, протянула руку. Он прижался к ней губами и долго оставался склоненным.

— Не знаю, Янсен, не знаю, — проговорила она, касаясь другой рукой его затылка, — иногда мне начинает казаться, что счастье — только в погоне за счастьем... И еще — в воспоминаниях... Но это в минуты усталости... Когда-нибудь я вернусь к вам, Янсен... Я знаю, вы будете ждать меня терпеливо... Вспомните... Средиземное море, лазурный день, когда я посвятила вас в командоры ордена «Божественной Зои»... (Она засмеялась и сжала пальцами его затылок.) А если не вернусь, Янсен, то мечта и тоска по мне — разве это не счастье? Ах, друг мой, никто не знает, что Золотой остров — это сон, приснившийся мне однажды в Средиземном море, — я задремала на палубе и увидела выходящие из моря лестницы и дворцы, дворцы — один над другим — уступами, один другого прекраснее... И множество красивых людей, моих людей, моих, понимаете. Нет, я не успокоюсь, покуда не построю приснившийся мне город. Знаю, верный друг мой, вы предлагаете мне себя, капитанский мостик и морскую пустыню взамен моего сумасшедшего бреда. Вы не знаете женщин, Янсен... Мы легкомысленны, мы расточительны... Я вышвырнула, как грязные перчатки, миллиарды Роллинга, потому что все равно они не спасли бы меня от старости, от увядания... Я побежала за нищим Гариным. У меня закружилась голова от сумасшедшей мечты. Но любила я его одну только ночь... С той ночи я не могу больше любить, как вы этого хотите. Милый, милый Янсен, что же мне делать с собой?.. Я должна лететь в эту головокружительную фантазию, покуда не остановится сердце... (Он

поднялся со стула, она вдруг ухватила за его руку.) Я знаю — один человек на свете любит меня. Вы, вы, Янсен. Разве я могу поручиться, что вдруг не прибегу к вам, скажу: «Янсен, спасите меня от меня самой...»

120

В белом домике на берегу уединенной бухты Золотого острова всю ночь шли горячие споры. Шельга прочел наспех набросанное им воззвание:

«Трудящиеся всего мира! Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты, когда в гавань Сан-Франциско вошли корабли Гарина, груженные золотом.

Капитализм зашатался: золото обесценивается, все валюты летят кувырком, капиталистам нечем платить своим наемникам — полиции, карательным войскам, провокаторам и продажным народным трибунам. Во весь рост поднялся призрак пролетарской революции.

Но инженер Гарин, нанесший такой удар капитализму, меньше всего хочет, чтобы последствием его авантюры была революция.

Гарин идет к власти. Гарин ломает на своем пути сопротивление капиталистов, еще недостаточно ясно понявших, что Гарин — новое орудие борьбы с пролетарской революцией.

Гарин очень скоро договорится с крупнейшими из капиталистов.

Они объявят его диктатором и вождем. Он присвоит себе половину мирового золота и тогда прикажет засыпать шахту на Золотом острове, чтобы количество золота было ограничено.

Он вместе с шайкой крупнейших капиталистов ограбит все человечество и людей превратит в рабов.

Трудящиеся всего мира! Час решительной борьбы настал. Об этом объявляет Революционный комитет Золотого острова. Он объявляет, что Золотой остров вместе с шахтой и всеми гиперболами переходит в распоряжение восставших всего мира. Неисчерпаемые запасы золота отныне в руках трудящихся.

Гарин со своей шайкой будет жестоко защищаться. Чем скорее мы перейдем в наступление, тем вернее наша победа».

Не все члены Революционного комитета одобрили это воззвание, — часть из них колебалась, испуганная смелостью: удастся ли так быстро поднять рабочих? Удастся ли достать оружие? У капиталистов и флот, и могучие армии, и полиция, вооруженная боевыми газами и пулеметами.

тами... Не лучше ли выждать или уж в крайней мере начать со всеобщей забастовки?..

Шельга, сдерживая бешенство, говорил колеблющимся:

— Революция — это высшая стратегия. А стратегия — наука побеждать. Побеждает тот, кто берет инициативу в свои руки, кто смел. Спокойно взвешивать вы будете потом, когда после победы вздумаете писать для будущих поколений историю нашей победы... Поднять восстание нам удастся, если мы напряжем все силы. Оружие мы достанем в бою. Победа обеспечена потому, что победить хочет все трудящееся человечество, а мы — его передовой отряд. Так говорят большевики. А большевики не знают поражений.

При этих его словах рослый парень с голубыми глазами — шахтер, молчаливый во все время спора, вынул изо рта трубку.

— Баста! — сказал он густым голосом. — Довольно болтовни. За дело, ребята!..

121

Седой рослый камердинер, в ливрейном фраке и в чулках, беззвучно вошел в опочивальню, поставил чашку шоколаду и бисквиты на ночной столик и с тихим шелестом раздвинул шторы на окнах. Гарин раскрыл глаза:

— Папиросу.

От этой русской привычки — курить натошак — он не мог отделаться, хотя и знал, что американское высшее общество, интересующееся каждым его шагом, движением, словом, видит в курении натошак некоторый признак безнравственности.

В ежедневных фельетонах вся американская пресса совершенно обелила прошлое Петра Гарина. Если ему в прошлом приходилось пить вино, то только по принуждению, а на самом деле он был враг алкоголя; отношения его к мадам Ламоль были чисто братские, основанные на духовном общении; оказалось даже, что любимым занятием его и мадам Ламоль в часы отдыха было чтение вслух любимых глав из библии; некоторые его резкие поступки (история в Вилль Давре, взрыв химических заводов, потопление американской эскадры и др.) объяснялись одни — роковой случайностью, другие — неосторож-

ным обращением с гиперболоидом, во всяком случае великий человек искренне и глубоко в них раскаивается и готовится вступить в лоно церкви, чтобы окончательно смыть с себя невольные грехи (между протестантской и католической церквями уже началась борьба за Петра Гарина), и, наконец, ему приписывали увлечение с детства по крайней мере десятью видами спорта.

Выкурив толстую папиросу, Гарин покосился на шоколад. Будь это в прежнее время, когда его считали негодяем и разбойником, он спросил бы содовой и коньяку, чтобы хорошенько вздернуть нервы, но пить диктатору полумира с утра коньяк! Такая безнравственность отшатнула бы всю солидную буржуазию, сплотившуюся, как наполеоновская гвардия, вокруг его трона.

Морщась, он хлебнул шоколаду. Камердинер, с торжественной грустью стоявший у дверей, спросил вполголоса:

— Господин диктатор разрешит войти личному секретарю?

Гарин лениво сел на кровати, натянул шелковую пижаму:

— Просите.

Вошел секретарь, достойно три раза — у дверей, посреди комнаты и близ кровати — поклонился диктатору. Пожелал доброго утра. Чуть-чуть покосился на стул.

— Садитесь, — сказал Гарин, зевнув так, что щелкнули зубы.

Личный секретарь сел. Это был одетый во все темное, средних лет костлявый мужчина с морщинистым лбом и провалившимися щеками. Веки его глаз были всегда полуопущены. Он считался самым элегантным человеком в Новом Свете и, как думал Петр Петрович, был приставлен к нему крупными финансистами в виде шпиона.

— Что нового? — спросил Гарин. — Как золотой курс?

— Поднимается.

— Туговато все-таки. А?

Секретарь меланхолично поднял веки:

— Да, вяло. Все еще вяло.

— Мерзавцы!

Гарин сунул босые ноги в парчовые туфли и зашагал по белому ковру опочивальни:

— Мерзавцы, сукины дети, ослы!

Невольно левая рука его полезла за спину, большим пальцем правой он зацепился за связки пижамовых шта-

нов и так шагал с упавшей на лоб прядью волос. Видимо, и секретарю эта минута казалась исторической: он вытянулся на стуле, вытянул шею из крахмального воротника, — казалось, прислушивался к шагам истории.

— Мерзавцы! — последний раз повторил Гарин. — Медленность поднятия курса я понимаю как недоверие ко мне. Мне! Вы понимаете? Я издам декрет о запрещении вольной продажи золотых брусков под страхом смертной казни... Пишите.

Он остановился и, строго глядя на пышно-розовый зад Авроры, летящей среди облаков и амуров на потолке, начал диктовать:

«От сего числа постановлением сената...»

Покончив с этим делом, он выкурил вторую папиросу. Бросил окурок в недопитую чашку шоколада. Спросил:

— Еще что нового? Покушений на мою жизнь не обнаружено?

Длинными пальцами с длинными отполированными ногтями секретарь взял из портфеля листочек, про себя прочел его, перевернул, опять перевернул:

— Вчера вечером и сегодня в половине седьмого утра полицией раскрыты два новых покушения на вас, сэр.

— Ага! Очень хорошо. Обнародовать в печати. Кто же это такие? Надеюсь, толпа сама расправилась с негодьями? Что?

— Вчера вечером в парке перед дворцом был обнаружен молодой человек, с виду рабочий, в карманах его найдены две железные гайки, каждая весом в пятьсот граммов. К сожалению, было уже поздно, парк малолюден, и только несколькими прохожим, узнавшим, что покушаются на жизнь обожаемого диктатора, удалось ударить несколько раз негодяя. Он задержан.

— Эти прохожие были все же частные лица или агенты?

У секретаря затрепетали веки, он чуть-чуть усмехнулся уголком рта — единственной во всей Северной Америке, неподражаемой улыбкой:

— Разумеется, сэр, это были частные лица, честные торговцы, преданные вам, сэр.

— Узнать имена торговцев, — продиктовал Гарин, — в печати выразить им мою горячую признательность. Покушавшегося судить по всей строгости законов. После осуждения я его помилую.

— Второе покушение произошло также в парке, — продолжал секретарь. — Была обнаружена дама, смотревшая на окна вашей опочивальни, сэр. При даме найден небольшой револьвер.

— Молоденькая?

— Пятидесяти трех лет. Девица.

— И что же толпа?

— Толпа ограничилась тем, что сорвала с нее шляпу, изломала зонтик и растоптала сумочку. Такой сравнительно слабый энтузиазм объясняется ранним часом утра и жалким видом самой дамы, немедленно упавшей в обморок при виде разъяренной толпы.

— Выдать старой вороне заграничный паспорт и немедленно вывезти за пределы Соединенных Штатов. В печати говорить глухо об этом инциденте. Что еще?

Без пяти девять Гарин взял душ, после чего отдал себя в работу парикмахеру и его четверем помощникам. Он сел в особое, вроде зубоврачебного, кресло, покрытое льняной простыней, перед тройным зеркалом. Одновременно лицо его было подвергнуто паровой ванне, над ногтями обеих рук запорхали пилочками, ножичками, замшевыми подушечками две блондинки, над ногтями ног — две искуснейшие мулатки. Волосы на голове освежены в нескольких туалетных водах и эссенциях, тронуты щипцами и причесаны так, что стало незаметно плечи. Брадобрей, получивший титул баронета за удивительное искусство, побрил Петра Петровича, напудрил и надушил лицо и голову различными духами: шею — запахом роз, за ушами — шипром, виски — букетом Вернэ, около губ — веткой яблони (греб эпл), бородку — тончайшими духами «Сумерки».

После всех этих манипуляций диктатора можно было обернуть шелковой бумагой, положить в футляр и послать на выставку. Гарин с трудом дотерпел до конца, он подвергался этим манипуляциям каждое утро, и в газетах писали о его «четверти часа после ванны». Делать было нечего.

Затем он проследовал в гардеробную, где его ожидали два лакея и давешний камердинер с носками, рубашками, башмаками и прочим. На сегодня он выбрал коричневый костюм с искоркой. Сволочи-репортеры писали, что одним из удивительнейших талантов диктатора было

уменьше выбрать галстук. Приходилось подчиняться и держать ухо востро. Гарин выбрал галстук расцветки павлиньего пера. Ругаясь вполголоса по-русски, сам завязал его.

Следуя в столовую, отделанную в средневековом вкусе, Гарин подумал:

«Так долго не выдержать, вот черт, навязали режим».

За завтраком (опять-таки ни капли алкоголя) диктатор должен был просматривать корреспонденцию. На севрском подносе лежали сотни три писем. Жуя копченую поджаренную рыбу, безвкусную ветчину и овсяную кашу, варенную на воде без соли (утренняя пища спортсменов и нравственных людей), Гарин брал наугад хрустящие конверты. Распечатывал грязной вилкой, мельком прочитывал:

«Мое сердце бьется, от волнения моя рука едва выводит эти строки... Что вы подумаете обо мне? Боже! Я вас люблю. Я любила вас с той минуты, когда увидела в газете наименование ваш портрет. Я молода. Я дочь достойных родителей. Я полна энтузиазма стать женой и матерью...»

Обычно прилагалась фотографическая карточка. Все это были любовные письма со всех концов Америки. От фотографий (за месяц их накопилось несколько десятков тысяч) этих мордашек, с пышными волосами, невинными глазами и глупыми носиками становилось ужасно, смертельно скучно. Прodelать головокружительный путь от Крестовского острова до Вашингтона, от нетопленной комнаты в уединенном доме на Петроградской, где Гарин ходил из угла в угол, сжимая руку и разыскивая почти несуществующую лазейку спасения (бегство на «Бибигонде»), до золотого председательского кресла в сенате, куда он через двадцать минут должен ехать... Ужаснуть мир, овладеть подземным океаном золота, добиться власти мировой — все только затем, чтобы попасть в ловушку филистерской скучнейшей жизни.

— Тьфу ты, черт!

Гарин швырнул салфетку, забарабанил пальцами. Ничего не придумаешь. Добиваться нечего. Дошел до самого верха. Диктатор. Потребовать разве императорского титула? Тогда уж совсем замучают. Удрать? Куда? И зачем? К Зое? Ах, Зоя! С ней порвалось что-то самое главное, что возникло в сырую, теплую ночь в старенькой гостинице в Вилль Давре. Тогда, под шелест листьев за окном, среди мучительных ласк, зародилась вся фантастика гаринской авантюры. Тогда был восторг наступающей борь-



бы. Тогда легко было сказать, — брошу к твоим ногам мир... И вот Гарин — победитель. Мир — у ног. Но Зоя — далекая, чужая, мадам Ламоль, королева Золотого острова. У кого-то другого кружится голова от запаха ее волос, от пристального взгляда ее холодных, мечтательных глаз. А он, Гарин, повелитель мира, кушает кашу без соли, рассматривает, зевая, глупые физиономии на карточках. Фантастический сон, приснившийся в Вилль Давре, отлетел от него... Издавай декреты, выламывайся под великого человека, будь приличным во всех отношениях... Вот черт!.. Хорошо бы потребовать коньяку...

Он обернулся к лакеям, стоявшим, как чучела в паноптикуме, в отдалении у дверей. Сейчас же двое выступили вперед, один склонился вопросительно, другой проговорил бесполым голосом:

— Автомобиль господина диктатора подан.

В сенат диктатор вошел, нагло ступая каблуками. Сев в золоченое кресло, проговорил металлическим голосом формулу открытия заседания. Брови его были сдвинуты, лицо выражало энергию и решимость. Десятки аппаратов сфотографировали и сняли на кино его в эту минуту. Сотни прекрасных женщин в ложах для публики отдались ему энтузиастическими взглядами.

Сенат имел честь поднести ему на сегодня титулы: лорда Нижне-Уэльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мюльгаузен и соимператора Всероссийского. От Североамериканских Соединенных Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической, титулов не полагалось, поднесли звание «Бизмен оф готт», что, в переводе на русский язык, значило: «Купчина божьей милостью».

Гарин благодарил. Он с удовольствием плюнул бы на эти жирные лысины и уважаемые плечи, сидящие перед ним амфитеатром в двусветном зале. Но он понимал, что не плюнет, но сейчас встанет и поблагодарит.

«Подождите, сволочи, — думал он, стоя (бледный, маленький, с острой бородкой) перед аплодирующим ему амфитеатром, — поднесу я вам проект о чистоте расового отбора и первой тысяче...» Но и сам чувствовал, что опутан по рукам и ногам, и в звании лорда, герцога, графа, божьего купчины он ничего такого решительного не поднесет... А на банкет сейчас поедет из зала сената...

На улице автомобиль диктатора приветствовали криками. Но присмотреться — кричали все какие-то рослые ребята, похожие на переодетых полицейских, — Гарин раскланивался и помахивал рукой, затянутой в лимонную перчатку. Эх, не родись он в России, не переживи он революции, наверное переезд по городу среди ликующего народа, выражающего криками «гип, гип» и бросанием бутоньерок свои верноподданнейшие чувства, доставил бы ему живейшее удовольствие. Но Гарин был отравленным человеком. Он злился: «Дешевка, дешевка, заткните глотки, скоты, радоваться нечему». Он вылез из машины у подъезда городской думы, где десятки женских рук (дочерей керосиновых, железнодорожных, консервных и прочих королей) осыпали его цветами.

Взбегая по лестнице, он посылал воздушные поцелуйки направо и налево. В зале грянула музыка в честь божьего купчины. Он сел, и сели все. Белоснежный стол в виде буквы «П» пестрел цветами, сверкал хрусталем. У каждого прибора лежало по одиннадцати серебряных ножей и одиннадцати вилок различных размеров (не считая ложек, ложечек, пинцетов для омаров и щипчиков для спаржи). Нужно было не ошибиться, — каким ножом и вилок что есть.

Гарин скрипнул зубами от злости: аристократы, подумаешь, — из двухсот человек за столом три четверти торговали селедками на улице, а теперь иначе как при помощи одиннадцати вилок им неприлично кушать! Но глаза были устремлены на диктатора, и он и на этот раз подчинился общественному давлению — держал себя за столом образцово.

После черепахового супа начались речи. Гарин выслушивал их стоя, с бокалом шампанского. «Напьюсь!» — зигзагом проносилось в голове. Напрасная попытка.

Двум своим соседкам, болтливым красавицам, он даже подтвердил, что действительно по вечерам читает Библию.

Между третьим сладким и кофе он ответил на речи: «Господа, власть, которой вы меня облекли, я принимаю как перст божий, и священный долг моей совести повелевает употребить эту небывалую в истории власть на расширение наших рынков, на пышный расцвет нашей промышленности и торговли и на подавление беззавест-

венных попыток черни к ниспровержению существующего строя...» И так далее...

Речь произвела отрадное впечатление. Правда, по окончании ее диктатор прибавил, как бы про себя, три каких-то энергичных слова, но они были сказаны на непонятном, видимо русском, языке и прошли незамеченными. Затем Гарин поклонился на три стороны и вышел, сопровождаемый воем труб, грохотом литавр и радостными восклицаниями. Он поехал домой.

В вестибюле дворца швырнул на пол трость и шляпу (паника среди кинувшихся поднимать лакеев), глубоко засунул руки в карманы штанов и, зло задрав бородку, поднялся по пышному ковру. В кабинете его ожидал личный секретарь.

— В семь часов вечера в клубе «Пасифик» в честь господина диктатора состоится ужин, сопровождаемый симфоническим оркестром.

— Так,--- сказал Гарин. (Опять прибавил три непонятных слова по-русски.) — Еще что?

— В одиннадцать часов сегодня же в белой зале отеля «Индиана» состоится бал в честь...

— Телефоните туда и туда, что я заболел, объевшись в городской ратуше крабами.

— Осмелюсь выразить опасение, что хлопот будет больше от мнимой болезни: к вам немедленно приедет весь город выражать соболезнование. Кроме того — газетные хроникеры. Они будут пытаться проникнуть даже через каминные трубы...

— Вы правы. Я еду.— Гарин позвонил.— Ванну. Приготовить вечернее платье, регалии и ордена.— Некоторое время он ходил, вернее — бегал по ковру.— Еще что?

— В приемной несколько дам ожидают аудиенции.

— Не принимаю.

— Они ждут с полудня.

— Не желаю. Отказать.

— С ними слишком трудно бороться. Осмелюсь заметить: это дамы высшего общества. Три знаменитых писательницы, две кинозвезды, одна путешественница в автомобиле с мировым стажем и одна известная благотворительница.

— Хорошо... Просите... Все равно какую-нибудь...

Гарин сел к столу (налево — радиоприемник, направо — телефоны, прямо — труба диктофона). Придвинул

чистую четвертушку бумаги, обмакнул перо и вдруг задумался...

«Зоя,— начал писать он по-русски твердым, крупным почерком,— друг мой, только вы одна в состоянии понять, какого я сыграл дурака...»

— Тс-с-с,— слышалось у него за спиной.

Гарин резко всем телом повернулся в кресле. Секретарь уже ускользнул в боковую дверь,— посреди кабинета стояла дама в светло-зеленом. Она слабо вскрикнула, стискивая руки. На лице изобразилось именно то, что она стоит перед величайшим в истории человеком. Гарин секунду рассматривал ее. Пожал плечами.

— Раздевайтесь! — резко приказал он и повернулся в кресле, продолжая писать.

Без четверти восемь Гарин поспешно подошел к столу. Он был во фраке, со звездами, регалиями и лентой поверх жилета. Раздавались резкие сигналы радиоприемника, всегда настроенного на волну станции Золотого острова. Гарин надел наушники. Голос Зои, явственный, но неживой, точно с другой планеты, повторял по-русски:

— Гарин, мы погибли... Гарин, мы погибли... На острове восстание. Большой гиперболоид захвачен... Янсен со мной... Если удастся,— бежим на «Аризоне».

Голос прервался. Гарин стоял у стола, не снимая наушников. Личный секретарь, с цилиндром и тростью Гарина, ждал у дверей. И вот приемник снова начал подавать сигналы. Но другой уже голос, мужской, резкий, заговорил по-английски:

«Трудящиеся всего мира. Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты...»

Дослушав до конца воззвание Шельги, Гарин снял наушники. Не спеша, с кривой усмешкой закурил сигару. Из ящичков стола вынул пачку стодолларовых бумажек и никелированный аппарат в виде револьвера с толстым дулом: это было его последнее изобретение — карманный гиперболоид. Взмахом бровей подозвал личного секретаря:

— Распорядитесь немедленно приготовить дорожную машину.

У секретаря первый раз за все время поднялись веки, рыжие глаза колюче взглянули на Гарина:

— Но, господин диктатор...

— Молчать! Немедленно передать начальнику войск, губернатору города и гражданским властям, что с семи часов вводится военное положение. Единственная мера пресечения беспорядка в городе — расстрел.

Секретарь мгновенно исчез за дверью.

Гарин подошел к тройному зеркалу. Он был в регалиях и звездах, бледный, похожий на восковую куклу из паноптикума. Он долго глядел на себя, и вдруг один глаз его сам собою насмешливо подмигнул... «Уноси ноги, Пьер Гарри, уноси ноги поскорее», — проговорил он самому себе шепотом.

122

События на Золотом острове начались к вечеру двадцать третьего июня. Весь день бушевал океан. Грозовые тучи ползли с юго-запада. Трещало небо от огненных зигзагов. Водяная пыль перелетала бешеным туманом через весь остров.

В конце дня гроза ушла, молнии полыхали далеко за краем океана, но ветер с неослабеваемой силой клонил к земле деревья, гнул стрелы высоких фонарей, рвал проволоки, уносил бесформенными полотнищами крыши с барачных и выл и свистал по всему острову с такой сатанинской злобой, что все живое попряталось по домам. В гавани скрипели корабли на причалах, несколько барок было сорвано с якорных цепей и унесено в океан. Как поплавок, одна в небольшой гавани, против дворца прыгала на волнах «Аризона».

Население острова сильно уменьшилось за последнее время. Работы в шахте были приостановлены. Грандиозные постройки мадам Ламоль еще не начинались. Из шести тысяч рабочих осталось около пятисот. Остальные покинули остров, нагруженные золотом. Опустевшие бараки рабочего поселка, Луна-парк, публичные дома сносили, землю выравнивали под будущую стройку.

Гвардейцам окончательно нечего было делать на этом мирном клочке земли. Прошло то время, когда желто-белые, как сторожевые псы, торчали с винтовками на скалах, шагали вдоль проволоки, многозначительно пощелкивая затворами. Гвардейцы начали спиваться. Тосковали по

большим городам, шикарным ресторанам, веселым женщинам. Просились в отпуск, грозили бунтом. Но было строгое распоряжение Гарина: ни отпусков, ни увольнений. Гвардейские казармы были под постоянным прицелом ствола большого гиперболоида.

В казармах шла отчаянная игра. Расплачивались именными записками, так как золото, лежавшее штабелями около казарм, надоело всем хуже горькой редьки. Играли на любовниц, на оружие, на обкуренные трубки, на бутылки старого коньяку или на — «раз-два по морде». К вечеру обычно вся казарма напивалась вдребезги. Генерал Субботин едва уже мог поддерживать не то что дисциплину, — какое там, — просто приличие.

— Господа офицеры, стыдно, — гремел ежевечерне голос генерала Субботина в офицерской столовой, — опустились, господа офицеры, на полу наблевано-с, воздух как в бардаке-с. В кальсонах изволите щеголять, штаны проиграли-с. Удручен, что имею несчастье командовать бандой сволочей-с.

Никакие меры воздействия не помогали. Но никогда еще не было такого пьянства, как в день шторма двадцать третьего июня. Завывающий ветер вогнал гвардейцев в дикую тоску, навеял давние воспоминания, заныли старые раны. Водяная пыль была дождем в окно. Ураганным огнем ухала и ахала небесная артиллерия. Дрожали стены, звенели стаканы на столах. Гвардейцы за длинными столами, положив на них локти, подпирая удалые головы, нечесанные, немытые, пели вражескую песню: «Эх, яблочко, куды котисся...» И песня эта, черт знает из какой далекой жизни завезенная на затерянный среди волн островок, казалась шепоткой родной соли. Мотались в слезах пьяные головы. Генерал Субботин охрип, воздействуя, — послал всех к чертям свинячьим, напился сам.

Разведка Ревкома (в лице Ивана Гусева) донесла о тяжком положении противника в казармах. В седьмом часу вечера Шельга с пятью рослыми шахтерами подошел к гауптвахте (перед казармами) и начал ругаться с двумя подвыпившими часовыми, стоявшими у винтовок в козлах. Увлеченные русскими оборотами речи, часовые утратили бдительность, внезапно были сбиты с ног, обезоружены и связаны. Шельга овладел сотней винтовок. Их сейчас же роздали рабочим, подходившим от фонаря к фонарю, прячась за деревьями и кустами, ползя через лужайки.

Сто человек ворвались в казармы. Начался чудовищный переполох, гвардейцы встретили наступающих бутылками и табуретами, отступили, организовались и открыли револьверный огонь. На лестницах, в коридорах, в дортуарах шел бой. Трезвые и пьяные дрались врукопашную. Из разбитых окон вырывались дикие вопли. Нападавших было мало, — один на пятерых, — но они молотили, как цепами, мозольными кулачищами изнеженных желто-белых. Подбегали подкрепления. Гвардейцы начали выкидываться из окошек. В нескольких местах вспыхнул пожар, казармы заволокло дымом.

123

Янсен бежал по пустынным неосвещенным комнатам дворца. С грохотом и шипеньем обрушивался прибор на веранду. Свистал ветер, потрясая оконные рамы. Янсен звал мадам Ламоль, прислушивался в ужасающей тревоге.

Он побежал вниз, на половину Гарина, летел сажеными прыжками по лестницам. Внизу слышны были выстрелы, отдельные крики. Он выглянул во внутренний сад. Пусто, ни души. На противоположной стороне, под аркой, затянутой плющом, снаружи ломились в ворота. Как можно было так крепко сжать, что только пуля, разбившая оконное стекло, разбудила Янсена. Мадам Ламоль бежала? Быть может, убита?



Он отворил какую-то дверь наугад. Вошел. Четыре голубоватых шара и пятый, висящий под мозаичным потолком, освещали столы, уставленные приборами, мраморные доски с измерителями, лакированные ящики и шкафчики с катодными лампами, провода динамо, письменный

стол, заваленный чертежами. Это был кабинет Гарина. На ковре валялся скомканный платочек. Янсен схватил его, — он пахнул духами мадам Ламоль. Тогда он вспомнил, что из кабинета есть подземный ход к лифту большого гиперболоида и где-то здесь должна быть потайная дверь. Мадам Ламоль, конечно, при первых же выстрелах кинулась на башню, — как было не догадаться!

Он оглядывался, ища эту дверцу. Но вот послышался звон разбиваемых стекол, топот ног, за стеной начали перекликаться торопливые голоса. Во дворец ворвались. Так что же медлит мадам Ламоль? Он подскочил к двустворчатой резной двери и закрыл ее на ключ. Вынул револьвер. Казалось, весь дворец наполнился шагами, голосами, криками.

— Янсен!

Перед ним стояла мадам Ламоль. Ее побледневшие губы зашевелились, но он не слышал, что она сказала. Он глядел на нее, тяжело дыша.

— Мы погибли, Янсен, мы погибли! — повторила она.

На ней было черное платье. Руки, узкие и стиснутые, прижаты к груди. Глаза взволнованы, как синяя буря. Мадам Ламоль сказала:

— Лифт большого гиперболоида не действует, лифт поднят на самый верх. На башне кто-то сидит. Они забрались снаружи по перекладинам... Я уверена, что это — мальчишка Гусев...

Хрустнув пальцами, она глядела на резную дверь. Брови ее сдвигались. За дверью бешено протопали десятки ног. Раздался дикий вопль. Возня. Торопливые выстрелы. Мадам Ламоль стремительно села к столу, включила рубильник; мягко завыло динамо, лилово засветились грушевидные лампы. Застучал ключ, посылая сигналы.

— Гарин, мы погибли... Гарин, мы погибли... — заговорила она, нагнувшись над сеткой микрофона.

Через минуту резная дверь затрещала под ударами кулаков и ног.

— Отворите дверь! Отворяй!.. — раздались голоса.

Мадам Ламоль схватила Янсена за руку, потащила к стене и ногой нажала на завиток резного украшения у самого пола. Штофная панель между двух полуколонок неслышно упала в глубину. Мадам Ламоль и Янсен проскользнули через потайное отверстие в подземный ход. Панель встала на прежнее место.

• • • • •

После грозы особенно ярко мерцали и горели звезды над взволнованным океаном. Ветер валил с ног. Высоко взлетал прибой. Грохотали камни. Сквозь шум океана слышны были выстрелы. Мадам Ламоль и Янсен бежали, прячась за кустами и скалами, к северной бухте, где всегда стоял моторный катерок. Направо черной стеной поднимался дворец, налево — волны, светящиеся гривы пены и — далеко — огоньки танцующей «Аризоны». Позади решетчатым силуэтом, уходящим в небо, рисовалась башня большого гиперболоида. На самом верху ее был свет.

— Смотрите, — откинувшись на бегу и махнув рукой в сторону башни, крикнула мадам Ламоль, — там свет! Это смерть!

Она спустилась по крутому откосу к бухте, закрытой от волн. Здесь у лестницы, ведущей на веранду дворца, у небольших бонов, болтался катерок. Она прыгнула в него, перебежала на корму и трясущимися руками включила стартер.

— Скорее, скорее, Янсен!

Катерок был ошвартован на цепи. Засунув в кольцо ствол револьвера, Янсен ломал замок. Наверху, на веранде, со звоном распахнулись двери, появились вооруженные люди. Янсен бросил револьвер и захватил цепь у корня. Мускулы его затрещали, шея вздулась, лопнул крючок на воротах куртки. Внезапно застрелял включенный мотор. Люди на террасе побежали вниз по лестнице, размахивая оружием, крича: «Стой, стой!»

Последним усилием Янсен вырвал цепь, далеко отпихнул пыхтящий катер на волны и на четвереньках побежал вдоль борта к рулю.

Описав крутую дугу, катер полетел к узкому выходу из бухты. Вдогонку сверкнули выстрелы.

— Трап, черти соленые! — заорал Янсен на катере, пляшущем под бортом «Аризоны». — Где старший помощник? Спит! Повешу!

— Здесь, здесь, капитан. Есть, капитан.

— Руби канаты! Включай моторы! Полный газ! Туши огни!

— Есть, есть, капитан.

Мадам Ламоль первая поднялась по штормовому трапу. Перегнувшись через борт, она увидела, что Янсен силится встать, и падает как-то на бок, и судорожно ловит

брошенный конец. Волна покрыла его вместе с катером, и снова вынырнуло его отплевывающееся лицо, искаженное гримасой боли.

— Янсен, что с вами?

— Я ранен.

Четыре матроса прыгнули в катерок, подхватили Янсена, подняли на борт. На палубе он упал, держась за бок, потерял сознание. Его отнесли в каюту.

Полным ходом, разрезая волны, зарываясь в водяные пропасти, «Аризона» уходила от острова. Командовал старший помощник. Мадам Ламоль стояла рядом с ним на мостике, вцепившись в перила. С нее лила вода, платье облепило ее. Она глядела, как разгорается зарево (горели казармы) и черный дым, проверченный огненными спиралями, застилает остров. Но вот она, видимо, что-то заметила, схватила командира за рукав:

— Поверните на юго-запад...

— Здесь рифы, мадам.

— Молчать, не ваше дело!.. Проходите, имея остров на левом борту.

Она побежала к решетчатой башенке гиперболоида. Пелена воды, летя от носа по палубе, покрыла мадам Ламоль, сбила с ног. Матрос подхватил ее, мокрую и взбесившуюся от злости. Она вырвалась, вскарабкалась на башенку.

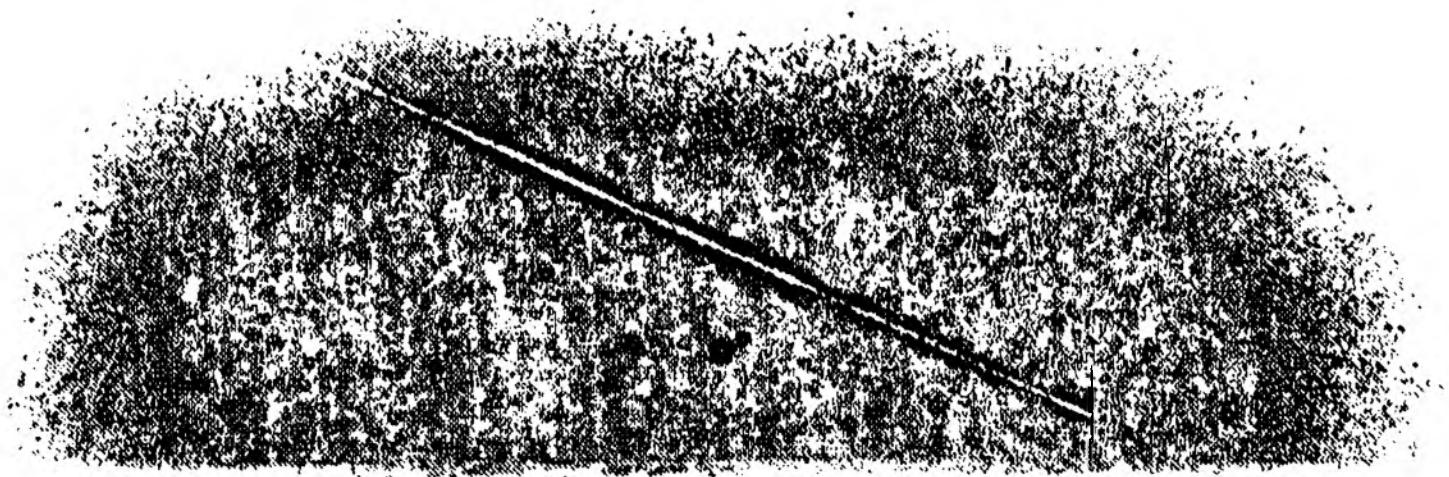
На острове, высоко над дымом пожара, сверкала ослепительная звезда,— это работал большой гиперболоид, нащупывая «Аризону».

Мадам Ламоль решила драться, все равно никаким ходом не уйти от луча, хватающего с башни на много миль. Луч сначала метался по звездам, по горизонту, описывая в несколько секунд круг в четыреста километров. Но теперь он упорно нащупывал западный сектор океана, бежал по гребням волн, и след его обозначался густыми клубами пара.

«Аризона» шла полным ходом в семи милях вдоль острова. Зарываясь до мачт в шипящую воду, взлетала скорлупкой на волну, и тогда с кормовой башенки мадам Ламоль била ответным лучом по острову. Уже запылали на нем кое-где деревянные постройки. Снопы искр вносились высоко, будто раздуваемые гигантскими мехами. Зарево бросало отблески на весь черный, взволнованный океан. И вот, когда «Аризона» поднялась на гребень, с острова увидели силуэт яхты, и жгуче-белая игла запля-

сала вокруг нее, ударяя сверху вниз, зигзагами, и удары, совсем близко, сближаясь, падали то перед кормой, то перед носом.

Зое казалось, что ослепительная звезда колет ей прямо в глаза, и она сама старалась уткнуться стволом аппарата в эту звезду на далекой башне. Бешено гудели винты «Аризоны», корма обнажилась, и судно начало уже клониться носом, соскальзывая с волны. В это время луч, нащупав прицел, взвился, затрепетал, точно примериваясь, и, не колеблясь, стал падать на профиль яхты. Зоя закрыла глаза. Должно быть, у всех, кто на борту был свидетелем этой дуэли, остановилось сердце.



Когда Зоя открыла глаза, перед ней была стена воды, пропасть, куда соскользнула «Аризона». «Это еще не смерть», — подумала Зоя. Сняла руки с аппарата, и руки ее без сил повисли.

Когда снова начался подъем на волну, стало понятно, почему миновала смерть. Огромные тучи дыма покрывали весь остров и башню, — должно быть, взорвались нефтяные цистерны. За дымовой завесой «Аризона» могла спокойно уходить.

Зоя не знала, удалось ли ей сбить большой гиперболоид, или только за дымом не стало видно звезды. Но не все ли теперь равно... Она с трудом спустилась с башенки. Придерживаясь за снасти, пробралась в каюту, где за синими занавесками тяжело дышал Янсен. Повалилась в кресло, зажгла восковую свечку, закурила.

.

«Аризона» уходила на северо-запад. Ветер ослаб, но океан все еще был неспокоен. По многу раз в день яхта посылала условные сигналы, пытаясь связаться с Гариным, и в сотнях тысяч радиоприемников по всему свету разда-

вался голос Зои: «Что делать, куда идти? Мы на такой-то широте и долготе. Ждем приказаний».

Океанские пароходы, перехватывая эти радио, спешили уйти подальше от страшного места, где снова обнаружилась «Аризона» — «гроза морей».

124

Облака горячей нефти окутывали Золотой остров. После урагана наступил штиль, и черный дым поднимался к безоблачному небу, бросая на воды океана огромную тень в несколько километров.

Остров казался вымершим, и только в стороне шахты, как всегда, не переставая поскрипывали черпаки элеваторов.

Затем в тишине раздалась музыка: торжественный медленный марш. Сквозь дымовую мглу можно было видеть сотни две людей: они шли, подняв головы, их лица были суровы и решительны. Впереди четверо несли на плечах что-то завернутое в красное знамя. Они взобрались на скалу, где возвышалась решетчатая башня большого гиперболоида, и у подножия ее опустили длинный сверток.

Это было тело Ивана Гусева. Он погиб вчера во время боя с «Аризоной». Взобравшись, как кошка, снаружи по решетчатым креплениям башни, он включил большой гиперболоид, нащупал «Аризону» среди огромных волн.

Огненный шнур с «Аризоны» плясал по острову, поджигая постройки, срезывал фонарные столбы, деревья. «Гадюка», — шептал Иван, поворачивая дуло аппарата, и так же, как во время письменного урока, когда Тарашкин учил его грамоте, помогал себе языком.

Он поймал «Аризону» на фокус и бил лучом по воде перед кормой и перед носом, сближая угол. Мешали облака дыма от загоревшихся цистерн. Вдруг луч с «Аризоны» превратился в ослепительную звезду, и она, сверкая, ужалила Ивана в глаза. Пронзенный насквозь лучом, он упал на кожух большого гиперболоида...

— Спи спокойно, Ванюша, ты умер как герой, — сказал Шельга. Он опустился перед телом Ивана, отогнул край знамени и поцеловал мальчика в лоб.

Трубы заиграли, и голоса двухсот человек запели «Интернационал».

Немного времени спустя из клубов черного дыма вылетел двухмоторный мощный аэроплан. Забирая высоту, он повернул на запад...

— Все ваши распоряжения исполнены, господин диктатор...

Гарин запер выходную дверь на ключ, подошел к плоскому книжному шкафу и справа от него провел рукой.

Секретарь сказал с усмешкой:

— Кнопка потайной двери с левой стороны, господин диктатор...

Гарин быстро, странно взглянул на него. Нажал кнопку, книжный шкаф бесшумно отодвинулся, открывая узкий проход в потайные комнаты дворца.

— Прошу, — сказал Гарин, предлагая секретарю пройти туда первым. Секретарь побледнел, Гарин с ледяной вежливостью поднял лучевой револьвер в уровень его лба. — Благоразумнее подчиняться, господин секретарь...

Дверь из капитанской каюты была открыта настежь. На койке лежал Янсен.

Яхта едва двигалась. В тишине было слышно, как разбивалась о борт волна.

Желание Янсена сбылось, — он снова был в океане, один с мадам Ламоль. Он знал, что умирает. Несколько дней боролся за жизнь, — сквозная пулевая рана в живот, — и, наконец, затих. Глядел на звезды через открытую дверь, откуда лился воздух вечности. Не было ни желаний, ни страха, только важность перехода в покой.

Снаружи, появившись тенью на звездах, вошла мадам Ламоль. Наклонилась над ним. Спросила шепотом, как он себя чувствует. Он ответил движением век, и она поняла, что он хотел ей сказать: «Я счастлив, ты со мной». Когда у него несколько раз, захватывая воздух, судорожно поднялась грудь, Зоя села около койки и не двигалась. Должно быть, печальные мысли бродили в ее голове.

— Друг мой, друг мой единственный, — проговорила она с тихим отчаянием, — вы один на свете любили меня. Одному вам я была дорога. Вас не будет... Какой холод, какой холод!..

Янсен не отвечал, только движением век будто подтвердил о наступающем холоде. Она видела, что нос его обострился, рот сложен в слабую улыбку. Еще недавно его лицо горело жаровым румянцем, теперь было как

восковое. Она подождала еще много минут, потом губами дотронулась до его руки. Но он еще не умер. Медленно приоткрыл глаза, разлепил губы. Зое показалось, что он сказал: «Хорошо...»

Потом лицо его изменилось. Она отвернулась и осторожно задернула синие шторы.

127

Секретарь — самый элегантный человек в Соединенных Штатах — лежал ничком, вцепившись застывшими пальцами в ковер: он умер мгновенно, без крика. Гарин, покусывая дрожащие губы, медленно засовывал в карман пиджака лучевой револьвер. Затем подошел к низенькой стальной двери. Набрал на медном диске одному ему известную комбинацию букв, — дверь раскрылась. Он вошел в железобетонную комнату без окон.

Это был личный сейф диктатора. Но вместо золота или бумаг здесь находилось нечто гораздо более ценное для Гарина: привезенный из Европы и сначала тайно содержавшийся на Золотом острове, затем — здесь — в потайных комнатах дворца, третий двойник Гарина — русский эмигрант, барон Корф, продавший себя за огромные деньги.

Он сидел в мягком кожаном кресле, задрав ноги на золоченый столик, где стояли в вазах фрукты и сласти (пить ему не разрешалось). На полу валялись книжки — английские уголовные романы. От скуки барон Корф плевал косточками вишен в круглый экран телевизионного аппарата, стоявшего в трех метрах от его кресла.

— Наконец-то, — сказал он, лениво обернувшись к вошедшему Гарину. — Куда вы, черт вас возьми, провалились?.. Слушайте, долго вы еще намерены меня мариновать в этом погребе? Ей-богу, я предпочитаю голодать в Париже...

Вместо ответа Гарин содрал с себя ленту, сбросил фрак с орденами и регалиями.

— Раздевайтесь.

— Зачем? — спросил барон Корф с некоторым любопытством.

— Давайте ваше платье.

— В чем дело?

— И — паспорт, все бумаги... Где ваша бритва?

Гарин подсел к туалетному столику. Не намыливая щек, морщась от боли, быстро сбрил усы и бороду.

— Между прочим, рядом в комнате лежит человек. Запомните — это ваш личный секретарь. Когда его хватят, можете сказать, что услали его с секретным поручением... Понятно вам?

— В чем дело, я спрашиваю? — заорал барон Корф, хватая на лету гаринские брюки.

— Я пройду отсюда потайным ходом в парк, к моей машине. Вы спрячете секретаря в камин и пройдете в мой кабинет. Немедленно вызовите по телефону Роллинга. Надеюсь, вы хорошо запомнили весь механизм моей диктатуры? Я, затем мой первый заместитель — начальник секретной полиции, затем мой второй заместитель — начальник отдела пропаганды, затем мой третий заместитель — начальник отдела провокации. Затем тайный совет трехсот, во главе стоит Роллинг. Если вы еще не совсем превратились в идиота, вы должны были все это вызубрить назубок... Снимайте же брюки, черт вас возьми!.. Роллингу по телефону скажите, что вы, то есть Пьер Гарин, становитесь во главе войск и полиции. Вам придется серьезно драться, милейший...

— Позвольте, а если Роллинг угадает по голосу, что это не вы, а я...

— А! В конце концов им наплевать... был бы диктатор...

— Позвольте, позвольте, — значит, с этой минуты я превращаюсь в Петра Петровича Гарина?

— Желаю успеха. Наслаждайтесь полнотой власти. Все инструкции на письменном столе... Я — исчезаю...

Гарин, так же, как давеча в зеркало, подмигнул своему двойнику и скрылся за дверью.

128

Едва только Гарин — один в закрытой машине — помчался через центральные улицы города, исчезло всякое сомнение: он вовремя унес ноги. Рабочие районы и предместья гудели сотысячными толпами... Кое-где уже плескались полотнища революционных знамен. Поперек улиц торопливо нагромождались баррикады из опрокинутых автобусов, мебели, выкидывае-

мой в окошки, дверей, фонарных столбов, чугунных решеток.

Опытным глазом Гарин видел, что рабочие хорошо вооружены. На грузовиках, продирающихся сквозь толпы, развозили пулеметы, гранаты, винтовки... Несомненно, это была работа Шельги...

Несколько часов тому назад Гарин со всей уверенностью бросил бы войска на восставших. Но сейчас он лишь нервнее нажимал педаль машины, несущейся среди проклятий и криков: «Долой диктатора! Долой совет трехсот!»

Гиперболоид был в руках Шельги. Об этом знали, об этом кричали восставшие. Шельга разыграет революцию, как дирижер — героическую симфонию.

Громкоговорители, установленные по приказу Гарина еще во время продажи золота, теперь работали против него — разносили на весь мир вести о поголовном восстании.

Двойник Гарина, против всех ожиданий Петра Петровича, начал действовать решительно и даже не без успеха. Его отборные войска штурмовали баррикады. Полиция с аэропланов сбрасывала газовые бомбы. Конница рубила палашами людей на перекрестках. Особые бригады взламывали дверные замки, врывались в жилища рабочих, уничтожая все живое.

Но восставшие держались упорно. В других городах, в крупных фабричных центрах, они решительно переходили в наступление. К середине дня вся страна пылала восстанием...

Гарин выжимал из машины всю скорость ее шестнадцати цилиндров. Ураганом проносился по улице провинциальных городков, сбивал свиней, собак, давил кур. Иной прохожий не успевал выпучить глаза, как запыленная, черная огромная машина диктатора, уменьшаясь и ревя, скрывалась за поворотом...

Он останавливался только на несколько минут, чтобы набрать бензина, налить воды в радиатор... Мчался всю ночь.

Наутро власть диктатора еще не была свергнута. Столица пылала, зажженная термитными бомбами, на улицах валялось до пятидесяти тысяч трупов. «Вот тебе и барон!» — усмехнулся Гарин, когда на остановке громкоговоритель прохрипел эти вести...

В пять часов следующего дня его машину обстреляли...

В семь часов, пролетая по какому-то городку, он видел революционные флаги и поющих людей...

Он мчался всю ночь — на запад, к Тихому океану. На рассвете, наливая бензин, услышал, наконец, из черного горла громкоговорителя хорошо знакомый голос Шельги:

— Победа, победа... Товарищи, в моих руках — страшное орудие революции, — гиперболоид...

Скрипнув зубами, не дослушав, Гарин помчался дальше. В десять часов утра он увидел первый плакат сбоку шоссе: на фанерном щите огромными буквами стояло:

«Товарищи... Диктатор взят живым... Но диктатор оказался двойником Гарина, подставным лицом. Петр Гарин скрылся. Он бежит на запад... Товарищи, проявляйте бдительность, задержите машину диктатора... Следовали приметы. Гарин не должен уйти от революционного суда...»

В середине дня Гарин обнаружил позади себя мотоцикл. Он не слышал выстрелов, но в десяти сантиметрах от его головы в стекле машины появилась пулевая дырка с трещинками. Затылку стало холодно. Он выжал весь газ, какой могла дать машина, метнулся за холм, свернул к лесистым горам. Через час влетел в ущелье. Мотор начал сдавать и заглох. Гарин выскочил, свернул руль, пустил машину под откос и, с трудом разминая ноги, стал взбираться по крутизне к сосновому бору.

Сверху он видел, как промчались по шоссе три мотоцикла. Задний остановился. Вооруженный, по пояс голый человек соскочил с него и нагнулся над пропастью, где валялась разбитая машина диктатора.

В лесу Петр Петрович снял с себя все, кроме штанов и нательной фуфайки, надрезал кожу на башмаках и пешком начал пробираться к ближайшей станции железной дороги.

На четвертый день он добрался до уединенной приморской мызы близ Лос-Анжелоса, где в ангаре висел, всегда наготове, его дирижабль.

Утренняя заря вошла на безоблачное небо. Розовым паром дымился океан. Гарин, перегнувшись в окно гондолы дирижабля, с трудом в бинокль разыскал глубоко внизу узенькую скорлупу яхты. Она дремала на зеркальной воде, просвечивающей сквозь легкий мгlistый покров.

Дирижабль начал опускаться. Он весь сверкал в лучах солнца. С яхты его заметили, подняли флаг. Когда гондола коснулась воды, от яхты отделилась шлюпка. На руле сидела Зоя. Гарин едва узнал ее — так осунулось ее лицо. Он прыгнул в шлюпку, с улыбочкой, как ни в чем не бывало, сел рядом с Зоей, потрепал ее по руке:

— Рад тебя видеть. Не грусти, крошка. Сорвалось — наплевать. Заварим новую кашу... Ну, чего ты повесила нос?..

Зоя, нахмурившись, отвернулась, чтобы не видеть его лица.

— Я только что похоронила Янсена. Я устала. Сейчас мне все — все равно.

Из-за края горизонта поднялось солнце, — огромный шар выкатился над синей пустыней, и туман растаял, как призрачный.

Протянулась солнечная дорога, переливаясь маслянистыми бликами, и черным силуэтом на ней рисовались три наклонных мачты и решетчатые башенки «Аризоны».

— Ванну, завтрак и — спать, — сказал Гарин.

«Аризона» повернула к Золотому острову. Гарин решил нанести удар в самое сердце восставших — овладеть большим гиперболоидом и шахтой.

На яхте были срублены мачты, оба гиперболоида на носу и корме замаскированы досками и парусиной, — для того чтобы изменить профиль судна и подойти незамеченными к Золотому острову.

Гарин был уверен в себе, решителен, весел, — к нему снова вернулось хорошее настроение.

Утром следующего дня помощник капитана, взявший команду на судне после смерти Янсена, с тревогой указал на перистые облака. Они быстро поднимались из-за восточного края океана, покрывали небо на огромной, деся-

тикилометровой высоте. Надвигался шторм, быть может ураган — тайфун.

Гарин, занятый своими соображениями, послал капитана к черту.

— Ну, тайфун — ерунда собачья. Прибавьте ходу...

Капитан угрюмо глядел с мостика на быстро заволакивающееся небо. Приказал задраить люки, крепить на палубе шлюпки и все, что могло быть снесено.

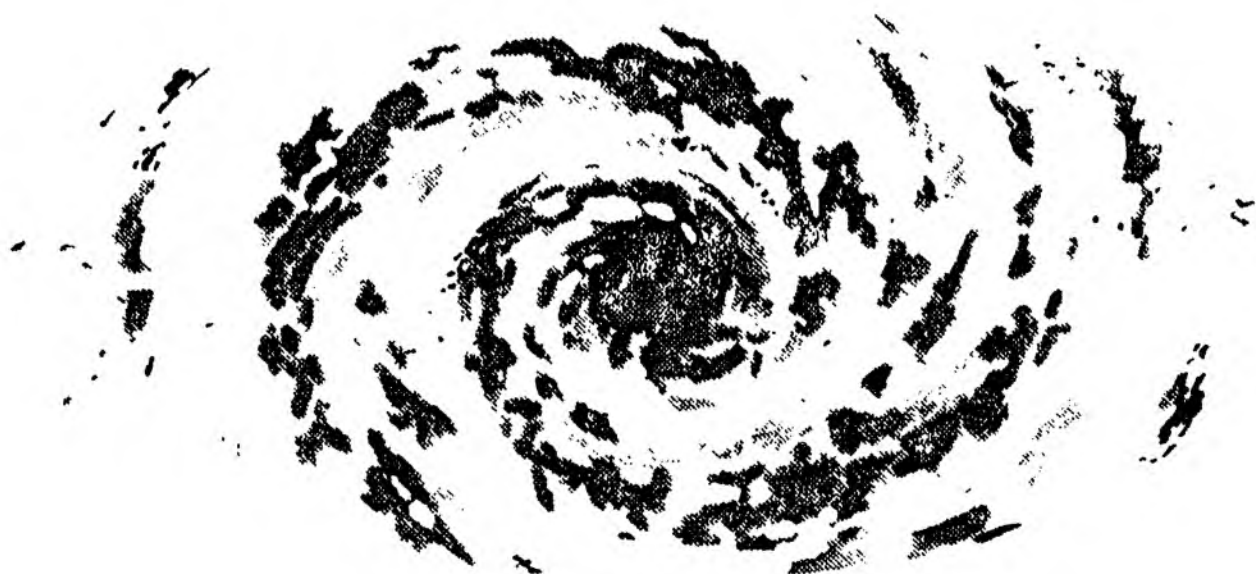
Океан мрачнел. Порывами налетал ветер, угрожающим свистом предупреждал моряков о близкой беде. На место вестников урагана — высоких перистых облаков — поползли клубящиеся низкие тучи. Ветер все грознее волновал океан, пробежал беспокойной рябью по огромным волнам.

И вот с востока начала налезать черная, как овчина, низкая туча, со свинцовой глубиной. Порывы ветра стали яростными. Волны перекатывались через борт. И уже не рябью мялись горбы серо-холодных волн, — ветер срывал с них целые пелены, застилал туманом водяной пыли...

Капитан сказал Зое и Гарину:

— Идите вниз. Через четверть часа мы будем в центре тайфуна. Моторы нас не спасут.

Ураган обрушился на «Аризону» со всей яростью одиннадцати баллов. Яхта, зарываясь, валясь с борта на борт так, что днище обнажалось до киля, уже не слушаясь ни руля, ни винтов, неслась по кругам суживающейся спирали к центру тайфуна, или «окну», как его называют моряки.



«Окно», диаметром иногда до пяти километров, — центр вращения тайфуна; ветры силою двенадцати баллов несутся со всех направлений кругом «окна», уравновешивая свои силы на его периферии.

Туда, в такое «окно», уносила круговоротом жалкая скорлупка — «Аризона».

Черные тучи касались палубы. Стало темно, как ночью. Бока яхты трещали. Люди, чтобы не разбиться, цеплялись за что попало. Капитан приказал привязать себя к перилам мостика.

«Аризону» подняло на гребень водяной горы, положило на борт и швырнуло в пучину. И вдруг — ослепительное солнце, мгновенное безветрие и зелено-прозрачные, сверкающие, как из жидкого стекла, волны — десятиэтажные громады, сталкивающиеся с оглушительным плеском, будто сам царь морской, Нептун, взбесясь, шлепал в ладоши...

Это и было «окно», самое опасное место тайфуна. Здесь токи воздуха устремляются отвесно вверх, унося водяные пары на высоту десяти километров, и там раскидывают их пленками перистых облаков — верхних предвестников тайфуна...

С борта «Аризоны» было снесено волнами все: шлюпки, обе решетчатые башенки гиперболоидов, труба и капитанский мостик вместе с капитаном...

«Окно», окруженное тьмой и крутящимися ураганами, несло по океану, увлекая на толчее чудовищных волн «Аризону».

Моторы перегорели, руль был сорван.

.

— Я больше не могу, — простонала Зоя.

— Когда-нибудь это должно кончиться... О черт! — хрипло ответил Гарин.

Оба они были избиты, истерзаны ударами о стены и о мебель. У Гарина рассечен лоб, Зоя лежала на полу каюты, цепляясь за ножку привинченной койки. На полу вместе с людьми катались чемоданы, книги, вывалившиеся из шкафа, диванные подушки, пробковые пояса, апельсины, осколки посуды.

— Гарин, я не могу, выбрось меня в море...

От страшного толчка Зоя оторвалась от койки, покати-лась. Гарин кувырком перелетел через нее, ударился о дверь...

Раздался треск, раздирающий хруст. Грохот падающей воды. Человеческий вопль. Каюта распалась. Мощный поток воды подхватил двух людей, швырнул их в кипящую зелено-холодную пучину...

.

Когда Гарин открыл глаза, в десяти сантиметрах от его носа маленький рачок-отшельник, залезший до половины в перламутровую раковину, таращил глаза, изумленно шевеля усами. Гарин с усилием понял: «Да, я жив...» Но еще долго не в силах был приподняться. Он лежал на боку, на песке. Правая рука была повреждена. Морщась от боли, он все же подобрал ноги, сел.

Невдалеке, нагнувши тонкий ствол, стояла пальма, свежий ветер трепал ее листья... Гарин поднялся, пошатываясь, пошел. Вокруг, куда бы он ни посмотрел, бежали и, добежав до низкого берега, с шумом разбивались зелено-синие, залитые солнцем волны... Несколько десятков пальм простирало по востру широкие, как веера, листья. На песке там и сям валялись осколки дерева, ящики, какие-то тряпки, канаты... Это было все, что осталось от «Аризоны», разбившейся вместе со всем экипажем о рифы кораллового острова.

Гарин, прихрамывая, пошел в глубину островка, туда, где более возвышенные места заросли низким кустарником и ярко-зеленой травой. Там лежала Зоя на спине, раскинув руки. Гарин присел над ней, боясь прикоснуться к ее телу, чтобы не ощутить холода смерти. Но Зоя была жива, — веки ее задрожали, запекшиеся губы разлепились.

На коралловом островке находилось озерцо дождевой воды, горьковатой, но годной для питья. На отмелях — раковины, мелкие ракушки, полипы, креветки — все, что некогда служило пищей первобытному человеку. Листья пальм могли служить одеждой и прикрывать от полдневного солнца.

Два голых человека, выброшенные на голую землю, могли кое-как жить... И они начали жить на этом островке, затерянном в пустыне Тихого океана. Не было даже надежды, что мимо пройдет корабль и, заметив их, возьмет на борт.

Гарин собирал раковины или рубашкой ловил рыбу в пресном озерце. Зоя нашла в одном из выброшенных ящичков с «Аризоны» пятьдесят экземпляров книги роскошного издания проектов дворцов и увеселительных павильонов на Золотом острове. Там же были законы и устав придворного этикета мадам Ламоль — повелительницы мира...

Целыми днями в тени шалаша из пальмовых листьев Зоя перелистывала эту книгу, созданную ее ненасытной фантазией. Оставшиеся сорок девять экземпляров, переплетенных в золото и сафьян, Гарин употребил в виде изгороди для защиты от ветра.

Гарин и Зоя не разговаривали. Зачем? О чем? Они всю жизнь были одиночками, и вот получили, наконец, полное, совершенное одиночество.

Они сбились в счете дней, перестали их считать. Когда проносились грозы над островом, озерцо наполнялось свежей дождевой водой. Тянулись месяцы, когда с безоблачного неба яростно жгло солнце. Тогда им приходилось пить тухлую воду...

Должно быть, и по нынешний день Гарин и Зоя собирают моллюсков и устриц на этом островке. Наевшись, Зоя садится перелистывать книгу с дивными проектами дворцов, где среди мраморных колоннад и цветов возвышается ее прекрасная статуя из мрамора, — Гарин, уткнувшись носом в песок и прикрывшись истлевшим пиджачком, похрапывает, должно быть тоже переживая во сне разные занимательные истории.



Рассказы



ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

Пакет, содержащий тайные, чрезвычайной важности военные документы, был передан Никите Алексеевичу Обозову, — и передача документов и посылка Обозова произошли втайне.

Поручение — долгая и опасная поездка за границу — обрадовало его; штатское платье, зеленый, на трех языках, паспорт, чемодан, бойко под конец укладки щелкнувший замком, — все это были вестники чудесных дней (они наступят — это ясно, когда в руке плед и чемодан).

Рано утром Обозов приехал на вокзал, выпил кофе и, не беря носильщика, занял купе первого класса.

Пакет лежал сначала в чемодане; затем, когда поезд отошел, Обозов переложил парусиновый мешочек в боковой карман пиджака, прикрепил его английскими булавками и с удовольствием растянулся на бархатной койке. Под боком лежали дорожные книги и журналы; он перелистывал их, курил и, поглядывая в окошко, предчувствовал дни, когда несколько стран и тысячи людей проплывут перед глазами.

Экспресс летел мимо дач, хвойных лесов и моховых болот Финляндии, еще покрытых снегом. В назначенные часы в вагоне появлялся лакей, приглашая к столу. Пассажиры, придерживаясь за шаткие стены, брели в ресторан. На площадках резкий ветер крутил снежную пыль. Никита Алексеевич садился в углу вагона-ресторана за столик и оглядывался.

Вот семейство простоватых англичан с тремя белокурыми девочками и няней-японкой, — семья едет из Владивостока третью неделю. Вот четыре чернобородых фран-

цуза, низенькие, багровые; они спросили бутылку красного вина и, гутируя, причмокивают. Затем огромный бритый швед — директор предприятия; добродетельные финны из Гельсингфорса; скуластый купчик-москвич, едущий за товаром в Хапаранду и напустивший европейского вида с явным ущербом для своего самолюбия; широкоплечий угрюмый юноша в вязаном колпаке, какой носят лыжники; и еще несколько неясных, серых лиц. Были и женщины, конечно, но в них Никита Алексеевич старался не вглядываться: в некрасивых — не находил основания, красивых — боялся.

С женщинами счета у него были трудные. В юные годы он мечтал издалека о знаменитой куртизанке, Маше Хлебниковой, милой и прелестной женщине, не пожелал приблизиться к ней, хотя и были случаи, переносил издевательства товарищей юнкеров, и это двойное чувство отразилось на всей его жизни. Он с отвращением относился к «знатокам», которые, довольствуясь немногим, находят в каждой женщине одно, и только то, что им удобно и нужно.

Давеча на вокзале, спеша с чемоданчиком к своему вагону, Обозов мимоходом приметил высокую даму в изящной бархатной шубке. Ее небольшая шляпа с черными крылышками сбилась набок. Дама казалась рассерженной, невыспавшейся и ссорилась с кондуктором.

На пути он опять встретил ее в соседнем вагоне, затем на площадке, где она боролась с ветром, придерживая шляпку и шубку, и, наконец, увидел ее у окна около своего купе. Касаясь лакированной рамы плечом, дама глядела, как скользят мимо снежные поля, деревья, столбы, домики. Ее узкое лицо, обращенное к унылым равнинам, казалось печальным. Открытая шея тонка и нежна. На отворотах вязаной шелковой кофточки белело кружево.

Сидя в углу купе, Обозов видел ее затылок с поднятыми пышными темно-русыми волосами, ее спину, вздрагивающую от толчков поезда, ловкую суконную юбку, касающуюся высоко зашнурованных лаковых башмаков. И когда ему, наконец, показалось необходимым знать, куда и зачем она едет одна в это тревожное время, Никита Алексеевич спохватился и, вытащив из-под себя томик каких-то приключений, погрузился в чтение.

В дверь купе проникал свежий воздух, и вдруг запахло духами, горьковатыми и нежными. Обозов увидел складки синей юбки, волнующейся под давлением ног. Он вновь перечел страницу. Дама стояла теперь прямо у окна, спиной к двери.

Тогда он повернулся к снежной пыли за окном и, усмехаясь, подумал, что — вот и струсил, хоть и тридцать три года и выдержка... Что-то в этой красивой женщине было пронзительное, и жалкое, и волнующее. Кто она? Просто искательница приключений? Нет, пожалуй — не то... Или, как птица, подхваченная страшной бурей войны, мчится черт ее знает куда?.. Во всяком случае, все это надо бы выяснить... Когда он выглянул в коридор, дамы уже не было у окна. За завтраком она не появлялась.

Сейчас, ожидая на угловом столике вагона-ресторана, когда официант в синем фраке и гуттаперчевом воротничке поднесет ему поднос с едой, Никита Алексеевич чувствовал себя покойно и радостно. Нет большего счастья, как после трудов разлечься на мягких подушках вагона, в отдохновении и бездельи следить за людьми, за маленькими их волнениями, за странами, проплывающими мимо окна. Все кажется немного ненастоящим. Сейчас почему-то особенно остро Никита Алексеевич припомнил одно поле, вскопанное и мерзлое, с гуляющим по нем ледяным ветром; корявые спины солдат за бугорками; песок и ледяная пыль режут глаза; одинокие выстрелы, безделье, скука, ожидание ночи и нескончаемые вереницы тяжелых, как горы, облаков. Это была ужасная спячка перед смертью. Человек казался придавленным последним унижением, нищим и мерзлым, как земля.

Обозов вздрогнул и быстро поднял глаза, — у столика стояла прекрасная дама и в третий раз, уже с улыбкой, спрашивала, может ли она занять место напротив.

Обозов вскочил, пододвинул ей стул, смутился от своей поспешности, сел опять и, наконец, вспомнив давешнее решение, прямо взглянул даме в глаза. Она ответила взором почти мрачных темно-серых глаз. На мгновение закружилась голова, и точно исчез весь этот вагон, где трещали голоса, над бутылкой чмокали французы и дымил швед сигарой.

Дама положила на стол у мерзлого окна перчатки, раскрыла сумочку, взглянула на себя в зеркальце — без любо-

пытства, но внимательно, — мизинцем провела по губам, по очертаниям тонких ноздрей, щелкнула замочком и спросила:

— Вы ели рыбу, не опасно?

Голос ее был низкий, почти суровый. Никита Алексеевич ответил с готовностью:

— Рыба превосходная, треска.

И подвинул блюдо. Она поблагодарила. Он принялся думать, что еще можно сказать о треске: рыба эта большими массами плывет на север в теплых водах Гольфштрема, огибает север Норвегии и быстро растет; у Мурмана она достигает чудовищных размеров...

Дама перебила его мысли:

— Я — русская по фамилии и по рождению, но бегу из России, как от чумы, — и подняла на него мрачные ясно-серые глаза. — Ненавижу Россию.

Никита Алексеевич, усмехнувшись, сказал:

— Отчего так? — затем поклонился и назвал себя.

Дама продолжала:

— Мое имя — Людмила Степановна Павжинская. Вы спрашиваете, почему я бегу. — Откинув голову, она глядела на собеседника, словно оценивая, достоин ли он откровенности. — Я ненавижу Россию, правда, правда, — и она засмеялась, держа не донесенный до рта кусочек хлеба.

Ее испытующий взгляд, странное начало разговора, затем смех, умный и невеселый, словно наметили сложность ее духа. Обозов так это и воспринял и насторожился.

— Мое эстетическое чувство оскорблено, — говорила дама, — если я люблю красоту, поэзию, картины, мрамор, музыку, то я прежде всего хочу любоваться людьми. Меня раздражает мысль, что где-то на земле в эту минуту ходят великолепные люди. А я в Москве принуждена ежедневно видеть нечто неуклюжее, слабое, с желтой бородкой, в очках, со слабительными лепешками в жилетном кармане; существо, развинченное нравственно, с несвежим бельем и визгливым голосом, ежеминутно наклонное к истерике. Жить в такой стране? Нет, еду в Америку.

— Будто вы там найдете людей!

— Людей изящных и смелых, первого сорта, — уж, конечно, не таких, как в России.

— И у нас водятся смелые люди.

— Ах, полноте, у нас все ничтожно, как в лакейской, все как на барине, только похуже, с пунцовым галстуком, со скуластой рожей. Будем искренни: наша с вами страна — нелепый курьез, случайность...

Никита Алексеевич сдержался, краска хлынула и отлила от лица его. Опустив глаза, он проговорил:

— Разговор мне, простите, неприятен, — и когда дама удивленно повернулась к нему, добавил: — Я был на войне и видел отважных людей. То, о чем вы говорили, это — не Россия. А впрочем, Россию мало кто знает. Я хочу сказать, что ваша ненависть не по адресу.

Он зажег папиросу. Обед кончился, и крылья вентиляторов разогнали над головой табачный дым. Иногда за спущенными шторами в темноте ночи расстилался унылый длинный свист поезда.

Никита Алексеевич заметил, что даме точно немогло. Медленно отряхивая пепел с египетской папиросы, она сидела, положив ногу на ногу, оглядывая мрачного юношу в лыжном колпачке, финнов, опять чем-то уязвленного купчика, — и углы губ ее приподнимались презрительной усмешкой.

Вскоре они перешли в вагон и молча стояли в проходе, гораздо более далекие, чем до первого разговора.

Людмила Степановна чутьем поняла это и равнодушие своего собеседника. Он стоял, заложив по-военному большой палец за пуговку жилета, и глядел на завитушку прессованных обоев. Рот его уже несколько раз силился сдержать зевок. Толстая опрятная женщина-проводник принесла бутылочки содовой и поставила против каждого купе. В конце прохода приоткрылась наружная дверь, возникло морозное облако, и на мгновение появилось обветренное лицо юноши в лыжном колпаке. Людмила Степановна посмотрела на ручные часики, поставила ногу на решетку щелкающего отопления и сказала негромко, со вздохом:

— Мне хочется, чтобы вы простили меня: вы первый, кто при мне не позволил ругать Россию. Я тоже бы всякого оборвала. Но мы так разнузданны. От вашего резкого слова мне стало вдруг тепло.

— Ну, и вы меня простите за резкость, — ответил Никита Алексеевич добродушно. — А вы в самом деле в Америку едете?

— Я подписала контракт на тридцать концертов.

— А, это другое дело, а я думал...

— Что вы думали? — спросила дама, немного слишком поспешно.

— Что вы так... для забавы...

— Я — одинокий человек, — помолчав, проговорила она и опустила глаза, — мне тоскливо подолгу жить на одном месте. Женщине в тридцать лет, без семьи и привязанностей, очень трудно. — Она передернула плечами. — Как холодно, я плохо сплю в дороге. А вы меня растревожили, уж не знаю чем. Я буду думать всю ночь... — Она грустно улыбнулась. — Хотите сделать доброе дело? Пожертвуйте мне несколько часов, пойдемте.

Она открыла купе, где сильно пахло духами, висела шубка и в сетке лежал крошечный чемодан — весь ее багаж, — усадила Никиту Алексеевича на бархатный диван, сама села у окна на столик, охватила поднятое худое колено и сказала:

— Можете курить и дремать...

Это было сказано хорошо. После этого они молчали довольно долго. Щелкало отопление. Стучали колеса: «Путь далек, путь далек». Никита Алексеевич следил за сизою струйкой дыма, потом за женской ногой, тонкой в щиколотке, затянутой в черный чулок, покачивающейся совсем близко.

— Мы оба холостяки, — сказал он, — встретились, а через день исчезнем друг для друга, как два перекасти-поля. А что может быть ближе и нужнее, как человек человеку? Правда, самая грустная вещь на свете — короткая встреча в пути.

Он взглянул на Людмилу Степановну. Нагнув к нему голову, она слушала внимательно, встревоженно. Полу-прикрытый прядью волос лоб ее наморщился.

— Бывают минуты, которых не забудешь во всю жизнь, — проговорила она медленно.

— Не знаю, не испытывал. Вот юношеские бредни не забываются, вы правы.

— Нет, нет. Минуты безумия, страсти, налетевшей, как вихрь...

Тогда Никита Алексеевич поморщился: «Эх, что она как сразу, даже слишком...» Опустил глаза и чувствовал, что весь насторожен враждебно. Дама соскользнула со столика. Он не видел, что она делала, услышал только несколько легких вздохов и крепко поджал губы. Ясно, что беседа соскочила с плавного хода и все чувства ринулись к ближайшему выходу, наиболее простому и короткому, за которым — пустота, равнодушие, досада, усталость. Зажигая спичку, он взглянул. Людмила Степановна стояла у стенки, заложив руки за спину.

— Вы очень пугливы, — сказала она.

— Да, вы правы.

— Побледнели от шороха юбки. Бедняжка.

— Как вам сказать, если бы вы мне не нравились, было бы все проще...

— Я вам нравлюсь? Странно. А мне показалось, вы считаете меня просто настойчивой бабой и трусили, — она опустила брови на сердитые глаза и постучала каблучком. — Уверяю вас, что вы ошибаетесь.

— Ну, хорошо. — Никита Алексеевич рассмеялся. — Прошу очень, очень извинить меня.

— За что? Вы, кажется, вели себя на редкость скромно.

Тоненькие ноздри ее раздувались, каблук потопывал, тень от опущенных ресниц дрожала на щеках. Он подумал: «Лошадка с норовом», — и вдруг стало тепло от нежности. Протянул руку. Она сердито качнула головой.

— Секрет-то в том, — сказал он душевно, — я всегда боялся женщин. Обжегся в молодости... Ваши соблазны женские и влекут и страшат... (Она презрительно фыркнула.) Людмила Степановна, вы помните: «Любви роскошная звезда...» Об этой звезде роскошной я мечтал, помню, на том мерзлом поле, среди луж крови... У меня был приятель, до смерти влюбленный в какую-то девочку... «Меня, говорит, убить нельзя, — попробуй выстрели в звездное небо! Так и в меня...» Конечно, его убили в конце концов, но так размахнуться — до звезд — хорошо... И мне страшно всегда — подменить: вместо роскоши — почти то же самое, но — то, да не то... Заторопиться, загорячиться, оборвать и взглянуть в уже пустые женские глаза... Вы понимаете? Нет?.. Что же вы поделаете с человеком, когда нужна ему любви роскошная звезда.

Он засмеялся, силой взял руку Людмилы Степановны и нежно поцеловал. Она не отняла руки. Вздохнула, села рядом. Он продолжал рассказывать о себе, о товарищах, о смерти на мерзлом поле. Она затихла, успокоилась. Когда же русая голова ее, клонясь, коснулась его плеча, он замолк с улыбкой, осторожно поднялся и, проговорив: «Я вас утомил, спите, спите», — на цыпочках вышел из купе.

Дверь за ним задвинулась. Людмила Степановна открыла глаза, сжала кулачок и ударила по бархатной подушке.

.
В полночь к ней вошел широкоплечий юноша в колпачке, сел на диван, уперся огромными башмаками в лакированную стену и, закутавшись дымом из трубки, сказал:

— Надо бы порасторопнее.

Людмила Степановна смолчала. Оправляя волосы высоко поднятыми руками, она держала шпильки в зубах, и сонные глаза ее и щеки казались увядшими, а все движения резкими и злыми. Задев локтем юношу, она прошипела сквозь шпильки:

— Вы мне мешаете. Уходите с трубкой.

Он отодвинулся и, лениво спрятав трубку в карман, сказал:

— Надо все дело кончить до границы. Мне будет трудно переходить. Вы рискуете ехать дальше одна.

— Перейдете. Я одна не поеду. Вам это известно лучше меня.

— Ну-с, а если подстрелят?

Людмила Степановна дернула плечами. После некоторого молчания юноша спросил еще ленивее:

— Что же, вы ему не нравитесь, что ли?

Тогда дама пришла в ярость. Волосы ее рассыпались, лицо передернулось, стало безобразным. С прекрасных губ посыпались бессмысленные фразы, то заносчивые, то жалкие. Юноша, боясь шума, выскользнул из купе.

На площадке, раскурив трубку, он прислонился к железному столбику; ветер и снег резали его квадратное твердое лицо, прищуренные глаза различали в неясной мгле ровные белые поля, темные конусы чахлых елей; на севере над землей полыхал белый свет полярного сияния.

Через несколько минут на площадку вышла Людмила Степановна, закутанная в шубку и платок. Морщась, она сказала:

— Его дверь закрыта изнутри на цепочку. Он осторожен.

Юноша заслонил даму от ветра, и они стали совещаться.

.

Никита Алексеевич спал долго и крепко. Виделись ему, кажется, хорошие сны. Одеваясь, он с улыбкою снял с пуговицы пиджака светлый женский волос. Как хорошо, что вчера все обошлось благополучно. Иначе бы сидел сейчас с растрепанной головой, курил папиросы. Сейчас было сознание хоть и маленькой, но победы. Голова ясная, все мускулы напряжены, сердце бьется ровно и сильно. И впереди несколько дней прелестной близости, бесед, в которых с каждым словом открываются новые заслоночки в человеке. Утро было морозное и солнечное.

За весь этот день Обозову мало удалось видеть прекрасную даму. Она встретила его утомленная, под вуалью, в шапочке с крылышками, сказала, что очень беспокоится о багаже и страдает мигренью. Действительно, на пограничном вокзале она сидела за клеенчатым столом среди пассажиров, сундуков, свертков и грязных тарелок, такая печальная, так подпирала кулачком щеку, что Никите Алексеевичу стало ее жаль. Он глядел на нее издали и думал: «Едет в Америку, но, по всей вероятности, врет; болят все нервы, и поутру прячет лицо; говорит пошлости, а глаза мрачные; и нельзя ее ни приласкать, ни успокоить, потому что и сама она не захочет ни ласки, ни успокоения; а кончит или в клинике для нервнобольных, или отравится от злости».

Ему очень хотелось подсесть и заговорить, но мешали суета с багажом, паспортами, затем переезд на санках через границу, осмотр. В седьмом часу его вещи перенесли в низенький и теплый ресторанчик близ шведского вокзала. Здесь было чисто, бело, пахло краской, на спиртовке варился кофе, и шипел, как шмель, керосиновый фонарь под потолком. За переплетом квадратных окон простиралась полярная ночь. Подъезжали на санках пассажиры. Обозов надвинул шапку и вышел. У края земли на севере

мерцал свет. Тонкий и мертвенный, он охватил звездное небо голубоватым сектором. Выше его горели ясные созвездия. Морозный, едва светящийся снег покрывал ровные поля с чернеющими зубцами елей. Все это казалось мертвым, точно бывшим когда-то, и в этой темной пустыне он ясно чувствовал, как бьется комочек живого сердца. Невдалеке заскрипел снег. Обозов взгляделся: из неясного сумрака выскользнул на лыжах высокий человек в фуфайке и колпаке, пролетел мимо и скрылся за низким строением. Лица его не было видно, только блеснули зрачки.

«Что бы это значило?» — подумал Никита Алексеевич, припоминая блеснувшие, словно кошачьи, глаза. Потом ему стало казаться, что жизнь у Людмилы Степановны пустынная и лютая, как эта равнина, и ее жалкое сердчишко в тоске трепещет смерти. И что он, Никита Алексеевич, не такой уж герой, чтобы уберегать ее от соблазнов. Он жестоко обидел ее вчера глубочайшим своим превосходством! Пустился в рассуждения, стихи даже читал... Фу!

Он крикнул и полез в карман за папиросами. Теперь мысли его бродили тревожно вокруг чего-то неисполненного. Позади хлопнула дверь, и от желтоватого света, льющегося сквозь квадратное окно ресторана, отделилась женская фигура. Никита Алексеевич широко зашагал ей навстречу.

— Возьмите левее, — крикнул он, — здесь сугроб, — и, подойдя к Людмиле Степановне, взял ее еще теплую руку без перчатки и поцеловал. Она стояла совсем близко, доверчиво подняв к нему лицо.

— Я вас искала, — проговорила она тихо.

Он глядел, как на ее печальном и тонком лице лежал отблеск северного сияния. Большие глаза окружены тенью, и в зрачках — искорка звезд. Она показалась ему чудесной. Ее маленькая рука неподвижно лежала на рукаве его шубы.

— Милая, бедняжка!

Ее лицо не изменилось. Прелестный рот был серьезен. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Она вздохнула. Серый мех ее шубки был приоткрыт, видна шея и ниточка жемчуга. Никита Алексеевич осторожно застегнул ее воротник и повторил: «Бедняжка!» Вдалеке протяжно засвистел поезд.

.

Снова лежа в купе, с темно-синей лампочкой над койкой, Никита Алексеевич повторял шепотом про себя: — Волшебство! Колдовство!

Давеча на снегу не сказано было больше ни слова. Сейчас Людмила Степановна, должно быть, спит. Все мысли и чувства Никиты Алексеевича в необычайном напряжении сосредоточились на этой спящей за стенкой, чужой ему женщине. Это ли было не колдовство?

Неожиданно он вскочил, распаковал чемодан, вынул бритву и побрился. Спать ничуть не хотелось. Припомнилось опять: «Любви роскошная звезда, ты закатилась навсегда. О мой Ратмир». Он засмеялся, застегнул жилет и вышел в коридор. Поезд стоял на первой остановке у маленькой, занесенной снегом станции, где вдоль вагонов прохаживался розовый солдат в белом козьем воротнике и таких же наушниках, похожий на куклу. На перрон из-за снежных елей быстро вышел широкоплечий человек в фуфайке, взглянул на окно и прыгнул в вагон. У него были те же глаза, что у давешнего лыжника, и вообще лицо страшно знакомое. «Странно», — подумал Никита Алексеевич, потрогал парусиновый пакет на груди и вновь почувствовал нелепую, смешную радость.

Среди ночи он несколько раз просыпался и повторял: «Любви роскошная звезда», ударял кулаком в подушку и со смехом засыпал вновь. Однажды различил злой мужской голос, упрекающий кого-то в медлительности и трусости. «Континент, континент...» — повторял голос и, наконец, расплылся, смешался со стуком колес.

Как сон промелькнул весь следующий день. Людмила Степановна была молчалива и особенно трогательна какой-то почти робкой покорностью. Когда Обозов звал ее к завтраку, она отвечала: «Хорошо» — и сейчас же шла впереди него, придерживая накинутую шубку. Несколько раз он ловил ее пристальный, недоумевающий взгляд, и сейчас же она отводила глаза с испугом. Все это было непонятно, восхитительно и тревожно...

Поезд летел в лесистых горах, покрытых снегом. За окном ресторана проплывали красные домики из ибсеновских пьес, обмерзшие водопады, черные стены леса, мосты...

Людмила Степановна взглянула на расписание (через

несколько минут должна быть остановка), придвинулась к стеклу и проговорила:

— Вон на горе краснеет крыша. Прожить в том домике до весны... Быть может, вам покажется странным, но я очень люблю уединение, снег, чистые комнаты. Никто так и не догадался использовать меня как добрую подругу.

Она покачала головой, глядя в окно, и спустя немного поморщилась. Поезд засвистел, подходя к остановке.

— И вы бы не соскучились в уединении? — спросил Никита Алексеевич.

Тогда с ней произошло странное: она резко повернулась к сидящим в вагоне-ресторане, затем отчаянно, точно не видя, взглянула в глаза Никите Алексеевичу и низко наклонила голову, ища что-то в сумочке на коленях; волосы скрыли ее лицо.

— Выскочить тайно от всех, без багажа, остаться на зиму, безумство конечно... — прошептала она.

Поезд остановился. Беспорядочные молниеносные идеи овладели мозгом Никиты Алексеевича. Но он продолжал сидеть. За окошком швед в каракулевой шапке с бляхой поднял руку. В самый мозг вошел дикий свист паровоза. Поезд тронулся. Людмила Степановна разжала руки и точно опустилась.

Затем они в сотый раз стояли в проходе, сидели в купе, произнося слова, не имеющие никакого смысла, боялись своих движений, прикосновений рук. Никита Алексеевич глядел на нее не отрываясь, и все обольстительнее казался ему каждый ее волосок. Когда встречались их глаза — пропадал шум поезда и останавливалось время.

Мимо их открытого купе проходил толстяк в помятом мышинном жакете. Взглянув на красивую даму, он неожиданно споткнулся, выронил сигару и сказал: «Виноват». У Людмилы Степановны задрожал подбородок. Обозов закрыл стеклянную дверь и дернул занавеску. Она продолжала смеяться. Тогда он притянул ее к себе, обнял и стал целовать. Она, молча и вдруг вскочив, сопротивляясь, воскликнула отчаянно:

— Только не это. Ради бога. Не здесь. Не сейчас. — Лицо ее исказилось. Никита Алексеевич взялся за

голову и вышел из купе; в коридоре столкнулся с кем-то, живо отскочившим; прошел к себе и лег ничком...

Пробудила его уверенность, что она здесь, и он быстро сел на койке. У двери стояла Людмила Степановна, прижимая что-то обеими руками к груди; синяя лампочка светила над ее головой. Всем телом он потянулся было к ней, но тотчас опустил руки — такой ужас мерцал в ее расширенных глазах.

— Что вы делаете? — прошептал он и вдруг понял все, что произошло и сейчас и за эти три дня. — Положите пиджак, — сказал он отрывисто. Когда же она качнулась к двери, быстро схватил ее за худую, бессильную руку у локтя и повторил хрипло: — Вы с ума сошли... Вы с ума сошли...

С бессильным стоном она бросила его одежду:

— Я хотела только посмотреть... Мне не нужно... Я не могла иначе... Он приказал... Он не пожалеет... Выдаст... Убьет... Я ничего не трогала... Возьмите...

Она дрожала, глядя на Обозова, торопливо и неловко натягивающего пиджак.

Затем он встал и замкнул дверь, сделав это почти бессознательно, вынул револьвер, но тотчас сунул его в карман.

— Вам придется сойти на первой же станции.

Она ответила шепотом:

— Спасибо...

— Подождите, — резко перебил он, — я вас не пущу; сами понимаете — не я, так другой попадется. Сидите!

И она сейчас же присела, продолжая глядеть в глаза. Тогда он, совсем уже не зная для чего, спросил:

— Зачем вы ввали?

— Я не ввала... Я вас люблю...

Это было неожиданно, дико, нагло. Обозов пробормотал:

— Не смейте говорить об этом...

— Клянусь вам...

Она даже привстала, чтобы всмотреться, и, поняв, что он ничему теперь не поверит, все же повторила чужим, неверным голосом, что любит. Ему захотелось прибить ее, но даже горло перехватило от отвращения. Тихим, точно сонным голосом она проговорила:

— Ударьте меня или убейте, не все ли равно. Когда вы меня поцеловали в снегу — я в вас влюбилась. Я вас люблю два дня. Ни один человек не был мне так дорог. Я продажная, воровка, я шпионка. Вы моей жизни не знаете. Но перед вами я ни в чем не виновата. Милый, любимый, страсть моя...

У нее стучали зубы.

— Что вы там бормочете?.. Я запрещаю, слышите! Молчите! — крикнул он, сжимая кулак.

Людмила Степановна опустила голову, и он услышал звуки, — она глотала слюну...

— Вы не одна, с вами спутник? — спросил он. Она кивнула. — Вы должны были передать ему украденные документы? Он в нашем поезде? Мальчишка в вязаной шапке? Я так и знал.

Он нарочно спрашивал громко, решительным голосом. Дышать было нечем в купе. От синего неясного света Людмила Степановна, сидящая комочком, казалась еще меньше и беззащитнее... Откашлявшись, он сказал:

— Я выйду, а вы тут посидите.

И, очутившись в коридоре, стал вытираться платком. «Ну, конечно, врет! И вздохи, и слезы, и тот дурацкий поцелуй! Просто — ловкая баба. Еще бы минутка... И, боже мой, непоправимо! Уф!..» Бормоча и спотыкаясь, он пошел подалее от купе. «Нет, матушка, с такими, как вы, не церемонятся... Другой бы прямо — бац из револьвера, потом — пожалуйста, вяжите меня, и был бы прав».

С площадки неожиданно открылось Никите Алексеичу изумительное зрелище: поезд огибал крутой склон горной гряды, лежащей подковой, и глубоко внизу, куда отвесно падали скалы, расстилалось огромное и длинное озеро, залитое лунным светом. Круглая луна невысоко висела над щетинистым хребтом. Изгибы гор чередовались черными и ослепительно-снежными планами.

Вдруг вагон нырнул в тоннель, темнота ударила по глазам. Никита Алексеевич невольно отшатнулся от железной дверки открытой площадки, и в это время крепкие руки сзади охватили его шею и с силой пригнули вниз.

Нападавший был тяжел, мускулист, сильно дышал, наваливаясь, и пальцы его с бешеной торопливостью мяти и сдавливали горло. Обозов на секунду потерял сознание,

затем почувствовал, как тот, продолжая одною рукою душисть, другою шарит в кармане. Он крепко схватил эту руку выше запястья, свернул, и она хрустнула. Нападавший замычал и рванулся, увлекая за ноги и Никиту Алексеевича. В темноте они продолжали борьбу, отбрасывая друг друга к входной решетке, грохот колес заглушал вскрики.

Очевидно, у нападавшего была повреждена рука, он слабел. Тоннель так же внезапно окончился, и сильный лунный свет ударил в лицо. Обозов увидал знакомые светлые, без зрачков, глаза, и с яростью, той яростью, когда кричишь и не слышишь крика, когда выкатываются глаза и — только лютая, дикая, пьяная злоба, — так и сейчас он приподнял противника, швырнул его спиною о железную решетку и разжал руки. Юноша ахнул, перевернулся и упал на камни; сейчас же тело его, подхваченное землей, перевернулось, подскочило и уже неживым мешком покатилося по обрыву в озеро. Никита Алексеевич, перегнувшись, глядел на него. За поворотом все скрылось.

Поезд остановился на разъезде. Обозов, покачиваясь, вошел в вагон; дверь купе была открыта. Людмила Степановна исчезла. Он тяжело опустился на койку, положил на столик локти, сжал лицо ладонями и застыл.

.....
Не спавший всю ночь, с болью в висках, помятый и желтый, Обозов сел в Бергене на пароход, грузивший бумагу и кожи.

Дул сильный ветер с моря. На набережной по снегу и грязи хлюпали прохожие, гремели окованные колеса фур; моряки, в негнущихся сапогах и кожаных шляпах, топтались у скрежетавших лебедек, катали бочонки, и ветер отдувал полы их ватных курток. Несколько дам, с детьми и няньками, дрожали от холода около изящных чемоданов, брошенных в грязь. Юркий агент Кука, неизменно улыбаясь, приставал к сердитому господину в очках, боровшемуся с ветром, с агентом, с одышкой, с грязью, летящей с автомобильных шин. Над северным мокрым городком, расположенным по склонам горной подковы, волоклись серые облака, задевали за шпильки киров, за сосны, бурые скалы, ползли вверх по лесным гребням.

То стоя на палубе, то забредая внутрь парохода, морщась от боли в виске, Никита Алексеевич ждал только — поскорее бы отвалить, закачаться на волнах, лечь, забыться и спать до самой Англии.

В это время в кают-компании две поджарые пожилые женщины, в крахмальных фартуках и чепцах, и солидный лакей накрывали белоснежный стол серебром, хрусталем, багровыми омарами, глыбами сыра, кусками холодной свинины и мяса.

Наверху, в курительном салоне с окнами, где были вставлены диапозитивы с норвежских курортов, десятка два мужчин курили сигары и трубки, пили аперитив. Здесь были шведы, датчане, широкоплечие североамериканцы, норвежцы, со щеками, обветренными в горах. Все одеты в крепкую обувь, в свободное сукно, имели отменный аппетит, веселый нрав и неизменное душевное равновесие.

На палубе звенел колокол, скрежетали цепи лебедек, гремели катящиеся бочонки, и слова команды раздавались коротко и резко. В вантах сильно свистел ветер. Это был иной мир, бодрый и свежий, бесконечно далекий от вагонных переживаний. И вспоминать, копаться в своих чувствах казалось здесь просто стыдным. Хотелось быть вымытым, крепким, свежим, как этот ветер.

Пароход вышел из гавани и повернул на юго-запад, навстречу сильной зыби. Началась качка. Тяжелые волны били в правый борт, поминутно заливая иллюминаторы зеленоватой пенистой влагой. Каюта вместе с койкой, занавесями и лакированным умывальником кренилась, трещала и не успевала оправиться, как обрушивался новый вал.

Никита Алексеевич вышел на верхнюю палубу. Он плотно, как и все, пообедал, выпил несколько стаканов вина и, возбужденный густым соленым ветром, терпким бургундским и движением высокого пароходного носа, ходил по мокрой палубе, подняв воротник, приседая во время крена или придерживаясь за фальшборт. Ему было вольно стоять под ледяными брызгами, на ветру. То, что он убил, не мучило его; человек, вчера сброшенный им под откос, был не его враг или соперник, а враг армии, народа, и вина смерти словно разлагалась на всех, да и не было вины, а только чувство удачи, взятого верха. По-ино-

му обстояло с Людмилой Степановной: здесь уже выручали ветер и величие Северного моря. Он понимал, что виноват ужасно, и страдал от отвращения и жалости. Когда вспоминалась измученная страхом, полоумная, изоглавшаяся женщина, комочком сидящая в углу дивана, ее острые плечи и сдавленные звуки, точно она глотала слюну, Никита Алексеевич тряс головой, отгоняя этот призрак, подолгу глядел на свинцовый бурный океан.

Мутные волны, пронизанные пеною во всю толщину, громоздились, как холмы, одна на одну, пучились, шипели; ветер срывал и стлал их белые гребни; треща, пароходный корпус поднимался наискосок на эту живую гору, мачты и реи клонились, нос повисал над бездной и спустя мгновение уже падал вниз, в водную долину, а громада воды обрушивалась за кормой. И снова громоздились холмы на холмы, загораживая небо. Низкие рваные тучи проносились над водой, словно зарывались в нее, и косыми полосами сыпались из них крупа и ледяной дождь. Холодное серое небо, взлохмаченное море, и ветер, и невольная печаль севера оковывали душу.

«Либо отравится,— думал он,— либо повесят... И сама знает, что кончит скверно. А как метнулась тогда к уединенному домику... «Пожить бы здесь до весны...» На большее и не рассчитывала,— до весны...»

Солнце, невидимое весь день, проглянуло ненадолго из-за клубящихся туч, залило их багровым светом, осветило косые полосы града, гребни волн, ставших еще больше и будто бесшумнее, и закатилось. На мачтах зажгли огни. Море померкло и приблизилось. Дрожа от холода, Обозов пошел в курительную.

Здесь только два норвежца, красные от духоты, играли в домино да сердитый господин в очках пил виски, держа бутылку содовой между колен. Обозов перелистал журналы, покосился на сердитого господина, боровшегося с тошнотой, зевнул и побрел вниз.

В коридоре его остановила горничная, проговорив шепотом:

— Вас желает видеть одна дама. Пожалуйста за мной.

— Какая дама? Что за вздор? — ответил он, берясь за медную штангу,— и вдруг почувствовалась качка, и головокружение, и духота.— Какая дама, спрашиваю я?..

И сейчас же пошел вслед за улыбающейся горничной, отворившей дверь крайней каюты. Здесь с порога он увидел Людмилу Степановну, лежащую в кружевном растерзанном капоте на каком-то тигровом одеяле. К голове ее прислонен пузырь с горячей водой, рука бессильно свесилась до пола, и только глаза горели, сухие и жадные.

— Я безумно страдаю,— проговорила она хрипловатым голосом,— сядьте в ногах. Я хотела вас еще раз видеть. В Англии меня арестуют. Но я ничего не прошу у вас. Пожалейте меня.

Никита Алексеевич, сев в ноги, держа шапку, проговорил сквозь зубы:

— Жалею...

— Я вас люблю безумно. Я схожу с ума. Мне так не жить. Вы, вы, вы во всем виноваты. О, как я страдаю.

Она схватилась за сердце, потом за горло и страшно побледнела. Припадок слабости миновал, и опять глаза ее загорелись.

— Только чтобы отвязаться, я решила украсть ему документы. Да, да,— она подняла руку и погрозила,— я его ненавидела. Он зарезал бы вас во сне, если бы не я. Вы все это и без меня знаете... Вы притворяетесь, вы лжете, вы любите меня. Вы не уйдете от меня.

Ею овладела слабость, лицо покрылось потом. Никита Алексеевич сильно почесал за ухом у себя.

— Да поймите же вы, смешная женщина,— сказал он,— я не могу вас любить. Ничего у нас не выйдет.

— Вы не смеете так говорить о любви.

— А мне противно, когда вы употребляете это слово.— Он поднялся.

— Боже, какой мрак! — закричала Людмила Степановна, цепляясь за его рукав.— Почему вы меня разлюбили? Разве я хуже, чем третьего дня? Я — лучше. Я всем пожертвовала, все отдала. Я — ваша, ваша, ваша!

Кружевной капотик сполз с голого ее плеча. Она закатывала глаза. Никита Алексеевич глядел на нее. Она была слишком жалкой. Сердце его холодело.

— Ну прощайте,— сказал он, освобождая рукав.

Тогда Людмила Степановна сунула руку за подушку, вытащила маленький револьвер,— он дрожал и вертелся у нее в пальцах,— приподнялась и стала целиться. Обозов, стоя в дверях, пожал плечами.

— Подымите предохранитель.

Тогда Людмила Степановна швырнула револьвер, ткнулась головой в подушку, стиснула ее зубами. Обозов постоял, наклонился над дамой, осторожно прикрыл углом тигрового одеяла ее ноги и вышел.

.

Когда на следующее утро пароход подвалил к пустынной набережной Нью-Кестля и из ворот железного амбара вышли агенты полиции, чтобы подняться на палубу для проверки документов, Обозов увидел в толпе пассажиров Людмилу Степановну. Кутаясь в шубку, с растерянной улыбкой, она пробиралась к трапу; здесь ее остановили, и чиновник долго со всех сторон оглядывал паспорт. От амбара отделились два равнодушных «бобби» и взошли на пароход. Никита Алексеевич протолкался к чиновнику, показал свою карточку и, положив руку на пышную муфту Людмилы Степановны, сказал:

— Эта дама едет со мной. Я за нее ручаюсь.

В тот же день он сам отвез ее на «Авраама Линкольна» — пароход трансатлантической линии, отходящий ночью в Нью-Йорк, — и, прощаясь, сказал единственную фразу за весь день:

— Я не прошу простить меня. Я тоже никогда вам не прощу. Когда вам понадобятся деньги — сообщите. Будьте счастливы.

Людмила Степановна молча заплакала. Он сошел по сходням вниз и, не оборачиваясь, пропал в толпе.



ГРАФ КАЛИОСТРО

1

В Смоленском уезде, среди холмистых полей, покрытых полосами хлебов и березовыми лесками, на высоком берегу реки стояла усадьба Белый ключ, старинная вотчина князей Тулуповых. Дедовский деревянный дом, расположенный в овражке, был заколочен и запущен. Новый дом с колоннами, в греческом стиле, обращен на речку и на заречные поля. Задний фасад его уходил двумя крыльями в парк, где были и озерца, и островки, и фонтаны.

Кроме того, в различных уголках парка можно было наткнуться на каменную женщину со стрелой, или на урну с надписью на цоколе: «Присядь под нею и подумай — сколь быстротечно время», или на печальные руины, оплетенные плющом. Дом и парк были окончены постройкою лет пять тому назад, когда владелица Белого ключа, вдова и бригадирша, княгиня Прасковья Павловна Тулупова, внезапно скончалась в расцвете лет. Именье по наследству перешло к ее троюродному братцу, Алексею Алексеевичу Федяшеву, служившему в то время в Петербурге.

Алексей Алексеевич оставил военную службу и поселился, тихо и уединенно, в Белом ключе вместе со своей теткой, тоже Федяшевой. Нрава он был тихого и мечтательного и еще очень молод, — ему исполнилось девятнадцать лет. Военную службу он оставил с радостью, так как от шума дворцовых приемов, полковых попоек, от смеха красавиц на балах, от запаха пудры и шороха платьев у него болел висок и бывало колотье в сердце.

С тихой радостью Алексей Алексеевич предался уединению среди полей и лесов. Иногда он выезжал верхом смотреть на полевые работы, иногда сиживал с удочкой на берегу реки под дуплистой ветлой, иногда в праздник отдавал распоряжение водить деревенским девушкам хороводы в парке вокруг озера и сам смотрел из окна на живописную эту картину. В зимние вечера он усердно предавался чтению. В это время Федосья Ивановна раскладывала пасьянс; ветер завывал на высоких чердаках дома; по коридору, скрипя половицами, проходил старичок истопник и мешал печи.

Так жили они мирно и без волнений. Но скоро Федосья Ивановна стала замечать, что с Алексисом, — так она звала Алексея Алексеевича, — творится не совсем ладное. Стал он задумчив, рассеянный и с лица бледен. Федосья Ивановна намекнула было ему, что:

— Не пора ли тебе, мой друг, собраться с мыслями, да и жениться, не век же в самом деле на меня, старого гриба, смотреть, так ведь может с тобой что-нибудь скверное сделаться...

Куда тут! Алексис даже ногой топнул:

— Довольно, тетушка... Нет у меня охоты и не будет погрязнуть в скуке житейской: весь день носить халат да играть в тресет с гостями... На ком же прикажете мне жениться, вот бы хотел послушать?

— У Шахматова-князя пять дочерей, — сказала тетушка, — все девы отменные. Да у князя у Патрикеева четырнадцать дочерей... Да у Свиных — Сашенька, Машенька, Варенька...

— Ах, тетушка, тетушка, отменными качествами обладают перечисленные вами девицы, но лишь подумать, — вот душа моя запылала страстью, мы соединяемся, и что же: особа, которой перчатка или подвязка должны приводить меня в трепет, особа эта бежит с ключами в амбар, хлопчет в кладовых, а то закажет лапшу и при мне ее будет кушать...

— Зачем же она непременно лапшу при тебе будет есть, Алексис? Да и хотя бы лапшу, — что в ней плохого?..

— Лишь нечеловеческая страсть могла бы сокрушить мою печаль, тетушка... Но женщины, способной на это, нет на земле...

Сказав это, Алексей Алексеевич взглянул длинным и томным взором на стену, где висел большой, во весь рост, портрет красавицы, Прасковьи Павловны Тулуповой. Затем, со вздохом запахнув китайского рисунка шелковый халат, набил табаком трубку, сел в кресло у окна и принялся курить, пуская струйки дыма.

Но, видимо, он о чем-то проговорился, и тетушка что-то поняла, потому что, с удивлением поглядывая на племянника, она проговорила:

— Если ты человек, — люби человека, а не мечту какую-то бессонную, прости господи...

Алексей Алексеевич не ответил. За окном, куда он смотрел со скукой, на дворе, поросшем кудрявой травкой, стоял рыжий теленок и сосал у другого теленка ухо. Двор полого спускался к речке, на берегу ее в лопухах сидели гуси, белые, как комья снега; один поднялся, взмахнул крыльями и опять сел. Было знойно и тихо в этот полуденный час. За рекой над полосами хлебов колебались и дрожали прозрачные волны жара. По дороге, выбегающей из березового леска, ехал верхом мужик; вот он спустился к броду, — лошадь зашла по брюхо в речку и стала пить; потом он, распугав гусей, болтая локтями и пятками, поскакал в гору и крикнул что-то дворовой девке, тащившей охапку соломы, засмеялся, но, заметив в окошке барина, спрыгнул с лошади и снял шапку. Это был нарочный, посылаемый раз в неделю на большой тракт за почтой. Он привез Федосье Ивановне письмо, а барину — пачку книг.

Федосья Ивановна ушла за очками. Алексей Алексеевич принялся просматривать книги. Внимание его привлекла, в двадцать восьмом выпуске «Экономического магазина», статья о причинах ипохондрии. «Первый несчастный источник ипохондрии есть жестокое и продолжительное любострастие и такие страсти, которые содержат дух в непрерывном печальном положении; человек, обеспокоенный такими пристрастиями, коим выхода он не ищет, ищет уединения, погружается отчасу в глубочайшую печаль, покуда, наконец, нервы желудка и кишек его не придут в изнеможение...»

Прочтя эти строки, Алексей Алексеевич закрыл книгу. Итак, его ожидает ипохондрия: страсти, сжигающей его душу, нет выхода.

Полгода тому назад Алексей Алексеевич, заканчивая отделку некоторых комнат, посетил в поисках за вещами старый дом. Как сейчас он вспоминает эту минуту. Солнце садилось в морозный закат. По холодеющим полям уже закурилась поземка. Древняя ворона, каркая, снялась с убранной инеем березы и осыпала снегом Алексея Алексеевича, идущего в лисьем тулупчике по дорожке, только что расчищенной в снегу вдоль берега.

На речке, присев у проруби, деревенская девушка черпала воду; подняла ведра на коромысло и пошла, оглядываясь на барины, круглолицая и чернобровая. На деревне между сугробами зажигался кое-где свет по замерзшим окошечкам; слышался скрип ворот да ясные в морозном вечере голоса. Унылая и мирная картина.

Алексей Алексеевич, взойдя на крыльцо старого дома, велел отбить дверь и вошел в комнаты. Здесь все было покрыто пылью, ветхо и полуразрушено. Казачок, идущий впереди, освещал фонарем то позолоту на стене, то сваленные в углу обломки мебели. Большая крыса перебежала комнату. Все ценное, очевидно, было унесено из дома. Алексей Алексеевич уже хотел вернуться, но заглянул в низкое пустое зальце и на стене увидел висевший косо, большой, во весь рост, портрет молодой женщины. Казачок поднял фонарь. Полотно было подернуто пылью, но краски свежи, и Алексей Алексеевич разглядел дивной красоты лицо, гладко причесанные пудренные волосы, высокие дуги бровей, маленький и страстный рот с приподнятыми уголками и светлое платье, открывавшее до половины девственную грудь. Рука, спокойно лежащая ниже груди, держала указательным и большим пальцем розу.

Алексей Алексеевич догадался, что это портрет покойной княгини Прасковьи Павловны Тулуповой, его троюродной сестры, которую он видал только будучи ребенком. Портрет сейчас же был унесен в дом и повешен в библиотеке.

Много дней Алексей Алексеевич видел перед собой этот портрет. Читал ли книгу, — он очень любил описания путешествий по диким странам, — или делал заметки в тетради, куря трубку, или просто бродя в бисерных туфлях

по навощенному паркету, Алексей Алексеевич подолгу останавливал взгляд на дивном портрете. Он понемногу наградил это изображение всеми прекрасными качествами доброты, ума и страстности. Он про себя стал называть Прасковью Павловну подругой одиноких часов и вдохновительницей своих мечтаний.

Однажды он увидел ее во сне такую же, как на портрете, — неподвижной и надменной, лишь роза в ее руке была живой, и он тянулся, чтобы вынуть цветок из пальцев, и не мог. Алексей Алексеевич проснулся с тревожно бьющимся сердцем и горячей головой. С этой ночи он не мог без волнения смотреть на портрет. Образ Прасковьи Павловны овладел его воображением.

3

Федосья Ивановна вернулась в комнату с письмом в руке, с очками на носу и, усевшись напротив Алексея Алексеевича, сказала:

— Павел Петрович мне пишет...

— Какой Павел Петрович, тетушка?

— Да ты что, Алексис, батюшка мой, — Павел Петрович Федяшев, секунд-майор... Так он пишет разные разности, а вот для тебя: «... Много у нас в Петербурге наделал шуму известный граф Феникс, или, как его называют, — Калиостро. У княгини Волконской вылечил больной жемчуг; у генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на одиннадцать каратов и, кроме того, изничтожил внутри его пузырек воздуха; Костичу, игроку, показал в пуншевой чаше знаменитую талию, и Костич на другой же день выиграл свыше ста тысяч; камер-фрейлине Головиной вывел из медальона тень ее покойного мужа, и он с ней говорил и брал ее за руку, после чего бедная старушка совсем с ума стронулась... Словом, всех чудес не перечесть... Императрица даже склонилась, чтобы призвать его во дворец, но тут случилось препотешное приключение: князь Потемкин воспылал свирепой страстью к жене графа Феникса, родом чешке, — сам я ее не видел, но рассказывают — красotka. Потемкин передавал графу много денег, и ковров, и вещиц; увидав же, что деньгами от него не откупишься, замыслил красавицу похитить у себя на балу. Но в этот же день граф Феникс вместе

с женой скрылся из Петербурга в неизвестном направлении, и полиция их понапрасну по сей день ищет...»

Алексей Алексеевич прослушал письмо с большим вниманием и перечел его сам. Легкий румянец выступил у него на скулах.

— Все эти чудеса — проявление непонятной магнетической силы, — сказал он. — Если бы мне встретиться с этим человеком... О, если бы только встретиться... — Он заходил по комнате, издавая восклицания. — Я бы нашел слова умолить его... Пусть бы он произвел на мне этот опыт... Пусть воплотил всю мечту мою... Пусть сновидения станут жизнью, а жизнь развеется, как туман. Не пожалею о ней.

Федосья Ивановна со страхом круглыми выцветшими глазами глядела на племянника. И действительно, было чего испугаться: Алексей Алексеевич бросился в кресло и с длинной улыбкой глядел в окно на подошедших двух девок с лукошком грибов, не видя ни грибов, ни девок, ни поля, по которому, по меже между хлебов, закрутился высокий столб пыли и побрел, вертясь и пугая птиц на придорожной березе.

4

Наутро Алексей Алексеевич проснулся с сильной головной болью. Небо было знойно, несмотря на ранний час. Листы висели неподвижно на деревьях, — все застыло, и цвет зелени отдавал металлическим отблеском, как на могильном венке. Молчали куры; на скате к реке, неподвижно и не жуя, лежала, точно раздувшись, красная корова. Присмирели даже воробьи. Цвет неба на северо-востоке, у земли, был темный, глухой и жестокий.

В столовой появился с докладом приказчик. Алексей Алексеевич оставил его беседовать с Федосьей Ивановной, сам же, морщась от ломотья в висках, пошел в библиотеку и раскрыл книгу, но скоро заскучал над нею, взялся было за перо, но, кроме росчерков своего имени, написать ничего не мог.

Тогда он стал глядеть на портрет Прасковьи Павловны, но и портрет, как и все вокруг, казался жестоким и зловещим. На лице ее сидели три мухи. Алексей Алексеевич почувствовал, что зарыдает, если еще продолжится

это состояние необыкновенной отчетливости и грубости всего окружающего. Душа его изнывала от тоски.

Вдруг в доме бухнула оконная рама, посыпались стекла и раздались испуганные голоса. Алексей Алексеевич подошел к окну. Огромная и густая, как ночное небо, туча низко, над самыми полями, ползла на усадьбу. Вода в реке посинела, стала мрачной. Замотались, смялись и легли камыши. Сильный вихрь подхватил гусиный пух на берегу, сорвал с дуплистого ветлы воронье гнездо, раскидал ветви, погнал по двору кур, распушивших хвосты, закачал деревянный забор, задрал юбку на голову бабе и со всей силой налетел на дом, ворвался в окно, завыл в трубах. В туче появился свет и пробежал извилистыми, ослепляющими корнями от неба до земли. Раскололось, затрещало небо, рухнуло громовыми ударами. Задрожал дом. Печально зазвенела в ответ часовая пружина в часах на камине.

Алексей Алексеевич стоял у окна, ветер рвал его длинные волосы и развеивал полы халата. Вбежавшая тетушка схватила его за руку и оттащила от окна и что-то закричала, но второй, более ужасный удар грома заглушил ее слова. Через минуту упали тяжелые капли дождя, и дождь полил серой завесой, застучал и запенился о стекла закрытого окна. Стало совсем темно.

— Алексис, — тетушка все еще тяжело дышала, набравшись страха, — говорю тебе: гости к нам приехали.

— Гости? Кто такие?

— Сама не знаю. Карета у них поломалась, и грозы боятся, просят переночевать.

— Просить, конечно.

— Да уж я распорядилась. Они мокрое снимают. А ты сам-то пошел бы оделся.

Алексей Алексеевич спохватился и пошел из библиотеки, но в дверь в это время вскочила Фимка, комнатная девка, простоволосая, в облипшем сарафане:

— Матушка, барыня, приезжие-то, провалиться мне, — один из них черный, как дьявол.

5

Дождь лил весь остаток дня, и пришлось рано зажечь свечи. Настала тишина. Растворили окна и двери в сад, а там в темноте падал несильный, теплый и отвесный дождь, тихо шумя о листья.

Алексей Алексеевич, в шелковом кафтане, в камзоле, тканном по палевому полю незабудками, при шпаге, завитой и напудренный, стоял в дверях. Мокрая трава на лужайке, в тех местах, где падал свет, казалась седой. Пахло сыростью и цветами.

Алексей Алексеевич глядел на освещенные окна правого крыла дома, полукругом уходящего за липы. Там, в окнах, на спущенных белых занавесах появлялись тени: то мужская, в огромном парике, то женская — изящная, то высокая тень в тюрбане — слуги.

Это и были приезжие. Они давно уже и переоделись, и отдохнули, и теперь, видимо, прибирались к ужину. Алексей Алексеевич с нетерпением следил за движением теней на занавеске. От запаха ночного дождя, цветов и воска горящих свечей кружилась голова.

Вот опять появилась длинная тень слуги, поклонилась и исчезла, и в доме слышались ровные шаги. Алексей Алексеевич отступил от двери в комнату. Вошел большого роста, совершенно черный человек с глазами, как яичные белки. Он был в длинном малиновом кафтане, перепоясанном шалью, и другая шаль была обмотана у него вокруг головы. Почтительно, но достойно поклонившись, он сказал по-французски, ломанно:

— Господин приветствует вас, сударь, и просит передать, что с отменным удовольствием принимает приглашение отужинать с вами.

Алексей Алексеевич улыбнулся и спросил, близко подойдя к нему:

— Скажи-ка мне, пожалуйста, как имя и звание твоему барину.

Слуга со вздохом наклонил голову:

— Не знаю.

— То есть как — не знаешь?

— Его имя скрыто от меня.

— Э, братец, да ты, я вижу, — плут. Ну, а тебя по крайней мере как зовут?

— Маргадон.

— Ты что же — эфиоп?

— Я был рожден в Нубии, — ответил Маргадон, спокойно, сверху вниз глядя на Алексея Алексеевича, — при фараоне Аменхозирисе взят в плен и продан моему господину.

Алексей Алексеевич отступил от него, сдвинул брови:
— Что ты мне рассказываешь?.. Сколько же тебе лет?

— Более трех тысяч...

— А вот я скажу твоему барину, чтобы тебя высекли покрепче, — воскликнул Алексей Алексеевич, вспыхнув гневным румянцем. — Пошел вон!

Маргадон поклонился так же почтительно и вышел. Алексей Алексеевич хрустнул пальцами, приводя себя в душевное равновесие, затем подумал и рассмеялся.

Казачок в это время распахнул обе половинки резных дверей, и в комнату вошли под руку кавалер и дама. Начались поклоны и представление.

Кавалер был средних лет, плотный мужчина. Багрово-красное лицо его с крючковатым носом было погружено в кружева. Огромный, с локонами, парик, какие носили в начале столетия, был неряшливо напудрен. Синий жесткого шелка кафтан расшит золотыми мордами и цветами. Поверх надета зеленая шуба на голубых песцах. Золотом же были вышиты черные чулки. На пряжках бархатных башмаков сверкали брильянты, на каждом пальце коротких волосатых рук переливалось по два, по три драгоценных перстня.

Хриповатым баском приезжий проговорил приветствие, затем, отойдя на шаг от дамы, представил ей Алексея Алексеевича.

— Графиня, — наш хозяин. Сударь, — моя жена.

После этого он занялся табакеркой, нюхая, сморкаясь и задирая голову. Алексей Алексеевич выразил графине сожаление по поводу дурной погоды и живейшую радость по поводу их неожиданного знакомства. Он предложил ей руку и повел к столу.

Графиня отвечала односложно и казалась утомленной и печальной. Но все же она была необыкновенно хороша собой. Светлые волосы ее были причесаны гладко и просто. Лицо ее, скорее лицо ребенка, чем женщины, казалось прозрачным, — так была нежна и чиста кожа; ресницы скромно опущены над синими глазами, изящный рот немного приоткрыт, — должно быть, она с наслаждением вдыхала свежесть, идущую из сада.

У стола, уставленного холодными и горячими закусками, гостей встретила Федосья Ивановна. По-французски

она изъяснялась плохо, приезжие совсем не говорили по-русски, поэтому занимать их пришлось одному Алексею Алексеевичу. Выяснилось, что они едут из Петербурга в Варшаву на долгих и в дороге уже вторую неделю.

— Прошу великодушно простить меня, — сказал Алексей Алексеевич, — знакомясь, я не совсем расслышал ваше имя.

— Граф Феникс, — отвечал приезжий, жадно белыми крепкими зубами вонзаясь в курячую ногу.

Алексей Алексеевич быстро поставил задрожавший в руке стакан и побелел, стал белее салфетки.

6

— Так вы и есть знаменитый Калиостро, о чудесах ваших говорит весь свет? — спросил Алексей Алексеевич.

Феникс поднял косматые, с проседью, брови, налил вина в стакан и опрокинул его в горло, не глотая.

— Да, я Калиостро, — сказал он, с удовольствием причмокнув большими губами, — весь мир говорит о моих чудесах. Но происходит это от невежества. Чудес нет. Есть лишь знание стихий природы, а именно: огня, воды, земли и воздуха; субстанций природы, то есть — твердого, жидкого, мягкого и летучего; сил природы: притяжения, отталкивания, движения и покоя; элементов природы, коих тридцать шесть, и, наконец, энергий природы: электрической, магнетической, световой и чувственной. Все сие подчинено трем началам: знанию, логике и воле, кои заключены вот здесь, — при этом он ударил себя по лбу. Затем положил салфетку и, вынув из камзольного кармана золотую зубочистку, принялся решительно ковырять в зубах.

Алексей Алексеевич глядел на него, как кролик. Ужин кончился, и гости перешли в библиотеку, где, прогоняя вечернюю сырость, пылали в очаге дрова. Федосья Ивановна, ни слова не понявшая из разговора, осталась хлопотать в столовой.

Калиостро сел в сафьяновое кресло и, нюхая табак, говорил о том, какую пользу оказывает человеку хорошее пищеварение. Графиня опустилась на стульчик близ огня

и глядела на пламя, задумавшись. Ее руки, скрещенные на коленях, тонули в голубоватом шелку платья.

— Мой друг, доктор философии, умерший в Нюренберге, в тысячу четыреста... вот проклятая память,— пробормотал Калиостро, стуча пальцами по табакерке,— мой друг доктор Бомбаст Теофраст Парацельзиус не раз говорил мне: жуй, жуй, жуй— сие есть первая заповедь мудрого: жуй...

Алексей Алексеевич дико взглянул на графа, но тотчас, как это бывает во сне, немыслимое и действительность сами собой совместились, слились в его представлении, лишь слегка закружилась голова, но это сейчас же прошло.

— Я также не раз слышал, ваше сиятельство,— проговорил Алексей Алексеевич,— что хорошее пищеварение вселяет веселые мысли, а дурное повергает в скорбь и даже вызывает ипохондрию. Но есть и другие причины...

— Несомненно,— сказал Калиостро, опуская брови.

— Осмелюсь взять хотя бы в пример себя... Расстройство моих чувств началось вот от этого портрета...

Калиостро обернул голову, оглядел портрет и опять закрыл бровями глаза.

Тогда Алексей Алексеевич рассказал историю портрета, написанного во Франции (об этом он узнал от тетушки), и то, как нашел его в старом доме, и, наконец, все свои чувства и несбыточные желания, какие привели его к ипохондрии.

Во время рассказа он взглядывал несколько раз на графиню. Она внимательно слушала. Наконец Алексей Алексеевич, поднявшись с кресла и указывая на портрет, воскликнул:

— Еще сегодня я говорил Федосье Ивановне: ах, если бы мне встретить графа Феникса, я бы умолил его воплотить мою мечту, оживить портрет, а там,— хотя бы это стоило мне жизни...

При этих словах в ясных синих глазах графини появился ужас, она быстро опустила голову и опять стала смотреть на огонь.

— Материализация чувственных идей,— проговорил Калиостро, зевая и прикрыв рот рукой, сверкающей перстнями,— одна из труднейших и опаснейших задач на-

шей науки... Во время материализации часто обнаруживаются роковые недочеты той идеи, которая материализуется, а иногда и совершенная ее непригодность к жизни... Однако я попросил бы у хозяина пораньше нас отпустить спать.

7

Алексей Алексеевич не закрывал глаз всю ночь. На рассвете он накинул халат, спустился к речке и бросился в невидимую за туманом воду, она была как парная, но в глубине — студена. После купанья, одетый и завитой, он выпил горячего молока с медом и вышел в сад, — мысли его были возбуждены, и голова горела.

Утро настало влажное и тихое. По траве бегали озабоченные дрозды. Свистала иволга, точно в дудку с водой. Над озерцом с полуспущенными фонтанами, в голубоватой мгле, в высоких и пышных деревьях нежно рыдал дикий голубь.

Дорожки были влажные и вымытые, и на одной из них Алексей Алексеевич заметил следы женских ног. Он пошел по их направлению, и на поляне, там, где из голубоватой мглы проступали очертания круглой беседки и по сторонам ее — огромных осокорей, он увидел графиню. Она стояла на мостике и, опустив руки, слушала, как в роще куковала кукушка.

Когда Алексей Алексеевич подошел ближе, — у него забилося сердце: по лицу молодой женщины текли слезы, обнаженные плечи ее вздрагивали. Вдруг, обернувшись на хруст шагов Алексея Алексеевича, она вскрикнула негромко и побежала, придерживая обеими руками пышную юбку. Но, добежав до озерца, остановилась и обернулась. Ее лицо было залито румянцем, в испуганных синих глазах стояли слезы. Она быстро вытерла их платочком и улыбнулась виновато.

— Я испугал вас, простите, — воскликнул Алексей Алексеевич.

— Нет, нет, — она спрятала на груди платочек и сделала реверанс; Алексей Алексеевич поцеловал ей руку почтительно. — Утро так хорошо, кукушка так славно кричала: мне стало грустно, а вы меня не испугали. — Она пошла рядом с Алексеем Алексеевичем по берегу озерца. — Разве вам не бывает грустно, когда вы видите, как

хороша природа? Знаете, — я думала о вашем вчерашнем рассказе. Жить в таком изобилии, одному, молодому... И все-таки почему, почему нет счастья?..

Она запнулась и поглядела ему в глаза. Алексей Алексеевич ответил первое, что вошло в голову, — о грубости жизни и невозможности счастья. При этом он широко улыбнулся, улыбка так и осталась на его губах.

Продолжая прогулку и разговаривая, он видел перед собою только синие глаза — они словно были насыщены утренней прелестью; в ушах его раздавался голос молодой женщины и отдаленный немолчный крик кукушки.

Графиня рассказывала, что родилась в деревне, близ Праги, что она круглая сирота, что зовут ее Августа, но настоящее имя ее Мария, что она вот уже три года путешествует с мужем по свету и столько видела, — другому бы хватило на всю жизнь, — и что сейчас в этой утренней мгле все прошлое пронеслось перед нею, и она расплакалась.

— Я вышла замуж ребенком, и сердце мое за эти годы созрело, — сказала она и опять ласково и пристально взглянула на Алексея Алексеевича. — Я вас не знаю, но почему-то верю вам так, будто знаю давно. Вы не осудите меня за болтовню?..

Он взял ее руку и, нагнувшись, поцеловал несколько раз, и, когда целовал в последний, ее рука перевернулась ладонью к его губам, легко сжала их и выскользнула.

— Неужели вы не могли найти жены и подруги, не полюбили женщину, а предпочли мечту бездушную какую-то? — проговорила Мария задрожавшим от волнения голосом. — Вы неопытны и наивны... Вы не знаете — какой ужас ваша мечта...

Она подошла к каменной скамье и села, Алексей Алексеевич опустился рядом с нею.

— Почему же ужас, — спросил он, — что грешного, если я мечтаю о том, чего в жизни нет?

— Тем более... В такое утро — нельзя, нельзя мечтать о том, чего быть не может, — повторила она, и глаза ее снова наполнились слезами.

Алексей Алексеевич придвинулся ближе и взял ее за руку:

— Я чувствую — вы несчастны...

Она молча поспешно закивала головой. Она была взволнована и трогательна, как маленькая девочка. Алексей Алексеевич ощущал, как она всеми силами души стремится привлечь на себя его мысли и чувства. Стало горячо сердцу, — словно ветер, наклоняющий травы и листья, прошла по нему нежность к этой женщине.

— Кто заставляет вас страдать? — спросил он шепотом.

И Мария ответила торопясь, точно в страхе потерять минуту этого разговора:

— Я боюсь... я ненавижу моего мужа... Он — чудовище, каких не видал еще свет... Он мучает меня... О, если бы вы знали... Во всем свете нет близкого мне человека... Многие добивались моей любви, — что мне в том... Но ни один участливо не спросил — хорошо ли мне жить... Мы с вами не успели встретиться — и расстанемся, но я навеки буду помнить эту минуту, как вы спросили. — У нее задрожали губы, видимо, она делала большое усилие, преодолевая застенчивость, и вдруг залилась румянцем. — Едва я увидела вас, мне сердце сказала: доверься...

— Ради бога... этого нельзя вынести... Я убью его! — воскликнул Алексей Алексеевич, стискивая рукоять шпаги.

И сейчас же за спиной сидящих громко кто-то чихнул. Мария воскликнула слабо, как птица. Алексей Алексеевич вскочил и между стволов лип увидел Калиостро. Он был в той же зеленой шубе и в большой шляпе с белыми, падающими на плечи и спину страусовыми перьями. Держа в руке табакерку, он страшно морщился, собираясь еще раз чихнуть. Лицо его при дневном свете казалось лиловым, — так было полнокровно и смугло.

Алексей Алексеевич, держа руку на рукояти шпаги, глядел в упор на этого дивного человека. Тогда Калиостро, раздумав чихать, протянул табакерку:

— Угощайтесь.

Алексей Алексеевич невольно отнял было руку от шпаги, но сейчас же вновь схватился за рукоять.

— А не хотите нюхать, так и не надо, — сказал Калиостро. — Графиня, я вас искал по всему саду, мой чемодан уложен, но ваших вещей я не касался. — И он обратился к Алексею Алексеевичу: — Итак, если наш экипаж починен, — мы едем.

Калиостро, округлив локоть, подставил его Марии; она покорно, не поднимая головы, взяла мужа под руку, и они удалились по дорожке между густых трав к дому.

Алексей Алексеевич закрыл лицо руками и опустился на скамью.

8

Так он просидел долгое время в оцепенении, не слыша ни свиста птиц, ни плеска пущенных садовником фонтанов. Он глядел под ноги на песок, где ползали козявки. Это были те самые плоские красные козявки, у которых на спине, у каждой, нарисована рожица. Одни ползали, сцепившись, — рожица к рожице, — другие то вползали в трещину на плотно убитой дорожке, то вылезали оттуда безо всякой видимой надобности.

Алексей Алексеевич думал о том, что очарование сегодняшнего утра разбило его жизнь. Ему не вернуться более к уютным и безнадежным мечтам об идеальной любви: синие глаза Марии, два синих луча, проникли ему в сердце и разбудили его. Но что ему в том: Мария уезжает, они не встретятся никогда. И сон и явь его разбиты, — каких очарований ждать еще от жизни?

И вдруг он вспомнил, как Калиостро протягивал ему табакерку и усмехался криво, и им овладело бешенство. Алексей Алексеевич вскочил и, еще не зная, что он сделает, но сделает что-то решительное, надвинул шляпу на глаза и зашагал к дому.

У дверей его встретила Федосья Ивановна.

— Алексис, — воскликнула она взволнованно, — сейчас был кузнец и сказал, мошенник, что раньше как через два дня графский экипаж не починит.

9

Известие, что гости остаются, смешало все мысли Алексея Алексеевича, у него начался озноб и дрожание рук. Он вошел с тетушкой в дом и присел на канapé. Федосья Ивановна, не понимая хода его мыслей, спросила — не послать ли в таком случае в соседнее село за кузнецами?

— Ни под каким видом, — крикнул он, — ни за какими кузнецами посылать не смейте! — И вдруг усмехнул-

ся: — Нет, Федосья Ивановна, пусть гости поживут у нас два дня... А вот, тетушка, вы, чай, и не разобрали, кто таков наш гость.

— Фенин какой-то.

— В том-то и дело, что не Фенин, а граф Феникс,— сам Калиостро.

Федосья Ивановна широко раскрыла глаза и всплеснула пухлыми руками. Но Федосья Ивановна была русская женщина, и поэтому известие, что в доме их — знаменитый колдун, поразило ее с иной стороны: тетушка вдруг плюнула.

— Бусурман, нехристь, прости господи,— сказала она с омерзением,— всю посуду теперь святой водой мыть придется и комнаты святить заново... Вот, не было заботы... Она тоже волшебница?

— Да, тетушка. Графиня — волшебница.

— Так ведь им, проклятым, чай, пища другая совсем нужна... Ах, Алексис... Ведь они, может, нашего и не едят, а ты не догадался... Поди спроси,— чего они желают к завтраку...

Алексей Алексеевич рассмеялся и пошел в библиотеку. Там, закулив трубку, он начал расхаживать и вдруг так стиснул конец чубука зубами, что янтарь хрустнул.

«Вызвать графа на дуэль, убить и бежать с Марией за границу,— подумал он и швырнул трубку на подоконник.— Но повод к дуэли?.. Э, не все ли равно...»

Алексей Алексеевич вытащил шпагу из ножен и начал осматривать лезвие. «Но можно ли драться с гостем?» В это время в глубине комнаты, там, где была арка с задернутым малиновым занавесом, скрипнула половица. Алексей Алексеевич быстро поднял голову, но сейчас же забыл про скрип,— мысли вихрем летели у него в голове. «Нет, придется подождать, когда они отъедут, догнать их за речкой и там уж завязать ссору». Он остановился у окна и, слушая, как стучит сердце, проследил взглядом весь путь, пройденный им давеча с Марией, от беседки, вдоль озера, и до скамьи. «О милая»,— прошептал он.

Настал час завтрака. Алексей Алексеевич ожидал в столовой прихода гостей. Когда слышались их шаги, у него потемнело в глазах. Вошла Мария с опущенными ресницами, сделала тетушке глубокий реверанс и села к столу. Лицо ее было бледно и припудрено, точно весь

огонь души ее погас. Калиостро, развертывая салфетку, молча покосился на Алексея Алексеевича и сидел весь завтрак надувшись и неприятно, громко жуя. Федосья Ивановна шепотом отдавала распоряжения Фимке и сама не ела.

Напрасно Алексей Алексеевич горячими взглядами старался вызвать краску, хотя бы едва заметное движение на лице Марии: она была как восковая, а взгляды его каждый раз встречались с ответными взглядами мужа, внимательными и твердыми. И Алексей Алексеевич со свойственной ему внезапностью впал в отчаяние.

Завтрак кончился. Мария, не поднимая глаз, удалилась во флигель. Калиостро, пропустив вперед себя Алексея Алексеевича, выразил желание выкурить трубку в библиотеке.

Развалившись во вчерашнем кресле, он некоторое время сопел чубуком, поглядывал из-под косматых бровей на Алексея Алексеевича, томившегося у окна, и вдруг громко и повелительно сказал:

— Я обдумал и решил, — сегодня вечером я исполню ваше желание: я произведу совершенную и полную материализацию портрета госпожи Тулуповой.

Алексей Алексеевич дико взглянул на него и облизнул пересохшие губы. Калиостро поднялся с кресла и, вынув из кармана оправленную в серебро лупу, начал разглядывать портрет, пощелкивая языком и посапывая.

Через час начались приготовления. Маргадон снял портрет с гвоздя, тщательно обтер с него пыль тряпкой, поставил у стены, разостлал перед ним ковер. В комнате были прибраны и вынесены все лишние вещи, на окнах опущены занавесы. Алексею Алексеевичу было приказано раздеться, лечь в постель и до сумерек лежать, не принимая ни пищи, ни питья.

Алексей Алексеевич повиновался всему, чего от него требовали. Лежа в полутемной спальне, он чувствовал только, как голова его окована свинцовыми обручами. В пять часов Калиостро принес ему стакан бурой настойки из ревеня и остролистника, и он выпил, хотя пойло было гнусное. В семь у него было облегчение желудка. В восемь, одетый в просторное и легкое платье, он вошел вместе с Калиостро в библиотеку, где перед портретом, ярко озаряя его, горели в канделябрах восковые свечи.

— Дышите не слишком сильно и не слишком слабо. Дыхание должно происходить без зевоты, всхлипов, кашля, одышки и чихания, ибо магнетическая субстанция толчков не терпит.

Так говорил Калиостро, усаживая Алексея Алексеевича в низкое и покойное кресло перед портретом. По красному лицу его с прыгающими бровями, из-под буклей парика, текли капли пота. Двигаясь и не переставая говорить, он знаками отдавал приказания Маргадону.

Эфиоп взял из шкатулки пучки сухих трав, положил их в медную чашку и поставил ее перед Алексеем Алексеевичем на низенький столик, затем вынул из футляра и отнес в глубину комнаты музыкальный инструмент в виде мандолины с длинным грифом, принес большую тонкую и, видимо, очень прочную сеть и, растянув ее в руках, сел на пол близ двери.

В это же время Калиостро отточенным мелом очертил около кресла, где сидел Алексей Алексеевич, большой круг.

— Повторяю, — говорил он, — вы должны напрячь все воображение и представить эту особу, — он ткнул мелом в сторону портрета, — без покровов, то есть нагую... От силы вашего воображения будут зависеть все подробности ее сложения... Я помню, — в тысяча пятьсот девятнадцатом году, в Париже, герцог де Гиз просил меня материализировать мадам де Севиньяк, умершую от желудка... Я не успел предупредить, герцог был слишком нетерпелив, и мадам де Севиньяк оказалась под платьем как бы набитым соломою мешком... Я потерял восемь тысяч ливров, и мне стоило большого труда загнать это разъяренное чучело обратно в портрет. Итак, вообразив со всею тщательностью сложение желаемой вами особы, вы представьте ее затем в одежде, но в этом случае поступайте не горячась, ибо, как это было в тысяча двести пятьдесят первом году, когда я вызывал, по просьбе вдовы покойного, дух французского короля Людовика Лысого, он появился одетый лишь на передней половине тела, задняя же половина была неодетая и возбуждала удивление... Маргадон, — позвал Калиостро, выпрямившись и облизывая испачканные мелом пальцы, — поди и позови графиню.

Он отошел шага на два, смерил глазами круг и опять наклонился, намечая мелом по круговой линии двенадцать знаков зодиака, двадцать два знака каббалы, ключ и врата, четыре стихии, три начала, семь сфер. Окончив чертить, он вошел в круг.

— Вы будете иметь совершенный образец моего искусства, — сказал он важно, — способность речи, пищеварение, все отправления органов и чувствительность будут у нее такие же, как и у человека, рожденного от женщины.

Он наклонился над Алексеем Алексеевичем, лежавшим, как труп, в кресле, пощупал у него пульс, приказал закрыть глаза и положил ему на лоб жирную и горячую руку. В это время раздались легкие шаги и шорох платья. Алексей Алексеевич понял, что вошла Мария, и застонал, делая последнее усилие освободиться от страшной воли человека, больно нажимавшего ему пальцами на глаза.

— Не шевелитесь, сосредоточьтесь, следуйте моим указаниям... Я начинаю, — повелительно проговорил Калиостро, взял со столика длинный стальной стилет, вошел в круг и начертил великий знак Макропозопуса. Замокнувшись, он сильным движением поднял руки в широких рукавах шубы, и лицо его с глубокими морщинами и висящим носом — окаменело.

За спиной Алексея Алексеевича раздались нежные звуки струн.

— Я замкнут. Я крепко защищен всеми знаками. Я силен. Я приказываю, — нараспев, медленно и все усиливая голос, заговорил Калиостро. — О духи воздуха, Сильфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как слово Эша... Делайте ваше дело...

Алексей Алексеевич глядел на озаренное свечами надменное лицо Прасковьи Павловны, гордо повернутое на высокой шее. В минуту встала перед ним вся тоска его прошлых мечтаний, все томления бессонных ночей, и лицо ее, еще так недавно желанное, показалось ему страшным, мучительным, лихорадочно-желтым, как болезнь. Но, чувствуя, что все же нужно повиноваться, он перевел глаза ниже, на обнаженные плечи Прасковьи Павловны, и, сделав над собою усилие, стал воображать ее, как было сказано. Кровь хлынула ему в лицо. Стыд и резкая боль в груди пронзили его.

Когда было произнесено слово Эша, огонь свечей заколебался, по комнате прошел затхлый ветер. Алексей Алексеевич впился пальцами в ручки кресла. Калиостро продолжал, усиливая голос:

— Духи земли, Гномусы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как слог Эл. Делайте ваше дело.

Он поднял стилет и опустил его, и будто от подземного толчка весь дом задрожал, зазвенела хрустальная люстра, захлопали в доме двери, и из книжного шкафа, из распахнувшейся дверцы, упала на пол книга. Калиостро продолжал:

— Духи вод, Нимфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как звук Ра... Придите и делайте ваше дело...

При этих словах Алексей Алексеевич услышал отдаленный шум будто набегающего на песок прибоя и, не отрывая глаз от Прасковьи Павловны, с ужасом заметил, как все формы лица ее начали становиться зыбкими, неуловимыми...

— Духи огня, Саламандры,— громовым уже голосом говорил Калиостро,— могущественные и своевольные, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как буква Иод. Духи огня, Саламандры, призываю и заклинаю вас знаком Соломона подчиниться и делать свое дело... — Он поднял обе руки и вытянулся на цыпочках в величайшем напряжении. — Делайте ваше дело согласно законам природы, не отступая от формы, не глумясь и не выходя из моего повиновения...

И вслед за этими словами весь портрет по резной раме охватило беззвучное пляшущее пламя, настолько яркое, что огни свечей покраснели, и вдруг от всего облика Прасковьи Павловны пошли ослепительные лучи. Вспыхнули травы в медном горшке. Голос Марии, дрожащий и слабый, запел не по-русски за спиной Алексея Алексеевича.

Но она не успела окончить песни,— Алексей Алексеевич вскрикнул дико: голова Прасковьи Павловны, освобождаясь, отделилась от полотна портрета и разлепила губы.

— Дайте мне руку,— проговорила она тонким, холодным и злым голосом.

В наступившей тишине было слышно, как стукнула о пол мандолина, как порывисто вздохнула Мария, как за-сопел Калиостро.

— Дайте же мне руку, я освобожусь, — повторила голова Прасковьи Павловны.

— Руку ей, руку дайте! — воскликнул Калиостро.

Алексей Алексеевич, как во сне, подошел к портрету. Из него быстро высунулась маленькая, голая до локтя рука Прасковьи Павловны и сжала его руку холодными сухими пальчиками. Он отшатнулся, и она, увлекаемая им, отделилась от полотна и спрыгнула на ковер.

Это была среднего роста, худая женщина, очень красивая и жеманная, с несколько неровными, как полет летучей мыши, зыбкими движениями. Она подбежала к зеркалу и, вертясь и оправляя волосы, заговорила:

— Удивляюсь... Спала я, что ли?.. Что за цвет лица... И платье все помято... И фасон чудной, — жмет в груди... Ах, что-то я не могу припомнить... Забыла... — Она поднесла пальцы к глазам. — Забыла, все забыла...

Придерживая кончиками пальцев пышную юбку, она повернулась, прошла, и взгляд ее темных, матовых глаз остановился на Алексее Алексеевиче. Она медленно улыбнулась, открыв до бледных десен мелкие острые зубы, и взяла его под локоть.

— Вы так странно на меня смотрите, — я страшусь, — проговорила она, жеманно хихикнула и увлекла его к балконной двери. — Нам нужно объясниться.

11

Когда они вышли, Калиостро положил руки под шубою на поясницу и рассмеялся.

— Отменный получился кадавр, — проговорил он, трясясь всем телом. Затем повернулся на каблучках и уже без смеха стал глядеть на Марию. — Плачете? — Она поспешно отерла слезы, поднялась с табурета и стояла перед мужем, опустив голову. — Вы и на этот раз не убедились, сколь велика моя власть над мертвой и живой природой, не так ли? — Мария, не поднимая головы, с упрямой ненавистью взглянула на мужа, лицо ее было искажено пережитым страхом и омерзением. — А юноша ваш прекрасный предпочел утешаться с мерзким кадавром, не с вами...

Мария ответила тихо и твердо:

— Вы ответите на Страшном суде за чародейство.

Тогда Калиостро побагровел, вытащил руки из-под шубы и совсем прикрылся бровями. Но Мария стояла неподвижно перед ним, и он сказал с чрезвычайной вкрадчивостью:

— Три года, сударыня, не прибегая ни к какому искусству, я терпеливо жду вашей любви. Вы же ежечасно, как волк, смотрите в лес. Нехорошо, если придет конец моему терпению.

— Над любовью моей вы все равно не властны, — поспешно ответила Мария, — не заставите вас полюбить.

— Нет, заставляю. — На это Мария вдруг усмехнулась, и его глаза сейчас же налились кровью. — Я вас в пузырек посажу, сударыня, в кармане буду носить.

— Все равно, — повторила она, — власти над любовью нет у вас. Жива буду — другому отдам, не вам.

— На этот раз вы замолчите, — пробормотал Калиостро, схватывая со столика стилет, но Маргадон, стоявший до этого неподвижно за его спиной, подскочил к нему и с необыкновенным проворством поймал его за руку. Калиостро, зарывав, левой рукой ударил Маргадона в лицо, — арап зажмурился, — он отшвырнул стилет, шумно выпыхнул воздух и вышел из комнаты.

12

Алексей Алексеевич и то, что было подобно женщине и что он называл Прасковьей Павловной, шли по дорожке через полянку к прудам. Воздух был влажен. Над садом поднялась луна. Ее седой свет озарял всю широкую поляну. Отсвечивала кое-где паутина, уже протянутая пауками в густо-синей траве. Белеющими пятнами обозначались цветы, блестела обильная роса. Вдали над прудами поднимались испарения серебристым сиянием.

Алексей Алексеевич шел молча, сжав рот и глядя под ноги. Зато Прасковья Павловна, глядя на висящий над пышными грудями рожи светлый шар луны, говорила не переставая...

— Ах, луна, луна! Алексис, вы бесчувственны к этим чарам.

Холодный ее голосок сыпал словами, как стекляшечками и невыносимым звуком все время посвистывал шелк ее платья. От этих стеклянных слов и шелкового свиста Алексей Алексеевич стискивал челюсти. Сердце его лежало в груди тяжелым ледяным комом. Он не дивился тому, что рука об руку с ним идет то, что час назад было лишь в его воображении. Болтающее жеманное существо, в широком платье с узким лифом, бледное от лунного света, с большими тенями в глазных впадинах, казалось ему столь же бесплотным, как его прежняя мечта. И напрасно он повторял с упрямством: «Насладись же, насладись ею, ощути...» — он не мог преодолеть в себе отворачивания.

Дойдя до пруда, до скамьи, где утром он говорил с Марией, Алексей Алексеевич предложил Прасковье Павловне присесть. Она, распушив платье, сейчас же села.

— Алексис, — прошептала она, улыбаясь всем ртом лунному шару, — Алексис, вы сидите с дамой бесчувственно. Надо же знать — сколь приятна женщине дерзость.

Алексей Алексеевич ответил сквозь зубы:

— Если бы знали, сколько я мечтал о вас, не стали бы делать этих упреков.

— Упреки? — Она рассмеялась, словно рассыпалась стекляшечками. — Упреки... Но вы все только руки жмете, и то слабо. Хотя бы обняли меня.

Алексей Алексеевич поднял голову, всмотрелся, и сердце его дрогнуло. Правую рукой он обнял Прасковью Павловну за плечи, левой взял ее руки. Глубоко открытая ее грудь, с чуть проступающими ключицами, ровно и покойно дышала. Он близко придвинулся к ее лицу, стараясь уловить ее прелесть.

— Мечта моя, — сказал он с тоскою. Она слегка отстранилась, усмехаясь, покачала головой и взглянула в глаза ему — поблескивающими лунными точками, прозрачными глазами. — Я, как во сне, с вами, Прасковья, — наклоняюсь, чтобы напиться, и вода уходит.

— Обнимите покрепче, — сказала она.

Тогда он сжал ее со всей силой и поцеловал в прохладные губы, и они ответили на поцелуй с такой неожиданной и торопливой жадностью, что он сейчас же откинулся: омерзением, гадливостью, страхом стиснуло ему горло.

После некоторого молчания она проговорила, сладко потягиваясь:

— Мне сыро, есть хочу.

Тогда он быстро поднялся и зашагал к дому, когда же услышал за собой шелест платья, прибавил шаг, даже побежал, но Прасковья Павловна сейчас же догнала его и повисла на руке.

— Алексис, у вас претяжелый характер.

— Слушайте,—крикнул он, останавливаясь,— не лучше ли нам расстаться!..

— Нет, совсем не лучше,—она перегнулась и заглянула ему в лицо,— мне с вами приятно.

— Но вы омерзительны мне, поймите! — Он дернул руку и побежал, и она, не выпуская руки, полетела за ним по тропинке.

— Не верю, не верю, ведь сами сказали, что я мечта ваша...

— Все-таки вы отвяжитесь от меня!

— Нет, мой друг, до смерти не отвяжусь...

Они об руку влетели в дом. Алексей Алексеевич бросился в кресло, она же, обмахиваясь веером, стала перед ним и глядела весело.

— Много, много, мой милый, придется над вами потрудиться, чтобы обуздать ваш характер... Вы себялюбек.— Она сложила веер и присела на ручку кресла к Алексею Алексеевичу.— Дружок, мне ужасно чего-то все хочется, не то есть, не то пить... А то будто вода бежит по моему телу...

Алексей Алексеевич сорвался с кресла и, подойдя к двери, потянул за большую бисерную кисть звонка.

— Вам принесут еду, питье, все, что хотите,— успокойтесь.

Далеко в доме брякнул колокольчик, и слышались мягкие шаги Федосьи Ивановны.

13

Алексей Алексеевич, загораживая собой полуоткрытую дверь, сказал тетушке, чтобы она распорядилась подать в библиотеку какой-нибудь еды. Федосья Ивановна внимательно и странно взглянула на Алексея Алексеевича, молча отстранила его от двери, вошла в комнату и сейчас же увидела тощую,— как она потом

рассказывала, — черноватую женщину, даже и не женщину, а моль дохлую, — стоит, вертит веером и смотрит пронзительно.

Тетушка немедленно же разинула рот и «села на ноги».

— Федоси, — пискливым голосом сказала ей та, черноватая, — не узнаешь меня, моя милая?..

Тетушка еще сильнее села, уперлась ногами и глядела на пустую раму от портрета. Когда же Прасковья Павловна приблизилась на шаг, тетушка подняла руку с крестным знаменьем...

— Ну, чего страшиться, Федосья Ивановна, все это очень просто, — с досадою сказал Алексей Алексеевич, — эта дама — плод чародейства графа Феникса: идите и распорядитесь насчет еды...

Морщась, как от изжоги, он подошел к двери в сад, оперся локтем о притолоку и стал глядеть на полянку, залитую лунным светом. Он слышал затем, как тетушка забормотала молитву, сорвалась с места и утиной рысью выбежала из комнаты, как злобно захихикала вслед ей Прасковья Павловна, как в доме началась испуганная беготня и шепот. Но он не оборачивался и с тоскливой мукой глядел на освещенные окна флигеля.

В комнате зазвенела посуда, — это Фимка накрывала столик, расставляла судки и тарелки и, втягивая голову в плечи, с ужасом все время косилась через плечо.

Прасковья Павловна села к столу и сказала Фимке:

— Раба, что в этом судке?

— Сморчки, матушка барыня.

— Положи.

Фимка подала грибы и стала за стулом, закрыв передником рот. Прасковья Павловна откушала и велела положить себе лапши.

— Дурно служишь, — сказала она, принимая тарелку. — Хоть ты и девка деревенская, а служить должна же-манно.

— Буду стараться, матушка барыня.

— Приседай, говоря с госпожою! — Прасковья Павловна впиалась в нее темными глазами и вдруг стукнула ложкой по столу. — Раба, присядь!.. Ногу правую подворачивай... На стороны, на спину не вались... Подол держи... Улыбайся... Слащавее...

Алексей Алексеевич с отвращением глядел на эту сцену.

— Оставьте девку в покое,— наконец сказал он.— Фимка, убирайся.

Прасковья Павловна, держа в руке ложку, с удивлением оглянулась на него, дернула плечиком:

— Алексис, мой друг, не вы, я здесь госпожа. Эту же девку велю высечь, чтобы вразумительнее понимала науку...

Кровь бешенства хлынула в глаза Алексею Алексеевичу, но он сдержался и вышел в сад.

14

Алексей Алексеевич, засунув глубоко руки в карманы камзола, шел по поляне,— росой замочило ему чулки до колен, в голове рождались бешеные мысли. Бежать? Утопиться? Убить ее? Убить графа? Убиться самому?.. Но мысли, вспыхнув, пресекались,— он чувствовал, что погиб; проклятое существо впилося в него, как паук, и, кто знает, какой еще страшной властью обладает оно?

— Сам, сам накликал,— бормотал он,— вызвал из небытия мечту, плод бессонной ночи... Гнусным чародейством построили ей тело. Горячее воображение не придумает подобной пакости...

Алексей Алексеевич остановился и отер холодный пот со лба.. «А вдруг это только сон? Ущипну себя и проснусь в чистой постели свежим утром... Увижу лужок, гусей, простую девку с граблями...»

В тоске он замотал головой, поднял глаза. Луна высоко стояла над садом, и мгlistые облачка скрадывали ее свет. С речки доносилось унылое уханье лягушек...

В это время в тишине сада раздался резкий и тонкий голос Прасковьи Павловны, она звала: «Алексис!» Не отвечая, он только топнул ногой; идти на зов — нельзя, бежать было постыдно. Он увидел приближающиеся к нему три фигуры: Маргадона, Калиостро и Прасковьи Павловны. Она подошла первой и крикнула злобно:

— Все знаю, голубчик! Я-то думала — вид рассеянный и дерзкие слова — от любовной причуды. А у вас другая на уме. Слышите, другой около себя не потерплю!..

— Ай-ай-ай! — проговорил Калиостро, приближаясь. — Я-то старался до седьмого пота, а вы, сударь, нос от нее воротите.

— Любовник перекидчивый, — взвизгнула Прасковья Павловна, — на цепь вас велю посадить в подполье.

— Нет, сударыня, на цепь его сажать не годится, — ответил Калиостро, — а вы, сударь, не упрямитесь, домой нужно идти, — барыня спать хочет, и одной ей ложиться в кровать прискорбно.

Давешнее оцепенение снова овладело Алексеем Алексеевичем, он вздохнул и поплелся к дому, увлекаемый под руку Прасковьей Павловной. Но уже у самых дверей он обернулся и увидел в окне флигеля на занавесе женскую тень. Он рванулся и закричал: «Мария!» Но сзади его подхватил Маргадон, втолкнул в комнату и запер стеклянную дверь.

Алексей Алексеевич вскрикнул потому, что словно пелена спала у него с глаз: он понял, в чем спасение. Оставшись с Прасковьей Павловной наедине, он закурил трубку, сел на книжную лесенку и сделал вид, будто слушает. Прасковья Павловна грозила сгноить его на цепи, кричала, что весь дом против нее и завтра же она выкинет на двор рухлядишку Федосьи Ивановны, выдерет Фимке волосы, перепорет всю дворню, наведет свои порядки...

Алексей Алексеевич ждал, когда она устанет кричать, но у нее злости не убавлялось. Он слушал ее и не слышал, — сердце его часто билось. Он решил действовать. Выколол трубку и — встал, потянулся.

— Все это мелочи, — проговорил он, зевая, — идемте спать.

Прасковья Павловна сейчас же оборвала поток слов и изумленно, радостно усмехнулась запекшимися губами. Алексей Алексеевич взял со стола зажженный канделябр и отогнул в арке занавес, пропуская вперед себя Прасковью Павловну. Когда же она прошла, он поднес горящие свечи к занавесу, и алый бархат его мгновенно был охвачен огнем.

— Пожар! — не своим голосом закричал Алексей Алексеевич, швыряя канделябр, и побежал по длинной галерее, загибающей к флигелю, где были гости.

Один только раз он приостановился, обернулся и видел, как Прасковья Павловна, вскрикивая, срывала худы-

ми руками пылающий занавес. Когда в дали галереи слышались голоса и топот ног, Алексей Алексеевич прыгнул к окну и прижался к его глубокой нише.

15

Мимо него пробежали с испуганными восклицаниями Маргадон в развевающемся халате и Калиостро в ночном колпаке, в пестрой длинной рубахе и без панталон. Они скрылись за поворотом, откуда валил дым. Тогда Алексей Алексеевич бросился к флигелю, куда вела одна дверь со стороны галереи, другая открывалась прямо в сад. Там-то он и увидел Марию, стоявшую на пороге. Она была в белой шали, накинутой поверх платья, и в чепчике. Алексей Алексеевич распахнул окно, выскочил из галереи в сад и подбежал к молодой женщине.

— Мария,— проговорил он, складывая руки на груди,— скажите одно только слово... Подождите... Если — нет, я погиб... Если — да, я жив, жив вечно... Скажите — любите вы меня?

У нее вырвался легкий короткий крик, она подняла руки, обвила ими шею Алексея Алексеевича и с откинутой головой, с льющимися слезами, глядя сквозь слезы в глаза ему, проговорила взволнованно:

— Люблю вас.

И когда она сказала эти слова, с него спали чары: сердце растопилось, горячие волны крови зашумели по жилам, радостно вдохнул он воздух ночи и благоухание юного тела Марии, взял в ладони ее заплаканное лицо и поцеловал в глаза.

— Мария, бегите этой аллей до пруда, ждите меня в беседке. Не забудьте — когда вы перейдете мостик, дерните за цепь, и он поднимется... Там вы будете в безопасности...

Мария кивнула головой в знак того, что все поняла, и, придерживая платье, быстро пошла по указанному направлению, обернулась, усмехнулась радостно и скрылась в густой тени аллеи.

Тогда Алексей Алексеевич вытащил из ножен шпагу и кинулся в дом через балконные двери.

Сбив с ног Фимку, решительно отстранив Федосью Ивановну, повисшую было на его руке, растолкав перепу-

ганную челядь, он вбежал в библиотеку. Комната была полна дыма. Пять свечей второго канделябра едва-едва коптяще-красными язычками освещали разбросанные по всему полу книги из повалившегося шкафа, Маргадона, который топтал тлеющий ковер, и Калиостро, присевшего у кресла, и в кресле скорченное, с темными ребрами, существо, едва прикрытое лохмотьями обгоревшего платья. При виде Алексея Алексеевича оно зашипело, сорвалось с кресла и устремилось ему навстречу. Но он, вскрикнув, вытянул перед собой шпагу, и оно, с воплем отчаяния и злобы, отшатнулось от устремленного на него лезвия, кинулось в глубь комнаты и исчезло за книжными шкафами.

В то же время Калиостро, загородившись креслом, делал Маргадону знаки. Эфиоп оставил топтать ковер и стал сбоку приближаться к Алексею Алексеевичу, вытягивая нож из-за пояса. Но тот, предупреждая прыжок, сам выбросился вперед с вытянутой рукою, и лезвие шпаги до половины вонзилось Маргадону в плечо. Эфиоп крикнул и, хватая воздух, повалился навзничь. Тогда Калиостро швырнул в Алексея Алексеевича креслом и, загородиваясь предметами и бросая их, вертелся по комнате с необыкновенным для его лет и тучности проворством. Алексей Алексеевич гонялся за ним, стараясь ударить шпагой. Но Калиостро удалось выскользнуть в галерею, откуда он выпрыгнул через первое же открытое окно в сад и большими прыжками, задирая голые ноги, побежал к прудам.

Алексей Алексеевич настиг его лишь у мостика, ведущего к беседке, где между колонн смутно белело платье Марии. Калиостро, зарывав, кинулся через мостик, не видя, что средняя часть его поднята, — взмахнул руками и с тяжелым плеском, как куль, упал в воду. Раздался слабый крик Марии. Заиграла лунная зыбь по поверхности пруда, и низко над травой, с длинным свистом, полетела испуганная птичка. И снова стало тихо: ни звука ни на пруду, ни в темных древесных чащах.

Алексей Алексеевич, всматриваясь, взошел на мостик и наклонился у края разъятой его части. И вдруг у самой сваи, у воды, увидел глаза, — они медленно мигнули. Он различил поднятое лицо, щетинистый череп и торчащие уши Калиостро.

— Наверх вы все равно не подниметесь, — сказал ему Алексей Алексеевич, — свая склизкая, и я предупреждаю: если вы только опять начнете свои фокусы, я вас заколю, — вы негодай. — Он фыркнул носом. — Сидите лучше смирно, вас сейчас вытащат. — Он приложил ладони ко рту и закричал: — Эй, люди, сюда! — И скоро вдали раздались голоса людей, и начали подбегать мальчишки, дворовые мужики, девки, кто с вилами, кто с косой, кто просто с дубиной, — все были спросонок и встрепанные.

Алексей Алексеевич приказал принести веревок, связать Калиостро и вытащить из воды. Трое рослых мужиков, сняв портки и крестясь, полезли в воду. Под мостиком, между сваями, началась возня.

— Алексей Алексеевич, он, пропасти на него нет, царапается, — кричали оттуда.

— За щеки его хватай, тяни из воды, — кричали с мостика.

Наконец Калиостро скрутили веревками и вытащили на берег. Он более не сопротивлялся, и в облипшей рубашке, опустив голову и постукивая от холода зубами, пошел в толпе дворовых к дому.

Алексей Алексеевич, оставшись один, стал звать Марию, сначала тихо, потом все громче, испуганнее. Она не отвечала. Он обежал пруд, вскочил в утлую лодочку и, упираясь шестом, переехал на островок. Мария лежала в беседке на деревянном полу. Алексей Алексеевич обхватил ее, приподнял, прислонил к себе ее бессильно клонившуюся голову и, целуя ее лицо, едва не плакал от жалости и любви к ней. Наконец он почувствовал, как ее тело стало легче, поднялась и опустилась ее грудь и светловолосая голова ее легла удобнее на его плечо. Не раскрывая глаз, Мария проговорила едва слышно:

— Не покидайте меня.

16

Пожар удалось потушить. Выгорела лишь библиотечная комната, — водою и огнем в ней попорчено было много книг и вещей, — и дотла сгорело полотно на портрете Прасковьи Павловны.

На рассвете к крыльцу подали телегу, в нее на свежее сено положили вещи гостей и посадили Маргадона, — он был совсем плох: весь серый, земляного цвета, с отвис-

шим ртом и с головою, закутанной в два теплых платка. Народ, стоявший у крыльца и вокруг телеги, стал жалеть старика, — все-таки человек подневольный, слуга, пропадет не по своей охоте. Скотница дала ему на дорогу каленое яичко. Зато, когда вывели все еще связанного Калиостро, в нахлобученном кое-как парике и в шляпе с растрепанными перьями, в накинутой поверх ночной рубашки песцовой шубе, мальчишки засвистали, бабы начали плевать, а подслеповатый мужик, Спиридон, без шапки, распоясанный и босиком, всю ночь больше всех суетившийся на глазах у барина, подскочил к Калиостро и развернулся, чтобы дать ему в ухо, но его отгнали. Калиостро сам влез в телегу, насупленный, с нависшими бровями. Мордатый парень, славившийся в деревне силой и отчаянностью, весело прыгнул на нахлестки, замотал веревочными вожжами, сивая кобыленка влезла в хомут, и телега тронулась под свист и улюлюканье дворни.

— Федька, — закричал Алексей Алексеевич с крыльца, — повезешь их прямо в Смоленск и там сдай городничему.

— Будьте покойны, Алексей Алексеевич, — уже издали ответил Федька, — доставим в полном порядке, не впервой.

17

После обморока в беседке Мария едва могла дойти до дому. Ее уложили во флигеле, в спальне, предназначенной для особо именитых гостей. Над кроватью полуоткинули балдахин, на окна спустили шторы, и Мария забылась сном. Так она проспала до полудня. Федосья Ивановна, часто подходившая к дверям, слышала ее бормотанье, вошла в спальню и увидела, что Мария лежит с закрытыми глазами, ярко-румяная и не переставая говорит про себя тихим голосом. У нее началась горячка и держала ее между жизнью и смертью более месяца.

Алексей Алексеевич едва не сошел с ума от беспокойства и в тот же день сам поскакал в Смоленск за лекарем. На обратном пути он узнал от лекаря, что к смоленскому городничему привозили на телеге двух каких-то иностранцев, городничий их сначала арестовал, а затем с большим почетом отправил по Варшавскому шляху.

Осмотрев Марию, лекарь сказал, что одно из двух: либо горячка возьмет свое, либо человек возьмет свое.

Алексей Алексеевич целые дни теперь проводил у постели Марии, спал в кресле у окна, почти ничего не ел, изменился, сильно исхудал, — его лицо возмужало, стали влажными глаза; в каштановых волосах появилась белая прядь.

Однажды, ближе к вечеру, он дремал и не дремал, сидя в кресле. Сквозь персиковые занавеси солнце протянуло длинные лучи с танцующими пылинками; билась сонная муха о стекло; Алексей Алексеевич, разлепляя веки, поглядывал на пылинки в луче, на муху. Каминные часы спокойно отстукивали минуты жизни. И вот сквозь дремоту Алексей Алексеевич начал ощущать какую-то перемену во всем, заворочался, обернулся к кровати и увидел раскрытые синие глаза Марии. Она смотрела на него и смешно морщилась от изумления и усилия припомнить что-то. Он опустился на колени у кровати. Мария проговорила:

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь и кто вы такой? — Алексей Алексеевич, не в силах от волнения говорить, осторожно взял ее руку и прижался к ней губами. — Я давно смотрю, как вы дремлете, — продолжала Мария, — у вас такое грустное лицо, как у родного, — она опять сморщилась, но сейчас же бросила вспоминать. — Вот если бы вы открыли окно, было бы хорошо...

Алексей Алексеевич раздвинул шторы, раскрыл окна, и вместе с теплым и душистым воздухом сада в спальню влетел веселый шум птичьего свиста и пения. У Марии появился румянец. Улыбаясь, она слушала, и вот издали три раза прокуковала запоздалая глупая кукушка. Глаза Марии налились слезами, Алексей Алексеевич наклонился к ней, она прошептала:

— Спасибо вам за все...

Вскоре она уснула крепко и надолго. Началось ее выздоровление, и с этого дня Алексей Алексеевич не проводил уже более ночей в ее спальне.

Вместе с выздоровлением Марии настало то, что понимала только одна Федосья Ивановна: ни минуты Алексей Алексеевич и Мария не могли пробыть друг без друга, а когда сходились, молчали: Мария думала, Алексей Але-

ксеевич хмурился, кусал губы, стоял или сидел в совершенно неудобных для человека положениях.

Когда однажды тетушка заговорила с ним:

— Как же ты все-таки, Алексис, прости меня за нескромность, думаешь поступить с Машенькой? К мужу ее отправишь или еще как? — он пришел в ярость:

— Мария не жена своему мужу. Ее дом здесь. А если она меня видеть не желает, я могу уехать, пойду в армию, подставлю грудь пулям.

Ночи он проводил скверно: его мучили кошмары, наваливались на грудь, давили горло. Он вставал поутру разбитый и до пробуждения Марии бродил мрачный и злой по дому, но, едва только раздавался ее голос, он сразу успокаивался, шел к ней и глядел на нее запавшими сухими глазами.

Настал август. Над садом, мерцая в прудах, высыпали бесчисленные звезды, облачным светом белел Млечный Путь. Из сада пахло сырыми листьями. Улетели птицы.

В одну из таких ночей Алексей Алексеевич и Мария сидели в ее спальне у камина, где, перебегая из конца в конец огоньками, догорало полено. И вот, в полутьме, в глубине комнаты из-за полога выдвинулась тень. Алексей Алексеевич, вздрогнув, всмотрелся. Подняла голову и Мария. Тень медленно исчезла. Прошла минута тишины. Мария бросилась к Алексею Алексеевичу, обхватила его, прижалась и повторяла отчаянным голосом:

— Я не отдам тебя... Я не отдам тебя...

В эту минуту все разделявшее их, все измышленное и сложное — разлетелось, как дым от ветра. Остались только губы, прижатые к губам, глаза, глядящие в глаза: быть может, быстротечное, быть может, грустное — кто измерил его? — счастье живой любви.



НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НИКИТЫ РОЩИНА

Предисловие автора

Моему сыну четыре года, у него — светлые, как лен, волосы и темные глаза. Он бы совсем походил на рафаэлевского ангела, если бы не пристрастие рисовать карандашом на стенах.

Когда я задумал писать эту историю, я купил стопу бумаги и бутылку чернил. Сын, увидев на столе такое большое количество бумаги и чернил, спросил меня, что я намерен с ними делать. Я ответил, что думаю написать роман из жизни одного мальчика, который совсем не был виноват в том, что с ним произошло. Тогда он взглянул на меня строгими глазами и сказал:

— Послушайте, послушайте (у него есть привычка по два раза повторять некоторые слова), это же в самом деле глупо, — вы мне не позволяете рисовать на стене, а сами хотите испортить столько хорошей бумаги. Отдайте мне бумагу, а сами пишите, пишите коротенькую историю.

Я еще раз взглянул в его черные глаза, отдал ему почти всю бумагу, и вот — перед вами самый маленький из романов, какой только был написан.

Пролог

В просторной светлой комнате у письменного стола сидел человек с чудесной бородой, расчесанной на две стороны. Ногтем мизинца он старательно отбирал на листе бумаги зерна пшеницы от зернышек сорных трав. Глаз его был сощурен, потому что в углу рта его торчал камышовый мундштук с дымящейся толстой папиросой.

Второй человек, очень маленького роста, лежал на животе на полу и глядел под буфетный шкаф. А из-под

шкафа глядело на него в свою очередь блестящими, черными глазками поросячье рыло старого, умного ежа. Человек у стола сказал, не оборачиваясь:

— Привяжи на нитку кусочек сала, положи ему поднос и потихоньку тяни,— он вылезет.

Мальчик, лежавший на полу, был Никита Рощин; бородатый человек у стола — его отец, Алексей Алексеевич Рощин, а еж под буфетным шкафом был диким и упрямым животным, не желавшим ни под каким видом вылезать из-под буфета иначе, как ночью, когда он, стуча ногтями, бегал по комнатам и пофыркивал носом в мышинные норы.

Никита привязал на нитку кусок сахара, но еж с презрением смотрел на эти уловки. Он так и не вылез из-под буфетного шкафа.

Еж не вылез ни на следующий, ни еще через день. На усадьбе Сосновке, в старом доме, стоявшем среди темного сада, кроме неприятности с ежом, ничего особенно важного не случилось за все лето. В саду свистали зеленые иволги, под деревьями бегали озабоченные скворцы, утром в осыпанных росой листьях медовым голосом ворковал дикий голубь, на вечерней заре в пруду под ветлами плескалась рыба и так ухали, охали и стонали лягушки, что казалось, будто в пруду случилось большое горе.

И горе действительно случилось, но не с обитателями пруда, а с Никитой: осенью отец объявил ему, что переезжает в Москву, в дом к тетке, к той самой тетке, которая ходит в мужской шляпе и не дает никому спуска.

Никита будет отдан в школу, потому что ему уже десять лет, и пора подумать о более серьезных вещах, чем ежи и лягушки. Прости, прости, счастливое детство!

Большие неприятности

Я не стану упоминать о всех неприятностях, которыми отныне была наполнена жизнь Никиты Рощина,—упомяну лишь о существенных. Тетка, не дававшая никому спуска, Варвара Африкановна, заставляла Никиту мыться ежедневно с ног до головы, стричь ногти, чистить платье, целый час молча сидеть за завтраком и за обедом. Кроме того, за окнами лил мелкий дождь, громыхали телеги и брызгали грязью экипажи с поднятыми

верхами. В доме было темновато, пустынно и все стояло на своем месте, и в любой час повсюду появлялась Варвара Африкановна и не давала спуска.

Никита изучал множество наук и, кроме того, русскую грамматику, замечательную тем, что в ней все состояло из исключений, все глаголы были неправильные, а спряжения, наклонения, роды и виды этих сумасшедших глаголов закручивались в такую темную пучину, что в ней с головой тонула даже тетушка, когда к ней обращались за помощью.

Никите было запрещено свистать в согнутый палец, стрелять из стеклянной трубочки жеваной бумагой в старого теткиного кота, который при этом, лежа на своем месте, на диване, обиженно мигал ушами, запрещено было приносить с улицы всевозможных животных, запрещено с разбега кататься на подошвах по паркету в зале,— словом, под давлением всех неприятностей Никита стал обдумывать план побега из дома и соединения с одним из диких кочующих племен.

Но этому плану помешала революция.

Революция

Революция началась в тот день, когда за завтраком была подана вареная свинина, которую не брал ножик. Вместо сладкого подали такую удивительную, без сахара, рисовую кашу, что ее нельзя было стащить с ложки, когда же ее спихивали вилкой, она прилипала и к вилке. Тетушка сказала отцу:

— Можешь радоваться, Алексей, на твою революцию,— кушай на здоровье это собачье месиво.

Варвара Африкановна поднялась, затрясла подбородком, взглянула в упор лакею Петру в лоб, смерила взглядом все его два аршина двенадцать вершков роста, после чего Петр должен был, как понимал это Никита, уменьшиться, сморщиться и, к удивлению и радости всех домашних, исчезнуть так, чтобы не осталось мокрого места; но этого не случилось, и Петр даже усмехнулся, правда очень глупо,— у тетушки задрожали лиловые губы, и она выплыла из комнаты. Отец остался сидеть у стола, хватывая горстью бороду и кусая ее; глаза его блеснули.

Следующим шагом революции было появление в городе необыкновенного количества мальчишек, которые

пронзительно свистали в согнутый палец. Когда взрослые огромными толпами, с флагами и надписями, двигались посреди улиц, мальчишки эти, чтобы увеличить общий беспорядок, залезали на крыши и фонари, свистели оттуда и всем кричали — «Долой!» Когда же взрослые начали днем и ночью разговаривать, собираясь кучами на перекрестках и под памятниками, мальчишкам запрещено было свистать, — их щелкали по затылкам и вытаскивали за уши из толпы. Но зато никто уже теперь не мог запрещать висеть сзади на трамваях, прицепляться к автомобилям и извозчикам, лазать на все башни и колокольни, сидеть верхом на пушках в Кремле и купаться в Москвё-реке прямо с набережных.

От этой непрерывной деятельности мальчишки за лето пообносились и одичали. Варвара Африкановна уже более не пыталась не давать Никите спуска, — она только говорила, что все записывает в своем сердце и за все сразу, когда придет время, даст спуск.

Отец носил бороду теперь прямо, клином наперед, приезжал домой худой и веселый и шумно разговаривал.

Но всему бывает конец. Осенью взрослые, выяснив на перекрестках все вопросы, начали — одни стрелять из винтовок и пулеметов вдоль улиц, другие — заваливать окна в домах тюфяками и книгами. Мальчишки, по причине изношенной одежды и худых башмаков, тоже попрятались по домам. Было холодно, неуютно и скучно.

Вот тут Варвара Африкановна от всего записанного у нее на сердце и сказала отцу:

— Ты не слушал меня, Алексей, вовремя, — теперь поди, кусай себе локоть.

Никита пошел за отцом посмотреть, как он будет кусать локоть, но отец вместо этого намылил себе щеки и сбрил бороду. Это было самое страшное, что видел Никита за все время революции: у отца оказались безо всякой причины усмехающиеся губы и несерьезный, маленький подбородок. С этого дня между Никитой и отцом установились более взрослые отношения: отец стал будто моложе, Никита — постарше.

На следующий вечер Никита и Алексей Алексеевич, спрятавший лицо в воротник, ехали на извозчике на вокзал. На коленях у отца лежал маленький чемодан — все их имущество. Так они бежали из Москвы на юг.

Новый друг

Ехать было не совсем удобно, но весело. В купе вагона, кроме отца, сидело еще пятнадцать бородатых мужиков с винтовками — возвращались с фронта по домам. У одного, рыжего, лежал на коленях небольшой пулемет.

— Я его на огороде поставлю, — говорил рыжий, — я эту штукювину давно собирался завести.

Никита помещался наверху, в сетке из-под чемоданов. Мужики кормили его солдатскими сухарями; один, всю дорогу певший тонким голосом: «Ночка темная, — боюсь. Проводи меня, Маруся», — до того зажалел Никиту наверху, в сетке, что подарил ему ручную гранату:

— С ней нужно аккуратно обращаться, не дай господи лопнет, ничего от тебя, мальчуган, не останется.

Другой солдат, лысый, с бородой, точно запутанной домовым в косицы, говорил Никите:

— Ты его не слушай, поедem лучше ко мне, я тебя на пчельник пристрою, — мне грамотный мальчишка страсть как нужен.

Дорога была долгая. В вагоне — духота, ни лечь, ни пройти. Мужики стали друг к другу придирааться. Рыжего с пулеметом выбили, наконец, из купе, — занимал много места. Потом начали придирааться и к Алексею Алексеевичу, — кто он такой, а может быть, он буржуй? К удивлению Никиты, отец начал вдруг так лгать, что мужики только рты разинули.

В конце пути в вагоне стало просторнее, можно было выходить в коридор, и там-то Никита и встретил будущего своего друга, Ваську Тыркина.

Этот замечательный мальчик, лет четырнадцати, спал в коридоре прямо на полу, засунув голову в жестяное ведро для того, чтобы проходящие не наступали ему на щеки.

Одет он был в солдатскую шинель с подвернутыми рукавами и весь — крест-накрест и поперек туловища — обмотан пулеметными лентами. К поясу у него были привязаны ручные гранаты, обвязанные тряпицами, под рукою лежала винтовка с примкнутым штыком. Кроме того, на нем были огромные рваные сапоги и шпоры на цепочках.

Никита с уважением разглядывал столь сильно вооруженного мальчика, — не удержался и потрогал колесики на шпорах. Тогда мальчик вытащил голову из ведра, взял-

ся за гранаты, поддерживая их, с громом и звоном сел на полу, зевнул и сказал Никите лениво:

— Вот я тебя выкину в окошко, — будешь на меня пялиться.

Затем полез в карман за табаком, но табаку не нашел, сдвинул папаху на затылок и опять поднял курносый нос, уставился на Никиту круглыми, светло-голубыми, как у галки, глазами:

— Угости папиросой.

— У меня только шоколад с собой, — сказал Никита, краснея от того, что из-за шоколада вооруженный мальчик будет теперь презирать его всю жизнь. Мальчик, не презирая, съел шоколадную плитку с необыкновенной быстротой.

— Знаешь, кто я такой? — спросил он. — Вот то-то, что не знаешь, а суешься со мной разговаривать. Я Василий Тыркин, махновец, слышал?

— Еще бы, — поспешно ответил Никита.

— Дай мне другую плитку, — приказал Василий Тыркин, — этот самый шоколад у нас в ударном батальоне мы нипочем не считаем.

— Вы сейчас в отпуск едете?

— Наш отряд погиб геройской смертью под Екатеринодаром. Я один ушел, — ну, уж зато сколько я врагов переколотил, — сосчитать нельзя. Гляди, — шинель дырявая, сунь палец в дыру, — это все пули, штыковые удары.

— Что же вы теперь хотите делать?

— Тебя это не касается, что я стану делать. Я план обдумываю. Какие у нас города на пути?

— Скоро Лозовая будет.

— Лозовая так Лозовая... Вот надо собрать человек с полсотни, да и занять ее с боем. Хочешь ко мне под начальство?

Мурашки зашевелились у Никиты на спине под курткой. Но с видимой бодростью он согласился идти под начало. Василий Тыркин обещался его не бить: «Ныне это оставлено, — буду к тебе применять нравственное воздействие». Но, покончив с третьей плиткой, он раздумал брать Лозовую.

— Одна беда, — возни потом полон рот: республику надо объявлять, властей ставить на места, а этого я страсть не люблю, — я человек военный.

У Никиты отлегло от сердца: несмотря на присутствие духа, ему все же было страшно вато брать с боем город. Повертевшись некоторое время около опасного мальчика, он пробрался в купе к отцу и сидел тихо. Но скоро слышался гром и звон оружия, в купе вошел Василий Тыркин, сел рядом с Никитой и спросил:

— А ты сам-то куда едешь?

— Мы с папой едем на Кавказ.

— В таком случае и я с вами на Кавказ поеду, — мне все равно деваться некуда. И вам спокойнее будет с военным человеком, и мне спокойнее. Дай-ка еще шоколаду. Я, признаться тебе, три дня ничего не ел. Это, значит, твой отец сидит? Очень славно. А у меня, брат, ни отца, ни матери...

С этого дня Василий Тыркин, вместе со своими бомбами, пулеметными лентами, шпорами и винтовкой, более не отставал от Роциных, а к Никите относился хотя и с презрением, но дружески, даже горячо.

На двенадцатые сутки все трое приехали в город Н., где Алексей Алексеевич взял лошадей и отправился вместе с мальчиками в горы, в имение одного из своих друзей, называвшесся «Кизилы».

Страшное место

Прошлым летом местные разбойники сожгли в этом имение дом. Сторож, — единственный теперь обитатель «Кизилов», — старичок, вывезенный из Тульской губернии, по фамилии Заверткин, до того боялся этих разбойников, что, когда на дороге показывались какие-нибудь всадники, он выходил из сакли, снимал шапку и низко кланялся, говоря:

— Счастливый путь, красавцы. Дай, господи, вам удачи, добрые люди!

Завидев подъезжающих Алексея Алексеевича с мальчиками, Заверткин точно так же вышел кланяться. Когда же из арбы вылез Василий Тыркин, старичок начал креститься. Его успокоили, и он захлопотал, засуетился, устраивая приезжих.

В низенькой белой сакле, с земляным полом и маленькими окошечками, постланы были три тюфяка, набитые сухими листьями. Привезенную из города провизию по-

местили в чулане при сакле. В очаге разожгли огонь, повесили чайник, на сковородке поджарили колбасу, выпустили туда яйца, и ужин на столе, устроенном из старой двери, был неописуемо вкусен и сладок. Василий Тыркин, наевшись, разоружился и даже снял шинель. Никита с отцом вышли посидеть на бревне за порогом сакли. Ночной воздух был мягок. Внизу сонно шумел поток. Никите тоже хотелось спать, и он таращил глаза на большие звезды, переливающиеся чистым светом над смутным очертанием гор.

Заверткин, присев у бревна на пятки, посапывал пахучей трубочкой и рассказывал про свое житье-бытье в «Кизилах».

— Живому человеку здесь жить невозможно, — говорил он деликатным голосом, — сколько горя наберешься, слез одних прольешь, — и-и-и, батюшка, Алексей Алексеевич. Первое дело — медведи кровожадные, весь лес изломали, ничего не боятся, только и смотрят — кого задрать. Второе дело — шакалы... Слышите, как он заливается...

Никита прислушался, — в тишине, далеко в лесу, таял кто-то, подвывал, начинал рыдать сдавленным воплем. Никита поджал ноги и придвинулся к отцу.

— Так он и заладит вечить, скулить на всю ночь, — продолжал Заверткин. — А что ему надо, о чем тоскует? Видно, так господь его сотворил уродом. Третье дело — змея, желтобрюх, ужасная, длинная, — сколько я от них бегал. У нас в Тульской губернии змейка аккуратненькая, а этот, злодей, сам из пещеры на баранов кидается. Отвратительная здесь природа. Одна пчела хорошо водится, и в потоке рыбы — хоть руками лови... И еще забота — разбойнички. Это ведь самое воровское место — Кавказ. Пятнадцать лет здесь живу — не могу привыкнуть... Нет, это место страшное, здесь жить нельзя.

Звезды, на которые смотрел Никита, становились все больше над горой, все пушистее и вдруг погасли. Чей-то родной голос проговорил над ухом: «Э, братец мой, да ты спишь». Чьи-то руки взяли и понесли, и положили на что-то удивительно мягкое, пахнущее листьями. Потом это мягкое провалилось...

...Потом из камина вылез медведь, сел за стол, подпер лапой щеку и сказал человеческим голосом: «Нет, братец мой, это место страшное...»

Яшка

Никита проснулся от голосов на дворе. Сакля была пуста. В раскрытой двери, за которой — синее-синее небо, стоял низкорослый козел с бородой до земли и глядел на Никиту стеклянными глазами. Когда Никита протянул к нему руку и позвал: «Бяшка», — козел бешено топнул копытцем. Никита бросил в него подушкой, — козел исчез.

На дворе Василий Тыркин уже мастерил сачок из своей рубашки, которая только и годилась для рыбной ловли. Заверткин колол чурки, растапливая помятый, вычищенный самоварчик.

— Я уж как просил разбойников, — говорил он Алексею Алексеевичу, сидевшему на бревне, — все берите, грабьте, благодетели, самовар мой не грабьте. Атаман мне говорит: «Счастье твое, старый черт, что на хороших людей напал, революция не нуждается в твоём самоваре», — и пихнул в него ножкой. Вот самоварчик с тех пор и течет.

Никита сел рядом с отцом. Горы, казавшиеся вчера ночью далекими и огромными, были совсем близко и не так высоки. Зеленая лужайка недалеко от сакли уходила вниз, и там, в утреннем тумане, шумел, тише, чем ночью, поток. На той стороне его, еще неясные, проступали из тумана деревья. А из-за угла сакли высывалась рогатая голова козла, и он опять непонятно уставился на Никиту.

— Сказать трудно — сколько я от него горя хлебнул, — говорил Заверткин, — и бил я его и в лес водил, чтобы его там звери задрали, — он все свое: только и заботушки, — кого ему забодать. Яшка, Яшка, поди сюда. — Козел подошел. — Видите, как он на мальчика смотрит. Ему, значит, интересно — напугать, с ног сбить. Когда у нас, разбойники-то были — он так на атамана накинулся, — тот от него по двору без памяти бегал... Ну, пошел, пошел. — И Заверткин кинул в козла чуркой.

Напившись чаю, Алексей Алексеевич ушел за двенадцать верст в город — «выяснить политическую обстановку» и, если попадется, купить для нужд хозяйства мерина. Мальчики пошли ловить рыбу.

Поток прыгал и пенился глубоко в узком и туманном ущелье. Мальчики спустились к нему по выступам скал, хватаясь за полусгнившие лианы. Внизу было сыро, пахло гнилью, и грозно шумела седая вода. Василий Тыркин

пробрался по мокрым, покрытым плесенью камням до середины потока и начал заводить сачок.

— Есть! — вдруг крикнул он, вытаскивая бьющуюся голубую пеструшку.

И сейчас же за спиной Никиты кто-то ответил: «Бе!» Никита обернулся. За его спиной стоял козел, и, едва только мальчик обернулся, Яшка ударил его в спину рогами. Никита вытянул руки и полетел в поток, — вода подхватила его, протащила по каменистому дну. Отплевываясь, он ухватился за камень, вылез и сейчас же начал искать булыжник — запустить в козла.

Но Яшка уже стоял наверху, на скале, и, нагнув голову, глядел оттуда белыми глазами на Никиту. Мальчики полезли за ним — ловить. Яшка исчез, точно его никогда и не было. И только вечером Заверткин привел его из лесу, привязал за рога к дереву и, стегая хворостиной, учил:

— Будешь бодаться, будешь бодаться, иродова образина.

Козел помалкивал.

Зима

Теплые дни стояли с неделю, потом подул резкий ветер, оголились, потемнели голые леса, и мрачный шум их заглушал ворчание потока. По вершинам гор клубились серые облака, цеплялись за лесистые склоны и, наконец, заволокли все небо. Выпала крупа. Потом пошли дожди со снегом.

Весь день приходилось сидеть в сакле. Алексей Алексеевич часто уезжал на купленном за «бешеные» деньги мерине Пузанке в город на заседания «Комитета восстановления государственного порядка». Никита, чтобы не отбиваться от чтения и за неимением иных книг, читал «Молоховца», поваренную книгу, и на ней же решал арифметические задачи. Василий Тыркин вырезал деревянные ложки, — этому его научили в ударном батальоне.

Ложились спать рано. Вставали с восходом солнца. В сакле было хорошо, покуда горел очаг, завелись даже сверчки и мыши, но за ночь сильно выдувало.

Однажды на рассвете Никита проснулся от холода. На столе горела свеча, воткнутая в бутылку. Отец, уже одетый, сидел на корточках перед очагом и дул под охапку хвороста в угли. Никите стало очень жалко отца, сидящего на корточках, и он сказал:

— Папочка, холодно, — правда?

— А вот я сейчас огонь раздую, — ответил отец негромко, взял свечу и вышел в сенцы и оттуда уже громко проговорил: — Никита, снегу-то сколько выпало за ночь!

Никита накинул пальто и выбежал в сенцы. В раскрытую дверь была видна поляна, покрытая белым, чуть голубоватым снегом. Пахло зимним, чистым холодком. За горами, в мутном небе, проступали красные полосы зари. Отец обнял Никиту за плечи и сказал странным голосом:

— А что теперь у нас в Москве делается, а?

Снег этот держался долго, хотя дни стояли мягкие, с задернутым мглой солнцем. Василий Тыркин еще до рассвета теперь начал уходить в лес, пропадал там целыми днями. «Время, парень, строгое, — говорил он Никите, — самое теперь время красного зверя бить». Иногда он брал с собою и Никиту.

Однажды мальчики забрели далеко в горы и обходили овраг, где, по расчетам, должен был лежать медведь. Никита шел с опаской, осторожно раздвигая сучья, ронявшие снег. Василий Тыркин посвистывал иногда, саженьях в ста по той стороне оврага.

Вдруг неподалеку слышался хруст дерева. Никита остановился, — ясно было слышно, как кто-то ломает сухие ветки. У него стало пусто в коленках. «Ну, нет, не струшу», — повторил он несколько раз и ползком начал спускаться в овраг.

На склоне оказались следы, точно кто-то хотел подняться и съехал, — из-под снега зеленела мерзлая трава. Никита поднялся, чтобы обогнуть кусты, и сейчас же увидел трех людей, сидевших с поджатыми ногами на снегу вокруг кучи хвороста, приготовленного для костра. Все трое были в папах и бурках, усаые и черные, и мрачно глядели на хворост.

Но вот ближайший начал поворачивать голову и впился в Никиту круглыми темными глазами... Вскочил на ноги и выхватил из-под бурки кинжал. Товарищи его тоже поднялись, вынули кинжалы. Затем первый подошел к Никите, взял его, как филин, жесткими пальцами за руку и дернул вниз, поставил около костра.

— Ты кто такой? Ты зачем здесь? — спросил он свирепо. Его товарищ схватил Никиту за подбородок и сказал: «Ва!» Другой щелкнул очень больно Никиту в нос и сказал: «Ха, ха!»

— Пожалуйста, не щелкайте меня по носу, — проговорил Никита неожиданно шепотом, и сейчас же, чтобы не показать, будто он трусит, он выдернул руку и толкнул в живот того, кто сказал «ха-ха». Человек этот подскочил, ударил в ладоши и сел на корточки, — коричневая рожа его была осклаблена, выпученные глаза — желтые, как от табаку.

— Не смейте меня трогать, а то мы с вами расправимся, — насупившись, пробурчал Никита. Тогда первый опять взял его за руку и прохрипел:

— Спички у тебя есть?

Никита подал ему коробочку со спичками. Все трое закричали: «Га! ва! ха-ха!» — и подожгли костер, — повалили дым, затрещали сучья. Никита сказал, что ему бы нужно теперь идти. Ему на это ответили:

— Мы тебе руки свяжем, уведем в горы. Нам за тебя денег дадут.

— Вы разбойники? — спросил Никита, кусая ноготь.

— Кто — мы? Конечно — разбойники. Мы дома жжем, людсй режем, деньги себе берем. Мы абреки.

Разбойники опять вынули кишжалы, и каждый начал резать на мелкие кусочки мерзлую баранину, лежавшую тут же на снегу, насаживать кусочки на хворостинку.

«Бах!» — вдруг раскатился по лесу выстрел. Разбойники, как на пружинах, вскочили, оглядываясь, ощерясь. «Бах! Бах! Бах!» — один за другим хлестнули и гулко покатались по лесу три выстрела. Никита увидел в шагах пятидесяти Василия Тыркина, стрелявшего с колена по разбойникам. Никита сейчас же бросился в гору и лег. «Бах! Бах!»

Затем все затихло. Только очень далеко трещали сучья, — уленетывали разбойники. И скоро слышался тревожный голос Василия Тыркина:

— Никита? А Никита? Куда ты провалился?

— Здесь я, — ответил Никита, размазывая ладонью вдруг полившиеся слезы.

Таинственное исчезновение

В феврале опять подул ветер, хлынули дожди, вздулся и сердито заревел поток, и уже по-весеннему зашумели влажные леса.

А когда выглянуло солнце, на коньке сакли свистнул протяжно скворец и, задирая к солнцу черную головку,

залился на разные чудесные голоса. Заверткин вынес было из погреба колоды с пчелами. Но радость весны прервалась неожиданным событием.

Однажды ночью все проснулись от далекого грохота, похожего на гром. Это стреляли пушки. Василий Тыркин нацепил гранаты под шинель и, озабоченно пошмыгивая, ушел на разведку. Отец то выходил из сакли и слушал раскаты канонады, то присаживался к столу и хрустел пальцами. Заверткин взял самовар и унес его в лес: «от греха подальше». Никита сидел на тюфяке, — у него ослабели ноги и было тоскливо.

В конце дня пушки стали затихать, и опять нежным голосом запел скворец на сакле. К вечеру явился Василий Тыркин с исцарапанной щекой и без гранат, бросил картуз об землю и сказал:

— Наши все пропали.

Алексей Алексеевич опустился к столу и закрыл лицо руками. Потом он позвал Никиту, поставил его между колен и, глядя серьезно в лицо ему, сказал:

— Нам нужно бежать, Никитушка.

— Куда?

— Не знаю, подумаю.

Он подошел к двери, долго глядел на горы, потом махнул рукой:

— Вот, нам уж и нет больше места на родине.

Весь этот вечер отец и Василий Тыркин совещались и не переставая курили табак. Было решено пробраться в Гагры, — на Пузанка навьючить багаж, самим же идти пешком. Отъезд назначили на послезавтра. Рано утром отец, бросивший в огонь очага какие-то письма и бумаги, сказал Никите:

— Поди, пожалуйста, в лес и нарежь побольше хворостинок, нам нужно сплести корзины для выюка.

На дворе Василий Тыркин, мастеривший выюки, крикнул Никите:

— Ты не ленись, добеги до оврага, где мы разбойников стреляли, — там хворостины хороши.

Утро было теплое. Нежно зеленели деревья, на иных набухшие почки были точно помазаны смолой. Трещали, летали между ветвей сивоворонки. В лесу, насыщенном запахом весеннего сока, было весело от свиста птиц и бегающих пятен солнца. Нельзя было понять — почему на родине нет больше места жить.

В знакомом овраге, заросшем орешником, Никита услышал такой треск и сопение, что сейчас же счел за нужное влезть на дерево. Было похоже, будто по кустам изо всей силы таскают какую-то тушу, — кустарник так и валялся во все стороны. И, наконец, Никита увидел животное, ростом с человека, покрытое драной, бурой, в клочках шерстью. Оно ехало на задугу, забирая под себя что попало передними лапами, терлось и валялось, и недовольно поревывало, мотая широколобой мордой, разевало маленький свинячий рот. Это был только что поднявшийся из берлоги медведь, — он линял и выкидывал пробку.

Никита свистнул. Медведь ахнул по-человечьи и тотчас косматым шаром выкатился из орешника и затоптал, затрещал по лесу.

Никита спрыгнул на землю и стал резать орешники, драть с них легко сходящую сладкую кору. К полудню он нарезал большую вязанку, взвалил на спину и понес домой.

Идти было жарко. Ломило плечи. Несколько раз Никита присаживался и видел дятла, который со страха поднял красный гребешок и пестреньким платочком пролетел сквозь листву, видел, как муравьи тащили сосновые иглы и дохлых мух к себе в муравейник, запустил шишкой в белочку, прильнувшую на растопыренных ножках к стволу дерева, спугнул из кустов огненного фазана и, наконец, приплелся домой.

Еще подходя, он заметил неладное, — у порога валялся разодранный тюфяк. Никита вбежал в саклю, — там все было перевернуто, на полу разбросаны книги, белье, листья из распоротых тюфяков. Никита стал звать отца, но никто не ответил. Не было ни отца, ни Василия Тыркина, ни Заверткина, пропал даже Яшка-козел.

Поиски

Никита обежал весь двор, заглядывал повсюду, спустился к потоку, кричал, свистал и в сумерки вернулся к опустевшей сакле, сел у порога на бревно, подперся и сидел неподвижно, покуда над очертанием гор не проступили большие звезды, дрожащие от влажности и чистоты.

Никита вспомнил, как в день приезда отец говорил ему, указывая на эти звезды: «В древности люди думали,

что у каждого человека есть своя звезда. Теперь не верят этому. Но, если хочешь, я могу тебе подарить вон ту, которая переливается».

Как и тогда, звезды начали расплываться. Никита подышал носом, покусал губы и сдержался: плакать было нельзя. Над лужайкой беззвучно летали две мыши, ясно различимые в звездном небе. Трещала деревянным язычком древесница. От тихого дуновения шелестели листья на тополе.

Вдруг из-под склона лужайки, из темноты, поднялась голова с рогами, выросла, приблизилась, потом поднялась вторая голова, выросла и приблизилась, — это были Яшка и Заверткин. Никита кинулся к старику, спрашивая, где отец. Заверткин, державший в руках самовар, поставил его на землю и рукавом вытер глаза:

— Увели отца и Ваську увели.

И он рассказал, как из города приходило двенадцать человек с пулеметом, и эти люди схватили Алексея Алексеевича и Василия Тыркина, хотели было тут же их и расстрелять, но они отругались, — крик и ругань была великая... Тюфяки распороли, вещи все покидали, побили, — искали писем каких-то и денег.

Никита хотел сейчас же бежать в город искать отца, но Заверткин уговорил его не ходить ночью; поставил самоварчик, положил в него пучочки сухой травы и попоил Никиту горьковатым и пахучим настоем шалфея. Никита уснул не раздеваясь. На рассвете Заверткин разбудил его, сунул в карман луковицу и ломоть хлеба и вывел на городскую дорогу.

Никита довольно долго бежал по узкому шоссе, вьющемуся с холма на холм белой полоской. Из-за гор поднялось бледное солнце, и внизу, в котловине, в туманной мгле и дыму догоравшего пожарища, Никита увидел вылинявшие кровли города.

Оттуда по шоссе шли две рослые бабы, тяжело ступая под тяжестью узлов. Одна, рябая, с усмешкой оглянула Никиту, остановилась и спросила:

— Куда, барчук, идешь?

— В город.

— Не ходи, милый, зарежут.

И бабы пошли дальше, смеясь о чем-то. Никита со злобой глядел им вслед: «Хотели напугать!.. Зарежут так зарежут!..»

И он еще быстрее побежал по пыльной дороге к городу. Навстречу попадались бабы и мужики с узлами и вещами. У одного на голове была надета граммофонная труба.

Наконец сбоку дороги Никита увидел остатки пожарища — обугленные столбы и дымящиеся кучи мусора. Дальше шоссе было изрыто взрывами снарядов; заборы повалены и разбиты; на телеграфных столбах — обрывки проводов; мостовая усыпана битыми стеклами; посреди улицы лежала убитая лошадь с задранной ногой. Наконец стали попадаться солдаты в расстегнутых шинелях, с заломленными картузами, с винтовками, перекинутыми дулом вниз через плечо. С треском, в облаке пыли, промчался мотоциклет, от которого в стороны отскакивали пешеходы. На площади, на перекладине трамвайного столба, высоко над землей покручивался какой-то человек в чулках.

Никита свернул на улицу, полную народа. Скуластый солдат штыком преградил ему дорогу.

— Назад, проходу нет!

— Я ищу отца, — сказал Никита.

— Назад, тебе говорю! — Скуластый замахнулся прикладом. Никита попятился, и в это время другой солдат, пахнувший хлебом и овчиной, положил руку сзади ему на шею:

— Кого ищешь, парень?

Никита, задыхаясь, рассказал ему о пропаже отца. Солдат, пахнувший хлебом и овчиной, проговорил:

— Ах ты, таракан запечный, плохо твое дело... Ну, иди за мной, я уж тебе, так и быть, покажу, где твой батяка сидит...

Он привел Никиту к низкому каменному дому, где у крыльца стояли два пулемета и расхаживали солдаты с винтовками дулом вниз. Никита хотел было войти в дом, но его отогнали. Солдат, пахнувший хлебом и овчиной, затерялся. Никита стал смотреть в окна, но на них висели шторы. Время от времени к крыльцу подкатывали мотоциклетки, с них слезали молодые люди в кожаных куртках и, дребезжа по ступенькам шпорами, вбегали в дом. Затем провели несколько арестованных человек, — бледных, полураздетых и без шапок, — и за ними захлопнулась дверь низкого дома с занавешенными окнами.

У Никиты кружилась голова от голода и усталости, но он упрямо стоял и ждал. Вдруг за его спиной кто-то проговорил шепотом:

— Не оборачивайся, иди за мной...

И сейчас же мимо прошел Василий Тыркин в заломленном картузе, — руки в карманы, — свернул в переулок и там только обернулся:

— Никита, отца надо выручать.

— Папа жив?

— До утра будет жив.

И Василий Тыркин рассказал, как их арестовали, привезли на двор низкого дома, где было уже человек двести арестованных, как люди, которые привезли их, ушли, и он тогда выпустил из-под козырька вихор и начал «ловчиться» поближе к воротам. Потом видит, — около отхожего места стоит винтовка, он ее взял, потолкался еще немного по двору, для вида, и, посвистывая, вышел прямо через ворота на улицу.

— У них там такая бестолочь — что хочешь делай... Слушай, вот я что придумал...

Побег

Никита и Василий Тыркин пошли на край города, где вчера был рукопашный бой. Домишки здесь стояли с выбитыми стеклами, в дырках от пуль, с отскочившей штукатуркой. На тротуарах виднелись темные пятна. Убитые были уже убраны, но по дворам еще много валялось винтовок, картузов и патронных сумок.

Василий Тыркин подыскал Никите простреленный картуз по голове, сумку и ружье. Свою винтовку, взятую давеча на дворе, он переменял на кавалерийский карабин. Затем мальчики начали обходить разграбленные дома, пока в одном не нашли то, что им было нужно: в углу на божнице — пузырек с чернилами и перо.

Василий Тыркин велел Никите пристроиться писать на подоконнике, вынул из-за обшлага бланк «Удельного Ведомства Виноделия», найденный им среди мусора, и сказал:

— Пиши: Российская Федеративная Республика...

— А тут напечатано — «Виноделие». Его зачеркнуть? — спросил Никита.

— Нет, не зачеркивай, они с виноделием хуже спутаются. Пиши: «Спешно, совершенно секретно. Во исполнение приказа товарища Главкомброд...»

— Это что же значит?

— А черт его знает... Пиши непонятнее: «Приказано — главного агента гидры контрреволюции, кровавого буржуя, Алексея Рощина, перевести в городскую тюрьму. При попытке к бегству расстрелять на месте. Поручение исполнить товарищам Василию Тыркину и...» как тебя прописать?

— Как-нибудь пострашнее.

— Пиши: «и товарищу Никите Выпусти Кишки...»

Когда замечательная бумага эта была написана, мальчики пошли на базар, купили молока и вяленой рыбы и поели. Никиту прогрело солнце, он лег ничком на чахлой травке, растущей вокруг собора, и сквозь сон слышал то людские голоса, то грохот колес, то острый свист стрижей, летающих как ни в чем не бывало над куполом колокольни.

В сумерки Василий Тыркин растолкал Никиту, мальчики зарядили винтовки и пошли к низкому дому. Переходя площадь, они встретили рослого парня-солдата, — хмуро опустив голову, он брел, загребал пыль огромными сапожищами. Василий Тыркин окликнул его:

— Какого полка?

— Интернационального, — ленивым языком едва выговаривал парень.

— Иди за нами.

— Это почему я должен за вами идти?

— Молчать, товарищ! — крикнул Василий Тыркин, задирая к нему нос. — Читай приказ, — и он сунул в лицо ему бумагой. Парень поглядел, поправил винтовку на плече и сказал уже смирно:

— Ладно, идемте, товарищи.

К воротам низкого дома едва можно было протолкаться: люди всякого сброда орали, требовали выдачи пайков и табаку, грозились устроить «вахрамееву ночь» в городе, с руганью лезли на крыльцо и шарахались в темноту. Трещали, как бешеные, мотоциклетки. Два прожектора ползали пыльными лучами по темным окнам домов на площади, выхватывали из мрака отдельные бегущие фигуры.

Василий Тыркин пробился к воротам, где стоял часовой — усатый человек в широкополой, очевидно дамской, шляпе, и сказал ему сурово:

— Отворяй ворота.

— По чьему приказу?

— Российская Федеративная Республика. Спешно, совершенно секретно... Читай, тебе говорят... Мне некогда.

Мрачный человек в дамской шляпе посмотрел на бумагу, поводил по ней усами и, все еще нехотя, отворил калитку в воротах. Василий Тыркин, Никита и парень — их спутник — вошли во двор.

— Эй, где дневальный? — закричал Василий Тыркин. — Что за порядки!

— Здесь, — откликнулся из темноты бодрый голос.

— Выдать по ордеру Алексея Рощина, буржуя... Живо, товарищ, не теряйте революционного времени!

— Рощин... Алексей Рощин, — пошли голоса в глубине темного двора.

Никита, вглядываясь, различал сидящие на земле унылые фигуры. Вдруг, точно иглой прокололо ему сердце, — от стены медленно отделился и подходил отец в накинутах на плечи пальто. Голова его была забинтована тряпкой.

— Я здесь, — проговорил он тихо и глухо. — За мной пришли?

— Молчать, кровавая гидра! — закричал Василий Тыркин, замахиваясь на него прикладом. Алексей Алексеевич вздрогнул, всмотрелся и прикрыл низ лица воротником.

— Ведите, — отрывисто сказал он.

Василий Тыркин и ленивый парень поволокли его под руки к воротам, но здесь вышла заминка: часовой в дамской шляпе, приотворив после сильного стука калитку, сказал, что сейчас было распоряжение — никого со двора не выпускать. Василий Тыркин опять показал бумагу, часовой замотал усами, — не могу. К спорящим придвинулись люди с той стороны ворот, раздались голоса:

— Какие это порядки, — мы ловим, а они уводят... Кто им дал разрешение?.. Покажи пропуск... Комиссара надо позвать... Товарищ, беги за комиссаром...

Во время этой толкотни Никита отыскал страшно задрожавшую, холодную, как лед, руку отца и прижался к ней губами. Василий Тыркин пытался, перекрикивая голоса, читать бумагу, но чья-то рука вырвала ее. Тогда он, ошестившись от злости, сорвал с плеча карабин, прикладом ударил усатого человека по дамской шляпе и выскочил за ворота. Ленивый парень толкнул туда же Алексея Алексеевича и закричал вдруг исступленным голосом:

— Расступись, убью!..

Толпа подалась, несколько человек шарахнулось с дороги. Зазвякали ружейные затворы, но Никита и Алексей Алексеевич, держась за руки, уже далеко бежали по темной площади. Позади ударили выстрелы.

Отец сильнее сжал руку Никиты. Вдруг впереди бегущих вывернулся Василий Тыркин, крикнул: «Налево, в переулок, к речке!» — повернулся, припал на колени и выпустил в преследующих всю пачку.

Между небом и землей

Заслоняя огромною тенью звезды, высоко над палубой, на рее висела распяленная туша быка. Большая Медведица опрокинулась золотым ковшиком над черным и выпуклым морем. Темный дым из паровой трубы отходил в сторону и далеко был виден на звездном небе. Высокие мачты, перекладины рей и туша быка были неподвижны, звездное же небо едва покачивалось.

Никита лежал на открытой палубе. Рядом с ним похрапывал отец, завернувшись в одеяло, по другую сторону спал Василий Тыркин. На свертке канатов сидел, мучась бессонницей, босой старичок, бывший очень важным когда-то человеком. По всей палубе, пропахшей вареными бобами и салом, лежало множество спящих тел. Вот кто-то приподнялся, оглядываясь дико, и опять с сонным рычанием повалился на подстилку. Наверху, между лодок, желтел свет сквозь жалюзи капитанской каюты. В ней открылась дверь, вышел коренастый человек в белом — капитан, и стоял неподвижно, глядя на усыпанное звездами небо, на Млечный Путь. Эти звезды, и Млечный Путь, и Большая Медведица были наверху и внизу, в черной бездне. Огромный пароход, полный спящих, бездомных людей, казалось, летел в звездном пространстве.

Босой старичок, сидевший неподвижно на канатах, пошевелился, поднял голову от колен и проговорил громко, но, очевидно, сам для себя:

— Глаза бы мои тебя не видали...

И сейчас же за его спиной поднялась голова в очках, без усов, с остроконечной бородкой. Поднялась осторожно и стала слушать. Это был агент контрразведки.

— Ах, Африка, Африка, — проговорил старичок.

Никита понял, что старичку ужасно трудно, — не по годам, — ехать босиком в Африку, куда вот уже седьмые

сутки шел пароход. Никита положил руки под голову и стал думать об Африке:

О крокодилах, которые хватают детей за ноги.

О львах, стоящих целыми часами неподвижно за бургом песка, подняв хвост.

О страусах с перьями от шляп на хвосте, до того прожорливых, что им можно дать проглотить ручную гранату.

О мухах цеце.

О голых, раскрашенных дикарях, плывущих, размахивая копьями, в остроносой пироге по светлой и дивной реке...

Река эта понемногу покрылась туманом, поднималась к нему и разлилась среди звезд в Млечный Путь.

Покойной ночи, Никита!

1923 г.



РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ

Вранье и сплетни. Я счастлив... Вот настал тихий час: сижу дома, под чудеснейшей лампой, — ты знаешь эти шелковые, как юбочки балерины, уютные абажуры? Угля — много, целый ящик. За спиной горит камин. Есть и табак, — превосходнейшие египетские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на двери. На мне — легче пуха, теплее шубы — халат из пиренейской шерсти. Соскучусь, подойду к стеклянной двери, — Париж, Париж!

Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, оттуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше — трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чашей, будто выстроен из голубых теней. Во мгле висит солнце. Воздух влажен и нежен: сладкий, пахнувший ванилью, деревянными мостовыми, дымком жаровен и каминных труб, бензином и духами — особенный воздух древней цивилизации. Этого, братец мой, никогда не забыть, — хоть раз вдохнешь — во сне припомнится.

Пишу тебе и наслаждаюсь. Беру папиросу, закуриваю, откидываюсь в кресле. Как славно ветер рвет жалюзи, пощелкивают в камине угли. До сладострастия приятно, — вот так, в тишине, — вызвать из памяти залежи прошлого.

Не вообрази себе, что я собрался каяться. Ненавижу, о, ненавижу расейское, исступленное сладострастие: бить себя в расхлыстанную грудь, выворачивать срам, вопить кликушечьим голосом... «Гляди, православные, вот весь я — сырой, срамной. Плюй мне в харю, бей по глазам, по сраму!..» О, харя губастая, хитрые, исступленные

глазки... Всего ей мало,— чавкает в грязи, в кровище, не сыта, и — вот последняя сладость: повалиться в пыль, расхлыстаться на перекрестке, завопить: «Каюсь!..» Тьфу!

Нет, я давно уже содрал с себя позорную кожу. Паспорт — русский, к сожалению. Но я — просто обитатель земли, житель без отечества и временно, надеюсь, в стесненных обстоятельствах. Хотя у меня даже есть преимущество: свобода, голубчик. Никому я ничем не обязан. Вот солнце, вот я,— закурил папиросу и — дым под солнце. Идеальное состояние. Я — человек, руководствующийся исключительно сводом гражданских и уголовных законов: вот — мое отечество, моя мораль, мои традиции. Я дьявольски лойялен. Попробуй мне растолковать, что я живу дурно, не нравственно. Виноват, а свод законов? Зачем же вы его тогда писали? Что вы еще от меня хотите? Добра? А что это такое? Это можно кушать? Или вы требуете от меня любви к людям? А в четырнадцатом году, в августе месяце — о чем вы думали? Ага! Шалуны, милашки! За время войны я уничтожил людей и вещей ровно столько, сколько мне было положено для доказательства любви к людям и отечеству. Со стороны любви — я чист. Или вы хотите от меня чести? Старо, голубчики. Ни георгиевских крестов, ни почетных легионов не принимаю. За честь деньги надо платить, тогда честь — честь. А ленточки — это дешевка, — мы не дети.

Удивительно, живешь и все больше убеждаешься, — какая сволочь люди, — унылое дурачье. Я уж не говорю про — извините за выражение — Рассею. На какой-то узловой станции был обычай расстреливать жидов и большевиков в нужнике. Этот самый нужник — вся Рассея. Вымрет, разбежится, будет пустое место. Сто лет на ней, проклятой, никто не станет селиться. А помнишь Петербург? Морозное утро, дымы над городом. Весь город — из серебра. Завывают, как выюга, флейты, скрипит снег, — идут семеновцы во дворец. Пар клубится, иней на киверах, морды гладкие, красные. Смирн-а-а! Красота, силища. О, мужичье проклятое! Предатели! Шомполами, шомполами!.. Ну, да к черту...

Французишки тоже хороши: салатники, — покажешь ему франк, скалит гнилые зубы. А попроси помочь, попробуй, — оглянет тебя, как будто сроду такого сукина сына не видел, и в лице у него изображается оскорбленная национальная гордость. А кто вас на Марне спас, бульонные ноги, лизоблюдники? Да, да, к черту...

.

А в участках у них городовые — ажаны — первым делом бьют тебя в ребра и в голову сапогами, это у них называется «пропускать через табак». Не умру, дождусь, заложу я когда-нибудь динамитную шашку под Триумфальную арку. Все их долги у меня в книжечке записаны...

Вот, полюбуйся: прошло больше часу, как я пишу это письмо, а она за стойкой хоть бы пошевелилась. Бабища, налита вся красным винищем, выпивает четыре литра в день, плечи — могучие, корсетом до того перетянута, что внизу — пышность непомерная, а за грудь — отдай царство: мадам Давид. От этого корсета она так и зла. Идолице. Черноволосая, профиль как у Медеи. Каждые два су гвоздем приколачивает к вечности. Вот — перемыла стаканы, взяла свинцовую лейку, налила пинар¹ во все бутылки и — опять — каменные руки сложила и глядит из-за прилавка на улицу. Это ее быстро называется «Золотая улитка». У самой двери, из-под железной крышки бьет вода, течет ручеек вдоль грязненького тротуарчика. Уличка узенькая, вонючая, вся — в салатных, капустных листьях. Но — местечко старое. Пахнет жареной картошкой, шляются оборванцы. Здесь не морщатся на твои дырявые башмаки. Эту уличку — сними-ка шляпу — мостил еще король-Солнце. По квадратным плиточкам мимо этого кабачки возили в тележках возлюбленных тобою французов, — Дантона возили и Робеспьера возили — головушки им рубить. И такая же идолица, Медея, глядела из-за этого прилавка, не сморгнув глазом...

На чем бишь остановился? Да, — мадам Давид изволила, наконец, перевести провансальские очи в мою сторону: «Ни, ни, cher ami, ни капли больше вина, заплатите сначала должок». О прелестница, идол моей души, откуда же я возьму тебе франки? Любви — залежи у меня в растерзанном славянском сердце, а франков нет... Делаю сладенькие улыбочки, — дрогнешь, Медея, выставишь еще бутылмент...

¹ П и н а р — дешевое вино.

...Это всё, разумеется, поэтическое отступление. Сижую, дружище, в своем роскошном кабинете. Курю. Кофе и ликер мне принесли снизу, из ресторана. Чудно пахнет духами, — давеча у меня целые сутки провела одна прелестная женщина, — как ее, черта, забыл имя, — из театра Водевиль. Это, братец, не ваша собачья Ресефесерия. Здесь культура утонченного наслаждения, в центре — женщина, как драгоценность в кружевном футляре. Здесь паршивая девчонка из универсального магазина и та ногти себе на ногах полирует. Так-то. Прочихайся со своей революцией у себя на Собачьей площадке...

Зачем я все-таки тебе пишу? Глупо. Какая-то нелепая отрывка старого, — будто мне нужно чье-то оправдание... Плевать! Вот чокаюсь с бутылкой. Человек должен в начале начал сам себе наплевать в душу: вынесет, тогда — владыка, шагай по согнутым спинам!.. Нужно мне, пойми ты, славянский кисель, чудовищно нужно мне привести себя самого в систему, в порядок. Нужно свести счеты с одним человечком, с другом моим...

(Здесь, в рукописи, следовало чернильное пятно и от него широкая полоса с загогулиной, — видимо, писавший эти строки размазывал чернила пальцем. Затем было написано: «Ложь, погано, гнусно». Слова эти замараны чертой. Далее нарисована женская головка и голые ножки — отдельно. После этого продолжалась рукопись.)

...Абазур, египетские папироски, тишина, кофеек, покой. Смешно, да? Врете вы все до одного... Все вы лакомки, всем вам только бы дорваться до халата... А врете вы от пошлости, с жиру и страху... Лопнул ваш гуманизм во всю на весь мир и сдох. Высшее, что есть в жизни, — покойно заснуть, покойно проснуться и покойно плюнуть с пятого этажа на мир. Полюбуйся: вот висит мое пальто; в левом кармане — чистые носки и воротничок, — берегу их на особенный случай, в правом — карточка покойного отца в камер-юнкерском мундире, расческа и бритва... Весь мой багаж. Легко необычайно, ни прачек, ни забот. Остается последний шаг: прочно упереться носом в бистро мадам Давид, поглядывать на нее слезящимися глазами, слушать, как звенит, звенит в голове, — пить и сморкаться. Нет! К свиньям собачьим! Мне — тридцать четыре года. Я умен, талантлив... В Готском альманахе за-

писан мой род. Имею свирепое право на жизнь. Будет у меня и абажур, и тишина, и камин. Вот тогда я посмеюсь. Будет и будет!.. Ну, ладно...

...Друг мой, Михаил Михайлович, — я знаю, — часа уже три бегае по Парижу, пряменький, страшненький, с добренькой улыбочкой (о, пропитая душа, актер, эгоист), забегает во все щели, высматривает меня невидящими глазами... Ку-ку, Миша, — этого быстро вы не знаете. А вдруг — зыбкой походочкой прибежит по капустным листьям и, не глядя на меня, прямо ко мне — зыбкой походочкой, и сядет рядом на соломенный стул, беззвучно примется смеяться, трястись?.. Кошмар сумасшедший!..

Вот тебе портрет этого человека, самого близкого мне, самого ненавистного. Притворный, скользкий, опустошенный, как привидение. Ну, ладно...

Сошлись мы с ним в ноябре шестнадцатого года, в Париже. Воевал я недолго, ты знаешь. Дорогое отечество требовало во что бы то ни стало моей жизни. Но тетушка Епанчина села на своих больших рысаков и устроила меня при артиллерийском ведомстве. Когда, летом, нас, военных чиновников, потянули на фронт, тетушка Епанчина опять села на своих больших рысаков, и я очутился в Париже, при военной миссии.

Русская дивизия, брошенная из хвостовства в бессмысленные и кошмарные бои, потеряла в Шампани свыше половины состава и была отведена в тыл. Тогда-то и настало время чудо-богатырских кутежей у Паяра, в Кафе де Пари, у Максима. Русское командование показало широту натуры. За нами шатался постоянный табунок девчонок. В это как раз время я и сошелся с Михаилом Михайловичем Поморцевым.

Он каким-то особенным образом, — даже нехорошо, — любил музыку, приходил от нее в тихое неистовство. Бывало — заберемся в кабак. Под утро, в дыму (девчонки полураздеты), сажусь я к роялю (у нас был излюбленный инструмент у Паяра) и играю «трясогузку», полечку из веселого дома, — научил ей меня в Симбирске протопоп. Смотрю — у Михаила Михайловича лицо собирается в страдальческие морщины. Девчонки довольны, задирают ноги на стол. Тогда я начинаю играть Град Китеж. Михаил Михайлович садится у рояля на ковер, рас-

стегивает мундир, — в руках бутылка с коньяком и рюмка, — слушает и раскачивается, припухшее лицо его — бритое и красное — все смеется, залитое слезами.

Помнишь это место в Китеже: над темным полем летит умученный князь, мертвый жених. Его шаги налетают, как топот коней, — надрывающий, мертвый топот. В сердце Февронии запевают похоронные лики лесных скитов, голосит иступленная вера... Преобразись, неправедная земля!.. И вот ударили колокола Града Китежа, раздались дивным звоном, гремящим солнечным светом... Михаил Михайлович раскачивается, пьяный, замученный... Черт его знает, что было в душе у него — не знаю, хотя и прикован к нему, как каторжник к каторжнику... Вчитайся, пойми, — все это важно.

Его род — не древний, от опричины. Предок его, насурмленный, наруганный, валялся в походных шатрах, на персидских подушках: был воеводой в сторожевом полку. От великой нежности ходил цепетной походкой, гремел серьгами, кольцами. Любил слушать богословские споры, — зазывал в шатер попов, монахов, изуверов. Слушая, разгорался яростью, таскал за волосы святых отцов, скликал дудочников и скоморохов, — и начинался пир, крики, пляски. Тащили в круг пленного татарина, сдирали с него кожу. Прогуляв ночь, кидался он из шатра на аргамака, — как был — в шелковой рубанке, в сафьяновых сапожках, — и летел впереди полка в дикую степь, завизжав, кидался в сечу. Погиб он на безрассудном деле, — плененный татарами, замучен в Карасубазаре.

Такой, да не совсем такой, его потомок, мой друг Михаил Михайлович. Неистовый, но немощный и даже тихий. Вырос в Царскосельском дворце девственником, а выйдя из корпуса в полк, кинулся в такой разврат, что всех удивил, многие стали им брезговать. Затем, так же неожиданно, вызвался в Москву на усмирение мятежа — громил Пресню, устроил побоище на Москве-реке и с тихой яростью, с женственной улыбочкой пытал и расстреливал бунтовщиков. Я уж чувствую, понимаю: когда играешь ему Китеж — он как в бане моется, дрянь из него выходит, — хлещет себя веником, поддает квасу на каменку. Затем он ушел в запас, стал слушать лекции в духовной академии, будто бы хотел принять сан. И, конечно, сорвался на бабе, замучил ее и себя. Бабенка эта убежала от него, в одной юбчонке, с хлеботорговцем в

Нижний-Новгород. От тоски и неряшества Михаил Михайлович стрелялся. Началась война. Говорят — он дрался лихо, получил золотое оружие и кресты, но после катастрофы пятнадцатого года стал подаваться в тыл. Как весьма отличившегося офицера послали его в Париж в военную агентуру. О России, среди своих, он говорил со злобой и брезгливостью. Но с французами держал себя высокомерно. В нем была изорвана, как гнилая нить, линия жизни. Вот все, что я о нем знаю.

Надобности у меня в его дружбе ровно никакой не было. Я получал две с половиной тысячи франков жалованья, жил в гарсоньерке, у Булонского леса. Из магазина Самаритэн ходила ко мне «курочка», напудренная от носика до пальчиков на ногах, — премило болтала пустяки и к женским обязанностям относилась деловито и энергично, как парижанка. Я занимался музыкой. Много бывал один. Париж, друг ты мой, — город одиночества. Идешь в сумерках — дома, как синие тени, затихает шум, к десяти часам весь город спит. Воздух теплый, влажный, — сладость и печаль. За деревьями, сбоку, идет какой-нибудь старичок, прихрамывает от подагры, в кармане газета и трубка, — одинокий старичок. И чувствуешь, как через этот город, по старым камням, под этим облачным небом, течет непрерываемый поток существ. А город стоит торжественный, печальный, равнодушный и прекрасный, все помнит — и голоса счастья и стоны смерти, — все сберегает — суету сует, и мудрость, и преступление, и несбывшиеся мечтания, — все запечатлевает в линиях, в очертаниях, в запахах, в растворенной повсюду спокойной печали.

Все пошло к черту! Я пьян, грязен, гнусен! Что мне осталось от одиночества? — Только самоуслада гнусностью и грязью... Это он растлил меня, будь он проклят!.. Сыграл ему по пьяному делу Град Китеж, — с этого и началась омерзительная дуневная каша: пьянство, девчонки, скандалы, швырянье денег и поливание всего этого кошмарным соусом с кровушкой, — переживание под музыку. За четыре месяца я задолжал ему около тридцати тысяч франков, и сам уже без ежедневных кошмарчиков жить больше не мог: пресно. Временами Париж глухо гудел от канонады: там, в семидесяти километрах, на востоке, ударялись щитами, — медь о медь, — древняя, романская и

молодая, но уже порочная, германская цивилизация. Убитые были в каждом доме, в каждой семье. А мы с Михаилом Михайловичем переживали с величайшей самоувержденностью хлыстовскую, сатанински-порочную славянщину.

В войну были три разряда людей. Первые — самые неостроумные — воевали (начиная от старичка, утром, на бульваре с газетой, глотающего бешеную слюну, кончая «моим дорогим, маленьким Жаком», от которого торчали одни гнилые ноги среди ржавой проволоки, из жидкой глины). Вторые — остроумные — занимались спекуляцией, для каковой цели в Америке были построены даже особые машины, в одну минуту показывающие в цифрах, какие деньги и вещи в какой стране нужно немедленно покупать и в какой стране немедленно продавать деньги и вещи. Третий разряд — это люди, настроенные апокалиптически, то есть: «Ну, что, дождались, соколики? А не хотите ли теперь полечку-трясогузочку? То-то: все валится к чертовой матери, в черную дыру и провалится, — от Европы останется одна Эйфелева башня торчать, загаженная вороньем. А нам, мудрым и косоглазым, наплевать на вашу Европу, мы даже премило настроены, желаем жить, как божьи звери... Гаф!»

Вот что тянуло меня к Михаилу Михайловичу: он с упрямой сосредоточенностью, с блаженной, кривенькой улыбочкой изживал самого себя, горел в собственном чадуге. Огонек был странненький — шипел и чадил, но Михаил Михайлович иного наслаждения не знал. Он весь был озабочен подходом к этим минуткам самовозгорания. Кроме того, началась моя ужасная денежная от него зависимость.

Мы виделись каждый день. Я приходил к нему утром, перед службой, отдергивал занавеску на стеклянной двери, на балкончике, висящем над парком Трокадеро, садился на кровать. Михаил Михайлович, хихикнув, приподымался на подушке и говорил: «Дорогой, позвони». Снизу, из бистро, нам приносили сифон содовой и коньяку для Михаила Михайловича, а для меня — содовой и пикону. Мы курили и пили, — с утра становилось наплевать на все. Разговаривали очень странно: скажем два, три слова из нами же сочиненной какой-нибудь историйки и хохочем, дышим, глотаем содовую с коньяком и пиконом. Михаил Михайлович, смеясь, дергался под одеялом. В эти веселые минутки обычно мне удавалось призанять у него

деньжонок. Завтракать мы сходились у Фукьеца, на Елисейских полях. Михаил Михайлович ел ужасно мало, — больше выпивал, разговаривал сбивчиво, по какому-то ломаным углам, ни на секунду не в состоянии затихнуть хотя бы над великолепным филеем, — наслаждаться мясом и вином. Да, черт, — хороши были завтраки у Фукьеца!

Так тогда казалось: время стало, будущего никакого нет, — дыра. Доживай остатки. Блаженство наше кончилось внезапно в одно весеннее, теплое утро, когда вдруг лопнули почки на деревьях и зазеленели авеню и бульвары. По пути к Михаилу Михайловичу я нарочно свернул на Елисейские поля. Только что прошел теплый, легкий дождичек, и стояло марево. Сквозь голубоватую дымку проступали полукруглые крыши, прозрачные клубы аллей. Вниз уходила вся залитая потоками солнца, точно стеклянная, широкая дорога бессмертия. Почему я подумал «бессмертия»? Я остановился и глядел, — блаженно билось сердце. Падающая и вдали, к садам Тюильри, снова поднимающаяся, среди весенней зелени, среди облачных домов, — в маркизах, в балкончиках, в крылатых конях, — непомерно широкая дорога Елисейских полей уходила в марево, в какую-то на мгновение осуществленную красоту. Мимо меня по торцовой мостовой проехали гуськом механические кресла с безногими солдатыками. Идиоты! Бездарные, жалкие дураки! Я купил газету и побежал к Михаилу Михайловичу.

Мы выпили коньячку, закурили. Он развернул газету и вдруг начал дергаться под одеялом. «Так, так, — и зарылся носом в подушку. — Так, так, — подскочил и перевернулся на спину. — Лопнула! Хи, хи. Поехала!»

Это была первая телеграмма о революции в Петрограде. Меня точно кирпичом ударило. А Михаил Михайлович хихикал и дрыгался, как гальванизированный лягушонок: «Вот тебе Византия! Хи, хи. Полезли воевать чудо-богатыри! Бац по сонной роже! Спряталась! Хи, хи. Еще хуже — духоты напустила. Бум! — колокол Града Китежа. Полезли покойнички. Встали покойнички от Куликова поля до Мазурских озер, до самых Карпат. Ухватили рожу. Вот ты когда нам попалась? Хи, хи».

Черт его знает, что с ним тогда происходило: он скрипел зубами, корчился, омерзительно хихикал. Когда пришла весть об отречении царя, Михаил Михайлович сказал: «Сегодня кончилась история России. Шабаш». Он

заставил меня играть Вагнера «Гибель богов» и с блаженной улыбкой, зажмурясь, сидел на полу, помахивая рюмочкой. Мы ужасно напились в тот день.

Париж был в тревоге и недоумении. Французы ходили со строгими «романскими» глазами, топорщили усы. Было от чего топорщиться: русская задница подпирала их прочно и вдруг — поехала, расползлась. У меня, например, в эти дни было чувство ужаса. Подумай, я твердо стоял обеими ногами на земле: за спиной — 185 миллионов *муженесов*, империя, закон и прочее, вплоть до тетушки Епанчиной с большими рысаками. Все это я мог поносить и предавать под пьяную руку, но я был твердо влит в скалу. И вдруг за спиной — холодок и пустота. Земля уходит! Ужас! Мираж! Бред! Дым! Ох, это было страшно!

Из любопытства я бегал на вокзал встречать «представителя Временного правительства». Официально встречал его начальник военной миссии, граф Пахомин, огромный мужчина, не дававший спуска, — красавец и чудо-богатырь. Он стоял на перроне, перекинув через руку букет красных роз, и, — какой уж там спуск, — даже ко мне вдруг ринулся: «Ну, как, Александр Васильевич, счастливы, а? Дождались мы Красного солнышка!»

Личность, символически изображавшая Красное солнышко, вылезла в драповом пальто из вагона и оказалась помощником присяжного поверенного Кулышкиным, кругленьким и самоуверенным, в велосипедном картузе и в очках, вросших в жирные скулы. Граф Пахомин даже подался несколько назад, но оказалось, что подался для разбегу, и, загремев шпорами, вручил букет. С широкой русской улыбкой (как же русскому человеку не улыбаться в такие дни) изъяснил он обуревавшие в его лице чувства высших и низших воинских чинов и священную их радость. Комиссар строго глядел на него, задрав голову, так как был низкого роста, затем произнес речь: «Я счастлив на этих камнях Парижа, где впервые были провозглашены права человека, поздравить вас, гражданин граф Пахомин, с величайшим историческим событием: Россия свободна... Вы — свободный гражданин свободной страны... В общем порыве нам остается дружно протянуть друг другу руки...»

Граф Пахомин зажмурился и, подняв саженные плечи, замотал щеками, изображая этим нахлынувшее на него чувство свободы. Затем он посадил комиссара в автомобиль и повез завтракать.

Ежедневно Эйфелева башня получала уверения в том, что русская революция верна и преданна и исполнена священного порыва воевать до победного конца. Париж, наконец, успокоился. Начались банкеты. Комиссар Кулышкин потрянул старинкой, помянул Дантона и Мирабо, доказал, «что у нас точка в точку, как было у вас». Насчет Дантона французы отмолчались, зато ужасно красиво говорили о священной верности и о том, что, конечно, теперь свободный русский мужичок широким жестом пошлет своих сынов умирать за свободу торговли на суше и на воде. Кулышкин сказал, что «пошлем непременно». Он посылался с банкетов на фронт и в тыл к русским частям и всюду произносил речи.

Но жить все же было можно: жалованье платили, война продолжалась. Русских солдатиков, сдуру пожелавших кончать войну, французы иных расстреляли, других посадили за колючую проволоку. Я носил в петлице красную гвоздику и на службе ставил ее перед собой в стакан с водою.

Но вот рано утром, когда я еще спал, появился около моей постели Михаил Михайлович. Он был в пиджачке, в надвинутом на глаза котелке и в лимонных перчатках. «Ты будешь присягать Временному правительству?» — спросил он ледяным голосом. Меня пробрала дрожь. Он стоял, опираясь на тоненькую тросточку, глядел мне в глаза свинцовым взглядом убийцы. Что я мог сказать? Сказал, что если он не будет присягать, то и я не буду. Он сел на кровать и молчал, пока я одевался. Мы пошли в кафе и оттуда отправили по начальству два наглейших прошения об отпуске по болезни. Михаил Михайлович показал мне чековую книжку и копии телеграмм, посланных в Россию с приказом продать имение и дома. «Можешь быть покоен, два, три года я тебя содержу». Я полез целоваться, у меня выступили слезы. С этого дня началось головокружительное падение в бистро мадам Давид.

Мы уехали в Ниццу. Чего вспоминать! Было волшебное. Лазурное, парное море, ленивый шорох прибоя, запах цветов, идущий с гор, запах вымытых в море женщин, женщины, лениво глядящие туда, где море неразличимо переходит в небесную лазурь. Женщин, как птиц, согнал сюда грохот войны. Их было много здесь, — царство женщин. Нарядные, миленькие, с печальной иронией глядели они, как по эспланаде ковыляли безногие и безрукие во-

ины, катились в креслицах человеческие обрубки, тащились безлицые, безглазые... Все они, еще так недавно, были пылкими любовниками.

У Михаила Михайловича немедленно начался сложный роман с фантастической американкой, не то птицей, не то ребенком. Я же, из соображений практических, искал знакомства с девушками из народа. Там-то я и сошелся с моей дорогой Ренэ. Бедняжка!

Как и надо было ожидать, наше лазурное времяпровождение окончилось ужаснейшим скандалом. Американка дотла проигралась в Монте-Карло, куда мы неизменно с вечерней зарей лупили на автомобиле над багровым морем. Михаил Михайлович посылал в Петербург бешеные телеграммы. Мы задолжали в гостинице, в ресторанах, шоферам и прочее. Наконец пришел ответ: «Имение захвачено крестьянами, усадьба сожжена, петербургский дом ликвидировать невозможно». Мы оставили чемоданы и платья в гостинице и в тот же день удрали в Париж. Я запустил бороду и переменил квартиру.

Месяца четыре жили мы в кредит; приходилось вести весьма широкий образ жизни, действуя на воображение кредиторов сверхчеловеческими кутежами. Я посоветовал Михаилу Михайловичу взять на содержание какую-нибудь знаменитую женщину и свел его с прогремевшей на обоих полушариях мадемуазель Сальмон, — шикарной и уродливой, как черт. Она была зла, дралась, предавалась всем существующим порокам и накручивала такие счета, что это поддержало наш кредит еще на месяц.

Я перестал спать по ночам, — кровать была полна раскаленных угольев. Мы сидели на динамитном погребе с подсунутым фитилем. Но Михаил Михайлович ко всему относился как-то сонно: не поднимешь его — проваляется весь день, толкнешь — пойдет. Когда мадемуазель Сальмон визжала, швыряла вещами и дралась, он находил это вполне естественным. Он просыпался лишь на секундочку и тогда начинал бешено хохотать, топал ногами и чихал. В эти секундочки творилось непоправимое.

Революция, — я это ясно видел, — кончалась. Временное правительство выбалтывалось, машина разваливалась, как гнилая баржа на мели, армия превратилась в стадо, — немцы, разумеется, с величайшей бережностью относились к этому пятнадцатимиллионному сброду. Дождалась заветного, взяла свое — Рассея — расползлась ве-

ликим киселем. Эх, шарахнуть бы немцам тогда шрапнелью да шомполами, — была бы у нас великолепная неметчина! В Москве на Красной площади я бы перед немецким шуцманом на колени стал и сапожки бы его омыл светлым восторгом... А Рассею — загнать в тайгу, в тундры, кормить комаров: чешишь, сукина дочь! Революции захотела! Нет, с ума сошел мир. Ведь все это понимали: не немцам с французами друг другу бока ломать, а союзно, всем европейским, римским миром навалиться на дикую стерву. Опоздали, с ума сошли, сами виноваты... Четверти века не пойдет, — увидишь, — хлынут косоглазые на римский мир, погуляет по Европе лапоть... Господи, только бы не дожить! Только бы хватило на мой век, — да, да, именно, — абажура, кофейку, тишины... Отними у меня эту надежду — в ту же секунду рассыплюсь вонючей землей, не сходя со стула. Вот, на, получай: из бистро мадам Давид показываю вам, всему миру — кукиш! Ну, ладно...

Дождались! Ахнул октябрьский переворот, и завертелись мы все, как отравленные крысы. Уголка не было в Париже, где бы в тебя не плюнули. По всему Парижу шел скрип зубов: «Как? Изменить союзу? Предать Францию? Ну, вспомним!» А когда большевики объявили, что долгов платить не станут, — французы даже растерялись: такой сумасшедшей наглости не было с рождества Христова. Комиссар Кулышкин ушел сквозь землю со своей велосипедной шапочкой. По-русски говорить было нельзя, — били.

Помню, — стоял я на бульваре, читал газету: руки ходунном ходят, в глазах — муть, зелень, тьма... «Всем... всем... всем... Долой мировой капитализм!.. Смерть мировому империализму!.. Товарищи, протягивайте руки через головы кровавых тиранов...» Что это такое? Мировой пузырь лопнул? Ключья какие-то летят по всему свету!.. Земля шатается... За что ухватиться? Мираж! Ощупываю самого себя... Вдруг из-за плеча высовывается голова, — старичок какой-то смотрит в мою газету, и начинает у него играть вставная челюсть. Подхватил он ее, пошуршал зубами и говорит (по-французски): «Все мое состояние — в русских военных займах; ваше мнение по этому поводу, молодой человек?..» И опять у него челюсть выскочила... Тут я — гениальнейшим, молниеносным прозрением — вдруг отрекся от самого себя: оказалось — зовут меня Шарль Арну, я инвалид, пою в кабачках военные песенки и вот вчера избил брабантским приемом, — то есть

горлышком разбитой бутылки, — одного русского, Сашку Епанчина, и что этот негодяй, крапюль, очевидно, уже сдох, и что со всех русских нужно драть кожу... Клянусь тебе, это было мистическое перерождение. Уходил с бульвара уже не я, не Сашка Епанчин, а Шарль Арну.

Я скрылся. В два дня переменил несколько гостиниц и окончательно замел след в квартале Сен-Дени, в одной из старинных улочек, населенных проститутками, сочинителями уличных песенок, певцами, мелкими ремесленниками. Отличное местечко. Население в сущности жило на улице среди лотков, тележек с овощами, жаровен, где пеклись каштаны и картошка, в бистро и кабачках. Из окон торчали полосатые перины для проветривания любовной влаги. Изо всех окон перекликались девчонки, полураздетые молодые люди, — пели, пищали, хохотали, ссорились. Котлом кипела беспечная, пустяковая жизнь, — даже война с трудом могла омрачить ее.

Я кинулся разыскивать Ренэ — ту маленькую певичку, которая после Ниццы долгое время писала мне нежные записочки. Я нашел ее на чердаке, в крошечной комнате с покатым окошком в небо. Это было рано утром. Ренэ спала в старой деревянной кровати, под ситцевой периной. Сквозь покатое окошко падал свет на ее худенькое и кроткое лицо, у рта — две нерадостные морщинки, на подушечке — крошки хлеба, над кроватью — фотография какого-то смазливового солдата в могильном веночке из сухих цветов: Ренэ была свободна. Но, боже, — какая нищета! Даже дверь из общего коридора в ее комнату не была заперта. Ренэ вздохнула, открыла глаза, — в них появились испуг и изумление. Я бросился на колени перед кроватью, схватил руку Ренэ и, — честное слово, — облил ее слезами.

Я не стал лгать Ренэ, — я лишь сочинил ей ту историю, какая могла быть понятна ее простенькому сердцу. Но суть оставалась одна и та же. Я рассказал, что революция убила мою незабвенную старушку мать: толпа большевиков, от самых глаз заросших бородами, кинулась, держа в зубах ножи, на дом моей матушки, вытащила ее на мостовую и с хохотом разорвала в клочья, сожгла дом и прибила доску с надписью: «Так расправляются с друзьями империалистической Франции».

Ренэ, прижимая руки к груди, шептала: «О, боже, боже!» Тогда, придвинувшись, я шепотом сообщил ей, что совершил уголовное преступление: вчера на набережной

встретил тайного агента большевиков, одного из убийц моей матушки, задушил его и бросил в Сену. Полиция меня ищет, но я переименовал имя и скрылся. Ренэ схватила мою голову и прижала к голой груди, — глаза ее потемнели, я слышал, как романтически затрепетало ее сердце. Она предложила мне жизнь, комнату и половину постели. Я вытащил из карманов все свое имущество, захваченное при бегстве из дома: триста франков, гребенку, бритву и карточку отца. Так началась наша семейная жизнь.

Мы просыпались от яркого света сквозь потолочное окошко и, лежа под ситцевой периной, строили планы обогащения. У Ренэ был фальшивый и миленький голосок, я должен был писать ей музыку и куплеты. Мы решили обслуживать тыловые города. Ренэ, наморщив лобик, напевала, я изображал оркестр. Затем вылезали из-под перины и одевались. Туалет Ренэ был скор и упрощен. Я также выбросил сначала воротничок, затем рубашку и стал надевать пиджак прямо на фуфайку. Мы спускались в бистро пить кофе, затем шли к дядюшке Писанли, усатому старичку в черной шапочке, — он держал прокат разбитых, как тарантасы, пианино и продавал листочки с нотами и куплетами. В лавчонке дядюшки Писанли мы вдохновенно работали. Так как Ренэ пела всегда на половину тона ниже и не брала ни верхних, ни нижних нот, то особых затруднений с сочинением музыки не оказалось. Но где было найти слова? Дядюшка Писанли, прослушав стишки моего сочинения, сказал, что «после первого же куплета публика разобьет ваши кофейники и тебе и Ренэ». Он послал нас на Монмартр к знаменитому Мишелю Виду. Мы пошли на Монмартр, влезли на самый верх, где, как ласточкино гнездо под крутым обрывом, стоял со времени еще Империи крошечный кабачок «Веселый кролик». Там, в комнатке, увешанной потемневшими карикатурами и обломками пыльных скульптур, на бочонке у деревянного стола сидел огромный, тучный, бородатый человек в шляпе грибом и курил длинную глиняную трубку. На нем были широчайшие бархатные штаны, рукава рубашки закатаны по локоть, лицо багровое и прокуренное, как чубук. Это и был последний представитель племени монмартрской богемы Мишель Виду. Он мог неограниченное время курить трубку и молчать.

Ренэ трогательно объяснила ему нашу просьбу — дать для музыки и пения веселые куплетцы. Мишель Виду вынул изо рта трубку, захватил горстью бороду, понюхал ее

и опять сунул трубку в огромный рот. Покурив и помолчав около часа, он достал из кармана штанов донельзя грязную бумажку со стишками и через плечо протянул ее Ренэ. В стишках говорилось о том, что «хорошо бы взорвать динамитом Париж, повесить на фонарях полицейских и депутатов Бурбонского дворца и после того мирно сидеть и курить трубку в кабачке «Веселого кролика». Ренэ была в восторге. Я затратил неделю, чтобы отговорить ее петь эти стишки.

Ренэ выступила в маленьком кафе с песенками Ми-стангет, но успех был средний. Тогда на семейном совете было решено создать «характерный номер». Под присмотром дядюшки Писанли мы разрабатывали его и репетировали. Выступили мы в Медоне, где стояла бригада негров.

В кафе, битком набитом добродушнейшими неграми, на крошечную эстраду вышла Ренэ, в красной юбочке и в железной каске. Взмахнув шпагой, она запела «Мадлон»¹. Разумеется, негры сейчас же подхватили песню, скалясь и топая пудовыми башмаками. Но вот позади Ренэ появился я, в привязанной рыжей, как веник, бороде, с ножиком в зубах. Я хрипел и ругался по-русски. По кафе пронесся ропот одобрения. Я старался напасть на Ренэ, вырвал у нее шпагу, скрипел зубами и скакал, как обезьяна. Музыка играла бешеную «польку-трясогузку». Негры завывали от удовольствия. Наконец Ренэ развернула трехцветное знамя, я перекувырнулся и упал. Ренэ наступила мне на спину и, размахивая знаменем, с большим подъемом спела последний куплет «Мадлон». Успех был огромный. Я взял шлем и пошел между столиками. Негры хохотали, дергали меня за бороду и бросали в шлем монеты. Мы заработали двести франков.

После этого мы уехали в провинцию, затем вернулись в Париж, подготовили второй номер и опять поехали по тыловым городкам. Зарабатывали мы не ровно, но и не плохо. Ренэ нежно любила меня. Обычно, покуда я еще спал, она бегала на рынок и возвращалась с корзиночкой, полной вкусных вещей. Суежилась и болтала, как птичка. В ней было очарование простого, беззлобного сердца: живем — покуда живем, а маленькое счастье всегда при нас. Странно, изо всей сложной жизни я вспоминаю, — как

¹ Военная песня, которую вся Франция пела так же, как 125 лет тому назад марсельезу.

вспоминают какое-то единственное залитое солнцем утро, — эти десять месяцев кочевой жизни на чердаках, в дешевых гостиницах, в солдатских кофейных. Ей-богу, — человеку нужно немного!.. Да, да, — видишь — чернила расплылись: плачу... Что же из того, — плачу, вспоминаю наше окошко над кроватью, свист стрижей, торопливые шаги Ренэ, запах ванили от ее платья. Было крошечное счастье, коротенькое и грустное... Все кануло в синюю бездну времени... Снова на моем пути появился Михаил Михайлович, и все запуталось, смешалось, полетело к черту. Какое мне было дело, что где-то на востоке бушевала революция, сдвигались вековые пласты!.. Счастье, птичье счастье было у меня, когда высоко над Парижем, под самым небом, в старенькой постели, положив мне голову на плечо, кротко спала Ренэ. В углу стоял глиняный ручной мойник, на стене, исписанной углем, на гвоздике висели привязная борода, красная юбочка и трехцветный флаг, да в корзиночке — остатки еды с вечера.

Летом Париж снова начал дрожать от грохота пушек. С неба валились гигантские бомбы «Берты». Город пустел. Армия напрягала последние усилия, но уже отчаяние овладевало французами. Железным тараном немцы били и били в прекрасную Францию, хотя уже было ясно, что никакими победами не оправдать пустыни, покрытой деревянными крестами. Дела наши были плачевны. Мы бродили из кафе в кафе, распевая «Мадлон» перед столиками. В это голодное время еще глубже раскрылась нежность ко мне Ренэ.

И вдруг все изменилось. Во французские гавани вошли заокеанские многотысячетонные корабли. В тучах дыма загрохотали подъемные краны и пошли выгружать на берег поезда, паровозы, рельсы, пушки, хлеб и мясо, проволоку, горы снарядов, ящики и бочки и сотни тысяч широкоплечих, веселых американских молодцов.

Американцы сказали: «Воевать надо широко», — и от гаваней к фронту бросили рельсы, двинули собственные поезда, размотали колючую проволоку, поставили пушки и танки и ударили по немцам миллионами бомб, миллиардами долларов, — пошли на прорыв узкой кишкой от самого Ламанша. А из-за океана шли новые, дымили на полнеба корабли, груженые войсками. И хрустнула немецкая грудь. Внезапно, — так же, как и нашло, — развеялось помрачение войны. Мир, мир, мир, — зашептали сердца. И вслед уже потянуло тревожным ветром с восто-

ка, — бунт, бунт! И пошло трещать по всей Европе... Эх, да что вспоминать, — сам все знаешь. Жил зверь покорно и смиренно, вертел жернов, — кинули ему сырого мяса, прижгли каленым железом, а потом за голову схватились. Умнее, видимо, ничего не могли придумать с вашей культурой.

Помню — я проходил по Новому мосту, — на нем еще Генрих IV, в бытность свою наваррским королем, дрался по ночам из-за девчонок. Солнце садилось в полымя за лесистыми холмами Сен-Клу. Багровый закат пыльным сиянием пылал в узкой реке, отражались арки мостов, старые платаны, железные баржи с песком, сияли мрачным золотом крылатые кони Александра III, торчала унылым скелетом умершего века Эйфелева башня. Было жарко и душно. Я сел на каменную скамью в полукруглой нише моста. За спиной мрачный свет заката лежал на островерхих тюремных башнях Консьержери.

Я почувствовал вдруг такую усталость, что не только смерть, показалось — десять раз умирая, не отдохну. Все дороги, проклятые петли, мостовые, лестницы, которые я исколесил и облазил, все усилия, хитрости, подлости, — вся эта бессмыслица — только для того, чтобы вот притащиться на этот мост. Душно, темно... Стопудовая тяжесть так и вдавила меня в каменную скамью. Так неужто с этим грузом снова встать и тащиться, путаясь по мостовым, лестницам, переулкам? Я закрыл глаза и снова открыл их. Багровые сумерки были насыщены присутствием чего-то неуловимого. Остро, едко, пыльно пахли старые камни. Я стал различать не то шум моей крови, не то шорох и ропот шагов и голосов. В спокойном отчаянии я понял, что это проходят все мгновения, бывшие в этот час сумерек в этом месте: все, что мы считаем ушедшим и мертвым, не ушло и не умерло, но все, проходившие по мосту, проходят снова и вечно, — мелькают кони, всадники, кареты, пешеходы... Закрыв лицо, я видел сквозь толщу век и рук скользящие тени... Какая бесплодность усилий, какая невыносимая печаль! Режущий, долгий вопль прорезал красноватую тьму. Это кричат на острове Сите рыцари, сжигаемые заживо... Это гибнут под ножами отступники церкви... Это безумная Териен жжет пучками соломы распятую на дворе тюрьмы прекрасную цветочницу!.. Нет! Это визжал трамвай на набережной. Лицо мое было залито слезами. Боже, какое чичтожество!.. Я — лишь пылинка, жалкая тень в куцем

пиджачке, осужденная на веки веков в какой-то свой час в сумерки проходить с папиросочкой по мосту...

— Вот, видишь, мы и встретились.

Я вскрикнул. Вскочил. Передо мной стоял Михаил Михайлович, пряменький, в котелке, и беззвучно смеялся, покачивался.

— Выпьем, Саша? Пойдем.

— Не хочу.

Он опять залился беззвучным смехом, схватил меня под руку и потащил. Я не пытался ни оттолкнуть его, ни убежать. Ноги стали мягкими, во всем теле загудела какая-то безвольная, расхлыстанная пустота. Мы свернули на левый берег и на узенькой, древней улочке Святых Отцов зашли в полутемную щель, где продавались уголь и вино.

Сели за стол друг против друга. Михаил Михайлович был похож на веселого покойничка, — бритое лицо шелушилось, глаза выпученные, остекленевшие, рука, наливая вино, дрожала, вся в раздутых жилах, пиджачок на нем был в пятнах, белье — грязное.

— Сбежал, сбежал! — повторял он и гладил мою руку, и, едва я начинал лгать о том — почему и как скрылся, — прерывал со смехом: — Саша, не ври. Все это мелочи. Я тоже хвостом след замел. Предъявили мне расписочек на триста тысяч. Ай, ай! А я на них святым зверем, — гаф!.. Взвыл, и в одном пиджачке вниз головой — мырь. Очутился за заставой, два месяца ночевал на природе. В аптекарском магазине коробочки клеил. Подружился с Гастоном Утиный Нос, — воровали кур и кроликов на Версальской дороге. Все это мелочи. Теперь у меня — покровитель, скоро буду дьявольски богат. Обеспечу тебя на три года. Не веришь? Сказать? Продаю англичанам нефтяные участки в Азербайджане... Старые связи... Конечно, я — подлец. Но все это мелочи... Погляди, оцупай меня... Другой?.. Правда? Во мне все поет. Помнишь — «преобразилась несправедная земля!» и бум, — колокола Града Китежа... Тогда были только слезы, у Паяра — голые девчонки, слезы, — не преобразится никогда, нет... А теперь, слышишь, — поднялись покойнички: земля больше не принимает, такая мука... Поднялись, ухватились за веревку, раскачали и — бум. «Преобразись, несправедная земля!..»

Я слушал, — и не понимаю. Жутко, — с ума он сошел:

— Миша, о чем ты говоришь? Какой к черту Град Китеж? Это Интернационал-то?

— Молчи... В тебе никогда не было восторга. Ты микроскопическая дрянь. Тебе в бочке надо жить, в тухлой воде. Ах, не понимаешь... В России знаешь что? В России в масках скачут... А под масками лица — в слезах, в слезах, и — восторг! Берите, все берите, рвите грудь! Мир всему миру! В крещенский мороз идут женихи в бой, одна красная лента через грудь, — голые. По снегам кровь хлещет сорокаведерными бочками. Чума, мор, голод! В Сибири вежи стоят из мороженных мужиков. Горят леса, города, стога в степи. Гуляют кони. Сабельки помахивают. А колокола под землей — бумм, бумм, бумм! Преобразись, несправедная земля! Австрия летит к черту. В Италии выбили русскую медаль, продают в портах. Берлин трещит. В Париже Гастон Утиный Нос ходит — руки в штанах — наточил ножик. В Лондоне джентльмены в цилиндрах, в моноклях, лорды и герцоги — грузят багаж на вокзалах... Слушай, Саша, слушай, — это воет человек, рвет с себя звериную маску.

Михаил Михайлович весь дрожал в лихорадке, вцепился ледяными пальцами мне в руку.

— Саша, я — пьян, убог, гнусен. Но ведь он на зеленых лугах, на шелковом ковре мед пил из золотой чаши... Знаешь — с усмешечкой, глаза мечтательные, сердце — яростное, надменное... А ты говоришь: «Молчи, живи в тухлой воде...» Я тоже пить хочу из золотого ковша... Завтра пойду нефтяное прошение строчить, разбогатею. Гастона Утиный Нос облагодетельствую, а тебе — шиш! Ты в бочку смотришь. Ах, Саша... Сел бы я на коня, — крикнуть бы, завизжать!.. Четыре столетия во мне этот крик. Да — не могу. В жизни не мог закричать, — только писк мышиный... Я в вине утоплюсь!.. Порода наша кончена. Теперь богатыри нужны, а я — пищу. Теперь — ногу в стремя, проснись, душа!.. А у меня, видишь, как руки трясутся... Саша, милый, живу я в таком восторге... Так упоительно себя ненавижу... Ведь хоть в этом богатство мое...

...Одним словом, ничего из разговора с Михаилом Михайловичем хорошего не вышло. Теперь уже не я, как прежде, а он по утрам стал ко мне шататься. Ренэ устраивала нам ранние завтраки: салат, жареные ракушки, сыр, вино. Мы сидели в облаках дыма и бредили.

Морщась от глотка коньяку, ковыряя булавкой ракушку, Михаил Михайлович перестраивал всемирную историю. Выходило у него так:

Запад, наследник Рима, продолжал унылое дело великой империи, покрывал землю крепостями и замками, весь уходил в вещи, в камни, в букву. Он ненавидел человека, свободу, солнце и землю, счастье и созерцание. Его разум и воля были направлены к познанию разложения материи и к созданию из разложения мертвой вещи. Он упрямо строил каменную гробницу всему человечеству.

И вот на востоке, в полынных степях, на плоскогорьях Памира, родился великий гнев и блаженная мечта: идти на запад, к берегам лазурного океана, и там, среди развалин храмов, пасти стада под звездами. И вот — заскрипели телеги, заревели стада, двинулись на запад пастухи, табунщики, степные богатыри. Столетие за столетием набегали и крепили кочевые волны. Родился Чингисхан. Недобро вглядывался он в далекий край, откуда тянуло тлением. Затрещали твердыни Запада под ударами хана. Могучие восточные царства охватили объятиями Европу, проникли к ее сердцу, насытили ее благовониями розы. Но не настали еще сроки, и не сокрушился Запад. На рубеже его возникла Московская военно-мужицкая держава, куда перенесли бунчук, походное знамя хана, — конский хвост. Москва была коварна и лукава. На долгие столетия готовилась она к борьбе, — частоколами, засеками, сторожевыми городами, подкупом, лестью, вероломством продвигалась на Запад. Разбиваемая и униженная — возникала вновь, как трава после пожара, — крепла и ширилась. И попытала, наконец, удачи, — прорвалась степная конница, потоптала подковами древние виноградники, свистнула таинственным посвистом романским девушкам, но, дойдя до океана, ушла степным обычаем назад, на равнины, махнула оттуда колпаком, — воротимся! Не пришли еще сроки. И вот теперь снова, сожженная, разбитая и униженная, тряхнула ханским бунчуком и — посвистывает, запекает странные песни, напускает морока, нависает ужасом над древней Европой. Воротимся!..

Михаил Михайлович пил и бредил, а я пил и слушал развесив уши. Не будет на земле покоя, покуда, как чертополох, не выдернут с корнем русскую заразу: бред, мечту, высокомерие, непомерность. Особую конференцию нужно создать для уничтожения русской литературы, музыки, — запретить самый язык русский. Действительно,

жили, — Ренэ и я, — безобидные, как воробьи, пришел потомок Чингиса, напустил морока, ударил копытом в наше счастье, и вот — кручусь, как в дымном столбе.

От этих разговоров, пьянства и обормотства Ренэ день ото дня становилась грустнее, но молчала. Где ей было вставить словечко, когда мы, опрокидывая в глотки пинар, тараща друг на друга глаза, дымили, ревели, топтали победными подковами наследие Рима. Работать я бросил и запретил Ренэ выступать в кабаках: довольно ломали дурака перед мещанами. Михаил Михайлович рванул у покровителя тысячи три франков и однажды привел к нам завтракать друга-приятеля — Гастона Утиный Нос. Это был небольшого роста, весьма решительный человек, с татуировкой на руках и блестящими стекловидными глазами, какие бывают у людей с перешибленным носом. Он резал хлеб и мясо своим ножом — *навахой*, выпил одну рюмку коньяку — и то после еды, — от кофе отказался, говоря, что это его *нервит*, и по поводу перестройки всемирной истории сказал: «Панмонголизм такая же глупость, как и Третья республика: променять одну наршивую конку на другую; над человечеством должна быть произведена капитальная операция (он подбросил наваху и вонзил ее в стол); вы, русские, хорошие ребята, но наивны, как зяблики, — устроили неплохую революцию, но взнуздали ее законом; есть один закон на свете: это — чтобы не было никаких законов и — поменьше дураков». Он вылил из стакана последнюю каплю на палочку, недокуренную папиросу сунул за ухо и собрался уходить, но Михаил Михайлович подскочил к нему, как тарантул:

— Знаю я ваш анархизм. Вместе кур воровали на Версальской дороге. Вы — просто опустошенное чучело, Гастон Утиный Нос. Весь ваш анархизм — от несварения кишек. Ножиком мне перед носом не вертите. Скоро вам правительство субсидию назначит, — анархисты! Особые колпаки с черепом и костями будут выдавать из цейхгауза на предмет усиления притока иностранцев в Париж. Чушь! Мусор! Старье! Все ваше откровение — жареный каплун да бутылка бургундского. Чмокать любите, милый друг...

Михаил Михайлович наговорил лишнего. Гастон Утиный Нос булькал горлом, щурил стеклянные глаза, бледнел. Я отошел за спинку кровати и — вовремя: Гастон Утиный Нос гортанно вскрикнул, отпрянул в коридор, и оттуда, как зайчик света, со свистом пролетела наваха.

Михаил Михайлович схватился за разрезанное ухо. Утиный Нос исчез навсегда.

Такая полировка крови пришлась Михаилу Михайловичу по вкусу. Им овладела жажда деятельности и движения. В рабочих кабачках, близ площади Республики, в притонах предместья Монруж он собирал слушателей, ставил им литр водки и произносил речи о приближающейся гибели цивилизации, об идущей на человечество огромной ночи, *где будут мерцать лишь костры кочевников*, о восторге отказа от себя, о пробудившихся человеческих массах, о массовой воле, об *урагане времени*, о русской революции, ссующей на закате мира семена нового завета. Он показывал разрезанное ухо и ругал верблюдом, грязной коровой и сволочью Гастона Утиный Нос и весь его анархизм.

Но время для апокалипсиса было неудачное. В Париже начались танцы: где бы только ни заиграла музыка — в кабачке, на перекрестке, на тротуаре, — появлялись пары, тесно прижавшись, глядя сонно в глаза друг другу, кружились, сгибали колени, раскачивались, танцевали, танцевали, как загипногизированные. Не было в этих танцах ни веселья, ни страсти, но какая-то сосредоточенная решимость — нагнать потерянное время, забыть в сонной вертячке моря крови, все еще мерцавшие в каждом глазе.

К этому веселью прибавилась еще и надежда на получение процентов по русским займам. Колчак перелезал через Урал. Деникин подходил к Москве. В Париж слетались русские стаями, как птицы, общипанные и полусумасшедшие. Созывались политические совещания, открывались кредиты, шли непрерывные заседания. Грузились аэропланы и танки. Роковым басом ревела Эйфелева башня о неминуемом, — через три недели, — конце большевиков! В квартале Пасси появились общественные деятели с бородами, безвинно поседевшими, с портфелями, набитыми записками о спасении родины. Вынырнул Кулышкин в велосипедной шапочке. Русских узнавали за сто шагов по сумасшедшим глазам, по безотчетному забеганию в магазины.

Моя душа, окутанная апокалиптическим бредом, раскалывалась, — чуяла налетающий топот рысаков тетушки Епанчиной. Но я таился, хотя и бросало то в озноб, то в жар. Я часто ловил на себе тревожные и любопытные взоры Ренэ. Должно быть, действительно тогда я слегка спятил, потерял натуральное чутье, ту звериную тропу,

которая привела к единственному живому уголку в моей жизни — под ситцевую перину к Ренэ. Бедняжка Ренэ грустила, терпеливо сносила грубость и неизвестно почему прищпорившее меня высокомерие, торопливо бегала за вином и едой, тихонько спала на краешке постели, покорно ждала развязки. Я наглел с каждым днем. Еще бы: одолеет Деникин — тогда я опять барин, одолеют большевики — все равно я — скиф, похититель Европы, бич божий. Разумеется, развязка наступила очень скоро. Случилось это в день праздника Разоружения.

С утра огромные толпы повалили со всего Парижа к Звездной площади. Было знойно и душно. В мареве над городом плавали монопланы. Солнце пылало над кишачными народом бульварами, над сожженной листвой каштанов, над пыльными крышами и точно покрытыми пеплом домами. Тряпками висели флаги. В горле закипала металлическая пыль. Пот грязными каплями полз по измученным лицам.

Ренэ пожелала непременно видеть парад войскам, и мы втроем пошли толкаться в человеческой каше. Со стен Дома инвалидов палили пушки, — казалось, словно свет солнца разрывался стальным скрежетом. На тротуарах в людских потоках сидели, ухватившись за столики, обыватели, — пялились одурело, глотали ледяную воду. Это был день, когда ЧЕЛОВЕК бросил винтовку и рукавом вытер пот и кровь с лица своего, но солнце продолжало жечь, раскаляло горло, раздувало жилы, — не было ни пощады, ни прощения.

Ренэ настойчиво восхищалась флагами, вензелями на окнах и парящими монопланами. Щеки ее горели. Держа меня за руку, она ловко проталкивалась в толпе. Михаил Михайлович тащился за нами, зеленый и прищуренный. Так мы добрались до площади Согласия. В угловом доме, в раскрытых окнах, лежали американские солдаты, показывали что-то пальцами, хохотали, хлопали друг друга по здоровенным спинам. Вот внизу, расталкивая толпу, появились бегущие, как в котильоне, растрепанные девчонки и молодые люди с испитыми лицами, в похабных пиджачках... Задирая головы, они все кричали: «Папирос, папирос!» — и американцы, хохоча в окнах, швыряли вниз коробки с папиросами. В толпе крутились, дрались, визжали. Помню — на секунду мелькнуло седоусое лицо высокого, худого француза: с горечью, изумлением, гневом

смотрел он на эту новую Францию, подбиравшую в пыли американские папиросы.

Ренэ дергала меня за руку: «Кричи же, кричи, это страшно весело», — и сама завизжала: «Папирос, папирос!» Я выдернул руку из ее руки. Лютая ненависть к папиросам, к толпе, к Ренэ, к этому празднику винтом скорчила меня. Мы с Михаилом Михайловичем стали протискиваться к площади. На ней от вершины Люксорского обелиска к статуям двенадцати городов Франции были протянуты веревки, усаженные огромными коричневыми цветами из бумаги. Кругом площади лежали горы сваленных немецких пушек. Повсюду, как высохший лес, торчали высокие, тонкие шесты, обвитые лентами, украшенные бумажными цветами. Эти непонятные шесты и деревянные арки с намалеванными, как на кинематографических рекламах, транспарантами тянулись вдоль Елисейских полей. Солнце пылало в душном мареве над шестами и арками, над бумажными цветами, заржавленными пушками, над этим страшным праздником умерщвленных.

Ренэ догнала нас и опять хотела взять меня под руку. Но я закашлялся пылью, закричал: «Оставь меня... убирайся к черту!» Я не видел ее лица. Она, как тень, качнулась в толпу, ее заслонили бегущие подростки.

Михаил Михайлович с остервенением работал локтями. Около часа мы пробивались к левому берегу: головы, головы, пыльные лица, запекшиеся рты. Нестерпимо хрипели свистульки. И вот снова раскололся свет, ударили пушки от Инвалидов. По морю голов полетели крики, замахали шляпы, платки. Михаил Михайлович вскочил на подножку пустого автомобиля — весь перекошенный, пряменький — и начал выкрикивать лающим голосом:

— ...Это ваш праздник?.. с ума сошли?.. разве не видите... ведь это — *негритянский рай*... Так этим вы кончили войну?.. для этого четыре года тряслась земля?.. чтоб — цветы из оберточной бумаги?.. Обманули!.. Проснитесь... сегодня праздник мертвецов... президента — на фонарь!.. депутатов — в Сену!.. К черту «Мадлон»!.. *Карманьолу*... Жечь дворцы!.. плясать на трупах!.. водку — с порохом!.. Только этим... этим...

Ему не дали говорить. Толпа зарычала, надвинулась. Множество рук потянулось к нему. Какой-то багровый усач в крошечном котелке схватил его слоновой ладонью за лицо. Михаил Михайлович, сорванный с подножки автомобиля, исчез под машущими кулаками. Я рванулся

сначала к нему, затем — бежать... Но и меня сбили с ног. Помню лишь вонючий башмак, носком залезавший мне в рот...

...Ага... Ты все еще ждешь развязки? Прости, совсем забыл. Читай, мой дорогой: исписано здесь бумаги на двадцать четыре су, и не безрезультатно. Пишу — третий день. Понимаешь: это — в третий день. Смешно? — хи, хи, как смеялся дорогой Миша... Я ведь и сам не ожидал такой развязки. Скажи мне, судья праведный, человечество должно защищать себя от бешеных зверей? Если в комнату к тебе входит зверь, если в душу твою входит бес? — крестом его, поленом, каблуками, а потом — ножки вытри о половичок. Во имя чего? Во имя самого себя-с. Желаю покойно сидеть под абажуром у камина, желаю ноги мои, опозоренные мелкой беготней, целованные некогда матерью моей, худые ноги мои, протянуть к огню. Достаточное основание? Когда в смертный час скрипну зубами — во мне исчезнет вселенная: плевать, будто бы она существует сама по себе, — не желаю верить, не докажешь. Я есть я, единственная материальная точка. Вокруг меня кружатся потухшие и пылающие солнца. Распоряжаюсь ими, как хочу. Заживо желаю с блаженством вытянуться, — потухай, мир, черт с тобой. Прищурю на Сириус, — ну-ка, лопни. Трах-тара-рах, — летит Сириус в клочки, звездный переполох, и — пустая дыра в пространстве. Так-то...

...В моем письме как будто незаметно перерыва... Нет, дружище, перерыв есть... Весьма даже существенный перерыв. Отлучка была. И даже место писания переменилось. И бумага, как видишь, другая. На этот раз *беседую с тобой из бистро мадам Давид*... Ах, чудесная вещь литература! Вот в тебе кишмя кишит адское варево... Начни писать: пей красное вино, кури и пиши, — пей, думай и пиши. Потянутся ниточки, встанут стройные линии. И — смотришь — возник очаровательный мостик над хаосом. Веди меня по этим аркам, Вергилий...

...Вот что случилось... Но по порядку. После избиения на площади Согласия меня и Михаила Михайловича сволокли в участок и там «пропустили через табак», после чего Миша и я, харкая кровью, пролежали три месяца

в сводчатом подвале на железных с дырочками койках. За эти три месяца я с божественной ясностью понял, что кочевые костры — не что иное, как сумасшедший бред, и весьма опасный, что Михаил Михайлович придумал эти костры от неистовой гордости и высокомерия, а вот обитый гвоздями полицейский башмак, когда он проезжается по твоим ребрам, — дневная, ясная, отменная действительность, и по ней только, по этому курсу держи компас.

Лежа рядом с Мишей на койке, все это я понял и затаил и возненавидел друга моего радостной даже какой-то ненавистью. Нам грозили неприятности, но кое-кто вступился, помогла также розетка ордена Почетного легиона, найденная в жилетном кармане у Михаила Михайловича. Нас молча и сурово выпустили из участка. Была осень, дожди. Дверь на чердак Ренэ я нашел запертой, комната была пуста. Соседи сказали, что Ренэ давным-давно уехала в деревню к тетке. Я кинулся к дядюшке Писанли и взял у него кое-какую работишку, — переписывал ноты, ходил играть фокстрот в публичный дом. Я честно зарабатывал хлеб. Поселился я в старой нашей комнатке. Печально, одиноко было лежать под холодной периной, слушать, как барабанит дождь в косое окошко. Во сне мне часто снилась Ренэ. Как плакал я, обнимая подушку!

От встреч с Михаилом Михайловичем старался уклоняться... Заметь это... Он оставлял мне малопонятные записочки, — я бросал их в поганос всдро не читая... Однажды прочел... Заметь, — он сам, сам во всем виноват... Я прочел в записке: «Саша, дорогой, приходи немедленно, у меня много денег...» В этот вечер лил потоп. С протекавшего потолка падали капли в глиняный таз. Комната моя и освещалась и согревалась одной свечой. В кармане — три липкие медяка по два су. Помню, я долго глядел на тень от гвоздя, на котором когда-то висела юбочка Ренэ. Подвернул брюки и пошел по указанному в записочке *новому* адресу. Боже, какой был дождь!

Михаил Михайлович сидел у пылающего камина, под лампой с оранжевым кружевным абажуром: развалился в шелковой пижаме — светленькой, в полосочку, в какой баб принимают, — и тянул коньячок. Меня даже лихорадка ударила: в чем дело? откуда все это? Присел у огня. От одежды пошел пар, пахну псиной и чувствую — сейчас завою от обиды.

Мишенька хихикал, дрыгал коленками. Оказывается, нефтяные дела его покровителя пошли неожиданно в гору: англичане купили на Кавказе участок, и Михаилу Михайловичу перепали крохи. Отсюда и бонбоньерочная квартирка и коньячок. Он мне сказал: «Я, дружок, решил отложить закат Европы на некоторое время, насладиться жизнью, хи, хи...»

Мы пили до утра. Но ничем я не мог погасить в себе ледяной дрожи. Кончилась ночь следующим разговорчиком. Я сказал:

— Ты знаешь, что ты исковеркал, растоптал мою жизнь?

— Ну что же, Сашура, если растоптал, значит — лучшего она и не стоила... Ты только представь: ты — жучок, и подожми лапки.

— Врешь. Я лучше тебя. Из меня мог бы выйти замечательный музыкант.

— Жалко, жалко, что из тебя не вышел замечательный музыкант.

— Ты сумасшедший... Тебя убить нужно.

— Подожди, поживу еще немножко. Смотри, как у меня уютно.

— Я тебя убью все-таки.

— Чем?

— А вот этим. (Я вынул наваху, брошенную Гастоном Утиный Нос. Клянусь тебе, я не помнил, с каких пор она завелась у меня в кармане. Михаил Михайлович пощупал лезвие.)

— Нарочно ее захватил?

— Не твое дело.

— Это когда мы на койках лежали, ты решил?

— Да, тогда.

Он вдруг перегнулся через стол, оловянными, без про-света, глазами отыскал мои зрачки:

— Саша, знаешь, — ведь убить ты меня не можешь... Я ведь не существую сам по себе... Тебе это никогда не казалось? Изловчишься, пырнешь меня, а ножик-то, оказывается, у тебя в горле. А меня-то и нет совсем... ку-ку...

Он зажмурился, засмеялся беззвучно. Я пошел к двери. Он догнал меня, сунул в руку сто франков, обнял, заговорил по-старому, но я ушел. Я провалялся много дней в лихорадке на чердаке. Думал: околею, но только не видеть его. Ненависть, ненависть, трепет, ужас были во мне, — будто я — поджавший ноги жучок, будто Миша, за-

стилая полсвета, пауком подбирается ко мне. Денег не было. Он щедро мне отваливал по двести, по триста франков. Забегал чуть не каждый день. За всем тем — пришлось бывать у него. Появилось пианино. И опять я играл Град Китеж, и он с рюмочкой на ковре заходил от восторга...

Третьего дня, в понедельник, Михаил Михайлович поехал в банк получать сто тысяч франков. Сегодня, в четверг, он должен был передать эти деньги своему покровителю, возвращающемуся из Лондона. *В понедельник же утром я сел писать тебе письмо.* Деньги были все это время у Михаила Михайловича. Я не выходил из бистро мадам Давид. Писал и пил красный «пиф». В среду, вчера вечером, в двадцать минут седьмого, писать я больше уже не мог. Потребовал тройной крепости кальвадосу. Лихорадка трепала меня на стуле. Я поднял воротник и пошел к нему. Михаил Михайлович как раз выходил из подъезда: коротенькое пальто, через плечо перекинута тросточка, — пряменький, хохотливо весел. Я понял сразу: все эти дни деньги он носит при себе. Обрадовался мне чрезвычайно. Мы отправились в кабак, оттуда к девкам, — старая программа. В четыре часа утра мы шли по древнейшей улочке близ Севастопольского бульвара. Михаил Михайлович пожелал скушать лукового супу на рынках... Мы спокойно шли есть луковый суп. Было только одно: несколько раз он спросил: «Что ты отстаешь? У тебя гвоздь в башмаке?» — и близко всматривался мне в лицо помертвевшими глазами. На улице было пустынно. Проехала огромная телега с морковью и цветной капустой, прогрохотала сажеными колесами и скрылась за поворотом. Я отстал на шаг, мягко раскрыл наваху и вонзил ее Михаилу Михайловичу сзади в шею...

И вот... прощай... Ухожу вслед за ним...



УБИЙСТВО АНТУАНА РИВО

Антуан Риво повесил на крючок шляпу и трость, поджимая живот, кряхтя пролез к окну и хлопнул ладонью по мраморному столику. Вот уже пятнадцать лет в один и тот же час он появлялся в этом кафе и садился на одно и то же место.

Когда-то у Антуана Риво были пышные усы, молодцеватое выражение лица. Теперь щеки обвисли, и прежний румянец проступал лишь пятнами, в виде красных жилок на носу и скулах. Время сокращало Антуана Риво (рантье, холостяк, улица Прентаньер, 11). Но он все же твердо стоял на своих привычках, хотя накопленный за тридцать лет упорного труда капитал в 400 тысяч франков далеко теперь не стоил четырехсот тысяч: франк падал, жизнь дорожала, с трудом приходилось подводить баланс каждому месяцу, учитывая лишнюю рюмку, лишнее блюдо, лишнюю папиросу, предложенную уличной девчонке в кафе. К счастью, для Антуана Риво расход на женщин был почти сведен к нулю.

Итак, Антуан Риво хлопнул ладонью по столику. Подошел Шарль, гарсон, похожий на всех гарсонов Парижа: бриллиантовый пробор, галльский лоб, какая-то недочватка с носом, кривоватые ноги, короткая курточка, белый фартук. Шарль подал Антуану Риво руку и спросил скороговоркой:

— Как дела?

— Не плохо, — ответил Антуан Риво, изобразив вытянутыми губами, безнадежными морщинами, движением плечей, что дела в сущности так себе.

Шарль махнул салфеткой по столику, ушел и сейчас же вернулся со стаканом и бутылкой «Дюбоннэ». Налил,

придвинул графин с водою и льдом, заложил руки за спину и стал глядеть в окно.

— Да, да,— сокрушенно вздохнул Антуан Риво, подбавляя воды в «Дюбоннэ». Вздохнул и Шарль. За окном, под каштановыми деревьями, с которых время от времени падал увядший лист, некрасивая женщина везла детскую колясочку; прошел в парусиновом халате, без шляпы, провизор Марсель Леви из местной аптеки; прошли два солдата в красных эполетах и в медных касках с конскими хвостами. Некрасивая женщина с тоской поглядела им вслед. Вертя бедрами, прошмыгнул с папироской послевоенный тип,— молодой человек в пиджачке с подложенными грудями и боками,— поскользнулся в собачий след и запрыгал, осматривая подошву.

— Жизнь дорога,— уверенно сказал Шарль.

— Да, да.

— Страна нищает, налоги увеличиваются, проклятые *боши* не хотят платить...

В ответ на это Антуан Риво побагровел и стукнул уже не ладонью, а кулаком по столу, но не сильно, так как знал меру:

— Мы их заставим платить, черт меня возьми с кишками! Я выплачиваю нашему правительству немецкие репарации из собственного кармана,— как это вам понравится! Налоги, налоги! А немцы потирают руки: платят не они — Антуан Риво. Дерьмо! Довольно! Я требую: занять Рейн!

— Боши хотят новой войны — они ее получают,— сказал Шарль ледяным голосом и выпятил подбородок.

Так они поговорили о политике. Затем Антуан Риво сообщил то, что с самого утра нарушало правильное действие его организма, влияло на желудок: племянник его, Мишель Риво, демобилизованный в девятнадцатом году, опять прислал пневматическое письмо с дерзкой просьбой ста пятидесяти франков. Бездельник и мот! Денег он ему, разумеется, не даст,— довольно мальчишка сидел на шее,— но боится, как бы Мишель не пронюхал, что он после катастрофы с Китайским банком вынул часть вкладов — шестьдесят пять тысяч франков,— и деньги эти теперь держит дома.

— Но это совсем уж глупо, купите аргентинские...— начал было Шарль, но его позвали в другой конец кафе.

Антуан Риво допил аперитив, свернул из черного табака папиросу и выкурил ее, пуская дым сквозь усы. Посидев еще некоторое время, нужное для выделения желудочного сока, он вылез из-за стола, сделал несколько привычных движений, оправляя взлезшие брюки и жилет, и крикнул Шарлю:

— До завтра!

— Добрый вечер, мосье Риво, до завтра.

Ни Шарль, ни Риво не могли, разумеется, знать, что не только завтра, но никогда уже больше Антуан Риво не придет в кафе.

В четверть двенадцатого Шарль снял фартук и курточку, надел котелок и пиджак, подлез под полуопущенную железную штору на двери и вышел на бульвар. Со скамьи навстречу ему поднялась Нинет, девушка из универсального магазина «Прекрасная цветочница». У Нинет было неправильное личико с большим ртом, мигающими глазами. Она пришепetyвала, что особенно нравилось в ней Шарлю. Темперамент Нинет дремал, еще не раскрывшись.

Она подставила щеку для поцелуя. Шарль взял ее за средний палец руки, и они пошли молча по бульвару, в сыроватой темноте каштановой аллеи. Кое-где сквозь стволы ложился свет уличного фонаря, быстро, веером, проползали огни автомобиля. На одной из скамеек сидели, обнявшись, давешняя некрасивая женщина и совсем еще молодой человек с голыми коленками.

Шарль молчал, — устал за день. Приятно было думать о том, что дома, в грязненькой, старенькой гостинице под названием «Отель магистратуры и высшего духовенства», в пропахшей каминной пылью ветхой комнатке с огромной деревянной постелью, ждут его паштет, бутылка вина, не разбавленного водой, и добросовестные ласки Нинет. Он раскачивал за палец руку девушки и устало улыбался.

Нинет тоже молчала. За много месяцев их связи однообразие этих вечерних встреч с Шарлем утомило ее. Все было заранее известно, вплоть до той минуты, когда Шарль, опрокинув в горло последний стакан вина и щелкнув языком, скажет бодро:

— А теперь, малютка, в постель.

Нинет была рассудительная девушка: порывать старую, прочную связь казалось ей неблагоразумным. Она терпеливо ждала.

Молча дошли они до отеля «Магистратуры и высшего духовенства», поднялись по деревянной винтовой лестнице в третий этаж. Шарль отомкнул дверь в свою комнату, зажег пыльную, под потолком, электрическую лампочку, сбросил пиджак и стал привычно и ловко накрывать на стол.

Нинет села на край постели, сняла шляпу и согнулась, облокотившись о колени. Коричневые обои, тусклый свет, Шарль в подтяжках — все было знакомо.

— К столу! — наконец крикнул Шарль и шибко потер ладонь о ладонь. Паптет оказался выше похвал. Утолив первый голод, Шарль пересел ближе к Нинет и левой рукой обхватил ее пониже талии: точно так, — он знал, — поступали шикарные парижане с шикарными парижанками в кабинетах. Он поднял стакан вина и выпил за женщин.

Нинет лениво жевала. Её губы разгорелись от вина, лицо стало белее и тоньше, глаза перестали моргать. Она глядела на стену. Шарль был уверен, что она уже чувствует к нему прилив страсти. Он похлопал ее по спине и покусал за плечо. Нинет прозрачными глазами глядела на потрескавшиеся обои. Но Шарль хотел длить удовольствие и принялся было рассказывать все, что слышал за день от посетителей кафе. Нинет нетерпеливо передернула плечами и расстегнула черную шелковую кофточку.

Тогда Шарль, понимая, что настала именно та минута, из-за которой многие, даже знаменитые французы жертвовали жизнью, — бросился на Нинет, поднял ее на руки и, протащив три шага, положил на постель. И эти синемаграфические поступки также были Нинет знакомы. Она опрятно разделась и залезла под одеяло.

— О, какая женщина, какая женщина! — свистящим шепотом воскликнул Шарль. Затем за темным окном на церковной башне пробило час ночи. Шарль подоткнул одеяло и продолжал прерванный разговор о посетителях кафе.

— Вот, подумай, какой дурак, старый гагá, этот Антуан Риво...

— Кто, ты сказал? — внезапно, быстро перебила Нинет, даже села в постели.

Эта быстрота ее вопроса была так неожиданна, что Шарль внимательно вгляделся. Глаза Нинет смотрели прямо ему в глаза. Какая-то была в них загадка, но нет, — девушка честна, и Шарль продолжал:

— Этот Риво до того напугался крахом с Китайским банком, что вынул часть вкладов, — шестьдесят пять тысяч, — и держит их теперь у себя в комнате под ковром...

Шарль захохотал, скручивая папироску. Нинет отодвинулась от него. Неправильное личико ее стало озабоченное, почти тревожное, глаза потемнели. Вдруг она перелезла через Шарля, соскочила на вытертый коврик и быстро начала одеваться.

— Куда, Нинет?

— Ах, мне стало плохо, я пойду домой.

Шарль зевнул, улыбаясь:

— Ну, крошка, если хочешь — иди. Не забудь только внизу захлопнуть дверь. До завтра. Будет цыпленок с трюфелями.

Нинет поцеловала в голову Шарля и убежала. Через минуту за окном быстро-быстро, — что-то уже слишком быстро, — промчались ее каблучки.

Ночь была темна и тепла. Неподвижно стояли огромные каштаны, едва тронутые светом с далекой площади. Очертания домов растворялись в темноте неба. С листьев падали теплые капли.

Нинет перебежала аллею, взобралась, задыхаясь, на травянистый крепостной вал и подняла голову.

За деревьями высоко горело небольшое окно теплым светом. Нельзя было различить ни глухой стены многоэтажного дома, ни крыш, — окно было раскрыто прямо в небе над деревьями парка Мон-Сури.

Нинет прислушалась, вглядываясь в темноту между стволами. Поднялась на цыпочки и позвала вполголоса, ясно:

— Мишель!

Сейчас же хрустнула ветка, — Нинет прижалась к дереву. В другой стороне тихо-тихо свистнули. Послышалось шуршание, точно что-то мягкое потащили по прелым ли-

ствиям. Сердце Нинет билось, как у мыши. Она знала дурную славу парка Мон-Сури. Но все стихло. Нинет опять поглядела на окно:

— Мишель!

В окне появился по пояс человек в ночной рубашке, — маленькая голова, прямые плечи. Он перегнулся, всматриваясь:

— Алло?

Это был Мишель Риво. У Нинет высохло во рту. Но вот из-за спины Мишеля выдвинулась в окне вторая фигура, — взбитые волосы вороньим гнездом, голые руки. Прикрывая грудь рубашкой, женщина эта спросила сонным голосом:

— Ты что вскочил?

— Кто-то позвал: «Мишель».

— Ах, мало Мишелей в Париже! Иди в постель, я хочу спать.

Они говорили вполголоса, но было слышно каждое слово. Нинет прижала руки ко рту, прислонилась к дереву, кора впиалась ей в плечо.

Воронье гнездо в окне качнулось и исчезло. Мишель, раздумывая, постоял еще с минутку. Зевнул и пропал. Окно погасло, исчезло в черном небе.

Нинет, все еще зажимая рот, тряслась от слез. Спотыкаясь о корни, она пошла, — побежала с травянистого откоса.

На площади Нинет обернулась в сторону дома, где погасло окно, и часто-часто закивала головой, потом изо всей силы кулаком вытерла глаза.

Утреннее солнце сияло в ручьях, бегущих из водопроводных труб, сверкали капли на листьях овощей, на охапках роз. В корзинах, придавленные камнями, шевелились черные крабы. По влажным торцовым мостовым катились двухколесные телеги, запряженные чудовищными першеронами в хомутах, покрытых бараными шкурами. Щелкали бичи. Проносились автомобили. Бензином, ванилью, овощами, рыбой, пудрой пахла узенькая и шумная улица. Простоволосые, в фартучках, в домашних туфлях, говорливые парижанки озабоченно готовились к священному часу завтрака.

Мишель Риво шел по теневой стороне тротуара. Он был зол и спокоен. Недокуренная папироска торчала у него за ухом. Каштановые волосы, по моде, зачесаны назад. Галстук — бабочкой. Узкий пиджачок, брюки по щиколотку, шелковые носки, измятая рубашка были неряшливы, но надеты с «шиком». Он видел, — почти у каждой встречной женщины, точно от толчка, раскрывались глаза, и зрачки внимательно касались его зрачков.

Foutre de camp! В кармане зловеще, как могильщик лопатой, звякали две монеты по два су. Пусть бы заговорил с ним кто-нибудь сейчас о моральных устоях. Люди — сволочь, жизнь — дерьмо! Стоило воевать, чтобы шататься с двумя су в час завтрака...

Мишель Риво свернул к универсальному магазину «Прекрасная цветочница» и остановился напротив подъезда, у газетного киоска. По другую сторону его стоял толстый человек в золотых очках и в дорогом жилете. Шея у него была мокрая и дряблая. Развернув газету, он поглядывал из-за нее на подъезд, из которого обычно выходили продавщицы.

Мишель Риво со спокойной ненавистью оглядел от лба до лакированных башмаков толстого человека и обратился к газетчику, старичку:

— Алло, старина, — неужели вы берете по три су за газету? Берите по сорок су, не меньше, — бульвардье заплатят, чтобы только постоять у вашего киоска.

Газетчик с усилием сосал трубку, хлюпая никотином. Мутные глаза его были полны склерозной влаги. Мишель криво усмехнулся:

— Покуда мы воевали, — буржуа, проклятые нувориши, наживались на военных поставках. Они лакомились нашими девочками... О, буржуа! Мы разгромили бошей, вернулись домой. Наши места заняты жирными скотами! К девочкам нельзя подступиться: они требуют туалетов от «Мадлен и Мадлен» и «Колло». Их научили швырять деньгами. А в это время мы, как шакалы, щелкали зубами в окопах. Буржуа вышвыривают нас на улицу! Спасителей отечества заставляют протягивать руку! Ха, ха! Мы хорошо теперь знаем, как входит железо в жирный живот, — легко, как в сливочное масло! Мы многому научились в траншеях. Мы еще посмотрим, кому пить шампанское и целовать девчонок...

У толстяка запотели очки. Он поспешно свернул газету и отошел от киоска. Крепкого разговора наладить не удалось. Мишель Риво даже осунулся от злости.

Из магазина начали выходить продавщицы. Гляделись в зеркальца, мизинцем подмазывали губы, хохоча сбегали на тротуар, — от смеха глаза блестели ярче, розовели щеки, трепались стриженные кудряшки. Толстяк, вытянув дряблую шею, пожирал эту стаю болтливых девушек, высыпающую из отделений женского белья, кружев и духов.

Появилась Нинет. Ее глаза были красные, припухшие. Мишель Риво взял ее за локоть:

— Вчера ночью вы были у меня под окном?

Нинет ахнула, отшатнулась, подняла мутноватые от слез глаза на Мишеля и быстро пошла через улицу. Он догнал ее:

— Нинет, мне было досадно вчера. Маленькая, пойдем завтракать!

Нинет нагнула голову, быстрее побежала. У нее были, черт ее возьми, ужасно миленькие ножки. Мишель Риво засвистал военную песенку. Нинет запыхалась, пошла тише. Пришлось остановиться перед просзжавшей телегой с винными бочонками.

— Зайдем вон в то бистро, Нинет! Там подают отличное рагу.

Нинет одними губами ответила: «Хорошо». Завтрак примиряет даже врагов. Мишель Риво и Нинет сели рядом на клеенчатый диван, заказали луковый суп, рагу, два литра вина и много хлеба. Нинет оттянула платье, чтобы Мишель глядел ей на голое плечо. Голова у нее кружилась: значит — желает ее, если прибежал после вчерашнего.

— Никогда тебе не есть такого рагу, какое мы едали под Верденом, — говорил Мишель, — мы готовили его из мороженных австралийских баранов. После ночи ураганного огня, искрошив в куски тысяч пятьдесят проклятых бошей, хочется жрать, как людоеду, — жрать и спать. Хорошее было время. Мы пили цельное вино. А какой мы курили табак! Спи, ешь, дерись. Это — жизнь!

Мишель выпил залпом стакан красного «пойла», чмокнул, вытер ладонью усы.

— Эта вчерашняя женщина — моя старая, еще военная связь. Привязалась, бог мой! Скучна и однообразна

в любовных развлечениях. Овца! Тяготит меня, как ядро, прикованное к ноге. Да, Нинет, да. У меня нет прочной связи. Я одинок. Моя матушка умерла в год войны...

Мишель горестно покачал головой и корочкой стал подбирать с тарелки бараний соус.

— Что мы возьмем на десерт? Мирабели? Алло, гарсон, два раза мирабель, два кофе и коньяк. Маленькая, ты придешь ко мне сегодня?

Сердце Нинет медленно и отчетливо застучало. Она спросила чуть слышно:

— Мишель, тебе все так же трудно с деньгами?

— То есть как так трудно? Гарсон, счет.

Мишель хлопнул себя по пиджаку. Поджал губы, заморгал. Вскочил, принялся бешено шарить по карманам. Выругался, сел, отер лоб.

— Забыл дома кошелек, чтобы тебе сдохнуть!

— Я заплачу, Мишель...

— Но, крошка, я не позволю...

— Мишель, я приходила вчера сообщить очень важную новость. Антуан Риво взял из банка шестьдесят пять тысяч франков...

— Тише говори...

Мишель быстро оглянул почти пустое бистро и нагнулся ко рту Нинет. Она с жадностью вдохнула запах его волос, облизнула губы:

— Как только я узнала про это — побежала тебе сказать... Бедняк, ты так страдаешь.

(Мишель стиснул рукой ее колено.)

— Антуан держит деньги под ковром, так мне сказали...

(Мишель кашлянул, прочищая горло.)

— Пойди к Антуану, проси у него денег.

— А если он не даст?

Губы Нинет посинели, руки замерзли до локтей.

— Я только хотела тебя предупредить... Я думала... Мы могли бы поехать к морю на месяц... Мы были бы скромны... Собирать креветок, танцевать с тобой шимми. Я так мечтаю об этом, Мишель.

Глаза ее наполнились слезами. Мишель, наконец, выдохнул из себя воздух. Отодвинулся.

— Плати! Идем.

В шесть часов вечера Антуан Риво не пришел в кафе. В семь часов гарсон Шарль остановился перед стенными часами и карандашом сильно прижал себе кончик носа.

— Странно.

Шарлю, разумеется, не было никакого дела до Антуана Риво. Но то, что он в первый раз за пятнадцать лет не пришел именно сегодня, это каким-то образом стояло в связи с чем-то ужасно неприятным... Гм... Что-то произошло вчера пустяковое, но неприятное, и это стояло в связи... Гм... Словом, если бы Антуан Риво появился у окна, Шарль сразу бы успокоился...

В четверть двенадцатого Шарль надел пиджак и котелок, подлез под полуопущенную на двери штору и вышел на бульвар. Нинет на скамейке не оказалось. Шарль дошел до конца бульвара. Вернулся... Сдвинул котелок на затылок. Фу ты, черт! Что же случилось? Он был действительно встревожен. Но почему между отсутствием Антуана Риво и Нинет чудилась ему связь? Видел он что-то и забыл, чувствовал и не мог понять.

Шарль в раздумье шел к отелю «Магистратуры и высшего духовенства». На другой стороне улицы приоткрылась дверь одного из подъездов, выскользнула узкая, как тень, незнакомая женщина в шляпе, надвинутой так глубоко, что был виден только острый, белый, как алебастр, подбородок. Быстро-быстро каблучки ее простучали по тротуару.

Шарль сразу остановился, надвинул котелок на глаза. Повернулся и почти побежал. Он вспомнил смятую кровать, сонную Нинет... И то, как вдруг, при имени Антуана Риво, заблестели ее глаза, как она, точно чужая, перелезла через Шарля, торопливо оделась и убежала. Простучали за окном каблучки...

Через десять минут Шарль остановился в узкой улочке, у невысокого дома. Три нижние окна его, закрытые железными жалюзи, выходили на пустырь с огородами, кучами угля и фабричной постройкой, разрушенной в тысяча девятьсот восемнадцатом году гигантской бомбой «Берты».

За тремя ставнями в нижнем этаже было жилище Антуана Риво с отдельным входом: гарсоньерка. Наружная дверь оказалась приоткрытой. У Шарля стукнули зубы. Все же он осторожно отворил дверь и вошел в темную

комнату с кислым, стариновским запахом. Он споткнулся о поваленный стул. Потер ушибленное колено. Пошарил в карманах, нашел восковую спичку, чиркнул ее о штаны. Огонек ярко разгорелся... На ковре у камина лежал большой, раздутый мешок. Шарль наклонился к нему. Мешок оказался животом Антуана Риво. Короткие ноги его, в подштанниках, были раздвинуты, как ножницы. Лицо куда-то делось. Вместо лица — черное, вспухшее, напрочь перерезанное горло.

Спичка погасла, уголек упал и зашипел. Шарль опомнился за дверью. Притворил ее и пошел, на цыпочках, вдоль мрачного пустыря.

Вереницы автомобильных огней катились по сырым аллеям Булонского леса. Асфальтовые шоссе, маслянистые и зеркальные, отражали силуэты машин и длинные ветви деревьев, застилающих звездное небо. В низко ударяющих столбах света возникали пешеходы, лакированные зады автомобилей, бледные лица женщин за блеснувшими стеклами. Автомобили и пешеходы двигались в дальнюю часть леса, к парку Багатель.

Граф д'Артуа, брат Людовика XVI, просил однажды королеву о любовном свидании. Мария Антуанетта сказала: «Да». Осенью, во время охоты, в уединенном месте, она отдаст ему час любви. Граф д'Артуа выбрал на берегу Сены, в лесу, уединенное место, где росли столетние дубы и по лужайкам бежал ключ. Здесь он разбил английский парк, перекинул мостики через ручей и на открытой поляне построил дворец, а рядом — отель для свиты. Кругом он приказал посадить миллионы роз. Постройка была окончена в три месяца. Мария Антуанетта сдержала слово. Во время охоты лошадь ее взбесилась и унесла королеву в замок любовной прихоти — Багатель. Прошло много лет. Королева была казнена, граф д'Артуа бежал из Франции. Теперь в Багатели цветут поля роз. Чудесные розы покрывают лужайки, оплетают старые стены ограды, свешиваются с ползучих арок. Сегодня в Багатели герцогиня д'Юез, по бабушке из рода Рюриковичей, давала Парижу праздник в пользу жертв русской революции.

Мишель Риво бросил кассиру смятую бумажку в сто франков и вместе с Нинет вошел через железные ворота в парк. С правой стороны из-за леса, из дымных облаков,

подымалась луна мутным, огромным шаром. На сырые поляны, посеребренные ее светом, ложились тени от одиноких дубов. Было прохладно, недавно прошел дождь.

Налево, на длинной и покатой поляне перед озером, стояло множество стульев и скамей. Окаймляющие поляну пышные платаны были покрыты бумажными фонарями, расположенными как гроздья винограда. В воде озера отражались огни и звезды.

Съезд начался. Группы зрителей шли в свете луны и светящихся лиловых гроздей. Здесь был весь блестящий Париж, собравшийся ко дню розыгрыша большого приза.

Мишель Риво стоял, заложив палец за борт пиджака, опираясь о тросточку. Нинет держала его под руку, — ей казалось, что все это — сон. Лицо Мишеля было болезненно-бледно, ноздри раздуты. Мимо, по мокрой траве, шагали высокие англичане в вечерних, до пят, черных пальто, в мягких шляпах; проходили горбоносые, с маленькими головами, французы в шелковых цилиндрах, в плащах, перекинутых через руку, во фраках, обливающих их длинные фигуры; маленькие, смуглые, мерцающие жемчужными запонками южные американцы; японцы с лицами-масками, в очках, в просторных фраках. Пышно, как по ковру, проходили по мокрой траве полуобнаженные женщины, неведомо чьею фантазией порожденные на земле. Их тонкие руки, грудь, спины глубоко — до поясицы — были обнажены, лишь две нити придерживали черные, пышные газовые юбки, их волосы убраны просто, гладко — узлом на затылке. Таков был вкус после войны: женщина захотела раздеться перед всеми. Она сняла драгоценности, причесала волосы просто и прикрыла траурной легкой материей лишь то, что было некрасиво оставить открытым. Послевоенная эстетика требовала простоты и много прекрасного тела.

Мишель Риво сказал, не разжимая зубов:

— Оставь мою руку.

Нинет торопливо выдернула руку из-под его локтя. Места перед озером наполнились. На эстраде над водой зажглись среди стволов ртутные лампы. В первые ряды не спеша прошли индусы в черных халатах, в белых чалмах. Они окружали раджу, с лицом ястреба. От него шли лучи драгоценных камней, сверкало золото одежды.

Заиграл оркестр под сводами листвы, сильнее осветилась эстрада, на ней, отраженная в воде озера, тонкая, сильная, в белых пачках, появилась Анна Павлова.

Мишель Риво повернулся и пошел к одиноко стоящему на седой поляне дворцу Багатель, залитому лунным светом. Мишелю хотелось пить. Горло горело. У буфетного стола, перед дворцом, он спросил коньяку. Нинет с ужасом глядела, как Мишель выпил пять больших рюмок. Вытирая усы, он развернул грязный носовой платок, вдруг дернул головой, точно от удара, сунул платок в карман и отошел от стола.

— Какого черта ты меня сюда привела!

Часто-часто моргая, Нинет сказала:

— Я не знала, что здесь так все дорого.

— Ты — дура! Заплатить сто франков, чтобы пялить глаза на этих скотов, которым давно надо перерезать глотки...

Он стукнул зубами, сунул руки в карманы штанов и зашагал по поляне. Нинет в тоске поглядела на тучку, находившую на луну. Вчера после завтрака они с Мишелем ласково расстались. Мишель ушел просить денег. Сегодня, в сумерки, они встретились около Лувра. Мишель, усмехаясь, показал пачку кредиток: «Старик Антуан раскошелился». Они стояли на мосту, обсуждая, что делать вечером. За садом Тюильри разливался багрово-пыльный свет заката. Его отблески скользили по воде, ложились на графитовые крыши Лувра. Мишель осунулся, папироска у него повисла, приклеившись к губе. «Мишель, — сказала Нинет жалобно, — пойдем куда-нибудь в шикарное место, раз в жизни!» И она вспомнила, что сегодня праздник в Багатели. И вот они здесь. «Ах, лучше было бы просто поужинать в бистро, посидеть часок на диванчике и пойти спать, чем водить Мишеля глядеть на красивых женщин».

Вдали между деревьями вспыхнул круг прожектора, и ослепительный столб света потянулся над зазеленевшей, как яд, травой. Неподалеку зашипел и протянулся второй столб. Издалека — третий. Бродя по поляне, столбы скрестились в одной точке, — осветили кучку людей в огненно-красных сюртуках, в красных шапках. Они держали медные рога и вдруг затрубили, печально и протяжно, древнюю охотничью песню — сбор по оленю. Это был антракт. Мишель вздрогнул, втянул голову в плечи. В гла-

зах его появился нестерпимый ужас. Но столбы вдруг погасли; пропали красные трубачи. И снова над поляной, над разбросанными по ней дубами кое-как стала светить незатейливая луна.

С озера шли зрители. Ни Мишель, ни Нинет не знали, конечно, что вот этот изящный, презрительный, с худым лицом молодой человек открыл первый начало великой восточной трагедии, убив у себя на дому полумифического мужика. А вот этот — курносый, с собачьим лицом, с глазами-щелками — знаменит на весь мир не менее: командир волчьей сотни, пролетевший, по колено в крови, по Кавказу и Дону. Вот этот, скромный и разочарованный, похожий на учителя математики, недавно еще был могущественнее турецкого султана... Вот эта полная, рослая, в голубом сарафане и кокошнике — сама герцогиня д'Юез; рядом с ней — скучающий человек с темными усами, в шелковом цилиндре, слегка набекрень — русский император, напечатавший в Ницце листок с просьбою вернуть ему империю и подданных...

Мишель пристально глядел мимо идущих, на кусты, по ту сторону дорожки, где, полускрытые листьями, поблескивали пуговицы на двух полицейских мундирах. Мишель негромко спросил Нинет:

— Ты никому не сказала, что мы пойдем в Багатель?

— Нет, я сказала только моей консьержке.

Мишель осторожно пошел в тени деревьев. Там стояла вторая пара полицейских. Мишель отвернулся. Так, спокойным шагом, он дошел до опушки. Здесь вдруг схватился обеими руками за шляпу и побежал, сгибаясь под ветвями. Нинет ахнула. Крикнула жалобно: «Мишель!» Сейчас же справа и слева наклонились к ней два длинноусых, каменных лица — сержанты полиции. Один спросил ее имя, другой сказал:

— Вы арестованы, мадемуазель.

На допросе у следователя Нинет дана была очная ставка с гарсоном Шарлем, который еще в ночь убийства рассказал в полицейском участке о страшной находке и о всех своих сомнениях.

Увидев у следователя молодую девушку, Шарль закрыл рукой глаза и воскликнул: «О, это та, которую я любил!»

В кабинете следователя сидели хроникеры из бульварных газет. Нинет держалась мужественно. «Этот человек,— сказала она, кивая подбородком на Шарля,— этот овернец отравлял мою жизнь скверными паштетами и убийственным однообразием своей любви... (Нинет знала, что в эту минуту говорит для Франции.) Я парижанка, мосье, я женщина,— я была несчастна. Я любила Мишеля Риво, но он был беден. Мне оставалось только покориться своей судьбе». Нинет разрыдалась. Виновность Мишеля она решительно отрицала. Шарль в первый раз видел ее такою... «Черт возьми,— пробормотал он,— черт возьми, вот это женщина».

Портреты Шарля, Мишеля и Нинет появились в газетах. Слова Нинет о том, что она — парижанка и женщина — принуждена довольствоваться скверными паштетами и однообразной любовью, эти замечательные слова облетели всю Францию. Кафе, где в продолжение пятнадцати лет Антуан Риво пил аперитив, стало знаменитым. Хозяин поставил лавры у входа и место Риво у окна покрыл флером. Шарлю приходилось рассказывать каждому посетителю про свой разговор с Антуаном Риво накануне убийства, про ночную беседу с Нинет, про свою тревогу вечером следующего дня и, наконец,— посещение жилища добряка Риво и ужасное зрелище — труп с перерезанным горлом. «Вы понимаете, мосье,— заканчивал Шарль,— какой опасности я подвергался, когда засыпал после дня, полного трудов, и эта женщина, лежа рядом со мной, обдумывала план убийства. Она имела обыкновение кусать себе ногти, когда лежала в постели». — «О?» — испуганно восклицал посетитель... «Да, да, мосье, кусала ногти».

Так прошла неделя, но убийца, Мишель Риво, все еще не был арестован...

В центре Парижа, в стороне от многолюдных больших бульваров, есть узенькая улица XV века, «Улица Венеции». Она не шире четырех аршин. Дома, построенные уступами, сходятся вверху, оставляя узкую щель неба. У входа в улицу видны остатки цепей времен средневековья. Пыльные окна затянуты паутиной, которую ткали пауки еще при христианнейших королях. К наружным стенам, прямо на улице, прилеплены писсуары, так как внутри домов отхожих мест нет. Мостовая покрыта остат-

ками овощей, куриными внутренностями и еще черт знает чем. Опухшие лица выглядывают из темных лавчонок, из низких входов, из ветхих окон, перекликаются нечеловечески-хриплыми голосами или на воровском жаргоне принимаются ругать случайного прохожего, запускают в спину гнилым апельсином. Эта отвратительная щель населена теми, кого на языке науки называют деклассированным элементом. Полиция заглядывает сюда только днем. Время здесь остановилось и загнило.

Седьмой день Мишель Риво ночевал на этой улице, в комнате Заячьей Губы — проститутки, которую знал еще до войны. В шестнадцатом году, работая в государственном публичном доме на фронте, Заячья Губа заболела дурной болезнью. Ей пришлось деклассироваться. Она занялась перепродажей краденого.

Днем Мишель Риво бродил по большим бульварам и покупал мелкие, бесполезные предметы, а к часу обеда подавался в рабочие кварталы. Он ел без вкуса, поспешно, иногда прямо на улице. Желудок его был не в порядке. В газетах он прочел интервью с инспектором полиции и понял, что сыщики на ногах — обыскивают Париж кварталами.

Он был в том состоянии спокойного бешенства, когда можно подойти к любому благоустроенному, довольному собой прохожему и перегрызть ему горло.

В сумерки Мишель Риво нырнул в низкую щель лавочки Заячьей Губы «Уголь, вино», помещавшейся на уровне земли. За лавочкой, в сводчатом полуподвале, имелся ход в подземелья древних каменоломен под старым Парижем. Мишель вошел в эту комнату и увидел худощавого незнакомца: положив локти на стол, он курил папироску, пил вино и щурился на свет керосиновой коптилки.

Мишель подался к двери. Незнакомец не спеша сказал:

— Можете спокойно оставаться. Я — вор. Хотите вина?

Из-за двери крикнула Заячья Губа:

— Не опасайся, Мишель, этот человек знаменит, как Виктор Гюго...

Мишель сел на соломенный стул, взял стакан с вином. Коптилка освещала снизу доверху лицо вора хорошей породы и отменного благородства: блестящие, в пышных

ресницах, глаза, подстриженные по-английски усы, тонкая сеть мускулов,двигающихся на скулах под матовой кожей, ловко надетая шляпа, черный галстук, полотняное белье...

— Это вы пришили старика Антуана? — спросил вор.

— Да, я, мосье.

— Чем?

— Солдатским ножом.

— Вы дилетант, мой друг. Старика надо было потрошить сухим методом, покуда он пьет аперитив в кафе... Вы погорячились... Жаль, жаль... Вашей голове придется, видимо, сыграть партию в кегли.

Так же, как все эти дни, тяжелый ком подвалил под живот Мишелю Риво. Лицо его стало серым. Вор сказал:

— Расскажите подробности...

— Я вошел, старик читал газету в кресле... Я был взбешен, да, но спокоен. Старик, ничего не спрашивая, скомкал газету и заорал: «Вон!» Тогда я затворил дверь и потребовал тысячу франков...

— Вы затворили дверь, — спросил вор, — намеренно?

— Говорю вам, что я был взбешен... Я отогнул ковер, под которым лежали деньги. Старик завизжал и кинулся животом на отогнутый ковер. Он уронил очки, шапочку и туфли... Он испустил отвратительное зловоние...

Вор с удовольствием щелкнул пальцами:

— Это очень нервит, я знаю... Затем он вас укусил?

— Он меня укусил. Он ухватил меня за ноги, чтобы цовалить... Тогда я его зарезал. Он покатился, перевернулся и зашипел, как коробка с гнилыми консервами...

— Мой дорогой друг, можете смело считать себя обезглавленным, — сказал вор. — Полиция не прощает подобного дилетантства. А жаль...

Мишель Риво облизнул губы и жадно выпил стакан вина. Вор ногтем мизинца погнал по столу кусочек пробки.

— Вас можно было бы еще спасти, а?

— Я слушаю, мосье.

— Ваша вина в том, дорогой друг, что вы совершили поступок в состоянии запальчивости. Если бы путем спокойного размышления пришли к заключению, что старика действительно нужно убрать... Тогда — браво, браво!.. У вас недисциплинированная воля. Да. Война испортила

человеческий механизм. Стоит хаос, как после тайфуна. Революции! Какой запоздалый романтизм! Игра для детей среднего возраста! Коммунисты, фашисты... Ку-клукс-клан. Скучно. Жизнь потеряла магнетическую силу. Война убила вкус: девчонки стали холодны, как рыбы, вино — кисло, в кабаках зеваешь до слез. Перестали даже писать занимательные книги. А? Вы не следите за литературой? Единственное учреждение, которое еще на высоте, это — полиция. От всей великой культуры остались полицейские корпуса. Говорят еще — идет новая сила: это концерны тяжелой промышленности. Они захватывают жизнь по вертикали. Но это пахнет социализмом наизнанку. Здесь нам, последним индивидуалистам, рыцарям маски и потайного фонаря, делать нечего.

Вор ногтем мизинца смахнул пепел с лацкана серого пиджака.

— Итак, в сфере нашего интереса остается полиция. Кстати, вы уверены, что я не полицейский сыщик? Поставьте стакан, вы проливаете вино... Итак, вы — уверены. Это указывает на вашу прозорливость. Я пришел сюда именно за тем, чтобы предложить вам убрать одного господина, который таскается за моими пятками, как легавый кобель. Вам придется обойтись с ним примерно так же, как с дядюшкой Антуаном. После этого я постараюсь переправить вас в Южную Америку. За это — тридцать шансов против ста. Без меня у вас — все сто попасть под нож гильотины...

— Согласен! — неожиданно громко крикнул Мишель Риво. — Эй, Заячья Губа, еще два литра красного...

Этой же ночью Мишель Риво стоял в темной нише ворот на старой улице Фобур Монмартр. Луна поднималась из-за мансард. Изредка в гору проезжал автомобиль с гуляками.

Раздались шаги. Мишель сжал зубы. Но нет, — это прошел пьяненький старик газетчик, похожий на Рабиндраната Тагора, спотыкаясь, бормотал названия газет. Опять — шаги. Прошла усталой походкой девушка в повисшем на голых плечах шелковом плаще. Обернулась, нашла в темноте глаза Мишеля. Усмехнулась, прошла.

Было тихо. Париж засыпал. Париж, Париж! Каждый камень здесь враждебен Мишелю. Родина! Проклятие!

Опять раздались шаги. Мимо ворот быстро прошел вор и, как было условлено, щелкнул пальцами. Мишель пригнулся для прыжка. Сейчас же следом за вором появился человек в сером коротком пальто. Мишель кинулся на него и ножом ударил ему в бок — глубоко и твердо... Человек упал со стоном. Мишель быстро пошел вниз к бульварам. Он перегнал пьяненького газетчика и девушку, — она опять, взглянув на него, усмехнулась криво. В глазах Мишеля все еще плыл красный свет...

На углу его окликнули. Стоял закрытый автомобиль. Мишель влез в него, откинулся на подушки, зажмурился и оборвал пуговики на вороте мягкой рубашки.

1923 г.



ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

Первое появление

В семейном пансионе вдовы коммерции советника фрау Штуле произошло незначительное на первый взгляд событие: за столом появился новый пансионер — плотный, большого роста, громогласный человек.

Он шумно ел, выпил шесть полубутылок пива. Он хохотал, рассказывая племяннице фрау Штуле фрейлейн Хильде пресмешные «вицы», во рту у него блестели два ряда крепких зубов из чистого золота.

Он сообщил соседкам справа, Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне, о последних парижских модах: черный цвет, короткую юбку — долой, носят только полосатое, черное с красным. (У Сони стало сползать платье, оголяя роскошное плечо, на котором она поминутно поправляла бретельки.)

Он поговорил коротко и веско с соседом слева, Павлом Павловичем Убейко, полковником, о хороших делах с печатной бумагой.

Он налил две рюмочки ликеру «Кюрасао Канторовиц» и выпил с напротив сидящим японцем Котомарой за самую твердую из валют — японскую иену. (Котомара открыл желтые, в беспорядке торчащие зубы и сощурился под круглыми очками.)

Он обещался выпить полдюжины шампанского в кабаре «Забубенная головушка», где служил сидевший рядом с японцем озлобленный актер Семенов-второй.

Он неожиданно и громко похвалил обедавшего за тем же столом писателя Картошина: «Вся эмиграция очарована вашим чудным русским языком, господин Картошин». (Это вогнало Картошина в густую краску; потупившись,

он принялся наливать себе пива, у него покраснела даже рука.)

Он обратился бы также и к другим пансионерам фрау Штуле, если бы не дальность стола. Он говорил по-немецки и по-русски. Засопев, обгрыз и закурил сигару в два пальца толщины. Он был брит, совершенно лыс и подвижен. Его звали Адольф Задер.

После обеда часть общества перешла в уютный уголок, отделенный аркою от столовой. Там, за кофе и ликером, Адольф Задер рассказал Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне свою первую автобиографию.

— Я родился в лучшей семье в городе Кюстрине, — так начал Адольф Задер, плотно глядя на Сонины плечи, — мои почтенные родители прочили меня к коммерческой деятельности. Но я был озорной парнишка. Младший сын герцога Гессенского был мой ближайший друг.

Однажды я говорю: «Папа и мама, я хочу ехать в Мюнхен, хочу сделаться знаменитым художником». Папа был умный человек, он видит — я, как дикий конь, грызу удила, он сказал: «Ну, что же, Адольф, поезжай в Мюнхен».

В Мюнхенской академии меня носили на руках. Что за чудные картины я писал! Со слезами на глазах вспоминаю то время. Кутежи, балы. В меня влюбилось одно высокопоставленное лицо... но не будем об этом. Родители посылали мне каждый месяц двести марок. (Тут все общество радостно засмеялось, иные только покачали головами.) Да, это были золотые марки.

(Отнеся в сторону мизинец с огромным ногтем, Адольф Задер выпил узенькую рюмочку ликеру и стряхнул пепел прямо себе на мохнатый костюм.)

Ничто не вечно под луной, как говорится. Отца хватил удар, мать умерла с горя. Мне на плечи свалилось крупное состояние. Я рыдал, как ребенок, бросая академию. Тяжело, господа, — зачем мне это дело? Зачем мне эти деньги, когда во мне кричит артист? Я даже до сих пор не успел обзавестись семьей: как белка в колесе. Тяжело. Но — я не теряю надежды. Я все брошу, расшвыряю деньги (волнение среди слушателей), — на что мне одному столько денег? Я закушу удила. Я опять возьмусь за кисти и палитру. Только еще не знаю, — где поселиться: здесь, в Берлине, или вернуться в Мюнхен? Мне надоела политика, вот что. Пока шла война, я был совсем болен. А вы думаете — теперь лучше? Ах, оставьте! Кавардак! Сегодня

доллар — три тысячи марок, а завтра полторы, а после завтра пять. Может быть, я совсем покину Европу. Я уеду на Тихий океан. (Соня тревожно оглянулась на мать, Анна Осиповна поправила пенсне.)

Извините, медам, заболтался, еду в банк...

Писатель Картошин

После обеда Картошин и жена его, Мура, пошли к себе в комнату. Картошин по пути от нечего делать вел пальцем по обоям темного коридора. Он споткнулся на ступеньке и, как всегда, обругал фрау Штуле: «Сволочь вонючая, немка».

Они вошли к себе в комнатку с одним, во двор, окошком, за которым моросил дождь. Мура забралась на плюшевый диванчик и стала глядеть на мокрые стекла. Картошин повалился на постель и лежал, длинный, худой, с большими ступнями, с вялым носом, — курил папиросу.

Такое времяпровождение можно было объяснить только отсутствием денег, Картошин был молодой писатель. Его слава началась в Ростове-на-Дону с газетного фельетона «Рассказ очевидца». Даже в те дни гражданской войны он царапнул по нервам читателей. С тех пор царапанье стало его специальностью. В Берлине о нем напечатали статью, где сравнивали его с Эдгаром По.

Картошин переживал свою славу спокойно и трезво, оценивая ее не литературную, а главным образом денежную сторону. Он не был романтиком. Литература приносила скудные доходы. Хотя, за неимением иного, не плохое было и это занятие.

Так, лежа с огромными башмаками на кровати, посаывая немецкие папироски, воняющие прелыми листьями, он выдумывал рассказы из времен революции. По ночам, когда Мура спала, засунув голову под подушку, Картошин наедался пирамидону, так что сердце трепетало, как мышь в кулаке, и писал.

Мура сама носила продавать его рассказы, торговалась, как цыган, брала авансы. Мура была худая, с нервной спиной, помятая женщина. Замечательными были у нее расширенные глаза, она не смотрела ими, а всасывалась. Она исступленно ревновала Картошина ко всем проституткам. Иногда, среди ночи, он посылал ее на улицу за горячими сосисками. Мура накидывала пальто прямо на рубашку и бежала вниз на угол, где всю ночь стоял бойкий малый

с медной кухонкой, окруженный продрогшими и голодными девушками.

Она покупала четыре горячих сосиски на картонной тарелочке с горчицей, булочку-шриппе и с тоской вглядывалась в мутно-бледные под шляпками с розами, тощие лица проституток. «Которая, — думала она, — которая — смертный враг?»

Картошин положил огромные подошвы на спинку кровати.

— Мура!

— Что тебе нужно?

— А этот с деньгами, с золотыми-то зубами. Хорошо бы подбить его на издательство. (Мура неопределенно передернула плечами.) Ты бы с ним поговорила как-нибудь. А? Взяла бы аванс. Знаешь, — я хочу начать писать что-нибудь крупное, листов на десять. Психологический роман. (Картошин зевнул.) По-моему, его подбить можно. Мурка!

— Что тебе!

— Сбегай за папиросами.

— Не хочу.

— Почему?

— Скучно.

— А ты не гляди в окошко. Мура, а Мура! Он сказал, — у него два вагона бумаги куплено здесь. Надо ему объяснить, черту, — гораздо выгоднее издательство, чем просто спекулировать на бумаге. Устроили бы ярко-анти-советское издательство. Купили бы типографию. При ней — журнал. А потом, глядишь, через год — переносим дело в Москву.

Часа полтора, лежа на постели, Картошин развивал планы деятельности. Мура молчала, потому что, точка в точку, эти разговоры повторялись каждый день. Наконец лежать без папирос надоело, Картошин надел непромокаемый плащ и вышел на улицу.

В этот час на Фридрихштрассе проститутки шли густыми толпами. Их было столько, что исчезало даже любопытство к этим промокшим женщинам с бумажными розами на шляпах или просто на животе. Но, видимо, эти остатки доброй, старой романтики все еще привлекали сизобритых господ в котелках, с тросточками, и озабоченных семейственных немцев, запиравших конторы и меняльные лавки, и оборванных молодых людей с небриты-

ми щеками,— они появлялись на перекрестках, у табачных лавок, глядя куда-то мимо свинцовыми глазами.

Картошин остановился перед витриной с шикарными дорожными вещами. Сейчас же его ущипнули через пальто ниже спины. Он обернулся. Плечистая и костлявая женщина лет сорока глядела на него желтыми глазами и вдруг принялась хмыкать, вытягивая губы трубкой, хихикать,— прельщала. Картошин попятился, людской поток увлек его.

У ювелирного магазина другая женщина, полная, под вуалью, в упор сказала ему: «Алло, я очень развратна». Картошин миновал и это обошление. Он зашел купить папирос.

Он долго выбирал,— «Маноли», «Мураги», «Бочари» — все это была одинаковая труха из липовых листьев,— купил десять папирос и сигару почернее, для работы. Затем вошел в пассаж — посмотреть на пенковые трубки. Давно уже было решено,— как только получит аванс, купить пенковую трубку.

Пассаж, постросный еще в восьмидесятых годах, когда-то был бойким местом развлечения берлинцев. Здесь находился знаменитый паноптикум, лавки «парижского шика» и модные кафе. Счастливое, полное надежд было время. Крыша блестела, яркие фонари освещали нарядных людей, построивших прочную жизнь на долгие века. Эти люди верили в добро, в любовь и в безгрешность золотой марки, когда в длинных сюртуках, с баками, с брелоками на цепочках, пробегали по пассажиру поглядеть на модную новинку.

Надежды обманули. Мир оказался изменчивым и непрочным. Плодились злые поколения. Беспечность и радость жизни отошли в туман прошлого вместе с сюртуками, баками и брелоками. Пассаж обветшал, тускло горели фонари под грязной крышей. Пыль легла на окна и карнизы. Истлела материя на куклах в паноптикуме, моль источила их волосы. И только мрачный юноша, иностранец, да иззябшая девка приходили сюда погреться, не веря ни в бюст президента Карно, ни в каску Бисмарка, ни в дремлющих в банках спирта раздутоголовых младенцев.

Все же, когда Картошин вошел в пассаж, множество молчаливых людей брело мимо окон, где выставлена дрянь и дребедень. Пыльный свет был холоден, лица — серые, унылые. Шли, глядели на никому в этот час не нужный хлам, зевали...

Картошин прилип к окну с трубками. В это время его хлопнули по плечу, и хохотливый голос прокричал:

— Трубочки? Это — навоз. Я вам привезу трубочку из Голландии. Идет?

Это говорил в свете витрины Адольф Задер. От золотых зубов его шли лучи. Картошин крепко пожал ему руку и сейчас же пожал еще раз, — так ему показалась заманчивой эта встреча.

— Идемте, я хочу угостить вас хорошим вином, — сказал Адольф Задер и покрутил тростью.

Адские муки

«Ушел за папиросами. К обеду не явился. Полночь, его нет...»

Мура металась по комнате, не зажигая света. Ледяными пальцами сжимала то горло, то лицо. Прижималась лбом к ледяной печке и тогда видела.

...Гнусный свет газа... Картошин сидит, — красный, взволнованный... На коленях у него — женщина в черном модном корсете. Волосы взбиты, шея в жилах, нос — туфлей, в пудре... Оба хохочут, курят, целуются...

Мура стонала, металась, прижималась лбом к зеленым изразцам печки и слышала...

Картошин. Ты чудная, ты моя мечта, целуй меня, целуй...

Она *(хохочет)*. Ужасно приятный мужчина...

Он. А вот у меня дома так — драная кошка.

Она. Жена твоя? Ха-ха-ха. Почему она драная кошка?!

Он. Нервная, волосы висят. Никакого влечения. Не женщина, а понедельник...

Она. Какая она странная. Как я ее жалею... Хи-хи...

Он. Давай над ней смеяться. Хо-хо-хо, она думает, я за папиросами пошел. Ха-ха-ха...

(Целуются, смеются, она гордится красотой, бельем, он — красный, счастливый — обещает ей книгу с надписью.)

Она. Твоя жена бумазейное белье носит, конечно?

Он. Бумазейное. Ху-ху-ху.

Она. Чулки сваливаются?

Он. Английскими булавками прикалывает. Хм-хм-хм.

Она. Из корсета кости торчат? Рубашка желтая?

Он. У, ты, моя радость, счастье!

Она. А ты жену брось, брось, брось...

Мура кидалась на кровать, ничком. Кусала подушку. Кабы дома быть, в России,— в прислуги бы пошла. А здесь — некуда, никому не нужна, все — чужие, каменные. Мечись по комнатешке. Весь твой мир — кровать, печка, диван, стол... За окном — ночь, дождь, немцы.

Мура соскочила с кровати, вплотную придвинулась к зеркалу, всасывалась в свое отражение и не видела ничего, как слепая.

Вторая автобиография

В это время Картошин и Адольф Задер сидели у «Траубе», ели шницель по-гамбургски и пили мозельское вино. Адольф Задер говорил:

— Уж если я поведу, — будьте спокойны: напою и накормлю. Я кутил во всех городах Европы.

— Я сразу понял, Адольф Адольфович, когда увидел вас за обедом, — вот, думаю, человек, который умеет жить...

— Живем, хлеб жуем, как говорится. Вы слышали, что я рассказывал этим двум дурам? Оставьте. Я взглянул на роскошные плечи Сони Зайцевой, и мне точно кто-то сразу продиктовал мою биографию. Эти плечи нужно целовать! Чего она ждет, о чем думает ее мамаша? Чокнемся. Я не художник. Я родился в Новороссийске, в семье известного хлеботорговца — вы, наверно, слышали: знаменитый Чуркин. Я его приемный сын. Это была такая любовь ко мне со стороны хлеботорговца, что вы никогда не поверите. Он говорил постоянно: «Адольф, Адольф, вот мои амбары, вот мой текущий счет, бери все, только учись». Широкая, русская душа. Но я презирал деньги, я был и я умру идеалистом. Чокнемся. В гимназии я — первый ученик, я — танцор, я — ухажер. Вы могли бы написать роман из моего детства. Незабываемо! У меня был лучший друг, князь Абамелек, не Лазарев, а другой, его отец — осетинский магнат. Половина Кавказа — это все его. Эльбрус — тоже его. Дворец-рококо в диких горах. Я там гостил каждое лето. Бывало, скачу вихрем на коне. Черкеска, газыри, кинжал, — удалая голова. Находили, что я красив, как бог. Старый князь меня на руках носил. «Адольф, Адольф, ты должен служить в конвое его величества». Поди спорь со стариком. Так и зачислили меня в конвой. А там — Петербург, салоны, приемы... Николай Второй постоянно говорил среди придворных: «У ме-

ня в Петербурге две кутилки — Грицко Витгенштейн и Адольф». Наконец я опомнился (после дуэли на Крестовском из-за одной аристократки). Зачем я гублю лучшие силы? Двор мне опротивел, — дегенераты. Чуркин — ни слова упрека, но постоянно пишет: «Адольф, займись полезным делом». Тогда я кинулся в издательскую деятельность. Я основываю издательства, журналы, газеты, Маркс, Терещенко, Гаккебуш со своей «Биржевской»... Наконец между нами — Суворин... Я организую, я даю деньги, я всюду, но я — инкогнито... Бывало, Куприн кричит в телефонную трубку: «Адольф, выручай: не выпускают из кабака». Пошлешь ему двадцать пять рублей. Великий князь Константин Константинович... Но об этом я буду писать в своих мемуарах... Я все потерял в революцию, но у меня колоссальные деньги были переведены в английский банк... Сейчас я приехал в Берлин — осмотреться. Хочу навести порядок среди здешних издательств... Что вы на это скажете?

У Картошина вспотели даже глаза. Он отставил стакан с вином и, царапая скатерть, стал развивать план небольшого, но красивого издательства, с ярко-антисоветским направлением. Адольф Задер, не слушая, барабанил ногтями...

— Бросьте, — сказал он, — это мелочь. Мы будем издавать учебники. Не вытягивайте физиономии. Я поставлю дело на миллионный оборот. А вы извольте организовать мне художественный отдел. Издавайте хоть черта, дьявола, но чтобы это было нарядно, денег не пожалею...

— Я бы мог начать писать роман, захватывающая тема...

— Я вижу — вы хотите аванс. Вы не знаете Адольфа Задера. Обер, чернила и бумагу. Пишите, — вы продаете мне роман... Условия... — поставьте цифру сами, я погляжу после того, как подпишу... Обер, еще вина... Можете этим мозельвейном вымыть себе ноги. Дайте нам шампанского. Картошин, скажите прямо — сколько вам нужно на ближайшие два дня? Возьмите двести долларов. Проглотите вашу расписку. Ну, идем, я хочу спать.

Адольф Задер, отдуваясь, повалился в автомобиль. Картошин, растерянно и блаженно улыбаясь, сел рядом с этим чудо-человеком. Всю дорогу он говорил об организации дела, но Адольф Задер не слушал. Он сразу заснул на ветру, шляпа сползла ему на нос.

Кипучая деятельность

Адольф Задер проснулся от треска будильника в без четверти девять. С закрытыми глазами вылез из постели, вставил золотые зубы, натянул шелковые носки и лакированные штиблеты, сопя пошел к умывальнику и вылил на голый череп графин воды.

Затем со спущенными подтяжками сел пить кофе, но, отхлебнув глоток, погрузился в чтение каких-то цифр на бумажке. Пошел к двери и крикнул: «Эмилия, мои газеты!» Взял протянутую в щель пачку газет, вернулся к кофе, отхлебнул еще и развернул биржевые бюллетени. Повторяя: «А! а! а!» — сильно ладонью потер череп, пошел к зеркалу, и в это время ему удалось пристегнуть одну из половинок подтяжек. Шепча ругательства, надел воротник и галстук, — синий с золотыми диагоналями. Вернулся к газетам... И так далее, до половины десятого, Адольф Задер непрерывно боролся с закоренелой неврастенией.

К десяти ему удалось привести себя в волевое состояние. Он надел широкое пальто, закурил сигару и спустился на улицу, где крикнул автомобиль.

Шофер повез его на биржу и ждал его там два часа, затем ждал около банкирской конторы, около парикмахерской, затем повез его за Александерплац и ждал около прокопченного кирпичного здания, от первого до пятого этажа занятого типографиями и складами бумаги; затем Адольф Задер приказал повернуть к Моабиту и ехать не шибко, причем опустил окно автомобиля и все время оглядывал проезжие унылые улицы, точно что-то выискивал. Затем крикнул адрес пансиона. Но на пути вдруг застучал в стекло, выскочил из автомобиля, взял под руку какого-то прохожего с морщинистым, прокисшим лицом, зашел с ним в кафе. Шофер видел через окно, как прокисший человек развернул крошечный узелок и Адольф Задер рассматривал, щурясь от дыма сигары, камни и перстни, надел два кольца на палец, бросил пачку денег и вышел, посвистывая.

В пансионе Адольф Задер появился в час, когда ударил гонг к обеду. За столом все уже знали, что Адольф Задер швырнул огромный куш на издательство и вообще, видимо, швыряет деньги.

Фрау Штуле положила перед его прибором вместо бумажной камчатную салфетку с серебряным кольчиком

покойного коммерции советника. Фрейлейн Хильда вышла к обеду в цыплячье-желтом джемпере. Полковник Убейко, мрачный человек, похожий на льва с коробки спичек, не сводил во все время обеда с Адольфа Задера выпуклых фронтовых глаз, — взял его на прицел, с силой разглаживал на две стороны черную бороду. Картошины счастливо и растерянно улыбались, ели бессознательно. Вчерашнюю замученность Мура постаралась скрыть под пудрой, которая сыпалась ей на платье. Соня Зайцева по минутно вставала из-за стола к телефону, — ее теряющие свои бретельки плечи и роскошные бедра двигались гораздо больше, чем нужно для перехода через комнату.

После обеда Анна Осиповна подошла к Адольфу Задеру и предложила выпить у себя чашечку кофе. Картошин сказал Муре сквозь зубы: «Иди к себе», взял газету и сел в прихожей в плетеное кресло, откуда была видна дверь Зайцевых. Три четверти часа он слушал за дверью громкий голос Адольфа Задера и платком вытирал себе ладони. Время от времени в другом конце прихожей неслышно появлялась черная раздвоенная борода полковника, выпученные глаза его медленно мигали и исчезали вместе с бородой. Когда раздавался серсбристый хохоток Сони, Картошин быстро опускал локти на колени и — голову в руки, а густой голос за дверью говорил, говорил, вытаскивая, как песок, у Картошина всю душу.

Наконец зазвенели ложки, задвигались стулья. Адольф Задер вышел и не удивился, что к нему мгновенно придвинулись Картошин и Убейко.

— Помещение для редакции найдено? Что же вы все утро дремлете? — сказал он, таща с вешалки пальто... У Картошина мелко зазвенело в голове. — Обегайте весь город, две комнаты под контору, третья под склад, завтра я хочу иметь редакцию.

Он пошел к двери. Убейко осторожно преградил дорогу:

— Беру на себя смелость спросить: могли бы вы уделить мне четверть часа беседы? Весьма важно.

— Шесть часов, кафе «Кёнигин».

Адольф Задер вышел на улицу и купил сигар. На углу к нему подошел сутулый старик в золотых очках и, не здороваясь, сказал:

— Я готов, если вы настаиваете.

Адольф Задер щелкнул языком и, покачиваясь, поглядывая, двинулся по правой стороне тротуара. Он видел,

как на верху автобуса проехал в незастегнутом пальто и криво надетой шляпе Картошин. Он прищуривался на чудовищные, с иголки, автомобили, — целые потоки этих новеньких машин летели по зеркальному асфальту. Он бросил мелочь слепому, с изорванным ртом солдату, который шел через улицу, держась за ременную лямку большой собаки с эмалевым красным крестом, — она подвела слепого к углу и лаяла на проходящих, протягивала им лапу, просила милостыню. Таких собак правительство дарило патриотам, ослепшим на войне.

Адольф Задер остановился около русского книжного магазина и презрительно произнес: «Пф, мы им покажем». Непроизвольно сами ноги поднесли его к другой блестящей витрине, куда глядела шикарная женщина: мягкое платье, черный длинный обезьяний мех на шее и подоле, под мышкой — ручка зонтика из слоновой кости толщиной в полена, маленькая шляпа парижской соломки — на семьдесят пять долларов без обману, и — роскошь форм, любовно колышущихся под чудным платьем.

Мутно взглянул было Адольф Задер на эту носительницу прелестей, но попятился и сейчас же перешел улицу; он не был охотник до сорокапятилетних женщин, да еще жен знакомых дельцов.

На углу к нему подошел молодой человек, одетый, как картинка, и, не здороваясь, пошел рядом:

— Я согласен, если вам нужно.

— Завтра на этом углу, — коротко ответил Адольф Задер и вошел в универсальный магазин. Выбрал две шелковые пижамы, дюжину рубашек и еще некоторую мелочь и прошел в салон-парикмахерскую. Здесь он уселся в квадратное кожаное кресло и положил большие свои руки на подушку барышне-блондинке с потасканным личиком. Барышня проворно принялась за маникюр. Беседа с ней была содержательнее знакомства с вечерней газетой. Адольф Задер вынул из жилетного кармана серебряную коробочку и угостил барышню карамелькой. Затем не спеша он пошел в «Кёнигин» — небольшое модное кафе, все в зеркалах рококо, шелковых диванчиках. Там оживление было на исходе, но еще пар десять танцевали на огненно-красном ковре в слоях сигарного дыма. Адольф Задер сел подальше от музыки, спросил кофе. Почти сейчас же подошел Убейко.

— Садитесь. Я вас слушаю,— сказал Адольф Задер, придвинув золоченый стульчик, протянул ноги, засунул пальцы в жилетные карманчики и, закусив сигару, прищурился на двух купидонов на потолке...

Что можно рассказать в пятнадцать минут

— Положение крайне тяжелое,— отчетливо сказал Убейко, сложил короткие пальцы на потертом жилете, уперся выпученными глазами в стол и сидел прямо. Львиное лицо его было красное, измятый воротничок врезался в шею, заросшую жестким волосом.— Ответственность перед членами семьи удерживает от короткого шага. Смерти не боюсь. Был в шестнадцати боях, не считая мелочей. Смерть видел в лицо. Расстрелян, закопан и бежал.

— Мой принцип,— сказал Адольф Задер,— никогда не оказывать единовременной помощи.

— Не прошу. Не в видах гордости, но знаю, с кем имею дело. Хочу работать. Разрешите вкратце выяснить обстановку. В тридцати километрах от Берлина у меня семья,— супруга и четыре дочки, младшей шесть месяцев, старшая слабосильна, в чахотке, две следующие хороши собой, в настоящих условиях только счастливой случайностью могут избежать института проституции. Не строю розовых надежд. Семья питается продуктами своих рук, как-то — картофелем и овощами. Духовной пищи никакой,— девчонки малограмотны.

Адольф Задер потянулся в карман за спичками, полковник молниеносно выхватил бензиновую зажигалку и подал прикурить. И снова сел прямо.

— Все мои сверстники, однопольчане — в генеральских чинах. В Берлинах, Прагах, Парижах присосались к горячему довольствию. На мою судьбу выпало — строй, строй и строй. В гражданской войне только слышал о тыловой жизни,— видеть, повеселиться не пришлось: бои, поход, эвакуация; сапоги снимать на ночь научился только за границей. Обманут кругом. В Константинополе варил халву, состоял букмекером при тараканьих бегах. В Болгарии варил халву. В Берлине варил тянучки. В настоящее время занимаюсь комиссионной деятельностью, преимущественно по подысканию квартир. По ночам пою в цыганском хоре в «Забубенной головушке». Вчера смотрю — в зале

сидит генерал Белов; в училище я его цукал, заставлял приседать. Пьет с дамами шампанское. Заказал хор. Я с гитарой принужден ему петь: «Любим, любим, никогда мы не забудем». Обидно.

— Ваши политические убеждения? — спросил Адольф Задер.

— В настоящее время исключительно только борьба за существование. Иной раз действительно примешься думать, — и сразу собьешься. Кругом неправда. Злая судьба.

— Работать не отказываетесь?

— При условии ночного отдыха в три с половиной часа и час на еду, остальное в вашем распоряжении.

На потолке в это время погасили лампочки. Отравленные табачным дымом купидоны ушли в тень. Музыканты укладывали в футляры свои инструменты. Адольф Задер поднялся.

— Вы меня растрогали. Пойдемте и поговорим за бутылкой доброго вина.

Третья автобиография

— Вы знаете — приятно делать добро, — сказал Адольф Задер, сидя напротив Убейко в уютном, отделанном резным дубом, уголку в старом, готическом ресторанчике. Кончали третью бутылку вина.

— Несомненно, Адольф Адольфович, приятное чувство.

— Когда я могу помочь человеку, у меня слезы навертываются на глазах. На что мне деньги? — как сказал поэт. Ну, хорошо — заработай я в десять раз больше Моргана — оттяну я мою смерть на четверть минуты? Скажите, полковник?

— Никак нет, не оттянете.

— То-то. Четыре раза я был богат. Все раскидал. Я философ. Я люблю человечество. Хотя люди — сволочь. Но надо снисходить к слабостям. Разве они виноваты, что они — сволочь? Полковник, — скажите, — виноваты?

— Никак нет, Адольф Адольфович, не виноваты.

— Вы умный человек. Вы меня понимаете. Сколько раз бывало: придет дамочка, плачет и все врет. Ну, хорошо, — я ее выгоню, а что из этого? Лучше я ей дам денег, — и мне приятно, и ей приятно... Надо вам сказать, что я незаконный сын одного лица. Взгляните на меня внимательно, — вы ничего не догадываетесь? Ну, тогда не

будем об этом. Если кто-нибудь скажет, что я получил высшее образование, — плюньте на этого человека. С двенадцати лет я — на своих ногах. В России мне стало скучно. Я поехал в Америку. Вы сами можете представить, с чего я начал, — не стыжусь. Я мазал себе лицо патентованной ваксой и на улице мылся щеткой и мылом. Собиралась толпа, я не плохо торговал. Тут был, конечно, маленький обман, хотя вакса как вакса, ничего особенного. Но у меня по лицу пошли прыщи. Ой! Я подумал и сделался журналистом. Я писал громовые статьи. Вот где паршивая сволочь — это газеты! Я узнал людей. Тянул лямку два года, плюнул, поехал в Техас. Я мог бы стать недурным ковбоем, но меня расшибла лошадь, выбила все зубы. Это остатки варварства — человеку ездить на животных, мы не кентавры. В это время началась русско-японская война. Один человек предложил мне заняться поставками. Мы начали с грошей, а через год у меня лежало в банке полтора миллиона долларов.

— Полтора миллиона, — задумчиво повторил Убейко.

— Во второй раз я занялся поставками во время болгаро-турецкой войны. Я скупал кукурузу. Продолжись эта война еще полгода — я бы стал самым богатым человеком в Европе. Кроме того, умному человеку не советую ездить в Монте-Карло. Затем — война на Балканах, — я опять поправил дела. Вам может показаться странным, что в четырнадцатом году я уже играл в Харбине в драматической труппе. Да, разнообразные шалости устраивает с нами онкольный счет. Я изображал характерных стариков, — находили, что талант. Но началась война. Я взял поставку прессованного сена. В шестнадцатом году я организовал в Москве бюро всероссийской антрепризы с капиталом в два миллиона рублей золотом. Я давал авансы направо и налево. Бывало, Шаляпин звонит: «Адольф, что ты там?..» Я собирался купить все газеты в европейской и азиатской России. Это — власть. Я бы сумел провалить любую антрепризу. Я законтрактовал сто двадцать театров в провинции. Мои труппы, концертанты и лекторы должны были разъезжать от Минска до Владивостока. Всем известно, чем это кончилось. После Октябрьского переворота меня искали с броневиками и пулеметами, меня хотели схватить и расстрелять, как пареного цыпленка. Я спрятался в дровяном подвале, я жил на чердаке, я спал в царской ложе в Мариинском театре. Я не растерялся,

мои агенты не дремали, — за две недели я совершил купчие крепости на двадцать четыре дома в Москве и на тридцать девять домов в Петербурге. Я купил пакет банка Вавельберга. После этого я перешел финляндскую границу. Я хохотал.

— Удивительная энергия, — пробормотал Убейко.

— Европейская война испортила мне печенку, — сказал Адольф Задер, закуривая новую сигару, — я заскучал... Не надо мне ни денег, ни товаров, ни людей. Деньги — бумага, товары — дрянь, а люди, а женщины — мышеедина, как говорится. В Берлине, бывало, идет немец, — семь футов ростом, румяный, штаны белые, того и гляди тебя на дуэль вызовет — такой гордый. К такому человеку попасть в дом — сто пудов земли вырастешь лапами, раньше чем придешь к нему в гости. А сейчас какой-нибудь граф, мелкий, лицо нездоровое, в глазах — сок, слеза, и он сам норовит с тобой познакомиться, прибежит к тебе в пансион. Скучно. Вот я и надумал устроить здесь несколько предприятий, — пускай вокруг них кормятся люди. Издательское дело. Типографское дело. Хочу купить газету, побороться с большевиками. На днях организую учетный банк. Что бы такое для вас придумать?

— Не за страх, а за совесть, Адольф Адольфович, готов работать.

— У меня есть идея. Вам известно, что средний обыватель в Берлине держит мелкую валюту, — один, два, пять долларов. Настанет черный день, они продают свои доллары безвозвратно. Я хочу пойти навстречу мелкому обывателю, рабочему, бедному чиновнику: зачем вам продавать валюту, когда я даю за нее небольшую ссуду. Вы всегда можете выкупить вашу пару долларов. Понятно? Я открою ряд маленьких ссудных контор. Мы не будем вешать вывески, — зачем нам эта официальность? Но нужно заслужить доверие населения. Мы будем им отцами родными. Я вас посажу в лавчонке, вы познакомитесь с кварталом, вы будете ходить на рынок, говорить, внушать... К вам понесут доллары. Вы поняли или не поняли?..

— Но если недоразумения с полицией?

— Вы будете торговать ваксой, спичками, гвоздями, — вы продаете дрянь. Разве я виноват, что само правительство обирает население, как липку. Мы будем бороться с государственным ажиотажем. Помяните мои слова: Шейдеман вгонит немцев в гроб. Ну, идем, я должен ехать выручить одну аристократку из тяжелого положения.

С птичьего полета

В какие-нибудь две недели пансион фрау Штуле нельзя было узнать. Куда девались сон и уныние за столом, бутылочки желудочной воды, патентованные пилюли, подвязанные зубы, мучные супчики, кремы брюле, дождливые окна в столовой, низкие серые облака над улицей, где под деревьями присаживаются знаменитые берлинские собаки да по асфальту катаются на колесиках золотушные мальчики, бледные от голода.

Оживление и бодрый тон витали над столом фрау Штуле. Шумные разговоры, хохот, звон стаканов. Пили в изобилии пиво и ликер «Кюрасао Канторовиц». Золотые зубы Адольфа Задера, как прожектором, освещали повеселевшие лица.

Полковник Убейко завел новый галстук и ел и пил за троих, катая глаза в сторону Адольфа Задера; дела в Моабите шли неплохо. Картошин постукивал о пивной бокал золотым перстнем с печаткой, снисходительно рассказывал о процессе творчества. Мура стала носить в волосах огромный испанский гребень. Семенов-второй рассказывал курьезы из жизни актеров в провинции. У него уже был разговор с Адольфом Задером по поводу расширения дела с «Забубенной головушкой». Соня Зайцева сидела теперь рядом с Адольфом Задером. Она душилась парижскими духами «Безумная девственница» и вся была пропитана грозovým беспокойством этих духов. Фрейлейн Хильда похудела, как москит, стала прозрачной.

Часто приходили с улицы бойкие шикарно одетые знакомцы Адольфа Задера. Всем чудились между слов грандиозные планы этого человека. Фрау Штуле подняла цены на пансион, и это было принято без ропота.

Адольф Задер слегка располнел за это время. От него никто не уходил с отказом. Дел было по горло. Но он с непостижимой легкостью справлялся с ними. Он гонял из одного конца города в другой на собственном теперь автомобиле, входил в редакцию, в конторы, в банк, шумно разговаривал, приказывал, подписывал. Лучи от его зубов, казалось, намагничивали жизнерадостностью всех его сотрудников. Дела были в периоде организации и разбега.

Убейко начал уже ежевечерне приносить выручку, — вещественную пачку долларов, перехваченную резинкой. Но его работа облечена была тайной.

После трудового дня Адольф Задер водил сотрудников освежаться в кафе. Шли пешком. После дождя пахло бензином, листьями и грозой. На сырые тротуары лился свет из ярких окон. Восковые женщины в черных корсетах, в кружевном белье глуповато улыбались за стеклами, навеяв жуткие мечты. Длинной тенью с пылающим глазом проносился автомобиль, вереницы автомобилей. Выше — сыро шумели липы бульвара. Еще выше — в разорванные облачка, в летящий никому не нужный месяц падали две готические башни церкви. Из зарослей плюща, из красного света ресторанов вырывались оборванные, как клочки шелковой юбочки, синкопы фокстрота и шимми, проеденные тайными болезнями. Это была сторона, куда не забредали немцы.

Хотя немцы попадались. У выхода из театра сидел на тротуаре человек, — бритый череп в белых шрамах, глаза вытекли, на военной куртке — крест. Подняв лицо, он был глухим, диким голосом песню, — протягивал к проходящим алюминиевые руки.

Ночные безумства

— А, Картошин, ну как?

— То есть что — как?

— Говорят — вы стали гордый. Скоро журнал?

— Выходит через две недели.

— Пальто это новое сшили? Ишь, хорошую палочку завел. Настоящая слоновая кость?

— Кажется.

— Так через две недели? Напишем. А издательство?

— В печати два сборника моих рассказов. Собираю материал для альманаха. Талантливого мало.

— Вот повезло человеку. Ну, пока.

Картошин несуетливо раскланялся со знакомцем и пошел далее, постукивая тросточкой. На нем было новое пальто в обтяжку, новая шляпа, внутри которой находилась особая машинка, защемлявшая верхнюю складку. На носу — круглые роговые очки (немцы надевали такие очки лишь по воскресным дням). Он шел в учетный банк к Адольфу Задеру, — на завтра предстояли платежи.

— Картошин, здравствуйте. Я к вам заходил.

— Я принимаю в редакции от трех до пяти.

— Загляну. Я только что написал повесть, замечательно любопытную. Сочно, густо... В центре — любовь. Пе-

тербург, вывески с буквами ять. Треуголки лицеистов. Гранит. Она любит мужа. Революция, чрезвычайки, расстрелы. Муж пропадает без вести. Она бежит с другим, сходится. Берлин. Радость от белого хлеба,— вспоминайте. Кружка холодного пива! Вдруг муж появляется. Психологический клубок. Два листа. Мне уже предлагали в нескольких местах по восьми долларов за лист.

— Хорошо, принесите, я прочту.

Переходя улицу, Картошин увидел несущийся пыльный зеленый автомобиль. Он круто свернул к дверям учетного банка. С сиденья стремительно поднялся Адольф Задер, сбросил пыльник и вбежал в банк.

Картошина словно укололо в сердце. Но он сейчас же отогнал неясную тревогу и вошел. Комната с низким потолком была полна клиентов банка. Они жестикулировали, ссорились. Адольф Задер стоял у кассы, как тигр, осерев зубы.

Картошин долго протискивался к нему и фамильярно взял за рукав. Он обернулся, но не увидел Картошина. Когда же тот сказал: «Я за деньгами, Адольф Адольфович, завтра платить,— мы уже условились»,— Адольф Задер проговорил быстро: «К черту, к черту!» Картошин обиделся и ушел.

Он прождал весь день, сначала в редакции, затем — дома,— Адольф Задер к обеду не появился. У Картошина начало пусто звенеть в голове. Он лег на кровать. Мура сидела с расширенными глазами на диванчике, затем разрыдалась. Картошин вскочил, принялся швырять на пол книжки и кричал, что его «сводят с ума бабьей истерикой», что он «не может писать крупных вещей, когда у него под ухом — бабья истерика». Он схватил было знаменитую трость, чтобы сломать, но Мура отняла.

Раздался стук. В комнату вошел Адольф Задер. Он был красен, потрепан, но весел.

— Чепуха,— сказал он, сдвигая шляпу на затылок,— ничего не случилось. В чем дело? Дураки устроили небольшую панику. Какие-то люди ходят по городу и уверяют, что надо покупать марки. Идиоты. Испугались доллара... В общем, сегодня я не заработал, но и не потерял ни пфеннига. Едем кутить, я хочу жрать.

В ресторан поехали, кроме Задера, супруги Картошины, Убейко и Семенов-второй. У всех камень свалился с души,— Адольф Задер был цел, весел и полон бурных

планов. Пили водку и французское вино. Чувствовалось, что этот вечер кончить просто нельзя.

В ресторане просидели до закрытия, затем взяли автомобиль и поехали на угол Иоахимсталерштрассе и Курфюрстендамм. Картошин, сидевший с шофером, пома- нил пальцем стоящего под липой человека в котелке. Тот подбежал и шепотом вступил в разговор.

— Только неделю тому назад открыт, останетесь до- вольны.

— Девочки будут?

— Первые красавицы. Абсолютно голые. Роскошный оркестр. Посетители исключительно американцы и рус- ские.

— Едем.

Незнакомец встал на подножку. Автомобиль свернул в боковую улицу, в другую и остановился на углу. Все вы- шли. На пустынном тротуаре (немцы все уже спали, наев- шись картошки) появился второй незнакомец в котелке. Первый указал на него:

— Не шумите. Спокойно. Он вас доведет.

Подшли к воротам, над которыми была надпись: «Воскресная школа». Второй незнакомец прошептал: «Тсс!» — и открыл под воротами дверку в темное помеще- ние, где Семенов-второй споткнулся о пустые бутылки. Здесь разделись, светя карманным фонариком. Затем под- нялись в длинную, оклеенную грязно-зелеными обоями комнату. У стен стояли столы и детские парты, под по- толком — лампочки, обернутые розовой бумагой. На сте- не — карта обоих полушарий. У изразцовой печки сидел старичок гитарист, перед ним сизый скрипач в смокин- ге — человек с провалившимися щеками, — они играли по- лечку так тихо, как во сне.

Когда компания Задера разместилась за столом, укра- шенным бумажным цветком и двумя пепельницами с надписью: «Пиво. Берлинер Киндл», — с одной из дет- ских парт поднялись две женщины и, не производя шума, принялись танцевать, ходить под едва слышные синкопы фокстрота. Их черные кисейные шляпы покачивались. Ги- тарист сонно трогал басы, скрипач поворачивал за танцу- ющими мертвенно-бледное лицо.

Подскочивший к Адольфу Задеру хозяин сказал с польским акцентом:

— У нас художественная постановка дела, посмотрите

до конца, сейчас начнется съезд, я выпущу лучших девушек Берлина...

Действительно, внизу слышались голоса, и в воскресной школе появилась новая компания — знакомцы Адольфа Задера. Сдвинули столы. Спросили шампанского. Появились новые девушки, без шляп, сели ближе к гостям. Хозяин говорил:

— Вы не думайте, что это какие-нибудь проститутки, это девицы из лучших домов

— А голые, — скоро голые? — крикнул Картошин.

— Тсс, пожалуйста, говорите немножко тише... Голые женщины с половины третьего...

Появилась третья компания — тоже знакомцы, — они привели знаменитую московскую цыганку, от песен которой плакал еще Лев Толстой. Адольф Задер, багровый, в каплях пота, поднялся навстречу:

— Вошло солнце красное!

Он целовал у цыганки жесткие руки в кольцах, спросил про Льва Толстого и начал было рассказывать четвертую автобиографию, но вскочил, плеснул ладошами:

— Давайте петь. Чем мы не цыгане! Гей, Кавказ ты наш родимый!..

Цыганка сделала сонные глаза и запела про Кавказ. Адольф Задер, а за ним все гости подхватили припев, плеща в ладоши... Хозяин обмер от страха. Но ему крикнули: «Дюжину Матеус Мюллер!» А цыганка пела: «К нам приехал наш родимый, Адольф Адольфович дорогой». Начали славить. Картошин поставил бокал на ладонь и подал его Задеру. «Пей до дна, пей до дна», — ревели гости. Барышни из лучших домов липли к столу, как мухи.

— Чем не Яр! — закричал Адольф Задер. — А знаете, у меня у Яра был собственный кабинет. Отдельывали лучшие художники. Ха-ха! Бывало — генерал-губернатор, командующий войсками, вся знать у меня. Два хора цыган... Всем подарки — золотые портсигары, брошки с каратами, кому деньги... Эх, матушка Москва!..

Он покачнулся, выпучил глаза и пошел в уборную. Шел грузно по каким-то пустым комнатам. Пахло мышами. Надо было пройти еще небольшой темный коридорчик. Адольф Задер вдруг остановился и закрутил головой. Непроизвольно, как бывает только во сне, заскрипел зубами. Но все же вошел в коридорчик. У двери в уборную

явственно невидимый голос проговорил: «Продавай доллары». Адольф Задер сейчас же прислонился в угол. Ледяной пот выступил под рубашкой. Стены мягко наклонялись. Он напрасно скользил по ним ногтями. Невыносимая тоска подкатывала к сердцу. Ужасна была опускающаяся на глаза пыль.

Когда Адольф Задер вернулся в залу, томный и мутный, — около стола танцевала голая женщина, делала разные движения руками и ногами.

У нее было мелкое личико в веснушках, локти и колени — синие. Музыка еле-еле слышно наигрывала вальс «На волнах Рейна». Все глядели на девственный живот этой женщины. Она поднимала и опускала руки, переступала на голых цыпочках, но на животе не шевелился ни один мускул. Живот казался почему-то голодным, зазябшим, набитым непереваренным картофелем.

Адольф Задер сел спиною к ней, уронил щеки в ладони:

— Уберите от меня эту — с кишками!

Появилась вторая танцовщица, — полненькая, с перевязанными зеленой лентой соломенными волосами; она тоже была голая, две медные чашки прикрывали ее грудь, как у валькирии. Музыка заиграла «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» (из уважения к русским гостям). Голая женщина села на пол и принялась кувыркатся, показывая наиболее красивую часть тела. Так она докувыркалась до ног Адольфа Задера. Он повернулся и долго глядел, как внизу, на полу перекатывались — соломенная голова, медные чашки, толстые коленки и пышный зад. На лице Адольфа Задера вдруг изобразился ужас, — губы перекривились, запрыгали.

— Зачем? — закричал он. — Не хочу! Не надо!

Он стал пить из бутылки шампанское, покачнулся на стуле и потянул за собой скатерть. Мура закричала, мелко закудахтала, слезы хлынули у нее по морщинкам напудренных щек. (Тоже напилась.) Надо было кончать веселье.

Похмелье

Адольфа Задера втащили под руки в пансион фрау Штуле. К обеду никто из участников кутежа не вышел. Начали выползать только к трем часам — на угол, через улицу, в кафе Майер — пить содовую и шор-

ли-морли. Выяснилось, что утром приходило много народа — спрашивали Адольфа Задера, звонили из типографии, из банка. Но он даже не поинтересовался — кто звонил, о чем спрашивали. На него нашло странное оцепенение.

Так игрок, пойдя по банку, где сейчас — вся его жизнь, — вдруг положит заledenевшие пальцы на две карты... Судьба уже выкинута: вот они — синий и красный крап... Лица их повернуты к сукну. Но приподнять угол, — рука застыла, сердце стиснуто...

Адольф Задер пил шорли-морли за плюшевой стеной на террасе у Майера. Не хватало решимости купить вечернюю газету, заглянуть в биржевой бюллетень. Пришел Картошин; прихлебывая пиво, счел долгом понести чушь про издательство, журнал, альманахи. Он напомнил о платежах. «Завтра», — сквозь золотые зубы пропустил Адольф Задер. Он взял автомобиль и поехал за город в Зеленый лес.

В рот ему дул сильный ветер. Природа, видимо, существовала как-то сама по себе. Под соснами сидели немки в нижних юбках. Дети собирали сучочки и еловые шишки. Промчался поезд по высокой насыпи...

«Очнись, опасность, очнись, Адольф Задер... Но разве я знаю — что нужно: покупать или продавать?.. Я потерял след... Это началось. Это началось... Не помню, не знаю... Это началось около уборной, мне кто-то сказал... Нет, раньше, вчера... Когда я вбежал в банк, у дверей стояла женщина в смешной шляпке пирожком, худая, старая... Да, да, тогда я подумал: это одна из клиенток Убейко... У нее тряслась голова... Вот и все... Нет, не то, не она...»

— Шофер, какой сегодня день?

— Четверг.

— Как, завтра — пятница?.. Вы с ума сошли!

— Что поделаешь, господин Задер, пятница день действительно тяжелый, да зато другие шесть легкие...

Адольф Задер вернулся в пансион за полчаса до обеда. В прихожей дверь в комнату Зайцевых была отворена. У окна стояла Соня и глядела внимательно и странно. Адольф Задер вошел в комнату. Соня продолжала молча глядеть. Не здороваясь, он сел на диванчик.

— Что вы скажете, Соня, если бы я сделал вам предложение? (Она только мигнула медленно три раза.) Мне нужен друг. Ах, эти все мои друзья, — пошатнись я, — разбегутся как паршивые собаки. Я не жалуюсь. Я только смотрю правде в лицо. Соня, мне нужен друг.

Он говорил очень серьезно и тихо, но Соне почему-то стало смешно, она быстро повернулась к окну. Он не понял ее движения.

— Я отношусь к вам и к вашей мамаше с глубоким уважением, не считайте меня за нахала. Сейчас я пройду к себе. Когда вернется ваша мамаша, я сделаю вам формальное предложение.

За ужином Зайцевых не было. Адольф Задер после второго блюда пошел к ним. У Сони было заплаканное, припудренное лицо. У Анны Осиповны из-под пенсне текли жидкие слезы. Адольф Задер поклонился и вполголоса, как говорят у постели больного, сделал предложение. Соня подошла и холодными губами поцеловала его в череп.

Черная пятница

На следующий день, в полдень, Картошин, сидевший у себя за столом в редакции, взял телефонную трубку. Послышался голос Убейко, торопливый, срывающийся:

— Где Задер? У вас?

— Нет. А что?

— Разве ничего не знаете?

— Нет. А что?

— На бирже паника. Доллар летит вниз. Кошмар. На улицах кричат, что это — Черная Пятница.

— Какая пятница?.. Не понимаю...

— Сегодня пятница, тринадцатое. Бегу его искать, приезжайте на биржу.

Этот голос из черной гуттаперчевой трубки был так страшен, что Картошин на несколько минут ослеп. Он ушел из редакции без трости и черенаховых очков. За квартал до биржи был слышен шум голосов, напоминавший дни революции.

На верху широкой лестницы кричали несколько сотен человек, лезли к черным доскам. Проворные руки стирали губками меловые цифры, и мгновенно на черном воз-

никали новые цифры. Из дверей выходили люди с остановившимся взором. Один, тучный, в визитке, сел на ступенях и закрыл лицо. Другой, засунув руки в карманы, глядел перед собой с глупой, застывшей улыбкой.

Наконец из главных дверей биржи медленно вышел Адольф Задер. Голова его была опущена, в руке — обломок трости. Он спустился к своему автомобилю, потрогал крыло, потряс кузов.

— Скажите-ка, шофер, это хорошая машина?

Шофер усмехнулся, вскочил с сиденья, завел мотор, сел, бросил окурок:

— Машина новая, хорошая, сами знаете.

— Новая, хорошая, — закричал тонким голосом Адольф Задер, — так берите ее себе... Я вам ее дарю... Поняли вы, дурень...

Прежде чем шофер опомнился, прежде чем Картошин успел подбежать, — Адольф Задер вскочил в проходивший с адским визгом по завороту двойной трамвай. Люди, автобусы, автомобили заслонили дорогу, и Картошин еще раз только увидел его в окне трамвая: он, гримасничая, нахлобучил шляпу.

А доллар продолжал лететь вниз. Бешеные руки стирали и писали меловые цифры. На скамьях перед досками ревели и толкались, — стаскивали стоящих за ноги. Рысью подъехала карета скорой помощи. Из дверей четверо вынесли пятого с мотающейся головой. Зеленые полицейские проходили попарно по площади, удовлетворенно улыбаясь.

За завтраком у фрау Штуле к столу явились только японец да студенты-португальцы. Все уже знали о биржевой грозе, разразившейся над Берлином. Даже в прихожей пахло валериановыми каплями. В комнате Зайцевых было, как в могиле. У телефонной будки шепотом совещались, курили, курили Картошин и Убейко. Несколько раз в прихожей появлялась Мура, умоляюще глядела на мужа, точно хотела сказать: «Пока я тебя люблю — ничего не бойся». Но он гневно отворачивался.

В пятом часу позвонили в парадной. Вошел Адольф Задер, весь обсыпанный сигарным пеплом. Картошин и Убейко рванулись к нему. Он ответил спокойно:

— Сейчас я ложусь спать. Это самое лучшее.

Слышали, как он затворил дверь на ключ и опустил шторы.

Убейко побледнел, покрылся землей:

— Если он пошел спать, — значит скверно. Он крупно играл. На онкольном счету были не его деньги.

Спустя некоторое время вдруг яростно протопали каблуки, щелкнул ключ, и голос Задера спросил с ужасной тревогой в пустоту коридора:

— Никто не звонил? Что?

Подождал. Дыхнул. Запер дверь. Каблуки заходили, заходили. Стали. Убейко мгновенно вытянул шею, прислушиваясь. В комнате Задера полетели на пол башмаки. Заскрипела кровать. Картошин, с отвисшей губой, с прилипшей к губе папироской, сказал:

— В Прагу надо уезжать. Зовут. Говорят, там возрождается литература.

Он несколько раз пересчитал деньги в бумажнике.

— Пойдемте пиво пить.

Не получив ответа, он ушел, едва волоча ноги, как от желтой лихорадки. Убейко остался один в прихожей. Глаза у него горели от сухости и табаку. В столовой часы пробили половину десятого. Сейчас же в комнате Задера грузно соскочили с постели, голыми пятками подошли к двери, задышающийся, шамкающий, не похожий на Задера голос спросил:

— Не звонили? Никто мне не звонил?

Убейко лег головой в руки на камышовый столик перед зеркалом. Ему показалось, будто в комнате Задера поспешно, шепотом спорят, бормочут. Он думал о четырех своих дочерях, не знающих грамоты, о жене. Чтобы подавить жалость — кусал большой палец. Когда часы окончили бить десять — в комнате Адольфа Задера раздался револьверный выстрел. Сейчас же у Зайцевых закричали пронзительно, упали на пол. Из всех дверей выскочили жильцы. Один Убейко остался спокоен и звонил уже в комендатуру.

Явилась полиция. Взломали дверь. Адольф Задер, в ночном белье, лежал ничком на кровати, мертвый. На ночном столике, под электрическим ночником, сверкали двойным рядом крепкие золотые челюсти, все тридцать два зуба, — все, что от него осталось.



СОЮЗ ПЯТИ¹

1

Трехмачтовая яхта «Фламинго», распустив снежно-белые марселя, косые гроты и трепетные треугольники кливеров, медленно прошла вдоль мола, повернулась, полоща парусами, приняла ветер и, скользя, полетела в голубые поля Тихого океана.

В журнале начальника порта отметили: «Яхта «Фламинго», владелец Игнатий Руф, восемнадцать человек команды, вышла в 16.30, в направлении юго-запад».

Несколько зевак равнодушно проводили стройные паруса «Фламинго», утонувшие за горизонтом. Да еще два сероглазых парня-грузчика, сопя трубками за столиком кофейни на набережной, сказали друг другу:

— Билль, если бы «Фламинго» пошла на увеселительную прогулку, то были бы дамы на борту.

— Я тоже так думаю, Джо.

— Билль, а ведь недаром целая шайка репортеров вертелась с утра около яхты.

— Я такого же мнения, — недаром.

— А знаешь, вокруг чего они больше всего вертелись?

— Ну-ка, скажи.

— Вокруг этих длинных ящиков, которые мы грузили на «Фламинго».

— Это было шампанское.

— Я начинаю убеждаться, что ты глуп, как пустой бочонок, Билль.

¹ Все астрономические и физические данные в этом рассказе, включая также прохождение кометы Биелы в 1933 году, вполне отвечают действительности. (Прим. А. Н. Толстого.)

— Не нужно, чтобы я обижался, Джо. Ну-ка, по-твоему, что же было в длинных ящиках?

— Если репортеры не могли разнюхать, что было в ящиках, значит, никто этого не знает. А кроме того, «Фламинго» взяла воды на три недели.

— Тогда, значит, Игнатий Руф что-то задумал. Не такой он человек, чтобы даром болтаться три недели в океане.

Так поговорив, оба парня отхлебнули пива и, опираясь голыми локтями о столик, продолжали насасывать пенковые трубки.

«Фламинго» под всеми парусами, слегка накренясь, летела наискосок сине-зеленым волнам. Матросы в широких холщовых штанах, в белых фуфайках и белых колпачках с кисточками лежали на полированной палубе, поблескивающей медью, поглядывали на поскрипывающие реи, на тугие, как струны, ванты, на прохладные волны, разлетающиеся под узким носом яхты на две плены.

Рулевой, крепколицый швед, сутуло стоял на штурвале. Огненно-рыжую бороду его, растущую из-под воротника, отдувало ветром вбок. Гнались несколько чаек за яхтой и отстали. Солнце клонилось в безоблачную, зеленоватую, золотую пыль заката. Ветер был свеж и ровен.

В кают-компании у прямоугольного стола сидело шесть человек молча, опустив глаза, сдвинув брови. Перед каждым стоял запотевший от ледяного шампанского широкий бокал. Все курили сигары. Синие дымки наверху, в стеклянном колпаке, подхватывало и уносило ветром. Зыбкие отблески солнца сквозь иллюминаторы играли на красном дереве. От качки мягко вдавались пружины сафьяновых кресел.

Следя за пузырьками, поднимающимися со дна бокалов, пять человек — все уже немолодые (кроме одного, инженера Корвина), все одетые в белую фланель, сосредоточенные, с сильными скулами и упрямыми затылками — слушали то, что вот уже более часа говорил им Игнатий Руф. Никто за это время не прикоснулся к вину.

Игнатий Руф говорил, глядя на свои огромные руки, лежавшие на столе, на их блестящие плоские ногти. Розовое лицо его с огромной нижней частью выразительно двигалось. Грудь была раскрыта, по морскому обычаю.

Короткие седые волосы двигались на черепе вместе с глубоко вдавленными большими ушами.

— ...В семь дней мы овладеем железными дорогами, водным транспортом, рудниками и приисками, заводами и фабриками Старого и Нового Света. Мы возьмем в руки оба рычага мира: нефть и химическую промышленность. Мы взорвем биржу и погребем под себя торговый капитал...

Так говорил Игнатий Руф, негромко, но с уверенностью выдавливая сквозь зубы короткие слова. Развивая план действия, он несколько раз возвращался к этой головокругоужительной картине будущего.

— ...Закон истории — это закон войны. Тот, кто не наступает, нанося смертельные удары, тот погибает. Тот, кто ждет, когда на него нападут, — погибает. Тот, кто не опережает противника в обширности военного замысла, — погибает. Я хочу вас убедить в том, что мой план разумен и неизбежен. Пять человек из сидящих здесь (исключая Корвина) богаты и мужественны. Но вот завтра эскадра германских воздушных крейсеров бросит на Париж тысячу ипритовых бомб, и через сутки весь земной шар окутается смертоносными облаками. Тогда я не поставлю ни одного цента за прочность стальных касс — ни моей, ни ваших. Теперь даже детям известно, что вслед за войной тащится революция.

При этом слове четверо из сидящих за столом вынули сигары и усмехнулись. Инженер Корвин не отрываясь глядел матовыми невидящими глазами в длинное, как в изогнутом зеркале, лицо Игнатия Руфа.

— ...Несмотря на эту опасность, немало находится джентльменов, которые считают войну основным потребителем промышленного рынка. Эти джентльмены — шакалы. Они трусливы. Но есть другие джентльмены: они видят в войне неизбежного разрядителя промышленного кризиса, в своем роде пульсирующее сердце мира, которое периодическими толчками гонит фабrikаты по артериям рынков. Эти джентльмены очень опасны, так как они консервативны, упрямы и политически могущественны. Покуда они стоят, непосредственно или через рабочие правительства, на руле государственного корабля, мы ни одной ночи не можем спать спокойно. Мы всегда на волосок от промышленного кризиса, от войны и револю-

ции. Итак, мы должны вырвать инициативу из рук консервативно мыслящей промышленной буржуазии. Эти джентльмены, рассуждающие как лавочники эпохи франко-прусской войны, эти допотопные буржуа, эти собственные гробокопатели должны быть уничтожены. Мы должны овладеть мировым промышленным капиталом. Покуда коммунисты только еще мобилизуют силы, мы неожиданным ударом бросимся на буржуазию и овладеем твердынями промышленности и политической власти. А тогда мы легко свернем шею и революции. Если мы так не поступим — в спешном, в молниеносном порядке, — лавочники не позже апреля будущего года заварят химическую войну. Вот копия секретного циркуляра, написанного в Вашингтоне, — о скупке за океаном всех запасов *индиго*. Как вам известно, из индиго готовится *горчичный газ*...

Инженер Корвин вынул из портфеля бумагу. Игнатий Руф положил ее на стол, прикрыл ладонью. На лбу его надулась поперечная жила, углы прямого рта опущены, розовое лицо приняло выражение решительности и свирепости.

— ...Идея нашего наступления такова: мы должны *поразить мир невиданным и нестерпимым ужасом*...

Четверо сидящих за столом опять вынули сигары, но на этот раз не усмехнулись. Глаза инженера Корвина медленно мигнули. Игнатий Руф сильно потянул воздух ноздрями.

— ...Мы должны произвести столбняк, временный паралич человечества. Острие ужаса мы направим на биржу. В несколько дней мы обесценим все ценности. Мы скупим их за гроши. Когда через семь дней наши враги опомнятся — будет уже поздно. И тогда мы выпустим манифест о вечном мире и о конце революции на Земле.

Игнатий Руф взял бокал шампанского и сейчас же поставил обратно. Рука его несколько дрожала.

— ...Каким же способом мы достигнем нужного эффекта — мирового ужаса? Сэр, — он грузно повернулся к инженеру Корвину, — покажите ваши чертежи...

Покуда в рубке происходил этот странный разговор, солнце опустилось за помрачневший край океана. Рулевой, следуя данному еще на берегу приказанию, повернул к югу.

«Фламинго», выбрав гроты и штурмовые кливера, весело летела под сильным креном, то зарываясь до палубы между черными волнами, то сильно и упруго взлетая и встряхиваясь на их гребнях. Доброе было судно.

Пена в свету иллюминаторов кипела, стремительно уносясь вдоль бортов его. За кормой оставалась волнуемая голубоватая дорога морского свечения. В темноте вспыхивали гребни волн этим холодноватым светом.

Рулевой, швед, навалился грудью на медный штурвал. Ветром выдуло искры у него из трубки. Ветер крепчал. Пришлось «взять рифы» и убрать марселя. Матросы побежали по вантам и, скручивая паруса, раскачивались на мачтах, как грачи в непогоду.

За океаном поднималась луна — медным огромным шаром выплывала из тусклого сияния. Свет ее посеребрил паруса. Тогда на палубу вышли Игнатий Руф и пятеро его гостей. Они остановились у правого борта, подняли бинокли и глядели, все шестеро, на лунный шар, висящий над измятой пустыней океана.

Рулевой, с изумлением следивший за этим праздным занятием, которому предались столь почтенные и деловые джентльмены, услышал резкий голос Игнатия Руфа:

— Я отлично различаю это в бинокль. Ошибки быть не может...

.
В третьем часу ночи был разбужен кок: в рубку потребовали холодной еды и горячего грога. Гости все еще продолжали разговаривать. Затем, перед рассветом, шесть человек опять смотрели на лунный шар, плывший уже высоко между бледных звезд.

На следующий день Игнатий Руф и четверо его гостей отдыхали в парусиновых шезлонгах на палубе. Инженер Корвин ходил от носа до кормы и хрустел пальцами. День прошел в молчании.

Наутро из-за края океана, из солнечной чешуи, поднялся островок. Игнатий Руф и гости молча глядели на его скалистые очертания. Корвин стоял в стороне, скромный, молчаливый и бледный.

«Фламинго» вошла в серпообразную бухту, бросила якорь и спустила гостей в шлюпку, полетевшую по зеле-

новатой, прозрачной, как воздух, воде лагуны. Ленивая волна выбросила ее на песчаный берег.

Здесь между осколков базальта покачивались тонкие стволы кокосовых пальм, за ними весь склон был покрыт вековым буковым лесом, дальше возвышалась отвесная гряда скал. Игнатий Руф указал на них рукой, и он и гости пошли по недавно проложенной просеке в глубь острова.

— Я заарендовал остров на двадцать пять лет с правом экстерриториальности, — сказал Игнатий Руф. — Здесь достаточное количество пресной воды и строительного материала. Мастерские мы построим в горах. Эти горы образуют правильное кольцо, окружая остатки потухшего вулкана. Его кратер — полтора километра в диаметре — превосходное место для сборки аппаратов. Придется лишь очистить от камней дно — лучшей площадки нельзя придумать. Части аппаратов заказаны на заводах Америки и Старого Света. Пароходы заарендованы и частью уже грузятся. Если сегодня мы подпишем договор — с будущей недели работа пойдет полным ходом.

Просека подвела к плоскому озеру пресной воды. На берегу стояли дощатые новенькие бараки. У одной двери сидел на корточках китаец-рабочий и курил длинную трубку, другой мыл белье в озере. Вдалеке слышался стук о деревья многих топоров. Между скал карабкалась вереница осликов, навьюченных мешками с цементом. Инженер Корвин объяснил, что сейчас идет прокладка дорог и установка фундаментов для мастерских. Он указал тростью на седловины в горах, где можно было различить ползающие человеческие фигурки.

Гости — четверо крупнейших промышленников, друзья Игнатия Руфа, — со сдержанным волнением слушали объяснение инженера. Подбородки их каменели. Вчерашний фантастический план, предложенный Игнатием Руфом, сегодня казался твердым предприятием, рискованным, но дьявольски дерзким. Вид работ в горах, самый массив гор, принадлежащих Игнатию Руфу, его уверенность, точные объяснения инженера, реальность всего этого острова, залитого пылающим солнцем, шумящего волнами прибоя и вершинами пальм, даже китаец, мирно полощущий белье, — все это казалось убедительным.

И кроме того, было ясно, что Игнатий Руф не отступится от дела и пойдет на него даже один.

Промышленники вошли в пустой барак и долго совещались. Игнатий Руф в это время сидел на пне и бросал в озеро камешки. Когда компаньоны вернулись к нему из барака, вытирая платками черепа и затылки, он дико взглянул в их багровые лица, огромная челюсть его отвалилась.

— Мы идем с вами до конца, — сказали они, — мы решили подписать договор.

2

Люди, которым платят деньги за то, чтобы они совали нос туда, куда их не просят, — репортеры американских газет, — разнюхали о плавании «Фламинго», о законтрактованных Игнатием Руфом пароходах, о работах на острове и начали запускать сенсации.

Все эти газетные заметки вертелись вокруг любопытнейшей тайны — трех длинных ящиков, погруженных на «Фламинго». «Тайна трех ящиков». «Таинственные ящики Игнатия Руфа». «В ближайшую пятницу наша газета ответит на волнующий весь мир вопрос: что было в ящиках на «Фламинго?» Собачьи носы журналистов попали на верный след: содержимое ящиков представлялось ключом к разгадке грандиозных и непонятных работ, начатых на острове Руфа.

Матрос из команды «Фламинго» рассказал репортерам, что в день прибытия яхты на остров ящики были выгружены и на ослах увезены в горы, куда направились также Игнатий Руф и его гости. Но вот что было странно: в горах джентльмены оставались всю ночь, днем вернулись на яхту, выспались, а на вторую ночь и на третью снова уезжали на ослах в сторону потухшего кратера.

Захудалая газетка, которой нечего было терять, выпустила экстренный номер:

«Тайна раскрыта. В ящиках Руфа были упакованы три чудовищно обезображенные трупы танцовщиц из нью-йоркского Мюзик-холл-хаус».

Ураган статей, телеграмм, заметок пронесся по американской прессе. В редакциях фотографировали местных дактилографисток и печатали их портреты под видом жертв таинственного преступления.

Другая, ничего не теряющая газетка решительно выступила против версии о танцовщицах. Она опубликовала снимок с трупов трех агентов Коминтерна, замученных и убитых членами ку-клукс-клана. Три еврея, потерпевшие аварию на житейском океане, дали себя снять для этой цели в ящиках из-под канадских яиц.

Киносиндикат спешно подремонтировал старую итальянскую ленту из быта кровавой Каморры. Чарли Чаплин, уступая давлению злободневности, выступил в сильно комической картине: «Чарли боится длинных ящиков». В конце «недели о ящиках Руфа» произошли грандиозные митинги. В Филадельфии линчевали двух негров.

Но Игнатий Руф вернулся на материк и не был арестован. Во всех газетах появились его портреты и краткая биография. Вздор о трупах был решительно опровергнут. В ящиках находились всего-навсего астрономические инструменты. «Игнатий Руф, — сообщалось, — увлечен за последнее время астрономией и строит на острове Небесную лабораторию».

Так чья-то опытная рука привела в порядок газетную суматоху и направила ее по определенному руслу. Возбуждению в стране не давали улечься. Имя Игнатия Руфа снова начало подвергиваться тайной. Писали о двадцатидюймовом гигантском рефракторе, установленном в горах на острове Руфа. Сообщалось о необычайной силе и чувствительности астрономических приборов.

Все это интересовало только обывателей. Биржа и финансовые круги оставались спокойными. При всей осторожности нельзя было отыскать ни малейшей связи между астрономией и экономикой. Хотя люди, близко знавшие Руфа, недоумевали: каким это чудом человек, интересовавшийся только нефтью и химической промышленностью, начал вдруг шарить глазами по небу, где уже, наверное, не найдешь ни одного цента?

Так прошло около полугода. Игнатий Руф наконец нанес подготовленному общественному мнению первый удар.

3

От скал, острых, как хребет дракона, легли угольно-густые тени — они тянулись вниз до середины кратера. Кое-где между расселинами поблескивали лун-

ным светом стекла в бараках. Вырисовывались ажурные очертания железных мачт канатной дороги. Сухо трещали цикады. Бесшумно летала сова — обитательница горных щелей. Сюда едва доходил сонный шум океана.

На краю ровной площадки стоял инженер Корвин и глядел вниз, откуда слышалось тяжелое дыхание и хруст камешков. Это шел Игнатий Руф. Череп его был покрыт фуляром, жилет расстегнут. Он взобрался на площадку, отдышался и поднял голову к лунному диску.

Яркая луна, казалось, притягивала и воды океана, прорезанного сверкающей дорогой, и невероятные замыслы Руфа.

— В порядке? — спросил он и повернулся к приземистому каменному зданию. По шершавым стенам его скользили тени ящериц. Сквозь полукруглый купол высывалась в небо огромная металлическая труба.

Инженер ответил, что все в порядке: новый рефрактор установлен и, движимый часовым механизмом, ползет вслед за Луной. Увеличение чудовищное: различимы площади до квадратного километра.

— Я хочу это видеть, — сказал Руф.

Они вошли в темную обсерваторию. Руф сел на лесенку перед массивным окуляром. Корвин остановился у второго инструмента, привезенного некогда на «Фламинго». В тишине тикал часовой механизм. Корвин сказал:

— Объектив наведен на Море Дождей. Сядьте удобнее, без напряжения. Снимите колпачок со стекла.

Игнатий Руф приблизил глаз к медной трубке окуляра и сейчас же отдернул голову: ослепительный серебряный свет ударил ему в зрачки. Руф издал одобрительное мычание и опять потянулся к стеклу.

Застилая все поле зрения, лунная поверхность казалась такой близкой, что хотелось коснуться ее. Это была северная часть лунного шара — застывшая, пустынная равнина Моря Дождей. С северо-западной стороны Радужного Залива входили в нее последние отроги Лунных Альп. Далеко на юге лежали гигантские, таинственного происхождения, цирки Архимеда и Тимохариса.

— Вы видите, направо от кратера — борозда, с юга на север. Это так называемая Поперечная Альпийская Долина. Ширина ее около четырех километров и длина сто пятьдесят километров, — сказал Корвин. — Эта трещина

произошла от удара большого мирового тела о лунную поверхность.

— Да, я вижу эту трещину,— проговорил Игнатий Руф.

— Теперь смотрите южнее. В области цирка Коперника находится система трещин. Они мелкие и извилистые, происхождение их иное. Вторая система трещин, Триснекера,— на запад от Океана Бурь. Третья — в области цирка Тихо. Всего обычно насчитывают триста сорок восемь трещин. Но в наш рефрактор за одну вчерашнюю ночь я насчитал их более трех тысяч.

— Вы уверены, что эти трещины не имеют отношения к горным образованиям?

— Да. Несомненно, они позднейшего происхождения. Кроме того, они увеличиваются в длине, число их умножилось за полустолетие. В течение четырнадцати лунных дней видимая нам поверхность Луны накаливается солнцем. Так как теперь там нет атмосферы, то жар достигает огромных температур. Затем солнце закатывается, и лунное полушарие погружается в четырнадцатидневную ночь, в эфирный холод, наступающий мгновенно после заката. Возьмите каменный шар, накалите его добела и бросьте в ледяную воду...

— Он треснет на мелкие куски, черт его возьми! — воскликнул Руф и долго еще затем дышал, у него билось сердце.

— Так же точно трескается лунный шар. В имеющиеся трещины попадает либо влага, еще оставшаяся на Луне, либо углекислота. Затем, застывая, они значительно углубляют трещины.

— Они раздирают ее до самого центра...

— Да. Луна состоит из легких сравнительно материалов, не обладающих большой вязкостью. Рано или поздно планета должна распасться. Если в ней еще имеется раскаленное ядро — тем лучше: в случае слишком быстрого проникновения холода сквозь расширенные трещины оно взорвется, как бомба...

— Дай-то бог, дай-то бог,— прошептал Игнатий Руф. Он с жадностью осматривал изрытые впадинами и будто следами от лопнувших пузырей унылые пространства лунных равнин. Этот труп далекого мира будет брошен

в свалку страстей, волю и честолюбий, сыграет решающую роль в задуманной игре!

С перегоревшим вздохом Руф оторвался от окуляра.

— Я нахожу необходимым привести сюда журналистов и показать им трещины, но нужно быть уверенным, что эта сволочь увидит только то, что им нужно увидеть, и не сунет носа в наши работы.

— Мы проведем их в обсерваторию ночью, — ответил Корвин, — собранные аппараты и все, что должно быть скрыто, мы поместим в лунную тень — она ложится до половины кратера.

Руф и Корвин снова вышли на площадку. Действительно, в этот час скалистые горы казались пустынными. Глубоко под ногами виднелся лишь хаос камней. Густая тень покрывала толевые крыши мастерских на дне кратера, склады материалов и «собранные аппараты».

Работы производились в величайшей тайне. Никто из работающих на острове не имел права отлучиться. Письма просматривались. Пароходы выгружались на открытом рейде, откуда материалы подавались по канатной дороге в горы. С борта ни один человек не спускался на берег.

— Очень хорошо, — сказал Игнатий Руф, раскуривая сигару. — На рассвете я отплываю на континент. Я сам привезу журналистов. Приготовьте нужные материалы для статей и ведите работы полным ходом. Помните, если мы ошибемся в вычислениях, — полный разгром и гибель... На карту поставлены миллиарды долларов. Если провал, то...

Огонек сигары в его руке описал сложную восьмерку.

4

«Страшное открытие в обсерватории Игнатия Руфа» — таков был заголовок статьи, которая 14 мая появилась во всех североамериканских газетах и в тот же день была передана по радио в Европу.

Обстоятельно и научно рассказывалось в этой статье о роковом приближении конца земного спутника. Процесс его растрескивания идет с ужасающей быстротой. За короткое время наблюдения в рефрактор Руфа на поверхности Луны появилось несколько тысяч новых трещин. Распадения лунного шара возможно ожидать каждую минуту. «Мы не поручимся, — говорилось, — что завтра в ночь

наши юные мечтательницы увидят вместо древней покровительницы влюбленных раскиданные по ночному небу осколки. Но мы будем все же надеяться, что бог по своему милосердию не допустит гибели нашего прекрасного мира — гибели, так как *почти вероятно*, что осколки будут притянуты Землей...»

«Согласно нашему взгляду на образование мира, — говорилось далее, — в свое время вблизи земной орбиты должны были обращаться, кроме Луны, и другие массы довольно больших размеров. Часть их была притянута Луной и упала на ее поверхность, — следы этих ужасных столкновений мы видим в виде лунных цирков. Другая часть столкнулась с Землей. Последнее такое столкновение произошло в сравнительно недавние времена. Изменение климатов в геологические эпохи, в особенности существование тропической растительности в тех местах, где ныне область полярной ночи, указывают с несомненностью на то, что существовал второй спутник, упавший на Землю в конце палеозойской эры и отклонивший земную ось. Наблюдаемые колебания полюсов — не что иное, как последние следы, оставшиеся от такого удара в форме постепенно замедляющихся движений земной оси по поверхности конуса. Ныне, быть может, нам придется быть свидетелями окончательного осиротения земного шара среди небесных пространств...»

Статья произвела ожидаемое впечатление. Сердце человечества сделало перебой в этот день. Телеграф перепутал адресатов и содержание депеш, отчего случилось множество житейских неприятностей. Телефон превратился в сумасшедшую кашу номеров, и много телефонных барышень нервно заболело от бешеной ругани абонентов. Трамваи пошли не по тем линиям. Было множество задавленных всеми системами экипажей. Магазины закрылись, так как никто ничего не покупал в этот день, кроме общедоступных книг по астрономии.

Правительственные аппараты застопорились. Из многих тюрем бежали арестанты. Поезда уходили пустыми — и к счастью: за один этот памятный день двадцать процентов паровозов и поездного состава наехало друг на друга, свалилось под откосы. И, наконец, из страны проклятых большевиков раздалось (по радио) уже оконча-

тельно ни к селу ни к городу злорадное: «Ага... Дождались...»

Одним словом, в день 14 мая на всем земном шаре произошел неопиcуемый переполох. С ужасом, в исступлении ждали ночи. Головы всех были задраны к звездному небу. Когда над крышами, над железными мостами, над шпилями колоколен, над гигантскими кранами заводов поднялась мирным и стареньким диском обыкновенная Луна — пронесся вздох облегчения и разочарования. Стало даже по-мещански скучно.

Так несколько дней ждали гибели мира. Держали пари. Луна продолжала тихонько плыть по небу. Настроение улучшалось. На улицах стали продавать «карманные телескопы» и закопченные стекла. Огромным успехом пользовались булавки и броши с изображением Луны, подмигивающей глазом. Газеты пестрели адресами хиромантов, точно предсказывающих «день, которого нужно бояться».

Мисс Сесиль Эспер, единственная дочь анилинового короля, появилась на банкете яхт-клуба в лунного цвета платье, в бесцветном ожерелье и в диадеме из лунных камней. Дамы ахнули. Владельцы домов готового платья ахнули. Великие портные и модные ювелиры ахнули. Лунный шелк и лунный камень *объявлены были модой*.

Писались стихи о Луне. Выгонялись химическими составами голубые цветы. В шикар­ных ресторанах появилось даже лунное мороженое, чрезвычайно обременяющее желудок. Имя Игнатия Руфа облетело все земные широты. Но биржа, мудрая и осторожная, не ответила на эту суматоху колебанием ни на один цент.

5

Стеклянной равниной лежал бесцветный океан под косматым пылающим солнцем. От гор струилось марево. Поникла листва на деревьях. Высокие метелки пальм, казалось, предали себя зною — распустились в сине-горячем небе. Трехмачтовый «Фламинго», как призрак, висел над прозрачной лагуной. Нестерпимо блестели стальные канаты, по которым в воздухе, по направлению зубчатых скал, ползли вагонетки.

Остров казался пустынным. Но по ту сторону гор, в кратере, шла напряженная работа. Туда по белому шос-

се, спугивая ящериц и змей, поднимался автомобиль. Правил Руф. Оборачиваясь к четверем своим компаньонам, задыхавшимся от жары, он говорил:

— Мы работаем теперь в четыре смены, и то рабочие едва выдерживают: вчера упало пятнадцать человек от солнечного удара. Кратер накаляется, как печь. Китайцы целыми толпами требуют расчета. Пришлось на перевалах поставить пулеметы. Еще хуже с американскими мастерами. Они грозят судом. Черт возьми, на острове нет ни женщин, ни развлечений. Я приказал выстроить кабак около ручья — еще хуже; за неделю выпито сто ящиков виски и ликеров. Инженер Корвин ходит на работы с заряженным револьвером. Завтра прибывает наконец пароход с проститутками. Я очень надеюсь, что это оздоровит остров.

Компаньоны посапывали, вытираясь платками. Эти две недели после опубликования знаменитой статьи вселили в них величайшую надежду и величайшую тревогу. Общественное мнение реагировало сильнее, чем ожидали. Биржа никак не ответила на удар. Работы подвигались успешно, и пробные опыты удались, но все это стоило огромных денег, и, кроме того, Руф пренебрегал, видимо, уголовным законодательством.

На перевале открылся вид работ на дне кратера. Дымила труба электрической станции. Снопы света шли от стеклянных щитов солнцеприемников. Желтые и розовые клубы дыма резкими облаками возносились из-за черепичных крыш химической лаборатории. По узкоколейным путям двигались вагонетки с материалами и подъемные краны, похожие на виселицы. Под косыми навесами трещали пневматические пробойники, и воздух сокрушали металлические удары молотов. Среди свалок, бунтов железа и гор из бочек и мешков бродили голые люди в конусообразных шляпах.

В стороне, там, куда по ночам падала лунная тень, лежали рядами десятиметровой длины металлические яйца с многогранным острым бивнем на одном конце и широким раструбом на другом.

— Шестьдесят аппаратов уже готово, — сказал Игнатий Руф, указывая кивком головы на яйца, — их остается только зарядить. Мы должны довести число их до двухсот, хотя по расчетам хватило бы и половины.

Он пустил автомобиль по извилистой дороге вниз и через несколько минут остановился у приземистого здания из неотесанных камней. На плоской крыше его стояло два пулемета. Инженер Корвин подошел к автомобилю и, как всегда, без улыбки, молча приподнял тропический шлем.

— Джентльмены пожелали ознакомиться с готовыми аппаратами, — сказал Руф, — джентльмены хотят задать вам несколько технических вопросов.

Все вышли из машины и вслед за Корвином направились к аппаратам. Перебежавший дорогу голый китаец обернулся и оскалил желтые зубы. Трое белых рабочих неподалеку начали было рычать, поводя плечами, но Корвин взглянул на них темным взором, и они, ворча, отошли.

Аппараты лежали каждый в конце подъездного рельсового пути, который вел в центр кратера, к бетонной площадке с установленным на ней металлическим наклонным диском. Инженер Корвин, чертя тростью на песке, постукивая ею по заклепкам стальных яиц, говорил:

— Впервые подобный снаряд, приспособленный для двоих пассажиров, был построен в Петрограде в тысяча девятьсот двадцать первом году инженером Лосем. Он покрыл на нем пятьдесят миллионов километров междупланетного пространства и возвратился на Землю. К сожалению, чертежи его пропали. Второй аппарат, начиненный сильно дымящим веществом, был отправлен три года тому назад из Южной Америки на Луну и достиг ее поверхности. Принцип весьма прост. Это ракета. Внутри яйца — камера с запасом ультралиддита. Здесь, — Корвин указал на цилиндрический хвост яйца, — ряд отверстий, куда устремляются газы взрывающегося постепенно, частями, ультралиддита. В верхней части, там, где инженер Лось устраивал жилую камеру, мы помещаем пять тонн нитронафталина. Ужасающая взрывчатая сила этого вещества вам известна. Затем, — он ударил тростью о литые грани пирамидального бивня на другом конце яйца, — это бронебойная головка. Она из сибирской молибденовой стали. Если предположить, что снаряд подойдет к поверхности Луны со скоростью пятидесяти километров в секунду, то при ударе он должен проникнуть в лунную почву на чрезвычайную глубину.

Промышленники, плотно упираясь ногами в землю, слушали. Один из них, низенький, тучный, с крючковатым носом, сказал:

— Все-таки как же, черт его возьми, оно полетит?

— Так же, как ракета: толкающим действием газов, образующихся при длительном взрыве,— ответил Корвин.— При поднятии ракеты воздух не участвует в действии, он лишь тормозит скорость. В безвоздушном пространстве ракета летит по закону свободно движущихся тел, с постоянным ускорением. Теоретически ее скорость должна достичь предела, то есть скорости света. Но при больших скоростях вокруг тела развиваются магнитные поля, которые могут даже остановить тело в пространстве. Этих магнитных влияний особенно боялся инженер Лось, хотя ему удалось достичь скорости в тысячу километров в секунду.

Тогда второй из промышленников, метис, мрачный и свирепый, сказал:

— Двести снарядов! Но этого мало, чтобы взорвать проклятую Луну! Мы ее только исковыряем.

— Снаряды попадут математически все в одну точку,— ответил Корвин,— каждый, войдя в сферу притяжения Луны, получит направление к ее центру, даже если бы мы отправили их с различных точек земной поверхности. По моим расчетам, снаряды упадут в область Океана Бурь. Один за другим, через промежутки в семь — десять минут, они будут вонзаться в глубь лунного шара. Мы будем долбить его как бы чудовищным долотом. И с каждым снарядом — взрыв пяти тонн нитронафталина. Я бы не хотел в это время там курить мою трубку.

Эта тонкая шутка была принята снисходительными улыбками. Третий из промышленников сказал, впившись ногтями в подбородок:

— Очень хорошо. Но мы знаем по опыту европейской войны, что ядра даже самых больших пушек делали ничтожные воронки. А ведь нам нужно разломать шар величиной всего лишь в тридцать с половиной раз меньше земного.

— Живая сила ядра большого морского орудия равна приблизительно десяти миллионам килограммов,— ответил Корвин.— Если принять вес нашего яйца за десять тонн и скорость в пятьдесят километров в секунду, то жи-

вая сила, то есть давление при ударе нашего яйца о поверхность Луны, выразится в семьдесят пять *триллионов килограммов*. Я боюсь одного: что снаряды станут пронизывать Луну, как лист картона.

Промышленники плотно поджали губы. Четвертый, маленький, в очках, похожий на старого сверчка, пристально стал смотреть на Корвина седыми глазами:

— Я хотел задать существенный вопрос, сэр,— проскрипел он высоким голосом,— мы собираемся устроить «неделю ужаса», иными словами — одурачить умнейших и хитрейших людей во всем мире, сэр... Но среди нас возникло сомнение: а что, если мы ошибаемся? А что, если эта шутка с Луной превратится в серьезную опасность? Мы заработаем, но Луна шлепнется на Землю, сэр... Вы уверены, что она не шлепнется, сэр?

Инженер Корвин молчал. Под сухой смуглой кожей его на скулах двигались желваки.

— Очень хорошо,— сказал он коротко,— на это я вам отвечу через час.

6

В рубке «Фламинго» в конце обеда, когда подали кофе и ликеры, инженер Корвин отодвинул несколько свой стул, положил на острое колено листок бумаги, исписанный математическими формулами, и начал говорить:

— Луна, так же, как Земля, так же, как все планеты нашей системы, как пояс астероидов, кометы и потоки падающих звезд, образовалась из гигантского кольца, некогда вращавшегося вокруг Солнца. Части кольца распались, уплотнились, образовали пылающие миры — небольшие солнца.

Вокруг каждого из этих миров, в свою очередь, стало вращаться кольцо раскаленной, но хладающей материи, подобно кольцу Сатурна, последнего остатка этого почти закончившегося процесса.

Маленькое светило — Земля — также было охвачено системой колец, вращающихся с различной скоростью. По мере охлаждения кольца разрывались, части их уплотнялись, образуя малые планеты или небесные тела. Самым крупным из таких тел была Луна: она притягивала

близко проносящиеся массы, они падали и поддерживали ее в раскаленно-жидком состоянии.

То же происходило и с Землей. Она втягивала в сферу своего притяжения остатки разорванного кольца и, может быть, не раз уже потухнув, под действием этих чудовищных ударов снова и снова вспыхивала звездой.

Понемногу процесс собирания материи окончился. Близ Земли оставались еще два свободных мира — Луна и второй, упавший во времена палеозойской эры, спутник; Земля овладевала их движениями силой тяготения. Оба тела постепенно падали по спиральной кривой на Землю.

Луна, еще жидкая, вращалась вокруг своей оси. Но при каждом обороте под действием земного притяжения по ней пробегала огромная волна прилива — судорога умирающего, попадающего в плен мира. Вращение Луны тормозилось этими приливами, замедлялось. Луна принимала форму яйца, обращенного толстым концом к Земле.

Наконец ее вращение вокруг оси прекратилось, и она застыла и стала спутником Земли, подойдя к ней на расстояние трехсот восьмидесяти четырех тысяч километров. Так как скорость Луны равна одному километру в секунду — я беру цифры приблизительно, — то, по закону Ньютона, $x = \frac{v^2}{2r}$, икс, то есть величина, на которую каждую се-

кунду Луна приближается к Земле, падает на Землю, равна одному и трем десятым миллиметра. Но напряжение силы тяжести на расстоянии Луны также равно одному и трем десятым миллиметра. Таким образом, согласно закону мирового тяготения, Луна кажется вполне уравновешенным телом. И это было бы, если бы Земля и Луна представляли математические тела в идеальном пространстве.

Но закон Ньютона требует поправок: в формуле $x = \frac{v^2}{2r}$ отброшен квадрат одной малой величины, который является роковым для судьбы Земли. Принимая эту поправку, принимая затем влияние лунного притяжения на воды земных океанов — приливы — и вызываемое ими замедление движения самой Земли, Ч. Дарвин показал, что Луна приближается к Земле, стремясь войти с ней в твердую связь, то есть, согласно третьему закону Кеплера, прибли-

зиться настолько, чтобы время ее обращения вокруг Земли было равно земному дню. Только тогда, как бы скрепленные невидимыми связями, оба тела установят между собою полное равновесие.

Но и этот закон чисто математический; влияние тяготения кометы Биелы, увеличение плотности земного ядра, возмущение магнитных полей под влиянием солнечных пятен, затем вторая поправка закона Ньютона приводят нас к выводу, что оба тела должны окончательно сблизиться.

Инженер Корвин оглядел собеседников, затаивших дыхание. Его щеки порозовели, на всегда жестких губах неожиданно легла усмешка.

— Пятьдесят тысяч лет в худшем случае отделяют нас от последнего часа Земли. (Игнатий Руф и четверо его компаньонов свободно выдохнули воздух, вытерли черепа, налили золотые, зеленые, розовые ликеры в рюмочки.) Падение лунного шара на Землю вызовет выделение такого громадного количества тепла, что обе планеты вспыхнут, расплавятся и сольются в новое тело. И, быть может, вторичная жизнь, которая возникнет на новой Земле, увеличенной в размерах и обогащенной пожаром, будет лучше нашей. В это я также верю. Вот вам все данные. Что же касается нашего предприятия, то мы действительно несколько приблизим срок падения осколков Луны на Землю...

— То есть мы это именно и желаем от вас услышать: на какой приблизительно срок...

— Я подсчитал: тысяч на десять лет...

— Во всяком случае, сорок тысяч лет в нашем распоряжении! — громогласно крикнул Игнатий Руф и в первый раз за все течение этого рассказа рассмеялся, откидывая преувеличенно большую челюсть.

7

Руф и его компаньоны остались удовлетворенными объяснениями инженера. В тот же день, 26 мая, были пересмотрены и утверждены списки фабрик, транспортных компаний, нефтяных приисков и химических заводов, которыми решено было овладеть в «неделю ужаса».

Во все страны света были посланы агенты — вести переговоры с намеченными в списке предприятиями. Переговоры были маской. «Союз пяти», подготавливая ограбление целого мира, осторожно и тщательно исследовал состояние биржи и рынка: открывал онкольные счета, сажал на места своих маклеров, перекупал газеты и основывал новые, раздавал чудовищные авансы ученым-популяризаторам и писателям, обладающим хотя бы каплей фантазии.

На книжный рынок полились потоки астрономических рассказов, утопий, мрачной мистики, апокалиптических поэм. В Швейцарии возродилась теософская община. Члены ее разъезжали по городам, говорили о наступающем дне страшного суда и учреждали ложи борьбы с антихристом.

В конце июля вышла небольшая заминка: по обыкновению в это время года с Балкан потянуло трупным запахом, пошли тревожные слухи, и истерическая стрелка биржевого барометра подвинулась к «буре».

Тогда Игнатий Руф бросился в Европу, как кабан в тростники. Он устроил заем Италии, свалил в Югославии министерство. С чудовищной ловкостью, нажимая тайные пружины, созвал конференцию Малой Антанты. Надавал приятных обещаний Германскому союзу. Опубликовал поддельный документ Московского реввоенсовета, чем вызвал в Польше бешеный взрыв ненависти и отвлек ее внимание от дел на Балканах.

В какие-нибудь пять недель он предотвратил очередную опасность войны и вернулся на воздушном корабле в Нью-Йорк. Тогда появилась во всех газетах вторая статья за подписью астронома Ликской обсерватории:

Возвращение кометы Биелы.

«Как известно, ежегодно 30 ноября Земля проходит через орбиту кометы Биелы. Об этом свидетельствуют потоки падающих звезд — малых небесных тел, разбросанных по всему пути кометы. Каждые двадцать три года Биела проходит близко от Земли, почти в точке пересечения орбит. Тогда звездные потоки, выходя из созвездия Льва, огненной метлой раскидываются по всему небу и представляют восхитительное зрелище.

Известен в истории случай, когда в 1783 году вследствие неточности вычисления ожидали столкновения Земли с Биелой. Людей охватил ужас. В Париже были случаи смерти от страха. Недостойные представители духовенства, предлагая за хорошие деньги полное отпущение грехов, недурно обделывали свои дела. Великий геометр Лаплас писал в то время:

«...Действие подобного столкновения нетрудно себе представить: положение оси и характер вращения Земли должны измениться, море покинуло бы свое теперешнее лоно и устремилось бы к новому экватору, люди и животные погибли бы в этом всемирном потопе, все народы были бы уничтожены, все памятники человеческого ума разрушены...»

Но столкновения не произошло и не могло произойти, так как Земля *опаздывает на несколько часов* в точку пересечения орбит и настигает только хвост кометы в виде потоков падающих звезд.

Столкновение, однако же, возможно, но лишь тогда, когда прохождение кометы через перигелий, то есть ближайшую к Солнцу точку ее орбиты, придется на 28 ноября. Подобный случай бывает только раз в 2500 лет. *Нынешний 1933 год как раз является этим годом.*

Но опасаться, как это было раньше, нам нет основания. Масса головы кометы слишком ничтожна и разрежена, чтобы наделать нам бед, воздушная оболочка Земли — слишком надежная броня. Быть может, пронесутся магнитные бури, и мы будем свидетелями великолепнейшего из мировых фейерверков.

По-другому ожидаемое столкновение может отозваться на нашем спутнике. Луна не защищена атмосферой. Шар ее прорезан трещинами. Бомбардировка Луны метеорами Биелы начнется 29 ноября. На этот раз мы с уверенностью не поручимся за благополучную судьбу нашего спутника».

Статья произвела нужное впечатление. В Вашингтоне был сделан парламентский запрос о «безответственной лунной литературе». Игнатий Руф понял, что биржа на этот раз клюнула. И действительно, биржевые ценности испытали ничем не обоснованное колебание вниз и вверх и повисли в неустойчивом равновесии.

Наступило время решительных действий.

Утром 28 ноября Игнатий Руф прибыл на стопятидесятитонной моторной полуподводной лодке в бухту острова и, не сходя на берег, передал инженеру Корвину приказ от «Союза пяти» начать сегодня же в ночь бомбардировку лунного шара.

Затем лодка стала на внешнем рейде и опустилась так, что над волнами виднелась только овальная коробка капитанского мостика с задраенными люками.

Дул сильный ветер порывами. Низко летели тучи над мрачным морем. Кипели буруны, и океанские волны разбивались о скалы острова. Дождь, не переставая, лил. Вдали в горах пенились водопады.

Игнатий Руф стоял один в рубке, поглядывая сквозь заливаемый зелеными волнами иллюминатор на мотающиеся общипанные пальмы, на тускнеющие облака, которые рвались и крутились среди скал над кратером. Наступал вечер. Снизу, из лодки, погруженной в воду, доносились голоса механиков, не подозревающих дурного.

Руф близко к глазам поднес хронометр. Сейчас же вытер рукавом потеющее стекло иллюминатора. Теперь он слушал, как медленно бьется сердце. Тридцать секунд оставалось до назначенного срока.

От качки ли, от масляно-жаркого воздуха закупоренной лодки, от переутомления последних дней — в тридцать этих последних секунд Игнатий Руф почувствовал такой внезапный разлад с самим собой, что это почти превысило его душевные силы. Горло было схвачено железной спазмой. Тучное тело ослабло, он привалился к железной обшивке. В тридцать секунд — он это понял — он не успеет спуститься в каюту и по радио приказать инженеру Корвину оставить безумное, непомерное, чудовищное предприятие...

И вот наискосок из-за скал — он увидел это только на мгновение сквозь иллюминатор — скользнула в рваные облака овальная тень... Красноватый след от нее погас в небе.

Игнатий Руф налег всею тяжестью на бронзовый анкер люка, отвинтил, откинул его и до пояса высунулся из лодки. В лицо хлестнула волна, и ветер, танцуя по пен-

ным гребням, засвистел у него между крахмальным воротником и ушами. В сумерках слышался только тяжелый грохот прибоя.

Затем ахнуло, раскатилось где-то в горах и затарактало... Чаще, проворнее... Громовые удары слились в рев чудовищной сирены, и, шипя, из-за зубчатых скал метнулся в небо второй снаряд.

Игнатий Руф потряс над седой головой кулаками и вне себя закричал:

— Гип-гип, ура!

Но голос его потерялся среди шума волн и ветра, как писк комара.

9

Тем временем на дне кратера, где раскачивались на столбах электрические фонари и тени от клубов желтого дыма и отдвигающихся кранов мотались по скалам, инженер Корвин распоряжался отправкой междупланетных снарядов. Лицо его покрывала свиным рылом противогазовая маска. Несколько десятков отборных рабочих, также в противогазах, одни зацепляли крючком подъемного крана стальное яйцо, другие подводили похожий на виселицу кран с висящим яйцом к полетной площадке, третьи осторожно опускали снаряд, жерлом вниз, на стальной, слегка наклоненный диск площадки и спешили отойти дальше.

Инженер Корвин приближался к стоящему дыбом яйцу, поворачивал массивные винты диска, ставя его на нужный угол, и ломал взрывной капсуль... Секунду сыпались искры, затем раздавался громopodobный удар, гигантское яйцо подсакивало на несколько метров в воздух и там, крутясь, как бы начинало бороться, не взлетая и не падая, все учащеннее стреляя и взрываясь, — еще секунда, и, подхваченное ураганом взрывов, оно взвивалось тяжело — шипящий след от него исчезал за тучами...

Так, один за другим, через промежутки в две-три минуты, снаряды уносились в междупланетное пространство.

Густой и едкий дым наполнял кратер. Настала ночь, а было отправлено всего еще только шестьдесят яиц. Люди изнемогали. Один, другой, шатаясь, брели к ручью,

чтобы опустить вспухшую голову в воду. Другие брали из разбитых ящиков бутылки и, отшибив горлышко, глотали водку.

Корвин торопил, подбегая к изнемогающим, выхватывал из кармана пачки долларовых бумажек — обещал огромную премию за каждое отправленное яйцо. В последующий час удалось послать двадцать пять яиц. Но затем несколько человек содрали с себя маски и упали, задыхаясь. Одно из яиц, подведенное к диску, сорвалось с крана и откатилось. В ужасе все легли. Но инженер вскочил на клепаную обшивку снаряда и написал на нем мелом: «Отправка — полторы минуты — 1000 долларов».

Бурный дождь, пролившийся над кратером, освежил ненадолго воздух, и число разрушителей Луны перевалило за сотню. Во втором часу ночи дождевые тучи разорвались на мгновение, и появился лунный диск. Он был ослепительно ярок.

В эту ночь население острова — с лишком четыре тысячи рабочих — было удалено от места работ в бараки на побережье. Люди стояли в темноте толпами. Глядели на взвивающиеся из кратера огненные хвосты ракет. Никто не знал, для чего строились эти снаряды и куда улетали они в эту бурную ночь. Чувствовали только, что делается недоброе дело.

Суеверные шептали молитвы. Озлобленные сговаривались опубликовать в газетах — как только получат свободу и вернутся на материк — все беззакония и преступления, совершенные на проклятом острове. Трусливые прятались между приморских скал, затыкали уши, когда нестерпимый вой снаряда заглушал грохот прибоя и шум толпы. Немногие из сознательных говорили между собой мрачно и злобно, что снаряды бомбардируют в эту ночь через Атлантический океан города Советских республик.

В середине ночи зажгли кое-где костры и варили еду. Многие радовались концу утомительных работ и хорошим деньгам, которые они привезут домой, на родину.

А в это время на юго-западе, над океаном, из-под низу туч, идущих грядами, начал разливаться кроваво-красный неземной свет. Это хвостом вперед из эфирной ночи над Землей восходила комета Биела.

Игнатий Руф, как это ни странно, крепко заснул в железной капитанской рубке. Разбудил его резкий удар над головой по обшивке. Он прислонил большое лицо к иллюминатору и увидел на странно освещенных волнах танцующую шлюпку; в ней стоял человек и размахивал веслом.

Руф откинул люк. Человек выскочил из шлюпки, проскользнул сквозь люк, сел рядом с Игнатием Руфом и одними губами проговорил:

— Немедленно!.. Полный ход в открытое море!

Это был инженер Корвин. Он взял из ящика сигару и чиркнул спичкой. Платье его было прожжено, руки, шея, лицо, кроме белого кружка — следов маски, — черно, обуглено. Когда лодка, гудя от мощи моторов, двинулась на северо-восток от острова, Руф вполголоса спросил:

— Дело сделано?

— Нет еще, не все сделано. — У инженера так сверкали глаза, что Руф отвернулся.

— Что же еще осталось?

— Успокойтесь, осталось то, чего через десять минут не останется.

— Я не понимаю, Корвин.

— Врете, Руф.

Задражавшая челюсть у Игнатия Руфа начала отваливаться. В неясном свете кометы лицо его казалось синевато-бледным. Корвин сказал отрывисто, с омерзением:

— Имейте мужество признать, что вы этого хотели, об этом постоянно мне намекали и сейчас этого ждете.

— Остров?

— Да! Со всеми обитателями. Со всеми следами преступления...

Корвин быстро взглянул на часы, кинулся к капитанскому рупору.

— Алло! Полный, самый полный, до отказа! — Он повалился на кожаную банкетку и закрыл глаза.

Руф, сутулясь, глядел в иллюминатор. Мрачен и дик был океан, изрытый бурей, озаренный сиянием кометы, раскинутой петушьим хвостом на полнеба.

— Средства достигнут Луны завтра в полночь, — сказал Корвин, — готовьте бумажник.

Вдруг Руф попятился и сел на пол. На юго-западе, на том месте, где лежал остров, из океана поднялся огромный косяматый столб праха. Зеленоватые молнии быстро прорезали его во всех направлениях. Блеснул ослепительный свет.

Через минуту лодку ударило тяжестью воздуха. Раздались громовые раскаты. Большая волна покрыла капитанский мостик.

11

Третью ночь население большого города собиралось весело встречать восхождение кометы Биелы. Где-нибудь в деревенской глуши или в стенах среди остатков кочевников люди трепетали и молились, служили в стареньких церквах милостивые молебны или садились в круг слушать колдунов и шаманов, потрясающих бубном навстречу огненным перьям кометного хвоста. Африканские негры устраивали пляски и били в тамтамы. Желтолицые мудрецы на плоскогорьях Памира вычисляли им одним важные сроки судеб и улыбались улыбкой Будды потокам падающих звезд. Дети и животные были охвачены тоской. Но в больших городах играли всю ночь оркестры. Под открытым небом, среди столиков и осенних цветов, в полутьме потушенных улиц смеялись нарядные женщины, пелись злободневные песенки о комете, о Луне, об Игнatii Руфе, пугающем весь свет.

Едва только закатилось солнце, по небу из точки — из созвездия Андромеды — помчались стремительные линии падающих звезд. Их, как угли, словно швыряла чья-то рука. Они неслись к зениту и исчезали. Иные устремлялись к земле, вспыхивали зеленоватым светом и рассыпались в хлопья. Казалось, в высоте бушует огненная метель. Отсветы ее играли в бокалах с вином, в изумленных, смеющихся, взволнованных глазах, в драгоценностях на непокрытых волосах женщин.

Часов около десяти по улицам побежали газетчики. «Небывалая катастрофа в Тихом океане. Гибель острова Руфа со всеми обитателями».

Это известие придало еще больше остроты дивному и жуткому зрелищу. Многие и многие в первый раз сегодня глядели на седые созвездия. Оркестры играли похо-

ронный марш Шопена. Над головой беззвучно бушевала метель небесных тел. На облетевших аллеях бульваров, в скверах, где пахло вянущими листьями, на чисто подметенных улицах и площадях мужчины в вечерних цилиндрах и женщины в мехах, веющих духами, испытывали острое и небывалое влечение.

С изумлением глаза вглядывались в глаза. Женские руки, плечи, видные сквозь приоткрытый мех, душистые волосы обещали, казалось, неиспытанное и головокружительное наслаждение. И женщины глядели с нежностью и волнением на своих спутников. С переполненным сердцем откидывались в плетеных креслах, улыбались восходящему свету кометы. Легонький озноб неожиданного и всеми желанно-принятого влечения веял в эту ноябрьскую ночь на площади, полуосвещенной разноцветными абажурами лампочек на ресторанных столах.

Потоки звезд все гуще бороздили небо. Началось падение аэролитов. Извиваясь, как змеи, раскаляясь до ослепительно зеленого цвета, они силились пробить воздушную броню Земли и распадались в пыль. Их встречали криками, как борцов, идущих к финишу. Вот один, другой, третий аэролиты устремились со страшной высоты прямо на площадь. Испуганно кое-где вскочили люди. Площадь затихла. Но, не долетев, разорвались воздушные камни, и только издаലെка громыхнул гром. Между столиками закрутились серпантинные ленты. Негритята-бои разносили корзины с фруктами.

И вот над крышами начал вставать сияющий хвост Биелы. Она возносилась все выше, раскидывалась все шире. Наконец появилась ее голова, похожая на тупую голову птицы. Оркестры заиграли туш. К небу поднялись руки с бокалами шампанского. Через двенадцать часов, по точнейшим вычислениям обсерваторий всего мира, Биела должна была пройти всего в тысяче километров над пустынной южной областью Великого океана. Ожидались бури, большие приливы, усиление деятельности вулканов и даже падение в океан крупных осколков, из которых составлен зыбкий, окутанный раскаленными газами головной шар кометы.

Все это было необычайно, красиво и волновало, в особенности женщин. Множество глупостей было сказано и еще больше наделано в эту ночь.

Неожиданно на площадь, в широкий проход между столиками, вылетел мотоциклет. Бестактно и нагло ослепительный луч его фонаря скользнул по глазам. Мотор стал. Сёдок в кожаном шлеме что-то хрипло прокричал. Закутался вонючим дымом, затрещал и вихрем унесся в боковую улицу.

Сейчас же засуетилось несколько человек. Что-то, видимо, произошло. Начался ропот. Возвысились тревожные голоса. Оркестры настойчиво замолкали. Всюду вставали на стулья, вскакивали на столики. Зазвенело разбиваемое стекло. Вся площадь поднялась. Еще не понимали, не знали, из-за чего тревога. И вдруг среди глухого говора раздался низкий, дурной женский крик. В сотне мест ответили ему воплем. Пошли водовороты по толпе. И так же внезапно площадь затихла, перестала дышать.

Вдалеке, из-за безобразной островерхой башни восьмидесятиэтажного дома выплыла Луна. Она была медного и мутного цвета. Она казалась больше обычного размером и вся словно окутана дымом. Самое страшное в ней было то, что *диск ее колебался*, подобно медузе.

Прошло много минут молчания. Стоявший на столе высокий тучный человек во фраке, в шелковом цилиндре набекрень, зашатался и повалился навзничь. После этого началось бегство, давка, дикие крики. Люди с поднятыми тростями насакивали на кучу мужчин и женщин и били по головам и плечам. Пролетели стулья в воздухе. Захлопали револьверные выстрелы.

Луна, это ясно теперь было видно, развалилась на несколько кусков. Комета Биела действовала на их неравные части, и они отделялись друг от друга. Это зрелище разбитого на осколки мира было так страшно, что в первые часы много людей сошло с ума — бросались с мостов в каналы, накладывали на себя руки, не в силах подавить ужаса.

.

Улицы осветились. Отряды полиции и войск заняли перекрестки и площади. Кареты «Скорой помощи» подбирали раненых и убитых. В ту же ночь многие города были объявлены на военном положении. Вместо музыки и веселого смеха слышались грузные шаги идущих частей, колючие крики команды, удары прикладов о мостовую.

.

Игнатий Руф и инженер Корвин лежали в креслах салон-вагона специального поезда, мчавшегося по озаренным кометой прериям западных штатов. Оба курили сигары, глядели из темноты вагона на дымный, зыбкий, разрушенный ими лунный шар. Время от времени Руф брал трубку радиотелефона, слушал, и рот его одним углом лез вверх. Инженер Корвин сказал:

— Когда я был ребенком, меня преследовал сон, будто я бросаю камешки в Луну, — она висела совсем низко над поляной — я не знал тогда, что этот сон означает преступление.

— Возьмите себя в руки, — сказал Руф, нахмурившись, — нам предстоит не спать несколько ночей, через неделю я даю вам отпуск на лечение.

12

«В ночь на 29-е Луна разбита кометой Биелой», «Пожар Луны», «Возможность падения Луны на Землю», «Выдержит ли земная атмосфера удары лунных осколков?» — таковы были заголовки газет от 30 ноября.

Из Ликской обсерватории сообщалось, что лунный шар распался на семь основных кусков и все они окутаны тучами пепла. Дальнейшая судьба Луны пока еще не определена. Телеграммы о бедах, которые на Земле направила Биела, никем не читались. Приморские города, затопленные и унесенные в море огромной волной прилива, землетрясения, несколько населенных островов, уничтоженных аэролитами кометы, отклонение теплых течений — эти мелочи никого не интересовали. Луна! Последние доживаемые дни мира! Внезапная гибель человечества или чудо, спасение? Вот о чем говорили, шептали, бормотали в телефоны в течение двенадцати часов 30 ноября. А ночью все окна, балконы и крыши были усажены жалкими, боящимися смерти людьми.

На улицах, куда запрещено было выходить с закатом солнца, разъезжали патрули велосипедистов, перекликались пикеты. Стояла небывалая тишина в городах, лишь кое-где с крыши доносился плач. Облака, закрывавшие Луну, редели, и зрелище осколков, все еще собранных в неправильный, потускневший диск, наводило смертельную тоску.

В ночь на 1 декабря Руф созвал «Союз пяти». Подсчитали разницу, которую за истекший день дала биржевая игра на понижение. Суммы барыша оказались так чудовищно велики, что Руф и его компаньоны испытали чувство едкой радости. Действительно, паника на бирже перешла границы разума. В редакциях газет набирались длинные колонки знаменитейших фамилий, объявленных банкротами.

Под утро стали поступать радио от маклеров из Европы, Азии и Австралии: коротко сообщалось о неопикуемой панике, о черном дне биржи, о гибели капиталистов, крахе банков, о самоубийствах денежных королей. Были и нехорошие известия о массовых помешательствах, о начавшихся пожарах в европейских столицах.

Неуважительное, беспомощное, детски жалкое было в этой человеческой растерянности. Деньги, власть, уверенность в прочности экономического строя, в незыблемости социальных слоев, всемогущество — все то, к чему шел «Союз пяти», — во всем свете вдруг потеряло силу и обаяние. Миллиардер и уличная девка лезли на крышу и оттуда таращили глаза на расколотую Луну. Неужели вид этого разбитого шара, не стоящего одного цента, способен лишить людей разума? Член «Союза пяти», старичок, похожий на старого сверчка, потирая сухие ладошки, повторял:

— Я ожидал борьбы, но не такой капитуляции. Прискорбно в мои годы стать мизантропом.

Инженер Корвин ответил ему на это:

— Подождите, мы всего еще не знаем. На заседании «Союза пяти» было решено часть добытых миллиардов снова бросить на биржу, играя на этот раз на повышение, и начать скупку предприятий, обозначенных в списке 28 мая.

13

Игнатий Руф остановил автомобиль у подъезда многоэтажного универсального магазина и долго глядел на оживленную толпу женщин, мужчин, детей. Многое ему начинало не нравиться — за последнее

время в городе появились дурные признаки, — и вот сейчас, всматриваясь в этих девушек, беспечно выбегающих из дверей «Торгового дома Робинсон и Робинсон», Руф захватил всей рукой подбородок, и на большом лице его легли морщины крайней тревоги.

Прошло три месяца со дня, когда лунный шар, многие тысячелетия служивший лишь для бредней поэтов, был наконец использован с деловыми целями. За семь дней ужаса «Союз пяти» овладел двумя третями мирового капитала и двумя третями индустрии.

Победа далась легко, без сопротивления. «Союз пяти» увидел себя распорядителем и властелином полутора миллиардов людей.

Тогда им была передана в газеты крайне жизнерадостная статья «О сорока тысячах лет», в которых Земля может спокойно и беспечно трудиться и развиваться, не боясь столкновений с останками Луны.

Статья как будто произвела благоприятное впечатление. Крыши были покинуты созерцателями, открылись магазины, и понемногу снова заиграла музыка в ресторанах и скверах. Но какая-то едва заметная тень печали или рассеянности легла на человечество.

Напряженная озабоченность, борьба честолюбий, воля, железная хватка, дисциплина, порядок, весь обычный, удобный для управления организм большого города понемногу начал превращаться во что-то более мягкое, расплывающееся, трудноуловимое.

На улицах все больше можно было видеть без дела гуляющих людей. Тротуары и мостовые стали плохо подметаться, размножились уличные кофейни, иные магазины стояли по целым дням закрытые, к иным нельзя было протолкаться, и в этой сутолоке, среди болтающих чепуху девчонок, встречали директоров банков, парламентских деятелей, солидных джентльменов.

В деловых кварталах города, где раньше не слышалось иной музыки, чем шум мотора, треск пишущей машинки да телефонные звонки, теперь с утра до утра на перекрестках играли маленькие оркестры, и лифтовые мальчишки, клерки, хорошенькие машинистки отплясывали шимми и фокстрот, и из окон деловых учреждений высывались деловые люди и беспечно перекликались с танцующими.

Полиция — это было уже совсем тревожно — ничего не имела против беспорядка, благодушия и беспечного веселья на улицах. У полисменов торчали цветы в петлице, трубки в зубах; иной, подойдя к перекрестку, где на составленных столах бородатый еврей пиликал на скрипке, и багровый германец трубил в корнет-а-пистон, и плясали растрепанные девушки, поглядев и крякнув, сам пускался в пляс.

В деловых учреждениях, на железных дорогах, на пароходах наблюдались те же беспечность и легкомыслие. Замечания встречались добродушными улыбками, нагоняй или расчет — грустным вздохом: «Ну что ж поделаешь», — и не успеет человек выйти за дверь — слышишь, уже засвистал что-то веселенькое.

«Союз пяти» начинал чувствовать себя как бы окруженным мягкими перинами и подушками. Он усиливал строгости, но они никого не пугали. Он печатал приказы, декреты, громовые статьи, но газет никто больше не читал. А в то же время в кофейнях и на улицах, собирая толпу, какие-то юноши с открытыми шеями декламировали стихи туманного и тревожного содержания.

На заводах, фабриках, рудниках пока еще все обстояло благополучно, но уже чувствовалось замедление темпа работы, как будто система Тейлора стала размыкать стальные кольца... «Союз пяти» решил не медлить: в ближайшие дни произвести политический переворот, стать во главе правительства, объявить диктатуру и пусть даже брызнет кровь — призвать человечество к порядку и дисциплине.

Игнатий Руф, вглядываясь внимательно в посетителей магазина, внезапно понял, что было необычайного в этой толпе веселых покупателей. Он вышел из автомобиля и стал в дверях. Все: мужчины и женщины — выносили свои покупки не завернутыми в бумагу. Перекинув через руку или набив ими карманы, они спокойно проходили мимо полисмена, добродушнейшего великана с цветком за ухом.

Игнатий Руф вместе с толпой продвинулся в магазин. На прилавках лежали горы материй, вещей, предметов роскоши. Мужчины и женщины рылись в них, брали то, что им нравилось, и уходили довольные. Магазин расхищался. У Игнатия Руфа стиснуло горло железной спаз-

мой. Он тяжело шагнул к улыбающейся нежно-сероглазой, в шляпке набок, девушке и сказал громогласно, так, что слова его прокатились под гигантским куполом магазина:

— Сударыня, вы занимаетесь воровством.

Девушка сейчас же моргнула, поправила шляпку.

— Разве вы приезжий? — сказала она кротко. — Разве вы не знаете, что мы уже три месяца все берем даром?

Руф обвел кровавыми глазами шумную толпу расхитителей, крупный пот проступил у него на лице.

— Сумасшедшие! Город сошел с ума! Мир сошел с ума! — проговорил он в исступлении.

14

Пять тысяч суданских негров — огромных, зубастых, с гранатами за поясом и скорострельными двадцатифунтовыми ружьями на плече — без сопротивления прошли от вокзала до площади парламента.

В середине наступающих колонн двигался открытый белый автомобиль. На замшевых подушках сидел Игнатий Руф в закрытом до шеи черном пальто и в черном цилиндре. В петлице мотала увядшей головкой белая роза.

Игнатий Руф оборачивал направо и налево бледное, страшное лицо, как бы ища ввалившимися глазами встревоженных толп народа, чтобы знаком руки в белой перчатке успокоить их. Но прохожие без изумления, будто видя все это во сне, скользили взглядом по тяжело идущим рядам суданских войск. В городе не было ни страха, ни возбуждения, никто не приветствовал совершающийся политический переворот и не противился ему.

Суданцы окружили парламент и залегли на площади перед ним. Игнатий Руф, стоя в автомобиле, глядел на зеркальные окна большой залы заседаний. Горнист, великан-негр, вышел перед цепями на площади и на рожке печально заиграл сигнал сдачи. Тогда с мраморной лестницы парламента сбежало несколько человек, пытаясь скрыться; их сейчас же арестовали. Игнатий Руф, подняв руку и помахав ею, как тряпкой, продвинул цепи вплотную к зданию. Сквозь окна было видно теперь, как в зале на скамьях амфитеатра сидят члены парламента: кто облокотился, кто подперся сонно, на трибуне оратор бормотал что-то по записке, за председательским столом на воз-

вышении дремал полный седой спикер, положив руку на колокольчик.

Игнатий Руф пришел в ярость. Надвинул цилиндр на глаза и коротко, лая, отдал приказ. Передние цепи суданцев подняли тяжелые ружья, заиграл рожок, и площадь содрогнулась от залпа. Зеркальные стекла покрылись трещинами, посыпались, зазвенели.

Через десять минут парламент был занят, депутаты, как будто с величайшим облегчением воспринявшие эти события, были отведены в тюрьму. Затем Игнатий Руф с небольшим отрядом суданцев окружил Белый дом, вошел в него с револьверами в обеих руках и сам арестовал президента, с вежливой улыбкой сказавшего по этому поводу исторические слова: «Я уступаю силе».

Через час отряды мотоциклов и аэропланы разбросали по городу извещение «Союза пяти» о государственном перевороте. Вся власть в стране переходила к пяти диктаторам. (В тот самый день, в тот самый час они с отрядами выведенных из Африки войск занимали города Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Сан-Франциско.) Новые парламентские выборы назначались через полгода. Страна объявлялась на военном положении. Закрывались все рестораны, театры, кино, запрещалась музыка в общественных местах, а также бесцельное гуляние по улицам. Извещение было подписано председателем «Союза пяти» Игнатием Руфом. Переворот был решительный и суровый.

«Союз пяти» отныне безраздельно, бесконтрольно владел всеми фабриками, заводами, транспортом, торговлей, войсками, полицией, прессой, всем аппаратом власти. «Союз пяти» мог заставить все население Америки стать кверху ногами. Со времен древнеазиатских империй мир не видал такого сосредоточения политической и экономической власти.

Над этим странным миром по ночам поднималась разбитая Луна большим неровным диском, разорванным черными трещинами на семь осколков. Ее ледяной покой был потревожен и обезображен человеческими страстями. Но она все так же кротко продолжала лить на землю серебристый свет. Все так же ночной прохожий поднимал голову и глядел на нее, думая о другом. Все так же вздыхал и приливал к берегам океан. Росла трава, шуме-

ли леса, рождались и умирали инфузории, моллюски, рыбы, млекопитающие.

И только пять человек на земле никак не могли понять, что в круговороте жизни они пятеро, диктаторы и властелины, никому ни на что не нужны.

15

В кабинете свергнутого президента спиной к горящему камину, раздвинув фалды, чтобы греть зад, стоял Игнатий Руф. Перед ним сидели диктаторы. Он говорил:

— В первые дни еще можно было заметить подобие страха, но сейчас они ничего не боятся... Вот ваши полумеры... (Они, то есть люди, население.) Они без сопротивления отдали нам свои деньги, они не сопротивлялись, когда мы брали власть, они не желают читать моих декретов, как будто я их пишу тростью на воде... Но, черт возьми, я предпочел бы иметь дело с бешеным слоном, чем с этой сумасшедшей сволочью, которая перестала любить деньги и уважать власть. Что случилось, я спрашиваю? Они пережили несколько часов смертельного страха. Все мы вывернули их карманы, правда, но после этого они должны были еще больше преклониться перед идеей концентрированного капитала...

Один из диктаторов, похожий на старого сверчка, спросил:

— Уверены ли вы, сэр, что мы так богаты, как мы это думаем, сэр?

— Девять десятых мирового золота лежит в подземельях здесь. — Руф ударил ногой по ковру. — Ключ от этого золота здесь, — он хлопнул себя по жилетному карману, — в этом никто не сомневается.

— Я удовлетворен вашим объяснением, благодарю вас, сэр, — ответил диктатор, похожий на сверчка.

Руф продолжал:

— Они продолжают существовать как ни в чем не бывало. Заводы работают, фермеры работают, чиновники и служащие работают. Очень хорошо, но при чем же мы, я спрашиваю? Мы — хозяева страны или мы сами себя выдумали? Вчера в парке я схватил за воротник какого-то прохожего. «Понимаете ли вы, сэр, — крикнул я ему, — что вы весь мой, с костями и мясом, с вашей душонкой,

которая стоит двадцать семь долларов в неделю?» Негодяй усмехнулся, будто он зацепил воротником за сучок, освободился и ушел, посвистывая. Мы взорвали проклятую луну, мы овладели мировым капиталом, мы взяли на себя чудовищную власть только для того, чтобы к нам относились как к явлению природы: дует ветер — подними воротник. Я запретил музыку в общественных местах — весь город ходит и насвистывает. Я закрыл кабаки и театры — в городе стали собираться по квартирам, — они развлекаются бесплатно. Мы — мираж. Мы — боги, которым больше не желают приносить жертвы. Я спрашиваю: мы намерены зарываться по шею в наше золото или перед этим камином надуваться от гордости в упоении, что мы власть, которой еще не видал мир? Я спрашиваю: каков практический вывод из нашего могущества?

Диктаторы молчали, глядя на кровавые угли камина. Руф отхлебнул минеральной воды.

— Если вы будете бить кулаками в воздух, в конце концов вы упадете и разобьете нос. Нужно создать сопротивление среды, в которой действуешь, иначе действия не произойдет. Мы на краю пропасти, я утверждаю. Человечество сошло с ума. Нужно вернуть ему разум, вернуть его к естественной борьбе за существование со всеми освященными историей формами, где в свободной борьбе личности с личностью вырастает здоровый человеческий экземпляр. Мы должны произвести массовый отбор. Направо и налево.

— Ближе к делу, что вы предлагаете? — спросил другой из диктаторов.

— Кровь, — сказал Руф. — Всех этих с неисправимо сдвинутыми мозгами, всех этих свистунов, мечтателей, без двух минут коммунистов, — в расход. Мы объявим войну Восточноевропейскому союзу — это поднимет настроение, мы объявим запись добровольцев в войска, — вот первый отбор наиболее здоровых личностей... Мы объявим войну всех против всех, мы будем руководить этой бойней, где погибнет слабый и где сильный приобретет волчьи мускулы... И тогда мы наденем железную узду на возрожденного зверя...

Руф нажал кнопку электрического звонка. За стеной в тишине затрещало. Прошла минута, две, три. Руф поднял брови. Диктаторы переглянулись. Никто не шел. Руф

сорвал с камина, с телефонного аппарата, трубку, сказал сквозь зубы номер и слушал. Понемногу лицо его темнело. Он осторожно положил трубку на аппарат, подошел к окну и приподнял тяжелую шелковую портьеру. Затем он вернулся к камину и снова отхлебнул глоток минеральной воды.

— Площадь пуста, — хриповато сказал он, — войск на площади нет.

Диктаторы, глядя на него, ушли глубоко в кресла. Было долгое молчание. Один только спросил:

— Сегодня были какие-нибудь признаки?

— Да, были, — ответил Руф, стукнув зубами, — иначе бы я вас не собрал сюда, иначе бы я не говорил так, как говорил.

Опять у камина долго молчали. Затем в тишине Белого дома издалека раздались шаги. Они приближались, звонко, весело стуча по паркету. Диктаторы стали глядеть на дверь. Без стука широко распахнулась дверь, и вошел плечистый молодой человек с веселыми глазами. Он был в шерстяной белой рубашке, широкий бумажный пояс перепоясывал его плисовые коричневые штаны на крепких ногах. Лицо у него было обыкновенное, добродушное, чуть вздернутый нос, пушок на верхней губе, девичий румянец на крепких скулах. Он остановился шагах в трех от камина, слегка кивнув головой, открыл улыбкой зубы.

— Добрый день, джентльмены!

— Что тебе нужно здесь, негодяй? — спросил Руф, медленно вытаскивая руки из карманов.

— Помещение нам нужно под клуб, нельзя ли будет очистить?



ГОБЕЛЕН МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ

Прошли гуськом последние посетители дворца-музея — полушубки, чуйки, ватные куртки. Малиновое солнце склоняется за дымы в зимнюю мглу. Северный день недолог. Я еще вижу узоры на стеклах: высокие окна покрыты морозными листьями, как будто воспоминанием о древних лесах, некогда шумевших на земле.

Узоры исчезают в голубоватых, серых сумерках. Вдали хлопает дверь. Отскрипели на тропинке валенки сторожа, и наступает зимняя тишина во дворце и в снежном парке.

Иногда из страшной высоты луна посылает бледный свет в незанавешенное окно, но это бывает редко; бегут, бегут безнадежные туманы над парком, посвистывает метель голыми ветвями. Холодно и пустынно. Я развлекаюсь, перебирая в памяти минувшие годы. Их много. Иные озарены блеском празднеств, иные страшны.

Я не старею и не увядаю, как женщины, проходящие в моих воспоминаниях, как те две повелительницы народов, которым я принадлежала. Я все так же, как полтора-ста лет тому назад, прекрасна; на мне высокий пудренный парик и пышное платье цвета крови. Я нахожусь в большой гостиной, налево от входа, у окна. В глубине, против света, над камином висит портрет моей хозяйки. Она изображена во весь рост — юная, гордая, слишком, по-солдатски, прямая, — такой она была в первые годы замужества.

Когда лунный свет поблескивает на золоченых креслах, я часто стараюсь взглянуть в ее лицо. Но глаза императрицы упрямо и зло отведены от меня. Она думала, что

я — причина всех ее несчастий: она мрачно суеверна, как средневековая женщина.

Во всяком случае, президент Лубе сделал бестактность, привезя на броненосце в подарок русской императрице гобелен казненной французской королевы. Меня вынули из цинкового ящика, принесли в эту гостиную, развернули и положили на ковер. Императрица, мало сведущая в искусстве, спросила: «Что это такое?» (Она стояла передо мной, выпрямив, как гувернантка, грудь, стиснув на животе чисто вымытые, холодные пальцы.) Толстенский Лубе, хрустя крахмальной фрачной рубашкой, с живейшей готовностью ответил: «Ваше величество, это редчайший гобелен, изображающий портрет Марии-Антуанетты. Случайно революция пощадила его. Франция приносит к вашим стопам одно из своих национальных сокровищ». Тогда на увядающем лице царицы выступили шелушащиеся пятна, тонкие, как ниточка, губы поджались в волевом движении — скрыть испуг. Но я прочла безумный ужас, на мгновение промелькнувший в ее голубых, круглых, немецких глазах. «Почему она в красном платье?» — спросила царица. На это президент ничего не мог ответить и только снова расшаркался, поскрипывая буржуазными сапожками.

Меня повесили на стене у окна. Не помню, чтобы царица когда-либо останавливала на мне взгляд. Ее раздражало красное платье. В ее вкусе были блеклые, лиловые, болотные тона. Мария-Антуанетта тоже не могла терпеть ничего яркого — только нежное, успокаивающее. Действительно, история этого красного цвета необычайна. Вот она.

Полтора́ста лет тому назад в Париже проживала Елизавета Рох, девица необыкновенной красоты. Ее отец работал ткачом на королевской шпалерной фабрике и считался лучшим мастером во Франции. За сутки он мог соткать четверть дюйма, но зато линии рисунка и цвета были так подобраны, что его гобелены соперничали с живыми красками природы и даже превышали их.

Елизавета Рох, работавшая на фабрике с восьми лет, обладала столь же совершенным вкусом. Когда ей минуло девятнадцать, ее перевели в отделение макетов, где она должна была из кусков шелка и шерсти воспроиз-

водить с картины примерный макет, с которого ткался уже самый гобелен.

От природы Елизавета была пылкого нрава, но поведения строгого, потому что, кроме девственной красоты, у нее не было никаких надежд на лучшую жизнь. Изнурительная работа, четырнадцать часов, проводимых за тряпьем и иглой, убивали в ней все желания, свойственные юности. Впрочем, та же суровость нравов замечалась и во всей Франции, непосильно, в раздирающей нищете трудящейся для того, чтобы король, королева, принцы и весь двор в Версале проводили время в непрерывных празднествах: балеты, фейерверки, балы, блестящие охоты на вытоптанных хлебных полях, по ночам фантастические сражения за карточными столами при свете сотен восковых свечей. Всем этим они заглушали в себе ужас неминуемо близившейся гибели: казна была пуста, страна нищала, дворянство разорялось, парижский народ рычал вслед грохочущим золоченым каретам, буржуа с восторгом распускали дерзкие памфлеты на королеву, на развратную жизнь двора. Богатели одни ловкие предприниматели, ростовщики, фабриканты роскоши.

На шпалерную фабрику поступил из канцелярии королевского кабинета срочный заказ — выткать портрет королевы по оригинальному портрету, приложенному при сем, работы великого Буше.

В то время королева была по уши в хлопотах на деревенской игрушечной ферме, в версальском парке. Королеве приходилось самой доить корову с позолоченными рогами и надушенную пачулей, самой стряпать омлет с шампиньонами, ловить удочкой китайских рыбок на обед, между делом танцевать с дамами на берегу ручья пастушеские танцы. Среди этих забот Буше удалось лишь мимолетом зарисовать королеву, и то — только лицо. Платье он написал от себя, цвета сливок, во вкусе времени. Он не совсем был доволен рисунком.

Этот картон поступил к Елизавете Рох, и она начала копировать с него макет для гобелена. Стояли жаркие дни, работать приходилось, то ползая по полу, то взбегая на лесенку, чтобы взглядывать на работу с высоты; на Елизавете было легонькое платье, открывавшее грудь и до колен ее стройные ноги.

Такой ее увидел директор фабрики, разорившийся дворянин, тучный и неряшливый мужчина — несмотря на года, чрезвычайно чувствительный к женской прелести. Расставив икры в плохо натянутых чулках, он страшно округлил глаза. Пот из-под паричка полз по его бритым щекам. В этот знойный день, когда мухи звенели о пыльные стекла мастерской, он заметил, что девчонка вкусна, как наливное яблоко. Он присел около мольберта и вытащил табакерку, сыпля табак на кружева. Подагрические глаза его выкатывались. Елизавета, думая только о работе, ползала на коленях у его ног, то протягивая руку, чтобы взять ножницы, то низко нагибаясь, чтобы откусить нитку. Директор переживал почти что гурманское наслаждение: прелесть девчонки ударяла ему в раздутые ноздри. Когда она досадливо выпрямилась и закинула голые руки, чтобы скороть лезущие в лицо пушистые волосы, он внезапно почувствовал нечто вроде «конжексьон», то есть удара, готового разорвать кровеносные сосуды, и, чтобы поскорее освободиться от волнения, тяжело со стула упал на Елизавету, обхватил ее и принялся целовать в лицо, в шею и в грудь.

Она громко вскрикнула, так как в первый раз ее коснулась рука мужчины. Она вскочила, начала бороться и, освободив правую руку, хлестнула директора по щеке. Дальнейшее происходило в молчании, если не считать нескольких тяжелых ударов директорского кулака и слабого стона девушки.

Когда за хлопнувшей дверью затихли шаркающие шаги, в мастерскую вошли женщины. Они увидели Елизавету в изорванном платье, лежавшую без сознания на макете. Платье королевы цвета сливок было залито кровью. У Елизаветы было разбито лицо. Ее унесли. В тот же день контора вышвырнула ее с фабрики.

Происшествие не заслуживало как будто бы внимания, но когда Буше увидал испорченный макет, он пришел в ярость: кончик вздернутого носа его вспыхнул под пудрой, он наговорил кучу дерзостей по адресу распорядителей фабрики, затем взглянул еще раз, прищурился и щелкнул пальцами. Напоминаю: он не был удовлетворен своим картоном, и вот ему пришло на мысль использовать этот цвет пятен крови. Он выбрал подходящий ба-

гровый шелк и велел заменить на макете платье королевы. «Очаровательно», — сказал он и послал макет в ткацкую мастерскую к старому Роху.

Так я появилась на свет. Старик Рох день и ночь ткал меня. Часто горькие слезы ползли по его морщинам; но что доподлинно случилось в дальнейшем с Елизаветой — я не знаю. Он начал ткать меня с головы, и долгие месяцы я лежала в его станке перевернутая. Его торопили, и он работал с молчаливым ожесточением.

Наконец я была готова. Буше имел счастье сам поднести меня королеве. При дворе знали мою историю, и он, оправдывая красное платье гобелена, сказал, что это цвет девственницы. Это был каламбур во вкусе времени. Королева воздушно улыбнулась ему.

Гобелен повесили в королевской спальне в Трианоне — одноэтажном маленьком дворце, служившем для любовных развлечений королевской семьи. Несомненно, была доля правды в том, что писали в памфлетах. Королева была легкомысленна. Красота ее увядала. Король не часто посещал ее в спальне. Да и то, появляясь в китайском халате и туфлях, тучный, мягкий, с двойным подбородком, он больше разговаривал не о тонкостях любви, а об удачном выстреле на охоте или о своих достижениях в токарном мастерстве. После его бесплодного ухода королева приказывала подать венецианское зеркало и, лежа, вся в кружевах, все еще соблазнительная при свете свечей, с некоторым изумлением вглядывалась в свое изображение, затем нижняя губа ее — непременно принадлежность Габсбургского дома — начинала выпячиваться, и тут-то веселые дамы, окружавшие ее широкую кровать, придумывали какую-нибудь ночную затею, после которой королева крепко засыпала.

Утро в Версале всегда начиналось праздником. Гремели резные колеса подъезжавших карет, гудели веселые голоса. Дамы, похожие на живые цветы, в пышных юбках, благоухающие амброй и пачулей, толпились в спальне королевы, щебеча по-птичьи, или соблазнительно мелькали сквозь деревья в парке. Журчали, шумели фонтаны, лебеди били крыльями, золоченые лодочки покачивались на поверхности искусственного озера. Там — развалины в греческом вкусе, там — мраморные торсы с игрой

солнечных зайчиков уносили пустое воображение в аркадские страны. Женственные кавалеры, отбивавшие духами крепость естественного запаха, походили больше на существ из идеального мира, чем на дворян с заложенными и перезаложенными замками и протянутой за королевским подаянием рукой.

Природа была щедра к этой выдуманной жизни. На лужайках пахло горячим сеном, толкались пестрые бабочки, летние облака отражались в озере, и даже ветерки, казалось, с учтивостью шелестели деревьями. Дни летели за днями, легкомысленные и ослепительные. Королева гнала прочь от себя мрачные мысли; король, вытачивая на станке черепаховые табакерки, думал, что все в конце концов образуется: памфлетистов посадят в Бастилию, казначейство откуда-нибудь раздобудет денег, хорошие буржуа снова полюбят своего короля, хорошие поселяне перестанут огорчаться из-за налогов, а там, бог даст, удачная война вернет истраченные богатства...

Известно, чем кончилось все это беззаботное веселье в Версале. Свирепая красавица со сросшимися бровями, в красном платье, в красной шляпе с красными перьями, куртизанка Териен де Мерикур верхом на лошади, размахивая кривой саблей, а за ней тысяч тридцать женщин из парижских предместий пришли по версальской дороге, завывая: «Хлеба, хлеба, хлеба...» Король улыбался им с балкона, королева старалась улыбнуться, держа на руках наследника. Их посадили в карету и отвезли в Париж. Никому было уже не до смеха.

Теперь лишь осенний дождь постукивал в высокие, до самого пола, окна Трианона. Парк облетел, и груды листьев, неубранные, гнили на дорожках. Сквозь оголенные ветви бесстыдно белели античные божества. Надвинулись зимние туманы, и только шаги сторожа нарушали безмолвие покинутого дома. На потолке спальни расплывалось мокрое пятно, и капля за каплей падали на паркет.

С первыми весенними днями появились гуляющие; они с любопытством оглядывали причуды королевского парка. Мужчины были в некрасивой темной суконной одежде, без париков, женщины — в скромных косынках и простых юбках из шерстяной материи. Они несли корзинки с провизией и вели за руку детей. Рассаживаясь

прямо на траве, они завтракали, оставляя после себя засаленные клочья памфлетов, куда завертывалась еда. Благопристойные буржуазки стыдливо отводили глаза от голых статуй и шумно охали, осматривая сквозь окна пышную кровать королевы. Заслонившись с боков ладонями, сплющив нос о стекло, они злобно глядели мне в лицо, иногда грозя зонтиком...

Миновало лето. Зимняя буря выбила несколько стекол. И снова, в апреле, забегали черные дрозды под кустами. Дорожки парка зарастали лопухами, затягивались ряской бассейны с замолкшими фонтанами. Коровы, бродя на свободе, клали лепешки у подножия статуй. В праздники все больше появлялось народу, но теперь уже не чинные буржуа, а какие-то неведомые молодые люди в длинных, по щиколотку, штанах, с голой грудью и засученными рукавами, и их подружки, румяные и смешливые, кое-как прикрытые ситцевыми платишками, — веселились как дети, утомясь — засыпали на копнах сена. Целовались и хохотали, ссорились и мирились. С визгом разбрызгивая радуги, кидались с каменных берегов в озеро, и их загорелые тела были не хуже, чем у мраморных богов с отбитыми носами. В сумерки складывали из обломков золоченых лодок, догнивавших за ненадобностью, великолепные костры и, подобно первобытным существам, отплясывали, озаренные пламенем, чертовскую карманьолу.

Но миновало и это лето. Все озабоченнее, суровее становились лица людей, — в их темных глазах я читала страдания голода и дикую решимость. Было срублено на дрова много деревьев в парке. Исчезли обе коровы, — сторожа, должно быть, их съели, — пропал и сам сторож. Однажды у моего окна остановились двое: плечистый юноша с темным пушком на щеках и молодая женщина; оба были босы; он влюбленно держал ее рукой за плечи, едва прикрытые лохмотьями. Она была прекрасна — пышноволосая, стройная, сильная. Она что-то сказала, юноша рванул за скобку, гнилая рама окна-двери затрещала, посыпались стекла. Они вошли, и в нищей красавице я признала Елизавету Рох. Она долго смотрела на меня, поднялась на цыпочки и плюнула мне в лицо. Тотчас же юноша сорвал меня со стены и швырнул на голую постель.

Так я валялась среди запустения, покуда почтенный буржуа, колбасник из Парижа, не подобрал меня как хозяйственную вещицу. Он приехал в Версаль в надежде поживиться какой-нибудь клячей со сломанной ногой. Я была аккуратно сложена и сунута под козлы, хозяин уселся на меня; сзади, прикрытая рогожей, лежала освеженная лошадь. В таком виде я прибыла в Париж. Мной занавесили разбитое пулями окошко в колбасной лавке. И там, на площади Революции, я еще раз, в последний раз, увидела королеву, но при каких жалких обстоятельствах!..

Полтора года лет прошло с того дня. Было бы утомительно рассказывать о всех превратностях судьбы, кидавшей меня из рук в руки. Когда над ратушей в один мгlistый ветреный день плеснуло черное знамя Коммуны, колбасника моего повесили в дверях лавки, нацепив на грудь доску: «Мы требуем твердых цен!» Чья-то закопченная пороховом рука сорвала меня с окна, и я оказалась в виде плаща на голых плечах рослого детины, потрясавшего копьем с красным колпаком на острие. Весь день в виде пылающего пламени, под свист пуль, я развевалась на его плечах. Когда настала ночь, он пошел к ратуше, озаренной внизу факелами, тогда как острые башенки ее тонули в тумане. Вместе с толпой, размахивающей саблями и пистолетами, мы ввалились в дымный от чада масляных ламп огромный зал. На досках, на ящиках сидели, непрерывно заседаая, члены Парижской коммуны с темными от бессонницы лицами. Рабочие и ремесленники из секции требовали у них голов аристократов и буржуа, они рычали: «Разогнать Конвент! Смерть предателям! Вся власть Коммуне! Хлеба и предельных цен!» Мой хозяин пристроился спать тут же в зале, под окном, завернувшись в меня с головой.

Но, видимо, я, созданная лишь для улады глаз, плохо грела его в ту ветреную ночь: он швырнул меня в угол, в кучу мусора. Там я валялась некоторое время. Кто-то, догадавшись, развернул, встряхнул и покрыл мною сосновый стол президиума. С тех пор на мне валялись бумаги, гусиные перья, куски черствого хлеба. Упершись мне в грудь продранными локтями, сидел, весь содрогааясь от бешенства, длиннолицый человек с черными кудрями,

прилипшими к выпуклому бледному лбу. Если не изменяет память, его звали Гебер; он был воплощением воли полуголых людей, каждый вечер после работы появлявшихся в ратуше, чтобы кричать о справедливости, о своих требованиях, о своей ненависти, о последней свободе.

Ему, как и всем «неистовым», отрубили голову. В тот день перед угрюмыми людьми из секций говорил маленький человек, с костяным острым носом, чисто одетый, в белом паричке. Вдавлив слегка запрокинутый затылок в плечи, касаясь меня кончиками холодных пальцев, он говорил режущим голосом об умеренности и добродетели, он клялся отрубить голову всем, кто ведет безнравственную жизнь, всем, кто помышляет о контрреволюции, и также всем, кому кажется, что он, Робеспьер, недостаточный революционер и патриот. Лавочники в якобинских колпаках приветствовали его. Но, увы, буржуа утомились, хуже редьки им надоели революции, неистовство черни, лохмотья и бумажные деньги.

И вот однажды за стол, который я все еще покрывала, поспешно сели пятеро, опоясанные трехцветными шарфами. Среди них был Робеспьер; он положил перед собой пистолет со взведенным кремнем. Они молчали, не мигая глядели на черные окна, — там, на ночной площади, свирепо гудела толпа. Единственная свеча на столе, тихо колебля пламя, не могла разогнать сумрак огромной пустой залы.

В эту ночь кончалась Революция. Стихало рычание толпы на Гревской площади. Гремели колеса пушек, заскрежетала военная команда. На лестнице ратуши раздались неумолимые шаги национальной гвардии. Они вошли. Зрачки пятерых террористов, неподвижно сидевших у стола, расширились угрозой. Но еще страшнее закричали национальные гвардейцы. Сен-Жюст, юный и женственный, спокойно встал, чтобы самому отдаться в руки. Разбитый параличом Кутон закрыл лицо рукой. Пылкий Леба схватил пистолет и всунул его в руку Робеспьеру, маленький человек нехотя поднес его к виску. Но гвардеец кинулся, толкнул под локоть. Раздался выстрел, и голова Робеспьера с разбитой нижней челюстью упала мне на грудь. Пальцы его стиснули неисписанные листки бумаги; пытаясь остановить кровь, он размазал ее по лицу.

Дальнейшие мои воспоминания относятся к унылым годам среди пыльного хлама в лавке старьевщика. За меня не давали и ста франков, покуда Наполеон разгонял штыками по всей Европе помещичьи армии. Но он слишком много выпустил крови у добрых буржуа, и они предали его, высчитав, что выгоднее променять меч на бухгалтерскую книгу. Революция описала бешеный круг и на минуту замкнулась: на французский престол вошел Людовик Восемнадцатый, и меня, приведя в порядок, повесили, как священную реликвию, в Тюильрийском дворце. Ах, с какою возвращенной пылкостью танцевали в его заново позолоченных залах знакомые мои версальские дамы, увядшие за двадцать лет эмиграции! Пудра облаками сыпалась с их наруганных морщин. Меланхолическое зрелище!

Последующие революции и реставрации я провела спокойно в Луврском музее. Такова история моей жизни вплоть до того часа, когда меня поместили в Александровском дворце, что в Царском Селе, — в гостиной царицы Александры Федоровны, повелевавшей несметными миллионами народов.

После столь разнообразных впечатлений здесь было ужасно скучно. Царь и царица не любили развлекаться на людях, — им и дома было хорошо. Кроме как по делу, у них мало кто бывал: придет любимая фрейлина, поцелует ручку; или позвонит по телефону, попросится приехать один бродяга из бывших конокрадов, духовный мужичок: явится — в поддевке, в лаковых сапогах, — поцелуется со щеки на щеку, сядет и врет, что в голову влезет, щуря продувные зенки, а царь и царица молитвенно глядят ему на масленную бороду, не смеют моргнуть.

Когда хотелось выпить, царь шел в офицерское собрание. Звали полковых трубачей, пили, закусывали, а на следующий день он потихоньку от царицы вздыхал, держась за голову. Правда, он не вытаскивал табакерок подобно Людовику французскому, но зато удачно занимался фотографией, или, мурлыкая что-нибудь однообразное, играл сам с собой на бильярде, или почитывал рассказы Аверченки, прыска со смеху. Он любил в час сумерек стоять с папиросой у окна и смотреть, как льет мелкий дождик на елки и кусты, за которыми сидели, боясь обнаружить-

ся, веснушчатые сыщики из охраны, в котелках, надвинутых на уши.

Царица на своей половине вышивала салфеточки и думала, думала, сдвинув брови, о многочисленных врагах, о нераскрытых кознях против ее семьи, о неблагодарном, распущенном, скандальном народе, доставшемся ей в удел, о несчастном характере мужа, не умеющего заставить себя уважать и бояться. Иногда, опустив вышивание, она зло постукивала наперстком по ручке кресла, и невидящие глаза ее темнели. За ширмой на столике стояла чудотворная икона с колокольчиком; часто, опустившись перед ней на колени, она молилась, ожидая чуда, когда сам собой зазвонит колокольчик.

Согласитесь сами — невесело летели годы в Александровском дворце. И совсем уже стало мрачно, когда царь и наследник уехали на войну, а царица надела полотняную косынку и серое платье с кровавым крестом на груди. В Версале весело по крайней мере пожили перед смертью — было чем помянуть прошлое, когда палач на помосте гильотины скручивал руки и резал волосы на затылке. А здесь? Будь у меня скулы — свернула бы их со скуки. Стоило этим людям мазаться миром, чтобы существовать в таком унынии и всеобщей ненависти!

И вот, с некоторого времени я заметила, что царица стала как-то дико на меня коситься. Остановится, стиснув на животе руки, и низенький лоб ее собирается в гневные морщины, будто она силится что-то понять и что-то преодолеть. За переплетами окон сыплет снегом декабрь, на котелках сыщиков, дующих в кулаки под кустами, белеют сугробчики. И царица ходит, ходит, раздувая ноздри от бессильного гнева. Увы, у нее не было власти повесить хотя бы даже председателя Государственной думы. Враги — повсюду; всё оцетинилось против нее.

В одну из таких минут она получила известие, которое сломило ее: духовный мужичок, ее единственный друг и руководитель, был найден под мостом в проруби — связанный и с проломанным черепом. Об этом сообщила ее любимая фрейлина, упав в отчаянных слезах на ковер. Царица мертвенно побледнела, пошатнувшись — прислонилась негнущейся спиной к моему багровому платью: «Мы погибли, некому больше предстоять за нас перед бо-

гом», — сказала она. В сумерки, одетая в черное, в черном платке, опущенном на лицо, она незаметно пробралась между сыщиками, и я долго видела на снегу ее удаляющуюся фигуру: она шла рыдать над гробом духовного мужичка, тайно привезенного из Петербурга в уединенное место, в деревянную часовенку.

В последний раз я видела царицу глубокой ночью, когда отдаленное зарево светило в замерзшие окна, багровый свет дышал над вершинами елей: где-то что-то горело. В гостиной было темно и тепло, во дворце все спали. Вдруг скрипнула половинка высокой двери, и я увидела царицу; она была в белом халате. «Что это горит, что это горит?» — по-немецки спросила она пустоту и подошла к окнам. Листья мороза на них, то багровые, то черно-синие, лежали фантастическим узором.

Ее лицо было искажено, в глазах мерцал суеверный ужас. И мне и ей привиделось в эту минуту одно и то же воспоминание...

...Десятки тысяч голов шумели и волновались вдоль решетки и террас Тюильри и по всей широкой площади Революции, где над щетиной штыков возвышался помост со взнесенным треугольником лезвия между двумя стойками. Из окна колбасной лавки мне были видны островерхие башни тюрьмы Консьержери. Мимо них двигалась двухколесная тележка. Она завернула на мост и пересекла на эту сторону реки. Головы волновались, будто по ним ходил ветер. Повозка, окруженная солдатами и барабанщиками, поплыла в это море голов. Рев толпы покрывал трескотню барабанов. Повозка поравнялась с моим окном, я увидела в ней королеву, сидящую спиной к лошади. Руки ее были связаны назад, отчего спина вытягивалась особенно прямо. Под измятым черным шерстяным платьем не было корсета и обрисовывались старые ее груди, — о них когда-то писали придворные поэты мадригалы, по их форме была сделана янтарная чаша, из которой король пил вино. Желтая шея была обнажена, голова опущена, и презрительно, с гордым омерзением выпячена нижняя губа. Из-под высокого чепца висела прядь волос. «Смерть проклятой австриячке!» — кричали простоволосые старые женщины; по четыре в ряд они шли за тележкой, и все не переставая вязали чулки для армии. Это бы-

ли «вязальщицы Робеспьера». Я видела, как тележка остановилась. Стало тихо. На помосте произошла короткая суета, метнулся белый чепец. Надрываясь, все громче, страшно затрещали барабаны, и бликом света скользнул вниз по перекладинам треугольник топора. Над толпой в чьей-то вытянутой руке повисла голова королевы...

«Проклятые, сумасшедшие, бесы, бесы!» — хриповато, по-русски, проговорила царица, все еще глядя в зернисто-лапчатое, залитое заревом окно... Затем она начала мелко-мелко креститься и кланяться одной головой, не сгибая шеи... Нижняя губа ее вытянулась и слегка отвисла...

В эту ночь ее дети захворали корью. В эту ночь она в последний раз переступила порог гостиной, где я нахожусь по сей день, налево от окна. Посетители дворца-музея, в парусиновых туфлях поверх валенок, на минуту останавливаются передо мной, и руководитель говорит:

— А это образец продукта крепостного производства, относящийся к самому началу борьбы между земледельческим капиталом и капиталом торгово-промышленным.

1928 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА	5
---------------------------------------	---

РАССКАЗЫ

Прекрасная дама	275
Граф Калиостро	295
Необыкновенное приключение Никиты Рощина	329
Рукопись, найденная под кроватью	351
Убийство Антуана Ривó	381
Черная пятница	401
Союз пяти	427
Гобелен Марии-Антуанетты	465

Толстой А. Н.

**Т 52 Гиперболоид инженера Гарина. Рассказы /Ил.
И. Н. Мельникова.— М.: Правда, 1988.—480 с., ил.**

В сборник известного советского писателя А. Н. Толстого (1883—1945) включены фантастический роман «Гиперболоид инженера Гарина» и рассказы «Граф Калиостро», «Союз пяти» и др.

Т $\frac{4702010200-182}{080(02)-88}$ 182—88

84 Р 7

Алексей Николаевич ТОЛСТОЙ

ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА

РАССКАЗЫ

Редактор

И. А. Бахметьева

Оформление художника

Г. А. Раковского

Художественный редактор

Т. Н. Костерина

Технический редактор

Т. Б. Слизун

ИБ 182

Сдано в набор 09.04.87, Подписано к печати 04.08.87.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжн.-журн.
Гарнитура «Гарамонд», Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 26,33.
Тираж 400000 экз. (2-й завод: 100001—200000).
Заказ № 1300. Цена 2 р. 30 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Тюменская правда»
Тюменского обкома КПСС. 625002, г. Тюмень, Осипенко, 81.

2 р. 30 к.